БАБУШКА, GRAND-MÈRE, GRANDMOTHER…

Воспоминания внуков и внучек
о бабушках, знаменитых и не очень,
с винтажными фотографиями
XIX-XX веков

ЭТЕРНА
2012

УДК 94(47)''18/19''(0841)
ББК 63.3(2)5я6
Б12

Выражаем благодарность Марии Викторовне Красновой за поддержку в издании книги

Дизайн — Александр Архутик

Бабушка, Grand-mère, Grandmother…: Воспоминания внуков и внучек
Б12 о бабушках, знаменитых и не очень, с винтажными фотографиями XIX—XX веков / Составитель Е. В. Лаврентьева. — М.: Этерна, 2011. — 352 с.: ил.

ISBN 978-5-480-00132-7

Героини книги — бабушки, наши ангелы-хранители. Судьба каждой из них неповторима, а истории любви достойны пера романиста. Наряду со свидетельствами мемуаристов XIX века в книге представлены воспоминания наших современников. Авторов объединяет «память сердца» и благодарность к тем, кто сумел предать внукам творческое отношение к жизни, сострадание к людям, любовь к искусству и природе.

УДК 94(47)''18/19''(0841)
ББК 63.3(2)5я6

ISBN 978-5-480-00132-7

© Е. В. Лаврентьева, составление, предисловие, 2011
© ООО «Издательство «Этерна», оформление, 2011

Предисловие

Я благодарна друзьям за то, что они откликнулись на мой «призыв» написать воспоминания о своих бабушках. Эта тема не оставила равнодушными, в свою очередь, их друзей и родных. Так появилась эта книга. А началось все с открытки, найденной на развалах блошиного рынка в Измайлове: «Москва. Разгуляй. Аптекарский пер., Дом Михайловой, кв. 2. Ея Высокородию Александре Александровне Михалевской.

Дорогая Бабушка! Скоро опять, бабушка, мы с тобой увидимся. Вот ты не поверишь, а спроси Маму, все мы по тебе сильно скучаем. Очень рад, что ты сшила себе бархатное платье; теперь очередь за шелковым. Таким образом, когда мы с тобой будем сидеть в первом ряду партера, на нас обратит внимание весь театр…»

В то время я собирала старые фотографии с трогательными надписями на обороте и почтовые открытки (конца XIX — начала XX века) с примечательными текстами. Переписка бабушек и внуков занимает почетное место в моей коллекции.

«Дорогой мой гимназистик Петушок, поздравляю тебя с праздником! Хотя ты и гимназист, но, наверное, с таким же нетерпением, как и прежде, ждешь праздников и интересуешься, что тебе подарят. Впрочем, для тебя, сильно занятого человека, праздник — особенно приятное событие. Гуляй вовсю и поменьше сиди за книгами, чтобы отдохнуть. Крепко-крепко целую, твоя бабушка».

Родители «гимназистика» вряд ли одобрили совет бабушки, но Петушок, несомненно, был ей признателен за понимание и дружескую поддержку. А вот еще одно письмо:

«Воронеж. Малая Дворянская, д. 18. Евгении Георгиевне Риттер. Москва. 10.10.1916.

Милая Женечка! Целую и поздравляю с днем рождения. Ты теперь совсем взрослая барышня, в мое время в 16 лет надевали первое длинное платье, и с непривычки приходилось в нем путаться. Теперешняя мода, если ее не преувеличивать, гораздо удобнее. Желаю тебе всего, всего хорошего, будь здорова и не забывай любящую тебя бабушку Риттер».

Барышне явно повезло с бабушкой: не ругает «нынешнюю молодежь», не осуждает «теперешнюю моду». Одним словом, «современная» бабушка!

Вслед за собиранием писем и фотографий появилось новое увлечение —

«Бабушки на страницах мемуаров XIX века». Моя многолетняя работа с мемуарными источниками помогла составить яркий «букет»: тут и придворные дамы, и хлебосольные хозяйки, и «суеверки», и сумасбродки, и светские львицы, и «пожирательницы мужских сердец», и художницы, и музыкантши, и чудесные рассказчицы… Так или иначе воспоминания о бабушке у каждого мемуариста были связаны с «самыми дорогими впечатлениями детства».

На долю бабушек моих друзей выпали тяжелые испытания. Но, несмотря ни на что, они смогли передать своим внукам любовь к природе, музыке, литературе, творческое отношение к жизни, сострадание к людям, ощущение неповторимости мгновения… Гениальный Параджанов в миниатюре, посвященной Федерико Феллини, писал: «Думаю, что Феллини целиком и полностью вышел из детства… Как ни абсурдно, режиссер рождается в детстве. Я знаю, что детство — это бесценный склад сокровищ…»

Сокровищами своего детства делятся с читателями авторы этой книги. Среди них: художники, деятели науки, литераторы, музыканты, профессор медицины, доктор геологических наук. Некоторые успешно совмещают несколько профессий: физик и коллекционер, пианистка и архивист, художник и литератор. Но все они — благодарные внуки, которые бережно хранят семейные реликвии. Пожелтевшие листки писем, дневники с потускневшими от времени чернилами, фотографии в старых громоздких альбомах, со страниц которых смотрят на нас робкие гимназистки в белых фартуках, тоненькие барышни в длинных платьях, эффектные дамы в причудливых шляпах… Одни станут женами знаменитых мужей, другие сами обретут известность, третьи будут жить семейными заботами вдали от столичной суеты. Судьба каждой героини — неповторима, а истории их любви достойны пера романиста*. Наши бабушки — наши ангелы-хранители!

Красавица Осень совета не спросит,
Разлюбит кого — обязательно бросит.
И будут дождинки блестеть на ресницах,
И таять улыбки на пасмурных лицах.

Заглянет Зима и надолго останется.
И снежною дымкою небо затянется,
И будет царить снеговая порука,
И снежная баба отряхивать внука.

Ворвется Весна черноглазой цыганкой,
С кострами и песнями, пляской и пьянкой.
И будет кружиться у всех голова,
И шелковой шалью стелиться трава.

В соломенном кресле раскинется Лето,
Рукой заслонившись от яркого света.
И будет жужжать над вареньем оса,
И падать слезой на ладошку роса.

Потом снова Осень, и снова Зима,
И те же деревья, и те же дома.
И бабушкин зонтик от солнца на даче,
И в детство тропинка… А как же иначе?!

Елена Лаврентьева

---

* В публикуемых материалах в основном сохранены орфография и синтаксические особенности источников.

Часть I

ЧЕМ ИЗМЕРЯЕТСЯ ЛЮБОВЬ?

О. Ю. Семенова

Таточка

Вы — великая женщина. Сделанное Вами — неоценимо. Сейчас люди обречены на загадочное одиночество, создать и сохранять семью куда труднее. Вы это сумели. И о возрасте своем забудьте! У вас на лице — годы красивой и деятельной жизни.

Из письма Риммы Казаковой к Н. Кончаловской. 1968

Когда я вспоминаю Таточку (так называли Наталью Петровну Кончаловскую все мы, многочисленные ее внуки, ибо тривиальное «бабушка» было неприемлемо), то всегда сначала вижу ее руки — небольшие, удивительно красивые, «умные руки», как она сама говорила. А потом возникает милое, в морщинках лицо, с раннего утра изящно уложенные голубоватой волной седые волосы и чуть прищуренные, все видящие и все понимающие глаза.

Это была удивительная, неповторимая женщина. Я говорю это не потому, что она была моей бабушкой. Есть женщины творческие, есть примерные матери, есть мудрые жены, есть хорошие хозяйки, но чтобы все это совмещалось в одной женщине, такого я не видела ни до Таточки, ни после нее.

Таточка вставала часов в шесть-семь утра. День начинался с молитвы. В углу ее спальни на даче на Николиной Горе, купленной еще в 1949 году, всю ночь теплилась лампадка. Когда мой папа бывал в командировках, я проводила субботу и воскресенье не на нашей даче на Пахре, а у Таточки. Спала в ее комнате на раскладушке, возле русской печки, расписанной молодой художницей смешными жанровыми сценками. По утрам просыпалась от еле слышного Татиного шепота: она стояла на коленях перед киотом и тихо молилась. Я переворачивалась на другой бок и, свернувшись калачиком, снова засыпала. Поставив в духовку хлеб, который она с вечера замесила, и позавтракав (завтрак состоял из половинки грейпфрута, чашки кофе и двух кусочков подсушенного хлеба с тончайшими, просвечивающими на солнце ломтиками сыра), Таточка садилась писать. К девяти часам, решив, что хватит мне валяться, она срывала покрывала с клеток с радостно попискивающими канарейками, раздвигала плотные полосатые шторы, ставила пластинку с концертом Рахманинова, и весь небольшой уютный ее дом наполнялся пением птиц и музыкой.

До полудня Таточка продолжала писать за столиком из карельской березы с двумя черными лирами по бокам, потом ставила на плиту гречку, готовила на французский манер салат: это было священнодействием, которому она учила, по мере взросления, всех внучек. Салат срывался с грядки, мылся, сушился в за-

© О. Ю. Семенова, 2008

морской сушилке, вращавшейся со страшным грохотом и рычанием, потом резался вместе с помидорами, поливался оливковым маслом и посыпался сверху сухариками, натертыми чесноком. После обеда шила очередное платье Аннушке или мне. Потом выхаживала обязательные два километра по дорожкам сада. Затем вязала носки Егору, или шарф Степану, или джемпер маленькому Темочке. Вечером, если был сезон, мастерски варила варенье, читала. А на ночь рассказывала мне про гимназию, путешествия в Италию, про деда Василия Ивановича Сурикова — много было сокровищ в ее кладовой памяти…

Таточка вошла в мою жизнь рано. Я этого не помню, да и помнить не могу: мне было полтора года, но мама с удовольствием об этом вспоминает. Стояло теплое лето 1968-го. Таточка, как всегда элегантная и подтянутая, в одном из безукоризненно сшитых в ателье Литфонда строгих костюмов, которые она неизменно «оживляла» украшениями, купленными по случаю или изготовленными по ее рисункам на заказ у знакомого московского ювелира, выехала из дома пораньше. Степенный дородный водитель, немец Николай Осипович Штеллинг, не спеша, подрулил на «волге» двадцатой модели к церкви в Перхушково. Таточка, несмотря на свои шестьдесят пять лет, легко вылезла из машины, накинула на голову кружевной платочек и бодро направилась к храму — крестить меня, свою вторую внучку.

Крестины незаладились. Я омерзительно громко кричала и извивалась, неохотно расставаясь с уже завладевшими, по твердому убеждению батюшки, моей душой бесами. Крестный отец, младший брат Натальи Петровны, Михаил Петрович Кончаловский от этих пронзительных воплей и волнения забыл молитву, которую должен был произнести. Пожилой священник Радковский (то ли близкий друг, то ли дальний родственник Татиного мужа, Сергея Владимировича Михалкова) совсем некстати на него рассердился, недовольно бурча: «Что же вы за христианин, любезный, если молитвы забываете?!» Мама испуганно смотрела на это несколько карикатурное священнодействие из дальнего угла храма, в волнении прижимая длинные пальцы к щекам. И только Наталья Петровна оставалась доброжелательно-спокойной. Состояние покоя, вежливой заинтересованности и тихой доброжелательности, коротко и очень точно называемое французами «ame egale» и характеризующее, по их мнению, истинных дам, было выработано ею еще в молодости…

Не могу объяснить почему, но лет до шести я Таточку панически боялась и даже обращалась на «вы», что не мешало мне (да здравствует иррациональность младенческого мышления, допускающего гармоничное соседство страха и любви к старшему!) ее тихо обожать. Тогда еще она проводила всю зиму в своей московской квартире на улице Воровского, и мама, заходя ее навестить, брала меня с собой. Там пахло черным кофе, апельсинами, горькими французскими духами и, чуть-чуть, лавровым листом с кухни, где бессменная домработница Поля готовила что-то вкусное. В просторном холле над роялем висела картина Петра Петровича Кончаловского «Сирень». В столовой —

полотно В. И. Сурикова — портрет красавицы: пышная, румяная, с гривой роскошных темных волос, она неизменно печально смотрела на входящих. Всем появлявшимся в доме внукам родители таинственно тихо, будто семейную тайну, рассказывали, что портрет красавицы был написан Суриковым ровно за год до ее неожиданной смерти от чахотки. Теперь картина находится в Русском музее в Петербурге, и (вот ведь въедливые детские стереотипы!), торжественно подведя к ней недавно моих детей, я поймала себя на том, что рассказываю старую историю с тем же загадочным видом, что и моя мама тридцать с лишним лет назад, на улице Воровского.

Таточка обычно сидела в холле за овальным столиком красного дерева и что-то вязала. Волосы ее, тогда еще каштановые, были красиво уложены в пучок, домашнее, но очень элегантное темно-синее платье в белый горошек свободно облегало фигуру, на пальце тускло поблескивало старинное кольцо с огромной жемчужиной. (Позднее эта жемчужина за один день почернела, и моя мама, суеверно боявшаяся приворотов, наговоров, сглазов и прочей колдовской дребедени, убежденно заявила, что камень принял на себя особо сильный сглаз, направленный на Таточку злостными завистницами.) Оторвавшись от вязания, она несколько секунд пристально смотрела на меня поверх очков чуть прищуренными карими глазами. У меня душа уходила в пятки: казалось, что Таточка видит меня насквозь и знает про все мои последние капризы и шалости. Я робко к ней подходила, целовала в прохладную щеку (горковатый запах духов и почему-то сухих розовых лепестков становился явственнее, почти осязаемым) и испуганно шепелявила: «Тата, Вы мне… Ты мне… разрешите посмотреть камушки?» — «Конечно, Ольгушка, иди, смотри»,— ласково говорила Тата, и я поспешно смывалась. «Камушки» — чудесная коллекция уральских и бразильских минералов Сергея Владимировича хранилась в его кабинете, и я могла рассматривать ее часами. Из холла доносились тихие голоса Таточки и мамы. «Вот видишь, Катенька, ведь меня же она слушается. И совсем не капризничает. Почему же тебе не удается с ней совладать?» — «Да, мамочка, конечно, но ты понимаешь…» Дальше оправдывающийся мамин голос переходил на шепот, и больше ничего из разговоров на «педагогических» заседаниях я уловить не могла… Поблескивали на полках аметисты и топазы (необработанный снаружи камень удивительно контрастировал с драгоценно-переливающимся игольчатым нутром), тихонько позвякивала на кухне кастрюлями Поля, в высокие окна заглядывал короткий зимний день. Над крышами домов поднимался из труб серый дымок и смешивался с розоватым закатным морозным маревом. В полукруглой, эркером, столовой поскрипывал паркет и белели французские прозрачные занавески в белую мушку. По-летнему заливались в клетках канарейки. «Приводи Ольгушку в следующий раз, мы их с Егорушкой запишем»,— заканчивает Таточка разговор с мамой, и мы уходим.

Тата решила записать на диктофон «художественное» чтение внуков. Егор

блестяще справляется с заданием, а я, неделю старательно зубрившая «Вырастет из сына свин...», услышав змеиное шипение диктофона, сбиваюсь. Мама гневно сверкает глазами и досадливо кусает губы. Таточка добро щурится. У меня нестерпимо горят уши и щеки. Хочется стать маленькой-маленькой, крошечной, провалиться в щель в паркете и исчезнуть. Какой ужас, я опозорилась перед Татой!

Все внуки и внучки очень дорожили мнением Таточки. Она была той самой «mater familia», тем центром гравитации нашей семейной «галактики», тем светилом, вокруг которого в раз и навсегда заведенном порядке вращались планетами, спутниками и астероидами дети, невестки, внуки, друзья. Она примиряла, организовывала, упорядочивала всю эту шумливую толпу одним фактом своего тихого присутствия, и каждый находил подле нее то, что искал. Кто — успокоение, кто — радость, кто — вдохновение. Она не требовала ни уважения, ни любви, но все без исключения относились к ней с любовью и уважением. Ей хотели нравиться, ее похвалы добивались, к общению с ней стремились. Она исподволь изучала очередного «новенького» внука или внучку, быстро понимала, что кому интересно и близко, и старалась дать самое для него важное и нужное. Была у нее маленькая невинная хитрость, позволявшая каждому из нас почувствовать себя уникальным, неповторимым, самым дорогим и замечательным. Каждому из нас она в какой-то момент по секрету обязательно говорила, что он-то (она-то) и есть ее самый любимый внук (или внучка). Когда девятилетняя дочка Никиты Сергеевича Аннушка небрежно, но с тайным ликованием пробросила в разговоре, что она у Таты самая любимая, я, шестнадцатилетняя, разобиделась, но со временем поняла, что только так и можно было примирить всю «мелюзгу», не возбудив в наших горделиво-требовательных юных душах разрушительную ревность. Каждый верил в свои, особые отношения с Татой, да так оно в конечном итоге и было. Как увлеченно она беседовала со всеми нами, радуясь пустяшным диалогам и неизменно их записывая.

Из дневника Н. П. Кончаловской:

«Гуляем Оля, Егор и я [Наталья Петровна.— *О. С.*]

— Тата, а ты могла бы ехать на велосипеде? — спрашивает восьмилетний Егор.

— Могла бы, на трехколесном,— отвечаю.

— Да еще двадцать лет бы сбросить,— добавляет семилетняя Ольга.

— Олечка, а если мне двадцать лет прибавить, то сколько сейчас мне будет?

—91,— отвечает Ольга мгновенно и добавляет: — Можно до 107 лет дожить!

— Каким образом? — спрашиваю я.

— Очень просто: никогда, никогда не смотреть телевизор! — отвечает Ольга.

Егор спрашивает Ольгу:

— Хочешь, я тебя бузиной накормлю?

— С удовольствием, только как-нибудь в следующий раз!»

Во время одной из прогулок Таточка спасла Егора от увечья, а может, и от

смерти. На них на большой скорости налетел какой-то бестолковый велосипедист, и Таточка в последнее мгновение прикрыла собой маленького Егора. После того случая у нее так сильно болела спина, что пришлось делать операцию на позвоночнике. Хирургия особо не помогла, и до последних дней Таточка страдала, никогда вслух не жалуясь. Она умела радоваться, находила хорошее в самых незначительных мелочах. Распустившийся розовый бутон на клумбах под окном спальни, собранный утром росистый букетик фиалок, растущих тут же, под розами, особо удачная трель канарейки, поспевшая на грядках клубника — и глаза у Таты начинали весело блестеть, а голос молодо звенел. Радость жизни она унаследовала от своих родителей — Петра Петровича Кончаловского и Ольги Васильевны, урожденной Суриковой. У Таты с раннего детства сложились удивительные отношения с отцом. Она уважала его, пожалуй, даже боготворила и одновременно нежно любила. Папа был лучшим другом, строгим учителем, недосягаемым божеством, милостиво спустившимся к ней и маленькому брату с творческого Олимпа. Папа — последняя инстанция, непререкаемый судья, всегда самый добрый и мудрый. Отношения эти возникли в раннем детстве, когда Петр Петрович неотлучно просидел несколько недель подле заболевшей дочки.

Из дневника Н. П. Кончаловской:

«В 1909 году мы жили всей семьей вчетвером в Абрамцеве. Там возле большого дома Аксаковского есть такой флигель. Вот в нем мы и жили. А в большом доме жили Самарины: Лиза, Юша и Сереженька. Были они после смерти Веры Саввишны на попечении ее сестры Александры Саввишны Мамонтовой. Лиза была чудесная девочка, удивительно умная и хорошая. Сереженьке было пять лет. Он был веселый. Все лето мы проводили вместе. В сентябре я и Сережа заболели скарлатиной. Я болела во флигеле, а Сереженька в Москве. Мишу мама увезла в Москву, а я с папой осталась в Абрамцеве. И вот я помню очень отчетливо вечера в Абрамцеве с керосиновой лампой, рядом с папой. Уже была поздняя осень, когда я начала вставать и ходить по комнате. Помню, мама с Мишей уезжали из Абрамцева в Москву. Я смотрела на нее в длинное узкое окошко. Миша стоял под окном в желтом драповом пальтишке с золотыми пуговицами, в шапочке и желтых кожаных гетрах. Рядом стояла мама, оба мне кивали и улыбались. В дом им войти было нельзя, карантин. И вот все шесть недель моей болезни папа возился со мной, как нянька. Читал мне, кормил меня, лечил. Я помню папино лицо, склонившееся надо мной. Русая бородка, усы, серые глаза выразительные, лицо бледное (у папы никогда не было румянца), волосы копной, чудная улыбка была у папы — лучистая. Вскоре я поправилась, и папа отвез меня в Москву на поезде. А Сереженька умер, и его схоронили в Абрамцеве, рядом с матерью Верой Саввишной, той самой “девочкой с персиками”, которую писал Серов».

В 1914 году Петр Петрович ушел на фронт, и в течение трех лет семья жила

тревожным ожиданием. Что за письма отправляла Тата, двенадцатилетняя, Петру Петровичу!

«Дорогой папочка, я без тебя так скучаю. Ради Бога, попросись на отпуск. Ах, как бы я была рада, если бы вдруг звонок. Телеграмма: "Приезжаю такого-то числа". Я просто не знаю, что бы сделала, если бы ты тут был. Я жду телеграммы с каждым звонком. Время идет так быстро. Прямо летит. Уже не успеваешь оглянуться, как осень, а то весна, а то вдруг зима. Одним словом, очень быстро. Целую. Твоя Наташа». (1915 г.)

«Милый папочка! Я тебя ужасно люблю!!!!!!!

Я сделала невероятные успехи по роялю. Сижу, играю до одеревенения пальцев. Результаты получаются утешительные. Да! Помнишь, папочка, Баха мы с тобой учили. Я его уже давно знаю наизусть и пьеску тоже "Jeu de cercle". Я, папочка, очень боюсь, что ты рассердишься на меня. Я взяла без спросу твоих красок, но не из тюбиков, а со старой палитры, которая валяется на шкапу. Эти краски все пересохли, и лишь только если их расковырять, то в середине едва ли найдется теперь немного мягкой краски, а мне очень нужно было, потому что мы устраиваем выставку "Мир творчества", на которой будут выставлять и другие дети. Напиши, папочка, сердишься ли ты или нет??? А то мне очень неприятно, может быть, они тебе нужны???????

Я страшно хочу тебя видеть и очень соскучилась. Мы уже придумали план для Нового года. Если ты будешь тут, тогда вы с мамочкой, наверное, куда-нибудь уедете. А мы втроем: Грунька, Мишутка и я — наденем лучшие платья, купим вина, квасу и закусок и будем одни встречать Новый год. И потом я буду играть какую-нибудь веселенькую штучку, а они будут пьяные плясать. Вот весело-то будет!!!!!! (1916 г.)

«Христос Воскресе!

Дорогой папочка, я стала умной и стала больше понимать и нередко разговариваю с мамой. Сегодня я, например, узнала, для чего человек живет! Что значит материальная и духовная культура жизни души! Это мне показалось очень интересным. И пока думаю много об этом и развиваю мысли. Я начала играть новую пьесу "Chante d'amour". Это очень хорошенькая вещица!

В этом году мы исповедовались и причащались. Батюшка, что меня исповедывал, велел каждый день читать по 5 строк Евангелия.

Целую тебя крепко. *Наташа*»
(30.03. 1917 г.).

В тринадцать лет Тата сочинила свои первые стихи — героические, про войну, и послала с письмом к «папочке» на фронт. В них, как ни странно, уже угадывался замечательный стиль написанной тридцать с лишним лет спустя книги в стихах «Наша древняя столица». С младенчества она росла среди подрамников, натянутых холстов, запаха красок на палитре, новых папиных картин, перво-наперво выставляемых им на суд Ольги Васильевны, разговоров о живописи его коллег-художников. Творчество незаметно, исподволь входило в мысли, в сознание, в душу. Жизнь вне творчества казалась лишен-

Наташа и Миша Кончаловские с В. И. Суриковым, 1910 (1911)

ной смысла, жалкой, убогой. Мысли путались, будущее виделось как в магическом кристалле — мутно, туманно, калейдоскопом крутились в головенке романтические девчоночьи мечтания, но главное: литературный талант — пусть в зародыше, пусть дремлющий до поры до времени — уже был. А еще была легкость, чисто французская, капельку (именно насколько позволяет хороший тон) легкомысленная. Подарок французской бабушки Елизаветы Августовны де Шарэ своей дочери Ольге Васильевне, в целости и сохранности переданный ею в свою очередь Тате. Как же легки были эти женщины на подъем!

«А не поехать ли нам поучиться у мастеров в Париж (пункт назначения регулярно менялся: Рим, Сиену, Испанию, Капри)?» — раздумчиво спрашивал Петр Петрович Ольгу Васильевну за утренним кофе, поглядывая в окно на заснеженную Москву.

«Конечно, Петечка,— весело отвечала Ольга Васильевна.— Сейчас соберусь». И вечером того же дня вся семья — родители с небольшим чемоданчиком и саквояжем, Наташа в пелеринке, маленький Мишечка в теплом пальтишке и картузике — садилась в поезд, отправлявшийся в Париж или еще дальше: в солнечно-апельсинную Италию или замерзшую под зноем Испанию.

В Париже Ольгу Васильевну принимали за француженку. Говорила она без акцента. Таточка тоже с молодых ногтей свободно болтала по-французски. В Париже провела она с родителями весь 1908 год, часть 1910-го (вместе с дедом Василием Ивановичем). Тюильри и Люксембургский сад, набережные Сены

с букинистами и средневековые улочки Марэ, маленькие прокуренные бистро с гомонящими у длинных стоек посетителями и прохладное безмолвие музейных залов в рабочие дни — все это было Таточке до боли знакомо и дорого с детства. До старости она наведывалась в Париж по литературным делам, а иногда и просто так, останавливаясь в квартире у своей закадычной подруги Жюльетты Фортрем. Французская легкость и наш советский режим — понятия взаимоисключающие. Особенно ощутимо это стало после 1964 года, когда началось сначала осторожное, а потом все более явное «закручивание гаек». Тату оно не коснулось. «В Париж? Ну что же, Наталья Петровна, езжайте. Правила знаете: биография, анкеты в трех экземплярах, характеристика из Союза писателей, данные о приглашающей стороне, фотографии. Заполняйте документы. Все сделаем». Дело было не столько в положении Сергея Владимировича, сколько в «скромном» подарке, своевременно преподнесенном Таточкой государству. Была у нее пара бриллиантовых серег по четыре карата каждая. Неспешно открыв коробочку с драгоценностями, достала она как-то эти загадочно поблескивающие серьги, прищурившись, повертела на свету, любуясь игрой изумительной чистоты камней, а потом, решительно положив в небольшой футляр, отвезла в Комитет защиты мира. Деятельность этой организации была направлена на «сохранение мира во всем мире», но злые языки утверждали, что ювелирные дары, получаемые от «сознательных» представителей творческой интеллигенции, прямым ходом перекочевывали в сейфы партийных жен. Впрочем, это уже детали, а суть в том, что после описанных событий Таточка, не докучая мужу просьбами о помощи, могла сама в любой момент и в кратчайшие сроки оформить документы и ехать в любимый Париж с поистине французской легкостью!

Об удивительной молодости моей бабушки я узнавала из разных источников: ее собственные воспоминания вечером на Николке, книги, письма, мамины рассказы. Все это постепенно складывалось в красочную, полную неожиданностей живую картину, где комичное незримо, но крепко переплеталось с трагичным, а навернувшиеся на глаза слезы внезапно сменялись веселым смехом.

Уже шел 1926 год, а двадцатитрехлетняя Таточка все еще не включилась в бурную послереволюционную жизнь. Главными ее занятиями в то время были: чтение по-французски Гюго и Альфонса Додэ, путешествия по Италии и Франции с родителями, ведение хозяйства с мамой Ольгой Васильевной и игра в четыре руки на рояле третьей симфонии Моцарта с подружкой детства Лизой Самариной (дочкой бывшего предводителя дворянства, прокурора Святейшего синода и внучкой Мамонтова). Умненькая, веселая, пикантная, Таточка пользовалась заслуженным успехом и была желанной гостьей на всех праздниках, как сейчас говорят, золотой молодежи. На одной вечеринке зашел разговор о будущем. Юноши и девушки наперебой излагали грандиозные планы, а Наталья Петровна заявила: «Вый-

ду замуж и рожу пятерых детей!» Тут на нее и обратил внимание самый солидный гость, сорокалетний красавец Алексей Алексеевич Богданов, мой будущий дед. Он был сыном богатого московского купца первой гильдии, державшего до революции завидную торговлю чаем (род пошел с бабки — крепостной, получившей волю и начавшей дело с лотка), и строгой чопорной эстонской немки Марии Романовны Фельдман, пришедшей в дом вдовца с детьми гувернанткой и сумевшей стать хозяйкой. Разницы между двумя старшими сыновьями и детьми, родившимися в браке с Марией Романовной — Лешей и Леночкой,— не делали. Все дети получили блестящее образование. Алексей Алексеевич учился в Англии. С фотографий тех лет на меня чуть свысока смотрит по-кошачьи удлиненными глазами настоящий английский денди в котелке, модном костюме и двухцветных штиблетах с пуговками. «Неужели это мой дед?» — застывал на губах безмолвный вопрос в раннем детстве. С годами я с очевидностью освоилась. Франтоватый «дореволюционный» красавец, которого я никогда не видела, да и мама помнила смутно, медленно входил в мою жизнь. Делали свое дело пожелтевшие фотографии, а главное — встречи с уцелевшей в сталинской «мясорубке» его младшей сестрой, маминой тетушкой Леной. Маленькая сухонькая старушка, напоминавшая добрых волшебниц из андерсеновских сказок, встречала меня ласково. Порой эти визиты носили не только родственный характер. Тетя Лена была феноменальным зубным врачом. В ее чистом кабинетике, выгороженном в квартире, стояла старая-престарая, с ножным приводом(!) бормашинка, с которой она ни за что не хотела расставаться. Тата подарила ей на день рождения новую, сверхсовременную бормашину, но чудо техники хранилось под чехлом, а работать тетя Лена продолжала на допотопной. На ней и «чинила» мои хилые молочные зубы, уже к шести годам погубленные конфетами. Ощущение было поразительное: никакой боли! В беззлобное жужжание бормашинки вплетался тихий дребезжащий голос тети Лены, и за их журчащими разговорами с мамой я, дошкольница, и не замечала, как очередной зуб был просверлен и запломбирован. «Оленька, ты должна чистить зубки каждый день, утром и вечером»,— с немецкой педантичностью наставляла меня на пороге тетя Лена,— обещаешь?» — «Постараюсь,— шепелявила я.— Каждый день, может, и не получится, тетя Лена, а через день чистить буду обязательно». Мама смущенно смеялась, тетя Лена укоризненно качала головой, скрывая улыбку. Мне было покойно и весело, как бывает, когда рядом с тобой добрые родные люди. А вскоре тети Лены не стало. Она оставила маме небольшую аккуратную рукопись, в которой рассказывалось о детстве и юности деда. Остальное я узнала от Таты.

Старший сводный брат деда Петр Алексеевич, женившись на смуглой стремительной еврейке-подпольщице Асе, ринулся в революцию и работал с Лениным в Совнархозе, а по-эстонски спокойный, медлительный Алексей Алексеевич вначале держался от политики в

стороне. Вернувшись в Москву, блестяще окончил Московскую консерваторию по классу фортепьяно (шел на золотую медаль, но, как джентльмен, от нее отказался в пользу учившейся с ним невесты), женился, пошел по стопам отца — в коммерцию. Тогда и предложил ему старший брат, ставший председателем Амторга, государственного предприятия, занимавшегося торговлей с Америкой, с ним поработать.

Гремел фокстротами и стрелял шампанским НЭП, чуть пополневший, но неизменно красивый, Богданов педантично просматривал счета и бумаги — голубые глаза довольно поблескивали: дела предприятия шли отлично. И жена, может, излишне эмансипированная, но образованная и светская дама, хорошела. Только вот детей Бог не дал, но об этом Алексей Алексеевич старался не думать, готовился с братом к длительной поездке через Владивосток, через Японию в Америку для закупки китобойных судов.

Знакомство с Татой, произошедшее за несколько месяцев до отъезда, полностью изменило его жизнь. Начались тайные встречи. Потом наступило лето. Богданов уехал с родными на дачу. Аккуратно писал Тате письма. Жена, с которой прожил одиннадцать лет, становилась чужим человеком. Жалость к ней слабо боролась с желанием объясниться. Дни проходили в молчаливых раздумьях: «Как сказать?» Каждый вечер, так ни на что и не решившись, чувствовал себя бесконечно усталым. Выводил карандашом на тетрадном листочке: «Дорогая Наташа, вечер. Иду спать на сеновал».

Осенним днем 1927 года молодая женщина в густой вуалетке, полностью закрывавшей лицо, зашла в тамбур поезда Москва — Владивосток. Алексей Алексеевич, попрощавшись в купе с женой и проводив ее на перрон, завел незнакомку к себе. Конечно, это была Таточка! Так и не решившись поговорить с женой, Богданов предложил Тате бегство. Развод в то время был делом простым: отправлялось по почте заявление одного из супругов, да и вся недолга. На огромный корабль «Президент Кливленд», отплывавший из Владивостока в Америку, Наталья Петровна поднялась законной женой.

Ах, что это было за путешествие! Плыли первым классом. В великолепном большом холле играл джазовый оркестр, в кадках стояли зеленые деревья, ноги тонули в мягких коврах, на теннисных кортах азартно размахивали ракетками спортивные американцы, парикмахеры и массажисты в накрахмаленных халатах поджидали клиентов в салонах красоты.

Первые три дня Таточка страдала от качки, но потом, проглотив три таблетки всесильного американского аспирина, абсолютно поправилась и в сочельник уже лихо отплясывала на балу фокстроты с мужем и помощником капитана, с которым они сидели за одним столиком.

Каждый день, закутавшись в длинное пальто с меховым воротником, гуляла она по верхней палубе. Поеживаясь от порывов холодного ветра, боязливо любовалась на гигантские, с трехэтажный дом, волны. Не оставляло ощущение нереальности происходящего. Она —

замужняя дама, плывет в Америку, так бесконечно далеко от Москвы, от родителей, от брата?!

Америка встретила Тату небоскребами, смогом, суетой и выхлопными газами. Америка жила сверхскоростной жизнью, зарабатывая деньги, отплясывая фокстроты, выдумывая Микки-Мауса и планируя первую церемонию вручения «Оскаров». Уже были казнены Сакко и Ванцетти, готовился к президентской предвыборной кампании Герберт Гувер, восьмой год процветал сухой закон. Врачи еженедельно регистрировали сотни случаев паралича после употребления недоброкачественного подпольного спиртного. Неподкупный Эллит Несс охотился со своими агентами за Аль-Капоне. Могущественный гангстер обдумывал, как отделаться от навязчивого стража порядка и враждебных группировок. Близилась пулеметная перестрелка в Чикаго, когда он разом перестреляет семерых мешающих «коллег». Неотвратимо надвигался черный четверг. Эрнест Хемингуэй сел за роман «Прощай оружие!».

Тате предстояло провести в Штатах больше трех лет. Все эти годы она подробно, два раза в неделю, рассказывала про свое американское житье в письмах Ольге Васильевне. Начала с описания небольшой квартирки, арендованной Алексеем Алексеевичем в Сиэтле, на 135-й, Hardward North: «Сиэтл — громадный чудный город. Сейчас мы в отеле “Олимпик”, но вчера сняли квартиру очень дешево. Она состоит из одной большой комнаты — гостиной и спальни одновременно, маленькой чистой кухни, ванной с уборной

Таточка, 1926

вместе, комнаткой для туалета и комнаткой для белья и гардероба. Одна стена в гостиной вертящаяся. На ночь берешь за ручку, как будто отворяешь дверь и переворачиваешь целую стенку, и выезжает складная чудная громадная постель, которая сложена кверху к потолку. Ты нажимаешь на кнопку, и она опускается и становится на четыре ножки. На день кровать убирается, стенка поворачивается, и кровать, сложенная кверху, находится в туалетной комнате. А гостиная делается общей комнатой, где стоит большой диван, два кресла, большая лампа на ножке, столик для чтения, столик для курения, на полу ковер на всю комнату, два окна, “рояль”!!!!, т. е. хорошее пианино, и большое зеркало. Рядом кухня, электрическая плита с духовкой. У окна черный круглый лакированный стол и шесть

черных таких же стульев. Затем чудная-чудная белая ванна, тоже электрическая, нажмешь кнопку — и вода в кранах нагревается. Чистота необычайная. Под коврами пол, как зеркало, из светлого дерева. Стоит эта квартира шестьдесят долларов в месяц…»

Тата с детства была приучена к домашней работе. Это ее очень выручило в Америке, потому что прислуга оказалась не по карману. Жалованье мужа было советским, мизерным, меньше, чем у американского каменщика, а чистоту в квартире требовалось поддерживать идеальную: хозяйка, жившая на первом этаже, регулярно устраивала инспекцию. И Тата отдраивала полы, мыла кафель в ванной и на кухне, готовила обед, гладила рубашки. Умудрялась угодить и хозяйке, и придирчивому Богданову (за педантичность Петр Петрович прозвал зятя «немцем»). Домашняя работа не мешала совершенствованию английского — два вечера в неделю Тата проводила на бесплатных курсах английского языка для иностранцев. Вскоре она полностью втянулась в американскую жизнь. Свободно говорила по-английски с молодыми американками, знала, в какой лавке, у какого зеленщика-итальянца недорого купить самые свежие овощи, щадя семейный бюджет, научилась шить себе платья по модным журнальным выкройкам. Только с пылесосом вышла накладка: не зная первые недели о его существовании, Таточка яростно выбивала ковры и подушки на балконе. Под окнами останавливались удивленные прохожие: «Poor girl, she hasn't vacuum cleaner». Многое в Штатах Таточке нравилось, что-то раздражало. Фокстроты, к примеру. На фокстротах была помешана вся Америка, фокстроты слушали по радио с 8 утра и до полуночи, изо всех окон раздавались только фокстроты, ни одной классической мелодии. Соседка, даже уходя из дому, оставляла радио включенным: «I like it! It's a fabulouse popular music!»

«Дорогой папочка,— писала она П. П. Кончаловскому,— если бы ты только мог себе представить, до какой степени тупы американцы в музыке и до чего у них музыка бездарна. Вкусы стоят на самом низком уровне. Чудная японская музыка, китайская, древнееврейские мелодии (я как-то слышала здесь) оставили неизгладимое впечатление. Но американцы ничего не понимают. "Absolutly". Они смеются над китайской музыкой до истерики. Когда какая-то актриса стала петь арию Тоски, то они принялись кричать: "Hey, ho". Пришлось скорей ей заканчивать. А после этого пошли фокстроты и свистопляска, и они бесновались от радости…»

На выставке русских художников в Нью-Йорке Таточка констатировала, что большинство американцев и в живописи смыслят немного. Сверкая глазами и радостно галдя, они, как дети, толпились возле лотков с кустарными изделиями, восхищаясь лукошками, цветастыми платками и деревянными коробками и едва замечая серьезных художников.

Она сообщала в письме О.В. Кончаловской: «Американцы сейчас увлекаются "modern art", а произносят "мадерн арт" (Алеша ужасается). Это как раз

Штренберг <...>, по-видимому, у него здесь много друзей. Покупают только тех, кого хвалят в газетах. Вот о Штренберге писали, и у него много куплено, и перед его работами масса нью-йоркцев. На папочкины вещи смотрят, потому что церкви. А уж на Осьмеркина и Фалька совсем не смотрят. Толпы стояли перед революционными картинами и перед чьим-то портретом Ленина. Живопись их абсолютно не интересует, а только сюжет. Вообще Америка так бедна в отношении искусств, так бездарна, что здесь тяжело жить. Здесь ничего не ценят, кроме долларов».

Иногда Богданова приглашали на балы и обеды в «Golf Club», в компании американских болтунов и сибаритов. Таточка, если удавалось найти молоденькую умненькую американку, веселилась. Но чаще всего ее окружали поджарые старухи с веснушчатыми руками, заинтересованно спрашивали: «Есть ли у вас в России картофель?», «Носят ли русские женщины серьги?» Приходилось вежливо растолковывать правду про российскую жизнь, втайне сожалея о погубленном вечере и пропущенном в соседнем кинематографе фильме с ковбоями, дикими лошадьми и красоткой в рейтузах и револьвером за поясом: очень Таточке такие фильмы в молодости нравились. А еще ей нравилась рыбная ловля. В выходные они с Алексеем Алексеевичем уплывали часов в пять утра на большом катере в океан смотреть на восходящее солнце, наслаждаться тишиной и соленым морским воздухом, радоваться улову.

У Таты с юности была жажда узнавать. Она окрестила это желание все увидеть и понять «жадностью» и просила не путать со скупостью. В Америке в поисках новых интересных мест и уголков каждый день часа по два бродила по городу.

Из письма к П. П. Кончаловскому: «Дорогой, миленький мой папинька!

Сейчас получила твое и мамочкино письмо. Радости сколько у меня!.. Сегодня я провела чудесный день. Пошла искать чего-нибудь интересного посмотреть и напала на естественный музей. Просидела там четыре часа и не могла уйти. Там собраны коллекции всех деревьев, всех цветов, всяких водяных растений, громадные чучела животных всего мира, даже голова мамонта. Но что замечательно, это зал индейцев. Индейцы у них представлены идеально, перенесены большие вигвамы. Их изделия, ковры, одеяла, корзинки плетеные — это верх искусства и верх вкуса. Такое благородство во всем. Какие у них цвета, папочка! Я никогда не видала такой красоты, дикой какой-то. Масса их фигур стоит — каманчи, навайи. Все они коричневые, строгие, мудрые и страшно гордые и благородные, прямо аристократы. Я наслаждалась и переживала детство и Майн Рида. Ты бы с громадным интересом бродил тут. И как жалко, что сейчас оставшихся индейцев стараются окультурить, насильно гонят в школы и обращают в христианство. Но их еще много в горах, и они живут по своим извечным законам. Я сейчас полна этих впечатлений и уж, конечно, буду во сне сегодня гоняться по прериям в мокасинах и в перьях с лассо за дикими лошадьми и толочь кукурузу в деревянной ступке. Правда, это куда лучше,

чем вся американская свистопляска и 40-этажные дома. Сейчас сижу у открытого окна. Подул свежий ветер, сейчас вечер и на улице темно, окна у всех раскрыты и отовсюду несутся вихрем фокстроты всех сортов и размеров. Но я очень хорошо себя чувствую, потому что живу с тобой и мамочкой и будто с вами говорю. Все вы в моем сердце сидите глубоко и крепко, и я горжусь тем, что я ваша дочь».

Тата часто навещала своего крестного — скульптора Коненкова. Вместе встречали Пасху, обсуждали новости российской эмиграции. Коненков показывал маленькие скульптурки, сделанные для «души» — изящные, талантливые, несравненно сильнее того, что ему приходилось делать на заказ. Маргарита, его молодая жена, горделиво принимала гостей в обтягивающем платье, с зелеными, по последнему слову моды, ногтями.

«Маргарита ужасна,— пишет Тата своей матери.— Мне прямо стыдно с ней ходить. Она так вертит боками, так кривляется и задирает юбку, когда садится. Страшно делается, и Крестного жаль... Боровский где-то в Германии, Рахманинов совсем переехал в Париж и продал свой дом в Нью-Йорке. Не вынес Америки. Шаляпин уехал на лето. Крестный рассказывал про проделки Бурлюка, который сейчас здесь. Он, оказывается, был в Японии до Америки. Устраивал там свою выставку. Но она не пользовалась большим успехом, и он выручил мало. В разговоре с японцами они его спросили, не может ли он устроить выставку хороших художников, таких как Коровин, Архипов, Малявин и другие. Бурлюк подумал и сказал, что, конечно, можно и как раз на днях сюда прибудут вещи этих художников, которые он собирал еще в Москве. Сам пошел домой и в три дня накатал всех художников и за всех подписался. (Вот мерзавец!!) Затем устроил выставку, собрал кучу денег и уехал в Америку. Сюда он приехал как турист, и ему разрешили пробыть полгода. Он катался по Америке с женой, совсем устроился, стал работать. Но, на свое несчастье, пошел регистрироваться (а о нем уж все забыли), и когда узнали, что ему было разрешено оставаться только полгода, то вызвали на "остров слез" (место, куда ссылают иностранцев, преступивших закон). Оттуда уже трудно выбраться: их там засаживают. Когда ему сказали, что он не имел права оставаться больше полугода как турист, то он ответил: "Что вы, я разве сказал, что турист? Я ведь сказал, что я футурист! Так что это mistake". Американцам это так понравилось, что они ему разрешили жить в Америке, и через пять лет он получит гражданство. Вот каков Бурлюк».

Сиэтл Тата любила: он напоминал ей Владивосток. Нью-Йорк, где приходилось бывать из-за работы Богданова, не выносила, называя худшим местом на земле. Днем ей не хватало солнца, спрятанного небоскребами, по ночам пугали автоматные, а то и пулеметные очереди: полиция охотилась за мафиози, убегавшие и догонявшие были вооружены до зубов. Сражаясь с коза ностра, власти пошли на крайние меры — дали полицейским право открывать огонь по любой не остановившейся по их указанию машине. Тату поразила история с толь-

ко севшей за руль дамой. Бедняжка не заметила стража порядка, сделавшего ей знак затормозить, и тот ее застрелил. Тате, выросшей среди людей творческих, чиновничья жизнь мужа абсолютно не нравилась. Она не только с детства сочиняла стихи, разбиралась в живописи, но и любила музыку. Петр Петрович пел ей, годовалой, русские народные песни (голос у него был чудесный, сильный). Она замирала, зачарованно слушала. Пел веселое — улыбалась, стоило заслышать печальное: «Зеленая роща всю ночь прошумела...» — как из глаз безудержно текли слезы. Она не стала пианисткой, но играла замечательно и в музыке разбиралась как профессиональный музыкант. Идея пришла сама собой: «Лешенька отлично окончил консерваторию, почему бы ему всерьез не заняться музыкой? Это несравнимо интереснее, чем пароходы и консервные банки, о которых он печется все дни напролет!» Каждый вечер двадцатипятилетняя Тата внушала Алексею Алексеевичу, что его место на сцене. Богданов мало верил в себя, но очень верил жене, а главное — бесконечно ее любил. Он надеялся стать полноправным членом семьи Кончаловских, просил, чтобы в письмах тесть и теща обращались к нему на «ты», мечтал, как они пригласят его присесть на огромный диван, стоявший в мастерской Петра Петровича (об этом излюбленном месте отдыха всей семьи Таточка часто ему с ностальгией рассказывала). Алексей Алексеевич любил все, что любила она. Чтобы доставить ей удовольствие, шел на любые жертвы. Каждый день, придя с работы, немолодой, уставший человек облачался в сшитый Татой шелковый халат и старательно вспоминал забытые за пятнадцать лет произведения Листа, Бетховена и Шопена. Соседи снизу злобно стучали шваброй в потолок. Ни он, ни зачарованно слушавшая его Таточка не обращали на это никакого внимания.

«Я тебе сейчас пишу, а Алешечка играет этюды Шопена,— сообщает она О. В. Кончаловской.— Разучивает медленно, как ученик. Звук у него просто удивительный, полный и мягкий. Алеша только и мечтает, как будет папочке и тебе играть. И сейчас страшно старается. Я должна тебе сказать, что техника у него сохранилась и ему ничего не стоит ее восстановить. Он у меня стал страшно требовательный с тех пор, как начал заниматься. Требует, чтобы я ему руки холила и мазала. Требует, чтобы я ему голову мыла, капризничает, как ребенок. Я с радостью вожусь с ним, ведь никто никогда с ним не возился, как с пианистами возятся, и мне кажется, что он счастлив. Он такой чудный человечек, так преданно и нежно любит меня и, в свою очередь, так заботится обо мне. Он, мамочка, еще покажет себя и в музыке. Я в это верю. А главное, что он сам стал верить. А это самое, самое важное в жизни: вера в себя. Мне удалось ему ее внушить. Я торжествую, я сама не играю (как раньше думала: буду играть), но зато я — пульс Алешиной жизни, как он сам говорит (это я только для вас пишу, и ты никому не повторяй), и причина его возврата к музыке — это я. Ты представляешь, как мой курносый нос теперь радостно задирается кверху?!!!»

Таточка во всем, всегда подражала Ольге Васильевне. Восхищалась ее твердым характером, силой воли, самопожертвованием. Называла своим «дружочком», «карапузиком», «идеалом». Позднее посвятила сонет:

Я голос твой узнаю без ошибки
Из тысячи знакомых голосов.
Он надо мной звучал от первых снов,
Когда меня ты усыпляла в зыбке.
Он таял в нежности твоей улыбки,
Струился в запахе твоих духов.
Он отвечал на мой горячий зов,
Твой голос нежный —
женственный и гибкий.

Твоей походки скованные звенья
Я различу, где только видит глаз,
В ней отражен твой жизненный запас.

Ольга Васильевна отдала жизнь мужу-художнику. Тата была готова отдать ее будущему пианисту. Чем покорнее и увлеченнее занимался дед музыкой, тем реальнее становилась Таточкина мечта сделать из него знаменитость. Ей уже виделась Москва, Большой концертный зал консерватории, афиши с именем Богданова. Близилась, близилась чудесная творческая жизнь, и от предвкушения этого, казалось, почти осязаемого будущего Тата ликовала: «Мамочка, самое лучшее призвание, по-моему (кроме детей), это быть нужной своему мужу как вода и воздух. Алеша без меня не может жить совсем теперь, после того как я его уговорила начать заниматься музыкой и внушила ему эту веру в себя. Если бы ты знала, как я его люблю ужасно, как он мне дорог, как жизнь прямо. Да ты, конечно, знаешь! Тебе ведь папочка так же дорог, как жизнь! Я ведь во всем стараюсь подражать тебе и сама создаю себе твои характер и привычки (это для меня идеал). Очень смешно бывает, когда Алеша сидит, играет, а я куда-нибудь уйду в другую комнату, а он поиграет и пойдет меня искать: “Где ты? Что ты делаешь?” Он любит, когда я сижу и работаю рядом с ним около рояля. ...Мы живем друг другом, твоими письмами и нашей музыкой. Мы оба всегда удивляемся, за что судьба нам послала друг друга и такое счастье. Мы с Алешей третий год переживаем медовый год и ходим, как новобрачные, которым, кроме друг друга, ничто не интересно и не нужно. Надо увидеть нас идущих по улице под руку: никогда и не скажешь, что люди третий год женаты. Мы до сих пор выглядим так, будто только что встретились украдкой на углу улицы и спешим в какой-то кинематограф или ресторанчик, чтобы скрыться от людей. Это прямо удивительно. Утром мы так долго прощаемся, целуемся и крестим друг друга, как будто расстаемся на неделю, а в пять часов вечера кидаемся друг другу в объятия, будто неделю не виделись. Это редко бывает на свете. Но у нас это есть, и мы это бережем».

Они уже собирались вернуться в Москву, как пришло известие, что надо задержаться еще на год. Скрепя сердце остались. Дед продолжал играть по вечерам дома и в гостях у Коненкова. Раз, исполняя органный концерт Баха, сбился посредине, долго импровизировал, с божьей помощью «вырулил» на заключительные торжественные аккорды. Жена Коненкова с уважением заметила: «Ну и память у Вас, Алексей Алексе-

С Катенькой, 1933

евич, такую большую вещь без нот сыграли!» Таточка смешливо написала об этом Ольге Васильевне, но в душе появились первые, едва заметные сомнения: «А что, если такое произойдет на концерте?!» Постепенно они переросли в уверенность. Играл дед прекрасно, мог преподавать, но концертная деятельность ему была заказана. «Мамочка… Вот насчет сонаты. Первую и вторую часть сонаты Алеша играет хорошо. Особенно марш траурный. Первая часть немного суховата, но он просто ее еще не прочувствовал, но марш и этот ветер после марша, который дует над могилой,— просто удивительно. Это ветер, пустота и небытие, ничего нету, кроме ветра и мрака. Это само по себе очень страшно, слишком реально. Алеша играет это очень хорошо: воет ветер, и так пусто-пусто на душе делается. И никакой сладости и в помине не должно быть, и стихийности нету, и тревоги нету, никаких переживаний, потому что человек умер, и человека нету, а есть пустота, ночь и ветер на могиле. И это не должно шелестеть, потому что в шелесте есть романтизм, а это должно выть и должно пусто звучать. Алеша, как тончайший музыкант, это очень хорошо передает. Вообще, я не думаю, что он будет выступать. У него нету блеска в музыке, как это должно быть у эстрадного пианиста. Но у него есть глубина, чувства, большой дух, и дома его слушать просто блаженство».

Петр Петрович и Ольга Васильевна все чаще просили в письмах внука. Тата объясняла, что в Америке «наследник» будет не по карману: врачи и клиники стоят колоссальных денег. Обещала завести ребенка по возвращении в Рос-

сию. Читая письма, где она так убедительно объясняла чисто финансовые помехи, я поразилась ее выдержке. Обожавшая родителей, рассказывавшая им о своей жизни в мельчайших деталях, Тата, чтобы их не волновать, скрыла главное.

Она поняла, что находится в положении еще по дороге в Америку, в декабре 1927 года. Несчастье произошло через несколько недель после приезда в Сиэтл. С утра дед ушел на работу, Тата принялась за уборку. Перебирая бумаги на бюро, случайно нашла письмо его бывшей жены, которой Богданов, к слову сказать, аккуратно высылал часть своей зарплаты. Эмансипированная дама с папироской, всегда холодноватая, равнодушная к мужу и его интересам, «упустив» его, повела себя как средневековая ведьма. Уже собираясь замуж за нового поклонника, прокляла в письме Алексея Алекесеевича, Тату и их будущих детей и внуков. Тем же вечером случился выкидыш. Тата оправилась, о страшном письме постаралась забыть. Выбирала имена почему-то только для девочек. Марфонька… Варенька… В течение трех последующих лет шесть раз обрывались нормально развивающиеся беременности. Старый врач озадаченно протирал очки после очередного осмотра. «Вы абсолютно здоровы, миссис Богданофф. Не понимаю, почему Вам не удается доносить. Такого в моей врачебной практике не случалось!» Перед возвращением в Москву, во Владивостоке уже, родился мертвый ребенок. Плод к моменту родов начал разлагаться, боялись сепсиса. Спасла Тату умелая акушерка по имени Сара, которую она всегда с благодарностью вспоминала. Приехав в Москву, поняла, что надеяться можно только на чудо. Пошла в маленькую церковь в Брюсовом переулке, встала на колени перед чудотворной иконой Богородицы «Взыскания всех погибших» и обратилась с горячей молитвой к кроткому, всепрощающему лику. Через десять месяцев, 7 ноября 1931 года, на колокольню церкви, находившейся недалеко от роддома, забрались озорные мальчишки и встретили «красный день календаря» веселым перезвоном. Под него и родилась у Натальи Петровны и Алексея Алексеевича дочь Катенька, моя будущая мама, большая, весом в пять килограммов, прозванная веселыми медсестрами Царь-бабой. Два года родители не могли нарадоваться на долгожданного ребенка. Лето проводили в усадьбе Петра Петровича — в Буграх, под Обнинском. Просторный деревянный дом с большими окнами, выходящими в чудесный яблоневый сад, был построен еще в конце девятнадцатого века. Долгое время им владел профессор Трояновский. Потом купил Кончаловский. Приезжали в гости Лентулов и Машков с женами. Друзья уходили на этюды, супруги оставались беседовать дома. Жена Машкова, манерная дама, нарочито не выговаривавшая букву «р», заводила разговор о нападках критиков. Глубокомысленно делилась с Ольгой Васильевной: «Петг Петгович такая гуина! Такая гуина! Ему все гавно, а вот Игье Ивановичу не все гавно!» Пряча смешливые искорки в глазах, Ольга Васильевна сочувственно кивала. Дом гостеприимно принимал удивительных

людей: композитора Прокофьева, пианиста Сафроницкого, писателя Алексея Толстого. У прежней хозяйки, дочери профессора, сохранившей за собой небольшой флигелек в саду, часто отдыхал молодой Рихтер. Закатав брюки до колен, бродил ранним утром по густой росистой траве, потом играл. Петр Петрович целыми днями работал в мастерской. Внучка стала любимой моделью: писал ее спящей, играющей, на руках у няни, испуганно стоящей на слабых еще ножках у стула. Наталья Петровна, если дочка «не позировала», играла с ней, радостно хохочущей, перед домом. Алексей Алексеевич уходил с грустноглазым сеттером по кличке Альма в соседний лес охотиться. Он так и не стал профессиональным пианистом, да и в семью Кончаловских по-настоящему не вошел: к «немцу» относились доброжелательно иронично. Семейная жизнь Таты начинала незаметно давать трещины. Внешне все было замечательно. Дед аккуратно ходил на службу и писал длинные доклады. Вовремя возвращался домой, обстоятельно рассказывал о работе. Был вежлив, спокоен, ласков. Тата рассеянно слушала, не слыша, грустно улыбалась. Ей уже отчетливо виделась бесконечная чреда ничем не отличающихся друг от друга дней. Сами собой складывались первые рифмы:

Мысли сонной недосуг
Понимать восторгов шумных,
Все спокойно, все разумно,
Все замкнуто в тесный круг.

Ты вперед глядишь с тоскою —
Все прожито, нету цели,
Только сумрак и покой.
Нет, с тобой я не пойду.

Бывший друг мой,
Друг мой милый,
Я момент не упустила.
Я другую жизнь найду.

Ты ж найдешь себе других.
Тех попутчиков спокойных,
Что, боясь путей окольных,
Ищут скучных, но прямых.

Я пути найду не сразу,
Но свобода — мой маяк…

Незаметно возникшее прохладное отчуждение оказалось разрушительнее открытых конфликтов. Долгие месяцы Тата думала, переживала, сомневалась, затем приняла решение. «Посвятить всю жизнь человеку, не занимающемуся творчеством, я не способна. Мы будем несчастны. Мы уже несчастны, и оба это понимаем». В день рождения деда, после обеда, твердо сказала:

— Алешенька, я от тебя ухожу.

Он, внутренне к этому готовый, спокойно ответил:

— Знаю, Наташенька. Кофейку приготовишь?

Попив кофе, они расстались. Вскоре вслед за его старшим братом посадили и деда. Из тюрьмы он не вышел: покончил жизнь самоубийством…Тате было тридцать два года. Почти каждый день она отправлялась с маленькой мамой в Московский университет слушать лекции по искусству, истории, философии.

— А что же делала мама во время лекций? — удивлялась я.

— С увлечением бегала в университетском гардеробе между студенческими

Таточка, 1939

шубками и пальто,— улыбаясь, отвечала Тата.— Старушка-гардеробщица за ней приглядывала, пока я «залатывала» пробелы в образовании!

За Татой тогда ухаживали многие. Она нравилась, хотя не была красива классической красотой, знала это и даже написала о своей внешности стихи:

О красоте

Что с того, что я не так красива,
Как меня поэт зарифмовал.
Неужели только в этом сила:
Цвет лица, и форма, и овал?

Неужели только римский носик,
Пышный локон, крашеная бровь
На высоты женщину возносят,
Возбуждая зависть и любовь?

Свежесть чувств заменит свежесть кожи,
Свежесть мысли — юных щек пожар,
И пускай мне сердце не тревожит
Мысль о том, что я не хороша.

При широких бедрах — легче роды;
Сердце крепче — при крутой груди;
И у мудрой матери-природы
Есть закон для всех людей один:

Если ты красив, то неудачлив;
Если неказист, то тароват;
Кто бедней лицом — умом богаче.
Кто бедней умом — лицом богат.

Потому-то я своей дочурке
Не просила расписных красот,
Пусть судьбой своей играет в жмурки.
Таровата будет — так найдет.

В тот момент пресловутая судьба готовила ей самой замечательный сюрприз. В ее жизни появился и, как оказалось, на полвека, молодой (всего двадцать один год), талантливый поэт Сергей Михалков. Спустя десятилетия после их знакомства Тата продолжала вспоминать, какие Сергей Владимирович тогда устраивал розыгрыши. Вот самый знаменитый: набрав в большую бутыль яблочного сока, он зашел с Таточкой в лабораторию и серьезно протянул бутыль в окошечко. «В-озьмите, п-пожалуйста, анализ м-м-очи». «Почему же так много, товарищ?!» — растерянно пролепетала медсестричка. «А это от в-в-сех жильцов н-нашего дома!» — невозмутимо ответил будущий автор гимна.

Отличительной чертой Сергея Владимировича была редкая доброта. Мама, четырехлетняя тогда, это сразу почувство-

вала и к нему потянулась. Сергей Владимирович водил ее по ресторанам, заказывая любимое блюдо «дамы» — котлеты. Если не допивала кисель, деловито говорил прыскающим в кулак официанткам: «З-заверните нам его, п-пожалуйста, в б-бумажку!» Таскал с собой по редакциям. Сотрудники их издалека узнавали: «Вот идут писатель и читатель!» Таточка любила мне рассказывать, как, «защищая интересы» будущего отчима, пятилетняя мама прогнала одного из ее поклонников, известного писателя. Тот — серьезный, в очках, в галошах, в очередной раз пришел на чаепитие. Мама «сердечно» встретила его на пороге словами: «Ты к нам больше не ходи. А то отправишься домой без калош!» Вскоре поставила родительнице ультиматум: «Или выйдешь замуж за Сережу, или за никого!» Через пару месяцев Сергей Владимирович и Наталья Петровна уехали в свадебное путешествие по Средней Азии. У Таты был удивительный дар рассказывать о самых «деликатных» моментах своей жизни просто и весело. О чем-то она писала в книгах, что-то оставляла для «личного пользования», для близких, но в обоих случаях говорила о самом смешном, печальном или трагикомичном, ничего не приукрашивая и не скрывая. Однажды она поведала мне историю той поездки.

Добравшись до места назначения, Сергей Владимирович отправился под палящим южным солнцем обследовать достопримечательности, а Тата решила отдохнуть в номере. Через час вернулся сияющий со свертком под мышкой.

—П-посмотри, что я к-купил! Ручная работа! — Сергей Владимирович гордо развернул перед женой «шедевр» местного коврового искусства и вопросительно к ней обернулся, ожидая похвал. Тата возмущенно всплеснула руками:

— Сереженька, что ты притащил!? Это не ковер ручной работы, а сшитая из санаторных ковровых дорожек подделка. Нельзя же быть таким доверчивым. Тебя надули! Верни эту гадость продавшему ее аферисту! Немедленно!

Взамен Тата купила чудесный маленький коврик (он хранится у моей мамы до сих пор, прикрывая, кстати, гигантский потертый сундук Богданова, привезенный им из Америки).

— А Сереженька после взбучки загрустил, посадил меня в поезд и помахал рукой,— продолжила Тата рассказ.

— Как?! — не поняла я.

— Вот так,— рассмеялась она, изображая заикание мужа.: «Ты, Н-наташенька, езжай д-дальше, а я, п-пожалуй, чуть п-подзадержусь!»

— И что же ты сделала? — ужаснулась я.

— Обливаясь слезами, поехала из моего свадебного путешествия домой одна и… уже в положении! — улыбаясь, продолжила Таточка.— Но самое сложное началось потом. Я ведь, Ольгушка, была очень вспыльчива, и из-за этого то и дело возникали размолвки. Мы решили с Сереженькой сходить к знаменитому в то время в Москве психологу Квитко. Худой, подтянутый, он встретил нас на пороге со скрипкой в руке — свободное время посвящал музыке. Рассказали о наших неурядицах. Квитко внимательно выслушал и дал мне два бесценных совета. «Наталья Петровна,— сказал

С Катей и Андроном, 1939

он, оставшись со мной с глазу на глаз в кабинете.— В вашей жизни на первом месте стоит муж, на втором — дети, а на третьем — Вы и ваша работа. С сегодняшнего дня установленный порядок должен измениться. На первое место ставьте себя, на второе — детей, а уж третье оставьте благоверному. А чтобы не гневаться по пустякам, заведите тетрадочку и ставьте себе оценки за поведение. Да-да, как в гимназии. Рассердились на кого-то из домашних или посторонних, вышли из себя — получайте двойку. Сумели сохранить спокойствие — заслужили пятерку».

Тата с мстительным удовольствием выводила себе в течение нескольких дней колы и единицы и вскоре заметила разительные изменения. Эмоции уже не захлестывали ее — она научилась не замечать ленивого хамства продавщиц в магазинах, недостаток внимания домашних, пропускать мимо ушей неприятные слова. Думаю, что совет знаменитого врача был лишь полделом. Только с Татиной силой воли можно было добиться таких поразительных результатов. За пару месяцев из вспыльчивой, гневливой особы она превратилась, вернее, превратила себя в выдержанную, в совершенстве владеющую собой леди со стальными нервами…

Утром ветер разметал березы,
Нашумел на яблони в саду,
Залетел в окно ко мне с угрозой
Опрокинуть лампу на лету,
В уголке за печкой притулился
И затих…

Если первый брак Таты был основан на «диффузии» и растворении в творческой карьере мужа (увы, несостоявшейся): все время вместе, неразлучно, за руку, то второй на этом принципе строить было немыслимо. Сергей Владимирович, несмотря на молодость, был состоявшейся творческой личностью и не нуждался в том, чтобы его подталкивали. Да и сидеть денно и нощно подле супруги, держа ее за руку, не собирался. Жену он любил, но не хотел жертвовать ни своим кругом общения, ни охотой с друзьями, ни творческими командировками. Тогда-то Тата, окончательно расставшись со стереотипом семейной пары родителей, где все было подчинено творчеству Петра Петровича, решила состояться как творческая личность. Помимо стихов занялась переводами. Перевела Бернса. С замирающим серд-

цем отнесла на суд к Маршаку. Тот похвалил. Переводы напечатали. Это было началом. Потом появились многочисленные детские стихи: добрые, поучительные, легко запоминающиеся, либретто к операм, рассказы, книга о деде — В. И. Сурикове, перевод поэмы Мистеаля. Настоящим шедевром стала «Наша древняя столица». Тата писала ее в конце сороковых и начале пятидесятых годов, уже будучи мамой маленького Никиты Сергеевича. Перед началом работы перелопатила такое количество научных трудов и архивов, что стала настоящим экспертом по истории Москвы. Вообще этой одареннейшей женщине была свойственна редкая тщательность в работе. Дочь, внучка и жена знаменитостей, она не давала себе никаких поблажек, зная: то, что простится другой, ей поставят в упрек. В результате стиль у нее выработался безукоризненный — легкий и познавательный.

Говорят, что красота женщины — это наживка, на которую сильный пол клюет, но крючком, с которого не сорваться, является ее ум. Это очень отчетливо прослеживалось в Татиных отношениях с Сергеем Владимировичем. С годами он все больше ее ценил, все чаще советовался. Как-то вернулся грустный с приема в Кремле, где Сталин собирал цвет творческой интеллигенции. Понуро присел на Татину кровать.

— П-представляешь, Иосиф В-Виссарионович сказал: «Т-товарищ Михалков относится к нам к-как к д-детям».

— А что ты ответил ? — заинтересованно приподнялась Тата с подушки.

— Н-ничего! Р-растерялся.

— Сереженька, как же ты не догадался ответить Иосифу Виссарионовичу его же фразой: да, конечно, отношусь как к детям, ведь «дети — наше будущее».

Сергей Владимирович с нескрываемым восторгом посмотрел на жену:

— Н-наташенька, ты г-гениальная женщина!

Несмотря на истинное дружество, существовавшее между ними, вкусы и привычки их разнились. Тата в одном письме Сергею Владимировичу написала: «Ты для меня не тот Михалков — депутат, академик, член правительства. Ты для меня — отец моих сыновей, зять моего блистательного отца Петра Петровича, хозяин в моем доме, мой защитник, человек, меня уважающий… Но то, что мне интересно, тебе непонятно. А то, что тебе интересно, для меня чушь… Чем я горжусь, это твоим талантом, который всегда был сильным, самодостаточным».

Ценя талант и уважая «разность» друг друга, отдыхать они предпочитали по отдельности: Сергей Владимирович в мужской компании, Тата с приятельницами. Во время недолгой разлуки обменивались поэтическими телеграммами, вызывавшими восторг у работниц соседнего отделения связи.

Наталья Петровна — Сергею Владимировичу:

В Путивле плачет Ярославна
Одна, на городской стене.
Мне ж здесь, в Москве, живется славно.
Вернись, дружок, вернись ко мне!

Сергей Владимирович — Наталье Петровне:

Домой вернусь я непременно,
К тебе на крыльях прилечу,
Но за коварную измену,
Смотри, жестоко отплачу!

Непросто заниматься творчеством, имея троих детей и ведя светский образ жизни. Тате это удавалось. К быту она относилась легко и просто. В крохотной ли комнатке в коммуналке, где они вначале жили с Сергеем Владимировичем, в маленькой ли двухкомнатной квартирке, полученной позднее, или в просторной квартире на Воровского, которую я запомнила, повсюду она создавала удивительно уютную и изысканную обстановку. Возможно, это было одним из проявлений ее мудрости. Один крупный ученый утверждал, что способность индивидуума адаптироваться является неоспоримым доказательством его ума. Может быть (это для тех, кто верит в китайский гороскоп), секрет крылся в умении рожденных, как Тата, в год Кота комфортно обустраиваться. Мама до сих пор вспоминает, как в эвакуации, в далекой Алма-Ате с ней и маленьким Андроном, Таточка в первый же день купила на базаре диван, кровать, пару ковров, отыскала где-то старинный стол, все это умело расставила в выделенных ей двух комнатушках и через пару дней принимала московских знакомых. Растерянные гости разводили руками: «Наташенька, как Вам удалось так замечательно и быстро обжиться? Мы все еще на чемоданах, пьем валидол и не знаем, с чего начать! Вы — кудесница!»

Помимо легкости и «savoir faire» были и помощницы. Хотя Тата, как профессиональный повар, варила варенье, закатывала консервы, пекла черный хлеб и изящные круассаны; не хуже портних шила и вязала, но быстро поняла, что каждодневная домашняя работа — это рутина, неблагодарное занятие, отнимающее массу времени. А его можно и должно использовать на дела более интересные и интеллектуальные. Выбор не барыни, но творческого человека она сделала быстро. Пока Тата сидела за письменным столом, хозяйством занималась Поля, о которой я уже упоминала. Кругленькая деревенская женщина со вздернутым носиком и всегда удивленными глазами. Расторопная, веселая, умелая, она пришла в дом двадцатилетней вместе со своим мужем Павлом. Сильно пьющий Павел с вечно одутловатым лицом ухаживал за садом на Николиной горе, Поля отвечала за готовку и уборку. Она провела в доме сорок лет. В первые годы, не освоив еще все тонкости кулинарного искусства, получала иногда от Таточки нагоняй. Впрочем, «нагоняй» — не то слово. Если Поля «запарывала» какое-нибудь блюдо для званого обеда, Таточка, светски улыбнувшись гостям, вставала из-за стола, шла на кухню и тихо, укоризненно спрашивала помощницу: «Полечка, чем же ты думала?» — «Жопой, Наталья Петровна!» — звонко рапортовала Поля, и гости испуганно вздрагивали.

Тата относилась к редкой категории женщин, умеющих дружить. По-настоящему, без интриг, зависти и колких острот за глаза. Помимо несметного количества приятельниц, знакомых и почитательниц были у нее две близкие подруги — пикантная черноглазая Лю-

Наталья Петровна, 1947

ба Дубенская (жена режиссера Зархи) и монтажер с Мосфильма Ева Михайловна Ладыженская. Высокая, худая, с длинным носом, печальными голубыми глазами и короткими вьющимися волосами — дочь еврейского сапожника. Профессионалом она была непревзойденным: работала с Ромом, с Александровым. Я ее помню уже седой, старой, с неизменной сигаретой в иссохшихся пальцах. Тата в молодости тоже курила, но в сорок с небольшим бросила. Произошло это забавно. Однажды (дело было в конце сороковых годов) Ева Михайловна гордо принесла Тате блок «Явы». Замечательный подарок для тех непростых лет. Подымив, они завели разговор о том, легко ли бросить курить.

— Да это просто-напросто невозможно,— авторитетно заявила Ева Михайловна.— Я курю уже двадцать лет и бросить не смогу никогда.

— А я смогу! — азартно сказала Тата.

— Наташенька, привычка — вторая натура. Ты тоже не сможешь, поверь мне.

— Смогу, Евушка.

— Нет, Наташенька!

— Я сказала, что смогу, значит, так и будет. Бросаю курить сегодня, сейчас же.— И в подтверждение своих слов Тата небрежным жестом выкинула блок сигарет в окно.

— Ой! — в отчаянии закричала Ева Михайловна, схватившись за голову.— Ой, какой ужас, их же подберут! — и пулей вылетела из квартиры. Вернувшись запыхавшаяся со спасенным сокровищем, она укоризненно посмотрела на подругу:

— Даже если ты меня очень попросишь, Наташенька, сигареты я тебе не отдам. Я буду курить их сама. А ты завтра очень даже пожалеешь о моей замечательной сухой «Яве».

— Не пожалею, Евушка, потому что никогда больше не буду курить,— сказала Тата и, действительно, больше не курила.

Татины болезни (достаточно тяжелые) никогда не были предметом ее разговоров и жалоб, и оттого никто из внуков о них почти ничего не знал. Много позднее мама мне подробно о них рассказала. Перед войной Тата подхватила стрептококковую ангину, попив минеральной воды на улице из автомата. Ангина дала осложнение на сердце и суставы. Стоило ей пройти сотню метров, как начинали синеть ногти на руках. Постоянно ломило коленные суставы. Болела она терпеливо, ти-

хонько молилась. Мама вспоминает их путешествие (Тата, мама, маленькие Андрон и Никита и его няня Хуанита) в Латвию, летом 1946 года. Остановились в Доме творчества под Ригой, в местечке со звонким названием Дзинтари. Дом творчества власти обустроили в двух старинных особняках. Вокруг раскинулся ухоженный парк с круглыми клумбами. Пятнадцатилетняя мама по нему бродила. С маленьким Никитой сидела няня, молоденькая испанка Хуанита, а Тата от боли и с постели встать не могла: сырой климат спровоцировал обострение ревматизма. В крохотном флигельке жил с семьей старый латыш Ландманис, бывший хозяин усадьбы. Его оставили на хозяйстве чем-то вроде администратора, и он тщательно исполнял свои обязанности. В прозрачно-голубых глазах старика поблескивали игольчатые льдинки ненависти. Зайдя к Тате то ли со свежим бельем, то ли с чайником, Ландманис увидел у нее над кроватью маленький образок Богородицы, который она с собой повсюду возила. Мама навсегда запомнила, как в тот момент изменилось его лицо: льдинки в глазах неожиданно растаяли, старческие морщины от этого стали явственны, и он сочувствующе предложил: «Я вижу, вы болеете. Если Вам что-нибудь понадобится, лекарства или помощь, обращайтесь ко мне».

К пятидесяти годам прибавились больные вены на ногах. Несмотря на это, Тата ежедневно делала изнурительную гимнастику, выхаживала обязательные километры, туго забинтовав ноги эластичными бинтами. Нашла недалеко от Николиной горы умелую массажистку и спасалась массажами. Она была не изнежена, но ухожена. Выглядеть хорошо не стало для нее с годами, как для многих женщин с положением, самоцелью. Стремление максимально долго оставаться в хорошей физической форме объяснялось нежеланием оказаться в тягость окружающим и самой себе. Когда врач в Париже посоветовал сесть на диету, чтобы не утомлять сердце, она немедленно последовала совету, ограничивала себя во всем и, к старости уже, обрела вес своих четырнадцати лет — 74 килограмма. (При ее невероятно тяжелой кости это можно было расценивать как подвиг). Сергей Владимирович, к слову сказать, был против диет и сочинил такие стишки: «Зачем худеть?! Зачем худеть?! Куда тебя, худую, деть?!» Тата долго оставалась пикантной, остроумной, обаятельной, и немало творческих людей ею увлекались. Эти отношения нельзя было назвать ни романами, ни флиртом. Я бы их охарактеризовала как платоническое обожание. Тата становилась предметом поклонения, вдохновительницей, музой. Знаменита история с Павлом Васильевым, посвятившим ей в тридцатые годы несколько замечательных стихотворений. Талантливый, но излишне эмоциональный поэт Тату однажды оскорбил, потом целый день стоял на коленях в подъезде перед дверью — вымаливал прощение. Вымолил, но Тата его с тех пор избегала и в отместку за грубость сочинила ехидные стихи.

Павлу Васильеву

Ты мне прислал живую розу,
Такую красную — как кровь.
Ее шипы, ее занозы
Острей других, простых шипов.

Но аромат меня смущает,
Щекочет ноздри мне до слез.
Пусть Сатана тебя венчает
Венком из этих шалых роз!

В начале пятидесятых годов Тата познакомилась со скульптором Никогасяном, и он загорелся идеей лепить ее бюст. Насколько природа одарила Никогасяна талантом, настолько же обездолила его в плане внешности. Невысокого роста, носатый, волосатый до последней крайности. Приехав как-то жарким летним днем на Николину Гору работать над бюстом, он решил вначале освежиться и отправился купаться на речку. Петр Петрович, выбравшийся из Бугров навестить дочь, в это время прогуливался у берега. Вернувшись домой, он сообщил всем домашним, лукаво улыбаясь: «Представляете, был сейчас возле реки. Смотрю издалека, сидит на песке большущий лохматый пес, подошел поближе. Ба, да это же Никогасян на солнышке сушится!» Все, конечно (кроме Таты), над бедным ваятелем смеялись. Никогасян настолько восторженно рассказывал о Тате у себя дома, что вызвал приступы необоснованной ревности у молодой жены (по воспоминаниям Таты, это была эффектная блондинка моложе ее лет на двадцать). Тата не опускалась до объяснений с мнительной дамой, а просто-напросто сочинила стихи:

Ревнивой красавице

Недружелюбие тая,
Глазами дивными пытливо
Ты смотришь на меня, а я —
Немолода и некрасива.

Прошла пора моей весны —
С природою свожу я счеты,
И мне уже очки нужны,
Чтоб разглядеть твои красоты.

Но жизнь устроена хитро —
Она мне слово подарила.
И я беру мое перо,
Оно мне — молодость и сила.

В нем — горечь дорогих потерь,
В нем — свет и радость созиданья.
А ну, красавица, теперь,
Вступай со мной в соревнованье!

Тата всегда любила фотографироваться, думаю, в этом проявлялась артистичность ее натуры. В фас и в профиль, в разных нарядах и украшениях — настоящие снимки кинозвезды. Самая моя любимая фотография: она в сорок с небольшим, с высокой прической, маленьким кокетливым локоном у лба, в меховой накидке, в пол-оборота смотрит чуть вверх: прелестные, чуть раскосые глаза, красивый рот, капельку вздернутый нос. Много лет спустя (Таты уже не было) я с гордостью показала эту фотографию, которую всегда носила с собой в бумажнике, старой, всеми почитаемой родственнице моего мужа. Крупная старуха с острым носом и перекошенным из-за застуженного лицевого нерва ртом была известна своей проницательностью, жестким, мужским каким-то умом, точностью оценок

и неумением врать. Она, не видавшая Тату при жизни и не читавшая ее книг, потому что жила в Бельгии и не говорила по-русски, на несколько секунд впилась ястребиным взглядом в фотографию. «N'est-ce pas ma grand-mère etait très belle?» (Моя бабушка была красива, не так ли?) — спросила я. Оторвав пронзительный и оттого кажущийся злым взгляд от фотографии, она уставилась на меня в упор и каркающе отчеканила не терпящим возражений тоном: «Oui, ma chêre, mais avant tout c'etait une grand dame — ca se voit tout de suite!» (Да, моя дорогая, но, прежде всего, она была гранд-дама, и это видно с первого взгляда!)

По-русски можно сказать проще: Тата была царственна. Не важна, не строга, не высокомерна, а именно царственна. Это сразу же, только войдя в семью, заметил ее зять и мой отец, будущий писатель Юлиан Семенов, а тогда молодой научный сотрудник исторического факультета Московского университета, эрудит Юлик Ляндрес. Поехав на отдых с моей мамой и большим своим другом в ту пору, Андроном Сергеевичем, которого он ласково называл «Андрончик, братик мой», отец написал «царственной» теще шутливое стилизованное письмо:

«Матушка-государыня, Наталья Свет Петровна!

Бьют тебе челом из-за моря-окияна рабы твоя Юлька Семенов, Андрейка Сергеев и Катька, пребывая в добром здравии и отменном аппетите. Местечко, в коем нашли мы любезное пристанище, изрядно хорошее, солнечное и водами моря-окияна омываемое. Остановились мы в хижине гостеприимной аборигенши. Слюда в окнах отменно прозрачна, не иначе как из пузырей неведомых заморских рыб сделанная. В первый же день девка Катька, вопреки ударам хлыста мужа ея, пошла на берег днем и там, оставшись в одиночестве, предалась двухчасовому сну, следствием чего является ожог спины. Сын Сергеев ежечасно о пище стонет, на дев глазами пялит и плавает со мной не далее как в пяти метрах от берега, опасаясь неведомых рыб, а также подводных лодок, кои перескопы свои, ако иглы из пучин морских выставляют.

Матушка-государыня, припадаю к стопам твоим, моля Бога нашего доброго тебе здравия, щастья и прочаго и прочаго. Остаюсь твой покорный слуга и раб

Юлька.

P. S.

Шлю поцелуи своя пресветлому отцу и заступнику нашему Сергею Свет Владимировичу, если он еще на своем линкоре не отправился бороздить пучины в сопровождении славных своих опричников молодцев, и наследному сыну Никитке-бандуристу, коему мы отменный подарок привезем, если поведение его и музыкальные упражнения похвалы заслуживать будут».

Далее следует приписка мамы в том же духе:

«Матушка-государыня, письмо свое с дядьями-ягерями пришлю, поскольку сейчас в сем плачевном положении нахожусь».

Послание завершал мамин рисунок — ее, обгоревшей, автопортрет.

С книгой «Дар бесценный», 1970-е гг.

Чем известнее становилась Тата, тем чаще ее приглашали на выступления в школы, институты, военные части. Выступать она любила, выступала прекрасно. Это были не творческие вечера, а настоящие спектакли. Она рассказывала о Сурикове, Эдит Пиаф, Жорже Брассенсе, Жульетт Греко. Независимо от темы, увлекательное повествование захватывало зрителей полностью. На фотографиях тех лет Тата то в толпе школьников с довольными мордашками, то с улыбающимися сотрудницами какого-то учреждения, то в окружении дородных военных, смотрящих на нее с откровенным мальчишеским восторгом. Она зажигала, заряжала публику: темперамент у нее был сумасшедший. А еще был, столь свойственный всем талантливым людям, страх не успеть. Она не давала себе отдыха, и с возрастом темп ее жизни не замедлялся, а вопреки всем законам природы убыстрялся.

Из письма Н. П. Кончаловской к Римме Казаковой. 1968 год:

«Я начала писать только в тридцать лет, и поэтому к шестидесяти пяти годам у меня сделано мало. И сейчас, когда дом полон невесток, внуков, дивное дело, надо ехать в Рязань и выступать перед огромными аудиториями студентов, жаждущих стихов Брассенса и певцов Франции. Там благодарны тебе, и это — праздник».

Злые языки утверждали, что за спиной могущественного мужа Наталья Петровна ничего не знала о реальной жизни: существовала как в аквариуме. Это неправда. Она объездила со своими спектаклями полстраны, вдумчиво беседовала с людьми, все примечая и запоминая. Лишь однажды она о нашей советской аскетической действительности забыла. Эта смешная история произошла на Новый год. В течение долгих лет он встречался всей семьей на Николиной Горе. Вокруг раздвинутого стола из карельской березы рассаживалось семейство, друзья, и веселье продолжалось до рассвета. Однажды Таточка решила сделать сюрприз и тайком заказала в соседней деревне тройку, запряженную в большие сани. Когда на темном заснеженном дворе весело зазвенели бубенцы, Сергей Владимирович настороженно спросил:

— Н-наташенька, это что т-там т-такое?

— Тройка приехала, будем кататься,— весело ответила Тата.

С дочерью, Николина Гора. 1958

Испуганный Михалков широко раскрыл глаза и даже больше стал заикаться:

— К-какая т-тройка!? Я же ч-член п-партии! Т-ты п-представляешь, что в «П-правде» напечатают?!

Поспешно выйдя к колхозникам, он щедро с ними расплатился и отправил довольных восвояси…

Начиная с середины семидесятых годов Тата почти безвылазно жила на Николиной Горе. Сергей Владимирович приезжал лишь на выходные, всю неделю, как ярый урбанист, проводя в Москве, благо о нем заботилась старенькая уже Поля. Чувствовала ли Тата одиночество? Конечно. Однажды даже написала мужу горькое письмо. К адресату оно не попало. В последний момент Тата оставила его в своих бумагах. Она отчетливо поняла, что никакое письмо ничего изменить не сможет. Они, столь тесно связанные, понимающие друг друга с полуслова, любящие друг друга десятки лет, обречены проводить врозь больше времени, чем вместе. Замечательно объяснила это она в письме к моему отцу:

«Я — человек счастливый… Однажды ты был с Катей на моем дне рождения, когда Сергея не было, а были Ливановы, Ефимовы, Гончаров с женой, Павел Марков. Помнишь, как Женя Ливанова сказала мне: “Как ты могла упустить Сережу? Ведь он как писатель пропадает, идет к администрированию, к почету, орденам, а искусство его остается позади. Как ты это допускаешь?” И тогда я разразилась речью о том, что не имею права ни в чем упрекнуть моего Сергея, потому что он мне создал такие условия, когда я могу писать, что хочу, жить, как хочу, ездить, куда хочу, и за его широкой спиной я выросла в писателя той категории, которому не приходится вымарывать из своих сочинений ни одного слова! Это же счастье, и поэтому я пью за здоровье человека, за чьей спиной выросли и я, и наши сыновья! И тогда Андрей Гончаров разразился тирадой такого восхищения моим отношением к Сергею и говорил такие страстные слова, что его жена просто плакала от волнения и радости. Я и сейчас все время не устаю внутренне благодарить Сережу за его доброту и самоотверженность в отношении нас троих. Хожу по Николиной и целую каждую сосну, приговаривая: “Спасибо тебе, Сереженька, ангел мой! Тебя хоть со мной никогда нет, да только каждую минуту я чувствую твое присутствие во всем. В комфорте, в заботе, в холодильнике, в теплой воде моей ванны, в розах, цветущих перед окнами. А тебя нет со мной, не можешь ты быть рядом, пото-

му что в крови у тебя иной резус, чем у меня! И ничего с этим не поделаешь…"» Татиной гордостью и радостью были ее сыновья, ее «мальчики». В письме к подруге она признавалась: «Я вкладывала в них обоих огромные свои запасы. Лучшие мои произведения — Андрон и Никита». Их успехи и неудачи воспринимались ею как личные. Злобные нападки завистников приводили в отчаяние. Страшнее всего для Таты были сыновьи творческие размолвки. Памятуя об этом, они старались их от «мамочки» скрывать. Каждое утро выходили бок о бок из старого дома, отданного им родителями и стоявшего напротив Татиного, построенного позднее, и дружно направлялись к воротам — на обязательную пробежку. Таточка печально стояла возле окна на кухне и грустно мне говорила: «Андрончик и Никиточек думают, что я ничего не вижу, а я все-все вижу. Сейчас, за воротами, мальчики разойдутся. Один побежит налево, другой направо. Господи, поскорей бы они помирились!»

Таточке не удалось сделать пианиста ни из моего деда, ни из сыновей. Оставалась последняя, слабая надежда — я. Возможно, она делала ставку на генетическое чудо: «Вдруг у Ольгушки выявятся техника Алексея и бескомплексность Юлика? Ей надо немедленно начинать заниматься музыкой!» Сказано — сделано. Тата решила подарить мне к семилетию пианино и взялась лично его выбрать. В тот день мы с мамой зашли за ней на Воровского, куда она на пару дней заехала. Присели «на дорожку» втроем в холле. Вдруг в Татиной комнате раздался грохот. Сорвалась с гвоздя и

С Андроном и Никитой, 1970

рухнула на кровать, на которой отдыхал Сергей Владимирович, картина Кончаловского «Поезд» (маленький поезд, весело мчащийся по рельсам среди зеленых лугов и цветущих яблонь). К счастью, Сергей Владимирович не пострадал и моментально схохмил: «Я п-попал п-под п-поезд!»

Тата долго, тщательно выбирала инструмент в музыкальном магазине. Мягко брала аккорды красивыми руками, склоняла голову, сравнивая звук, наконец указала тросточкой на коричневое пианино: «Вот это и возьмем». Сердце у меня радостно забилось: «Я буду играть!» В течение двух последующих недель, сразу после того, как натужно кряхтящие грузчики затащили пианино в столовую, а старенький настройщик его настроил, я просыпалась счастливой. Ощущение праздника наполняло сразу же, как только открывала глаза. Нужно было несколько секунд, чтобы вспомнить почему. В сознании ярко, как солнечный лучик, вспыхивала

мысль: «Конечно! Пианино! У меня же теперь есть пианино!» И я бежала к нему и трогала желтоватые клавиши, и мечтала, что скоро, очень скоро начну играть. Совсем как Тата!

Мой учитель, сын старенькой «коммерсантки» Софьи Михайловны, время от времени приносившей маме заморские наряды, появился пасмурным днем: маленький, толстенький, пахнущий сладкой микстурой, кашляющий глубоким мокротным кашлем. Наиграл «Ах, вы сени, мои сени». Я повторила одним пальцем. Он закашлялся. В соседней комнате Софья Михайловна горячо говорила маме: «Мишенька — очень способный педагог. Вот увидите, как Оленька заиграет». Пристроив сына, Софья Михайловна испарилась. Он приходил два раза в неделю, играл «Сени», всегда только «Сени», кашлял. Через месяц я расплакалась. «Мася, я больше не хочу заниматься!» Мама сочувственно вздохнула: «Как хочешь, маленькая». Позднее выяснилось, что «Мишенька» никогда не был учителем музыки и почти не умел играть. Он работал официантом. Других преподавателей мама не искала. Расстроенное пианино печально молчало в углу столовой. Жалобно дребезжало, когда папа с друзьями наигрывал песенки своей «салаговой» молодости. Через два года оно незаметно, как обиженный хозяевами хорошо воспитанный гость, исчезло. Больше Тата из внуков пианистов делать не пыталась…

В день Петров, пропахший свежим сеном,
Я с утра на луг пойду бродить,
Где цветы да травы по колено,
Где еще не начали косить.

Мне оттянет руку до плеча
Белый сноп смеющихся ромашек,
На которых — желтая печать
С массой черных, маленьких букашек.

По меже пройду ногой неловкой,
Там в овсах мечтают васильки,
Как свежи, как сини их головки,
Как прямы, как сухи стебельки.

Мой букет огромный, желто-белый
Подсиню цветами васильков.
Как синят на речке обмелелой
Наши бабы желтое белье.

Клевер красный, пчелами воспетый
Мой букет согреет, оживит,
Колокольчик нужен для букета.
Он лиловым звоном прозвенит.

В день Петров украшу стол широкий
Я последней пестротой полей.
Из села проселочной дорогой
Уж пошла ватага косарей.

Те школьные каникулы я, как обычно, проводила между папиной дачей в поселке писателей на Пахре и Татиным домом на Николиной. В доме, как всегда летом, толпились внуки, друзья, друзья детей, дети друзей. Появлялись знаменитости: Марчелло Мастрояни, старенький уже, спортивный Роберт Де Ниро, с которым Никита Сергеевич азартно играл в футбол на лужайке перед домом. Тата всех любезно принимала, поила кофе, говорила об искусстве. Для именитых гостей выносила большую скатерть и просила написать что-нибудь на память. Потом вышивала эти забавные надписи разноцветными нитками. В прихожей предупредительно прикрепила кнопочками к двери чет-

В лесу на Николиной Горе, лето, 1962

веростишие: «Когда бывает в доме людно, // Мне мыть полы ужасно трудно.// Чтоб дом не превращать в сарай, // О щетку ноги вытирай!» Иногда, чтобы отдохнуть от столпотворения, уходила погулять в лес и брала меня с собой. В тот день мы вышли довольно рано. Маленькая тропинка, начинавшаяся за калиткой, вывела на небольшую асфальтовую дорогу с бересклетом по обочинам. Мы прошли мимо дач Минцера и академика Энгельгардта, мимо обелиска в честь погибших в тех местах в Великую Отечественную солдат, сделанного никологорскими детьми по Татиной задумке, и углубились в сосновый бор. Опираясь на палочку, Тата, не спеша, любовно как-то ступала по песчаной лесной дороге. Мы достаточно быстро для ее семидесяти пяти лет отошли километра на два и оказались в смешанном лесу. Меня в то время интересовала живность. Я зачитывалась книжками Даррелла, три раза в неделю бегала в Клуб юных натуралистов Московского зоопарка, дежурила возле клеток с животными и писала, одиннадцатилетняя, «научный» труд об иерархии дымчатых мангобеев в неволе. Зная, чем меня увлечь, Тата рассказывала про соболей в питомниках, которые, непонятно как, чувствуя приближающуюся «казнь», выгрызали себе на спинках мех. Экзекуцию откладывали на несколько недель, но, как только мех отрастал, зверьки снова себя уродовали. Меня эта история поразила. Несколько минут мы шли молча, а потом Тата негромко прочла свои стихи, посвященные мужественным зверюшкам.

Николина Гора, 1965

Неожиданно дорогу преградила почти лежащая на земле тоненькая березка, согнутая упавшим деревом. «Бедненькая!» — сочувственно вскрикнула Таточка и бросилась ее высвобождать. Я, как могла, помогала. Березка сначала было выпрямилась, но потом снова грустно согнулась. Мы вернулись на следующий день с крепкой веревкой, подвязали ее и потом несколько лет кряду навещали. «Как там, интересно, наша березка? — мечтательно улыбаясь, спрашивала Таточка ближе к весне.— Надо нам будет ее проведать». И в первый же летний день мы отправлялись к «спасенной». С каждым годом шли все медленнее. Тата все сильнее опиралась на палочку, все неувереннее ступала своими старенькими тупоносыми французскими туфельками с низким стоптанным каблуком по неровной лесной дороге. Очередной весной, произнеся привычные слова: «Как там, интересно, наша березка?» — вдруг печально закончила: «Мне, пожалуй, до нее уже не дойти».

Старея, Тата мало менялась. Снисходительная к окружающим, требовательная к себе, она продолжала работать. Подгоняла себя, не давала спуску, не обращала внимания на хвори. Все недомогания объясняла магнитными бурями. По вечерам деловито доставала из шкафчика карельской березы батарею лекарств и задумчиво говорила: «Что бы мне сегодня принять, чтобы завтра проснуться?» Обычно выбор останавливался на паре-тройке таблеток от давления, сердцебиения и головокружения. Ранним утром спешила к письменному столу. Свою последнюю книгу, про кота-путешественника, решившего облазить все крыши мира, восьмидесятипятилетняя Таточка дописать не успела. Заболевшую, ее увезли в «кремлевку» в сентябре 1988 года. Она лежала в просторной палате. В большие окна грустно заглядывали желтеющие деревья. Тата попросила меня принести пилочку для ногтей: хотела привести руки в порядок (до последней минуты оставалась истинной женщиной). Придя на следующий день с маникюрным набором, я устроилась на краешке кровати. Тата с довольным видом положила набор в тумбочку, помолчала, смотря куда-то вдаль, за желтые деревья на фоне светло-голубого осеннего неба, а потом вдруг тихо сказала: «Ольгушка, если у тебя будет возможность уехать, уезжай». Я не поверила своим ушам.

Николина Гора, 1985

Таточка, страстно любившая Россию, тосковавшая по никологорским далям даже в обожаемом ею Париже, благословляла меня на какой-то, еще гипотетический отъезд, будто заранее прощая. Разглядела ли она мою рыхлую инфантильность и глуповатую мечтательность и поняла, что российская жизнь не для меня, или каким-то загадочным образом приоткрылась ей завеса будущего? Не знаю. Но слова Таточки оказались пророческими: спустя несколько лет я оказалась за границей.

Через две недели Таты не стало. Маме, пришедшей незадолго до кончины, она серьезно, отрешенно сказала: «Я — не ваша»…

Пустота, образовавшаяся после ее ухода, была не заполнима. Тоска пронзительна. Все дети, внуки и друзья, независимо от возраста, чувствовали себя заблудившимися в сумрачном лесу малышами. Плакали старые люди, убивалась Ева Ладыжнеская: «Почему Наташенька ушла?! Я должна была уйти раньше: я на три года старше, почему Наташенька!?» Тата относилась к породе людей, по которым с годами скучаешь все больше, вспоминаешь все чаще, и сердце каждый раз сжимается со свежей, щемящей болью. У Сент-Экзюпери есть грустный рассказ, где он, заблудившийся, без горючего, в своем маленьком самолетике над темным бескрайним морем, всю ночь держит курс на звезду, приняв ее за прибрежный маяк. Чем дальше, тем больше я сравниваю Тату с далеким, но очень ярким маячком. (Или с далекой, яркой звездой? Это, пожалуй, одно и то же, ибо в

обоих случаях присутствует фактор равнения на недосягаемость.) В сложных ситуациях, когда непонятно ни что делать, ни что говорить, непроизвольно возникает вопрос: «А как бы себя повела Тата? Что бы она сказала?» И пусть не всегда (образец слишком совершенен), но правильное решение приходит. Много лет назад, когда первая осень без Таты сменилась долгой холодной зимой, я посвятила ей стихи. Ими и закончу мой рассказ об этой удивительной женщине, умевшей всегда оставаться самой собой — искренней, вдумчивой, терпеливой, честной, одним словом, настоящей.

Ты ушла.
И телефон молчит,
Даже если в доме людно.
Ты ушла.
И кто-то говорит,
Что оттуда
Возвращаться трудно.
Ты ушла туда,
Где ясный свет,
Ты ушла туда,
Где вечно лето,
Шум деревьев
И густой рассвет.
Я не знаю,
Правильно ли это,
Что ушла.
И, горечь затая,
Все звоню к тебе,
Ища совета,
Все плутаю
В снегопадах января
С двухкопеечною стертою монетой.

А. А. Овчинников

«В память неизвестной героини…»

Моя бабушка, Елизавета Петровна Сперанская, в девичестве Филатова, была очень колоритной особой с современной точки зрения и одновременно весьма типичным представителем своего времени и того круга людей, к которому она принадлежала. Я хорошо помню бабушку, когда та была уже в весьма преклонном возрасте. Сведения о более ранних годах ее жизни основаны на рассказах моей мамы, Натальи Георгиевны Сперанской, воспоминаниях самой бабушки, а также на множестве семейных фотографий с указанными датами на обороте. Некоторые факты биографии Елизаветы Петровны, довоенной жизни ее семьи на даче в поселке Деденево и в эвакуации во время войны почерпнуты мной из опубликованных мемуаров А. Н. Крылова и Н. Н. Семпер (Соколовой), из кратких рукописных воспоминаний моего деда, Георгия Несторовича Сперанского, и двоюродного брата бабушки Виктора Борисовича Филатова, а также из дачного дневника, который вела сама Елизавета Петровна, к сожалению, не очень регулярно.

Сначала немного истории. Елизавета Петровна родилась в декабре 1877 года в имении своего отца, Петра Федоровича Филатова, в селе Михайловка Саранского уезда Пензенской губернии. Петр Федорович был небогатым помещиком, живущим с продаж зерна, выращенного на принадлежавших ему землях. Он имел медицинское образование, работал земским врачом и успешно занимался частной практикой. Петр Федорович много путешествовал. Его перу принадлежит весьма оригинальное описание путешествия по Персии (П. Ф. Филатов «Письма из Персии»; Одесса, 1909), которая в 19-м веке относительно редко посещалась европейцами. В 1903 году он работал врачом на строительстве Маньчжурской железной дороги на Хинганском перевале. Во время русско-японской войны получил место главного хирурга военно-полевого госпиталя в Мукдене под руководством главноуправляющего Красным Крестом князя Васильчикова, к которому, по утверждению А. Н. Крылова, попал благодаря общему с князем увлечению охотой и борзыми собаками. Мать бабушки, Вера Семеновна Филатова, была отличной хозяйкой и кулинаркой. У меня хранится составленное ею кулинарное руководство (В. С. Филатова «Но-

© А. А. Овчинников, 2008

Лиза Филатова в кругу семьи, 1888 (1889)

вое пособие хозяйкам: Домашний стол и хозяйственные заготовки». Москва, 1910), в котором содержится немало полезных сведений и рецептов.

После того как родители моей бабушки, разорившись, были вынуждены продать свое имение, юная Лиза Филатова переехала в Москву и поступила в Московский Елисаветинский институт для благородных девиц, который окончила в 1895 году, получив специальность детской учительницы. В сохранившемся до наших дней аттестате с «отличными и весьма хорошими» отметками по Закону Божьему, русскому языку и словесности, французскому и немецкому языку, математике, географии и истории, естествоведению и педагогике» сказано, что «сверх того она обучалась рисованию, чистописанию, музыке, танцованию, рукоделиям и домашнему хозяйству и при выпуске удостоена награждения книгою с надписью». В этот период она некоторое время жила в семье своего дяди, Нила Федоровича Филатова, который к тому времени был известнейшим детским врачом, основоположником отечественной педиатрии, автором множества учебников и монографий по детским болезням. В его семье она и познакомилась со своим будущим мужем, любимым учеником Нила Федоровича, Георгием Несторовичем Сперанским, вхожим в его дом, всегда полный молодежи. К золотой свадьбе, отпразднованной Сперанскими в 1948 году, двоюродный брат бабушки Виктор Борисович Филатов подарил юбилярам свои краткие воспоминания об их общей юности. Вот один из любопытных фрагментов: «Этот кружок молодежи создался в доме дорогого нам всем Нила

Федоровича Филатова — дяди Нила — и расцветал при его обаятельном, ласковом участии и под его руководством. Разница в возрасте нисколько не препятствовала нашему общению с дядей Нилом. Он был молод душой, и мы чувствовали его членом нашего кружка молодежи. Одним из увлекательных занятий кружка было сочинение стихов. Каждый из членов кружка должен был выявить свое поэтическое дарование. Сборник стихов составлялся редакцией в составе Владимира Петровича (брата Елизаветы Петровны.— *А. О.*) и Всеволода Ниловича (сына Нила Федоровича.— *А. О.*) Филатовых. Наш юбиляр Георгий Несторович принимал активное участие в составлении сборника... направление которого должно было быть сатирическое. Участие Елизаветы Петровны в кружке молодежи было иное, чем Гони (домашнее имя Георгия Несторовича.— *А. О.*): она не писала стихов, но вдохновляла членов кружка и пробуждала их поэтические дарования. Ее имя часто упоминается в произведениях "поэтов", к ней обращены различные письма, стихотворения и приветствия». Редакция сборника оповещала читателей, что Елизавета Петровна «вышла замуж... и ждет разрешения новым поэтическим бутоном, который, как надеется редакция, любезно согласится в недалеком будущем украсить страницы сборника своим талантом, который составится из талантливости Георгия Сперанского и незаурядных поэтических задатков, имеющихся у Елизаветы Петровны». Речь шла о вскоре родившейся первой дочери Сперанских Катюше, которую редакция приветствовала таким стихотворением:

С дочерью Катей, 1900

«Лишь только вышла из яйца — зад лучше был лица. Теперь, что лицо, что зад — один разряд. А через год, глядишь, лицо уж с задом не сравнишь».

Забегая вперед, скажу, что Екатерина Георгиевна впоследствии оправдала надежды друзей ее родителей, так как стала довольно известной писательницей, автором нескольких детективных романов на английском языке, изданных в Англии под псевдонимом Кэй Линн.

Поженившись в 1898 году, Елизавета Петровна и Георгий Несторович сняли небольшую квартиру в Неопалимовском переулке, недалеко от Зубовской площади, где через год у них родилась дочь Екатерина (1899 г.), а затем сын Николай (1903 г.). Георгий Несторович вскоре приобрел известность как детский врач и, работая в клинике Н. Ф. Филатова, бывшей Хлудовской детской боль-

нице (теперь детская клиника ММА им. И. М. Сеченова), имел к тому же и частную практику, что позволило ему в 1906 году купить у графа Головина участок земли в 60 км от Москвы в поселке Деденево на станции Влахернская (ныне Турист) Савеловской железной дороги и построить там двухэтажную деревянную дачу, в которой семья Сперанских стала проводить каждое лето. В 1906 году у Елизаветы Петровны родился третий ребенок, сын Сергей, а в 1915-м младшая дочь Наталья, Наля, как ее звали дома, моя мать.

Первые годы нового века жизнь семьи Сперанских протекала достаточно спокойно и благополучно. После окончания ординатуры Георгий Несторович был оставлен в клинике Н. Ф. Филатова внештатным ассистентом и, кроме того, консультировал больных детей в акушерской клинике Н. М. Побединского. Позднее по приглашению известного акушера профессора А. Н. Рахманова заведовал отделением для новорожденных при Абрикосовском родильном доме (ныне родильный дом им. Н. К. Крупской). В молодости дед много занимался общественной работой, организовав первую в Москве детскую площадку и общедоступный каток для детей на Девичьем Поле. В 1912 году ему удалось на пожертвования частных лиц открыть на Большой Пресне лечебницу для детей грудного возраста (на 20 коек) вместе с женской консультацией и молочной кухней. Годом позже им была открыта консультация по уходу и вскармливанию грудных детей при Прохоровской (ныне Трехгорной) мануфактуре.

У киоска с литературой для родителей на выставке в Доме грудного ребенка, 1913

Бабушка по мере сил помогала ему. Она наладила работу яслей при Прохоровской фабрике. Сохранилась фотография Елизаветы Петровны за прилавком благотворительного базара на выставке в Доме грудного ребенка в 1913 году, как к тому времени стала называться лечебница на Пресне. Вся выручка от базара шла на нужды этой лечебницы.

В период отпусков дед и бабушка совершили ряд путешествий на пароходе по Волге и Черному морю. Но основное время проводили на даче во Влахернской. Летом там собиралось много друзей, тогда еще молодых людей. Чаще других там живали старший брат деда — известный филолог академик Михаил Несторович Сперанский, репрессированный в 1934 году, и родной брат бабушки Владимир Петрович Филатов, в то время начинающий офтальмолог. По соседству построил дачу ближайший приятель деда, акушер Николай Михайлович Побединский, в семье которого тоже было немало молодежи. Иногда гостей собиралось так много, что хозяевам негде было ночевать. «Лиза, а где же мне спать сегодня?» — спрашивал дед. «Ничего, Гоня, возьми плед и пойди на сеновал»,— отвечала бабушка. Почти одновременно с домом дед сделал на участке теннисный корт, который скоро стал центром притяжения всех гостей и соседей. Дед неплохо играл в теннис. Сохранилась фотография Нила Федоровича Филатова, подаренная им деду 13 октября 1894 года, с надписью «Знаменитому лаун-теннисисту от достойного соперника». Говорят, что и бабушка в молодости неплохо играла в теннис, но на моей памяти она ни разу не брала в руки ракетку, хотя занятия этим видом спорта своих детей поощряла.

Во время Первой мировой войны мой дед, в порядке гражданской мобилизации, стал работать в госпитале для раненых, а лечебница для грудных детей была превращена в больницу для детей-сирот и беженцев с западных окраин. Как вспоминал Георгий Несторович, «были установлены дежурства на Брестском (ныне Белорусском) вокзале, где приходилось проводить целые дни, встречая эшелоны беженцев и отбирая детей для помещения в больницу. Дом грудного ребенка был переполнен сиротами и беженцами. В этой работе горячее участие принимала и Елизавета Петровна». Сам Георгий Несторович не был призван в армию. Его сыновья были еще детьми, и трагедии 1914—1916 годов непосредственно не коснулись семьи Сперанских, хотя война существенно изменила распорядок их жизни. Зато в годы Октябрьского переворота и последовавшей за ним Гражданской войны Сперанские хлебнули лиха сполна. В 1918 году, спасаясь от голода и холода, Георгий Несторович с семьей переехал из Москвы сначала в Ялту, где был вынужден работать холодным сапожником на набережной, а потом — в Одессу к брату Елизаветы Петровны, Владимиру Петровичу Филатову, который перед Первой мировой войной обосновался в этом городе и к тому времени стал известным специалистом по глазным болезням. Там дед нашел временную работу по медицинской специальности, однако жизнь была очень голодной и трудной. В Одессе много раз менялась власть, переходя от белых к красным и обратно.

С дочерью Налей и сыном Сергеем, 1925

В это время Сперанские потеряли двух своих старших детей: сначала 16-летний гимназист Николай попал в облаву и был расстрелян большевиками, а затем 19-летняя красавица Екатерина уехала с рыбаками-контрабандистами в Константинополь за продуктами и пропала. В Турции она, оказавшись без денег и документов, встретила молодого шотландского аристократа Джона Мак Роби — офицера английского экспедиционного корпуса, который влюбился в нее с первого взгляда и в трюме британского военного судна тайно увез в Англию. Там она, представившись его родственникам француженкой (французский язык она знала с раннего детства), вышла за него замуж и родила сына. Почти два года дед и бабушка оплакивали свою дочь, будучи уверены, что и она погибла, и только в 1920 году Екатерина смогла связаться со своими родителями и сообщить, что жива. 1921 году она приехала к своей матери в Москву рожать второго сына, после чего снова уехала в Англию. В предвоенные годы еще раз приезжала в Москву с обоими детьми, а затем был долгий, почти 40-летний перерыв в их общении.

Вернулись Сперанские в Москву в 1921 году с двумя младшими детьми — Сергеем и Налей, как называли в детстве мою мать. В годы советской власти дед стал активно заниматься организацией медицинской помощи матери и ребенку, в чем ему оказывали помощь нарком здравоохранения Н. А. Семашко и особенно В. П. Лебедева, заведующая Отделом охраны материнства и младенчества при Наркомате здравоохранения. В 1923 году он стал директором первого в нашей стране Института охраны матери и ребенка, в последующем Института педиатрии РАМН, а вскоре и главным консультантом кремлевской больницы, т. н. «лечсануправа Кремля», и лечил детей всех кремлевских знаменитостей.

Как ни странно, дача Сперанских на платформе Влахернская сохранилась, хотя соседняя дача Побединских сгорела. По ходатайству наркома здравоохранения Н. А. Семашко дача была возвращена их владельцам, хотя от части участка дед вынужден был отказаться. И вновь началась дачная жизнь с визитами старых и новых друзей, многие из которых были весьма известными в советской России. Писательница, переводчица и поэтесса Татьяна Львовна Щепкина-Куперник; знаменитый офтальмолог академик Владимир Петрович Филатов, каждое лето гостивший у своей сестры; кораблестроитель академик Алексей Николаевич Крылов, приходившийся бабушке троюродным братом; академик Петр Леонидович Капица, женатый на дочери А. Н. Крылова Анне Алексеевне; известный хирург Сергей Сергеевич Юдин; знаменитый художник Михаил Васильевич Несте-

ров; композитор Сергей Никифорович Василенко, купивший дачу недалеко от Сперанских; архитектор Александр Васильевич Власов, в последующем главный архитектор Москвы, живший по соседству,— все они были частыми гостями Сперанских. Часть принадлежавшего ему участка дед отдал своему двоюродному брату Вениамину Михайловичу Сперанскому, где с помощью деда тот построил небольшой дом. Старший сын В. М. Сперанского Евгений работал в театре кукол у Сергея Образцова, написал много пьес, поставленных в этом театре, и в последующем стал народным артистом СССР, членом Союза советских писателей.

Елизавета Петровна очень увлекалась садоводством и разводила множество цветов. В саду росли розы, гелиотроп, душистый табак, левкои, львиный зев, астры, настурции и пионы разных цветов, маки, желтые лилии, которые до сих пор исправно зацветают вдоль дорожек. Больше всего бабушка любила душистый горошек, который она сажала каждую весну и подвязывала к специальной проволочной сетке, натянутой между деревянными столбами. Любимица бабушки, ручная сорока Галя, ходила вслед за ней и развязывала узелки на цветах. Не забывали и огород, который помогал кормить семью и гостей. Начиная с 1926 по 1947 год, правда, с перерывами, Елизавета Петровна вела своеобразный дневник, в котором отражались сельскохозяйственные работы и некоторые семейные события. Приведу выдержки из него. «1926 год. 14 августа — пересажена белая малина… на ту часть огорода против дорожки, которая предназначена

Г. Н. и Е. П. Сперанские, 1925

для новых посадок малины. В тот же день украли лодку. Заявлено в милицию. 22 августа. Посажена черная смородина… рядом с грядкой клубники. 25 августа. Пересажено 5 кустов крыжовника от Побединских. 5 сентября. Посажена на будущий год капуста: ранняя, брюссельская и красная. 1927 год. 7 апреля. Переехала я с Налей и мальчиками (в 1927 году приехали погостить из Англии внуки Сперанских — 4-летний Джордж (Додик) и 7-летний Никольс.— *А. О.*). 15 апреля. Весна теплая, разлив небольшой. Парник готов. Посеяла в парник цветную капусту. 8 мая — рождение Нали. Ясный день, но холодный северный ветер. Сажали яблони, привезенные из-под Москвы из Ново-Гиреева… Ели первую редиску из парника. Цветут примулы и анютины глазки. 1 июня. Огород засеян весь. Погода чудесная, ночи теплые — 13—15 градусов. Наля купалась в первый раз. В воде 15 градусов. Кончился съезд

С дочерью Налей и внуками Никольсом и Джорджем, 1929

педиатров, Гоня проехал поздно вечером до Дмитрова: проспал, оттуда шел пешком всю ночь...»

Подросли дети. Семья понемногу увеличивалась. Сын Сергей обучился на инженера и привел в семью очаровательную черноглазую Киру, дочь известного хирурга Петра Ивановича Постникова, до революции совладельца довольно популярной в Москве частной лечебницы Постникова и Сумарокова. Кира Петровна прекрасно играла в теннис и вообще была заводилой среди молодежи, организовывая дальние прогулки и походы за грибами, в которых принимали участие и старшие Сперанские. В 1933 году у Сергея и Киры родилась дочь Марина, все детство которой прошло на даче в Туристе. Младшая дочь Сперанских Наля (моя мать), выросшая на корте, также была очень сильной теннисисткой, играла по первому разряду и даже завоевывала призы на профсоюзных соревнованиях. Она вышла замуж за высокого красивого атлета, архитектора Адриана Овчинникова, мастера спорта, одного из сильнейших горнолыжников нашей страны. Незадолго до войны, в декабре 1937 года, у них родился я и в возрасте двух с половиной месяцев был уже привезен на дачу, где свои первые шаги, как и все дети и внуки Сперанских, сделал по теннисному корту.

Участок располагался на берегу довольно глубокой и заросшей плакучими ивами речки Икши, с чистым каменистым дном и родниковой водой, по которой

дед с сыном Сергеем плавали на лодке до самой Волги. В 1934—1935 годах во время строительства канала Москва—Волга в Икшу начали сливать пульпу от гидромониторов, которыми размывали грунт на трассе канала, и речка заилилась и обмелела. Погибли старые ивы, пересохли родники, питавшие речку, и в настоящее время она превратилась в грязный ручеек, заросший осокой и заваленный различным хламом. Каждый год в начале лета я пытаюсь прочистить хотя бы прилегающую к нам часть реки и вытаскиваю из нее по нескольку мешков бутылок и банок, но обитатели гаражей, во множестве разросшихся на противоположном берегу реки рядом с фабричным поселком, засоряют речку значительно быстрее, чем мне удается ее вычистить. В тот же период невдалеке от нашей дачи стали брать щебень для строительства канала, и карьер стал быстро и неумолимо приближаться к участку Сперанских. Уже был срыт высокий речной берег, где когда-то стояла дача Побединских и наверняка произошла бы катастрофа, если бы дед, посоветовавшись с Елизаветой Петровной, не пошел на прием к всевластному министру НКВД Ягоде и не упросил его остановить продвижение карьера. И карьер был остановлен точно по забору участка Сперанских. Непостижимо, но факт есть факт!

К Сперанским часто приходила играть в теннис писательница Наталья Семпер (Соколова), которая в своих воспоминаниях «Портреты и пейзажи» (журнал «Дружба народов». 1997. № 2) так описала их дачу и ее обитателей: «...От станции две минуты и с рельсов налево.

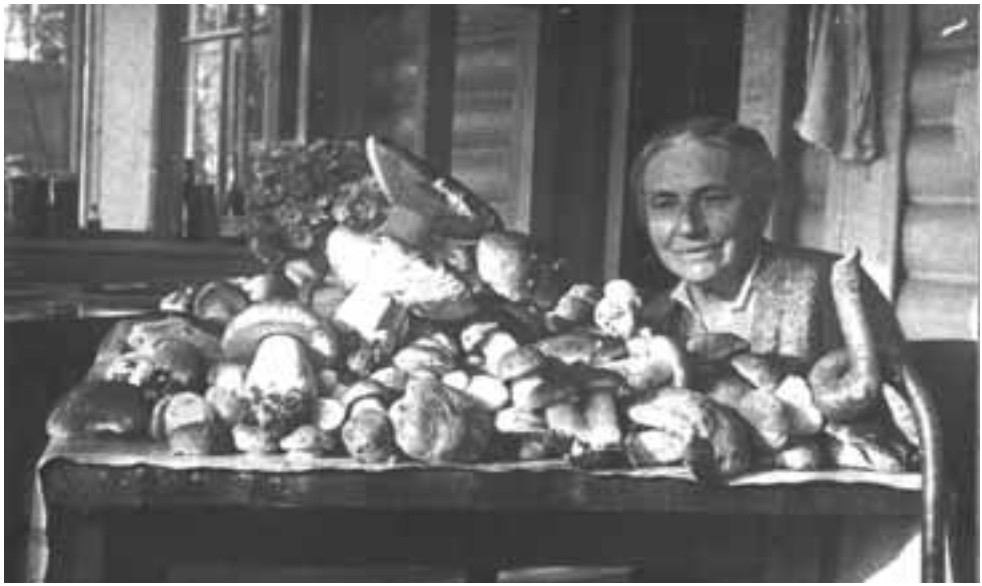
С внуком Алешей, 1940

За калиткой дорожка к светло-серому двухэтажному дому с двумя большими балконами внизу и наверху. Участок окружен высокими деревьями, слева стена из старых елей. Сад спускается к Икше, в нем корт ниже дома. Сперанские поселились здесь раньше всех — как только открылась железная дорога (в 1906 году). Воображаю, какой был рай тогда ... Глава семьи Георгий Несторович — известный всей Москве педиатр, его жена Елизавета Петровна — сестра знаменитого окулиста В. П. Филатова. Трое детей: старшая дочь Катя живет в Англии, пишет романы под псевдонимом Кэй Линн; сын Сережа — молодой инженер, он женат на Кире Постниковой, дочери не менее известного хирурга Постникова и О. П. Сорокоумовской (из бывших купцов-миллионеров); младшая дочь Наля — студентка геолого-разведочного института. В семье принят английский стиль, английский язык и светские манеры (я не совсем с этим согласен: бабушка никогда в Англии не бывала, английского языка не знала. Если и любила что-то английское, то только платья и кофточ-

На даче, 1932

ки в английском стиле. Впрочем, что было до войны, я помнить не могу.— *А. О.*). Елизавета Петровна сама напоминает Бетси Тротвуд из "Давида Копперфильда": среднего роста, крепкая, строговатая леди... в рабочем платье, в садовых перчатках без пальцев; в корзинке, висящей на локте, лежат ножницы, секатор, бечевка — она все утро в саду, ухаживает за цветами. Ее любимое детище — породистый душистый горошек, арка-аллея из вьющихся стеблей с крупными, нежно благоухающими цветами всех оттенков радуги. А по бокам лестницы на балкон тремя уступами пламенеют в ящиках замечательные настурции: от огненно-красных и ярко-оранжевых до ярко-желтых. Не все допускаются на балкон и в дом, знакомая молодежь идет прямо на площадку, и не всякий может на ней играть, сама игра лучше и строже, чем у Толоконниковых и Невских (в соседнем дачном поселке за каналом — Свистухе.— *А. О.*),— здесь не принято кидаться как попало, стараются добиться мастерства, выигрыша, успеха. Лучше всех играет в теннис Кира — черноволосая, черноглазая, всегда оживленная, легкая, с огоньком: такой мне представляется Наташа Ростова. Наля Сперанская — беленькая, стриженая, современная... По пути на площадку я мимоходом заглядываю направо, на высокий застекленный балкон, где бывают за столом недосягаемые люди: художник Нестеров, композитор Василенко, хирурги Постников и Юдин, писательница Щепкина-Куперник... Что влечет их сюда? Несомненно, уникальная личность Владимира Петровича Филатова. Живя постоянно в Одессе, занимаясь научной работой, руководя прославленной клиникой, он приезжает летом отдыхать к сестре, потому что любит нашу Влахернскую и своих близких...»

Начало Отечественной войны Сперанские встретили на даче. Сперва казалось, что немцы никогда не дойдут до Москвы и война будет проходить где-то на западе, как это было в Первую мировую. Но уже к концу июля 41-го до обитателей Туриста стали доноситься звуки отдаленной артиллерийской канонады, а в небе стали появляться немецкие бомбардировщики, пролетавшие бомбить Москву. Стало ясно, что надо срочно уезжать. К тому времени молодые мужчины семьи Сперанских уже были мобилизованы в армию: мой отец, окончив авиационное училище, стал летчиком, а дядя Сергей попал в инженерные



После похода за грибами, 1940

войска. Дед получил назначение в г. Молотов (бывшую и теперешнюю Пермь), и в сентябре 41-го вместе с женой и детьми М. Н. Побединского Колей и Марой, с 12-летним сыном В. П. Филатова Сережей и моей двоюродной сестрой Мариной Сперанской мы уехали на восток, сначала на поезде до г. Горького, а потом на барже вниз по Волге и затем вверх по Каме.

Жизнь в Молотове была ужасной. Дед долго не мог найти ночлега, несколько ночей провели на вокзале. В своих воспоминаниях он пишет: «Найденная, в конце концов, комната в развалющей избушке требовала большого ремонта: пришлось делать рамы, вставлять стекла, забивать стены… Когда начались морозы, там так было холодно полом, что на стенах внизу стал намерзать лед. Пришлось переехать в еще худшее, грязное, более тесное помещение». За обедом ходили «в столовую… на другом конце города. Этот обед состоял из болтушки с небольшой добавкой крупы, или макарон, или гороха, а на второе полторы оладьи или в лучшем случае два яйца. Впрочем, иногда бывала каша из рубленой пшеницы с каким-то маслом. Это давалось в столовой для научных работников, и получал это только я. Иждивенцы не получали ничего». А иждивенцев у деда было ни много ни мало — шесть человек! Весной 42-го года заболели пневмонией Елизавета Петровна и Наля. «Это был кошмарный период жизни в Молотове,— вспоминал дед.— Я думал, что потеряю Лизу, очень истощенную и ослабленную предыдущей жизнью. Но, по счастью, все обошлось благополучно… благодаря сульфидину». Сам я плохо помню жизнь

в эвакуации (мне было тогда 4 года), но отдельные эпизоды в памяти сохранились. Помню подвал, в котором мы жили, и стенку под одеялом, покрытую пятнами наледи, помню страх, когда пропала моя мать: она отправилась за продуктами в деревню и заблудилась, ее привезли на третий день всю обмороженную. Были радостные моменты: снежная горка во дворе, мешок с неочищенным рисом, который привез из Ташкента от В. П. Филатова какой-то его знакомый. Этот мешок риса, можно сказать, спас нам жизнь, и мы ели его в течение всей голодной зимы 1941—42 годов.

В октябре 1942 года Сперанские вернулись в Москву, а мы с мамой тремя месяцами раньше с множественными пересадками поехали в Ярославль, где в управлении дальней авиации служил мой отец, переведенный туда из действующей армии. По дороге с нами случился неприятный эпизод, который, к счастью, окончился благополучно. Выезжали из Молотова мы в теплушке — товарном вагоне, в котором перевозили и скот, и стройматериалы, а для людей там были устроены нары из досок и стояла печка-буржуйка, дрова для которой добывали все, кто как мог, во время стоянок. Где-то посередине пути моя мать встретила на станции знакомого офицера, ехавшего в том же поезде, но в пассажирском, кажется, даже купированном вагоне. Он сказал, что у них есть одно свободное место, и договорился с проводником, чтобы женщине с ребенком разрешили туда перебраться. На каком-то полустанке мама отнесла меня, уже довольно тяжелого мальчишку, в этот вагон, а затем побежала по путям обратно за вещами. В этот момент поезд тронулся. Маму успели на ходу втащить в нашу теплушку, а я в течение трех часов ехал один с незнакомыми мне людьми и ужасно боялся. Наконец, на очередной остановке мама, к моей невероятной радости, наконец-то появилась. И больше мы не расставались.

Вернувшись в Москву, дед решил съездить на дачу. Он вспоминает: «18 октября 42-го года. Был на даче. Опять новые, небывалые картины. Вышел из дому в 5 ч утра, чтобы попасть на поезд 7 ч 02 мин. Полная темнота. Троллейбус не ходит. Дошел до трамвая, с пересадкой добрался до вокзала. Частый, довольно сильный дождь. Стоянье под дождем за билетом в огромной очереди. Все нервничают, бранятся между собой. Несомненно, можно отметить озверение у публики, собирающейся толпой. Эта примитивная борьба за существование, которой теперь наполнена жизнь, к которой устремлены все интересы, заставляет во всяком соседе видеть врага, который раньше тебя ухватит кусок, раньше тебя получит билет и т.д. “Оттащи эту девчонку, что она лезет без очереди… Военный, у вас есть своя очередь, зачем нам мешать…” Сейчас самые важные люди — это милицейские. Они решают все и всем распоряжаются. И их масса. Давка в вагоне туда и оттуда была отчаянная. Нельзя ездить по воскресеньям. Плохи, по-видимому, у нас дела на фронте, но газетные сообщения абсолютно не достоверны, что создает еще худшее, какое-то гнетущее настроение. …Нервы напря-

жены, поэтому у всех амплитуда колебаний настроения громадная, люди легко переходят от уныния к радости и опять — бух в яму отчаяния. Кульминационным пунктом такого состояния является паника… На даче с удовольствием покопал землю и поделал кое-какие дела, но все вертится в голове: а может быть, это я зря делаю, не придется этим пользоваться. …Если так дать себе распуститься, то можно дойти действительно до меланхолии».

Дача Сперанских пережила и вторую ужасную войну. Немецкие войска лишь немного не дошли до Туриста. Линия фронта находилась всего в двух километрах, и с крыши дома были видны передовые позиции немцев. По участку прошел противотанковый ров и было выкопано два ряда траншей. В доме размещался штаб полка, оборонявшего передовые позиции Красной армии. Но дом сохранился. Бесспорно, в этом была большая заслуга дворника Сперанских Николая Давыдовича, отставного солдата с перекошенной после контузии в Первую мировую войну физиономией. Он остался в доме и прожил там все страшные военные годы.

Постепенно фронт продвигался на запад, и жизнь понемногу налаживалась. В марте 1943 года Елизавета Петровна ездила к Нале и Адриану в Ярославль. Поезда туда не ходили, и добираться пришлось на перекладных. «Оттуда я привезла нового члена семьи,— пишет она в дачном дневнике,— Вову Предтеченского (14-летнего внука дедушкиного покойного брата Николая Несторовича. Родители Вовы погибли во время Ленинградской блокады, и он два года

Дача Сперанских в Деденеве, зима, 1944

жил у Сперанских, пока не поступил в Ленинградское мореходное училище.— *А. О.*). С 25 апреля мы с ним зажили на даче. Он в школе, я в саду. …*6 мая* Нале послан пропуск в Москву. От Сережи был боец, привез муки… *14 мая*. Несколько дней стоит чудная погода, но дождь необходим. Посадила верхушки картофеля на нижнем огороде. Взошли морковь, редис, салат, репа. В ящиках взошли настурция, лиловая одесская фасоль, помидоры. В парнике — сахарная свекла, редис, укроп. Часть сахарной свеклы высадила на грядки. Сахарную свеклу сажаю в первый раз. Очень у меня болят руки от подагры и очень сильная экзема… *6 июня* приехали в Москву Наля, Адриан и Алеша!!! О, счастье для меня!.. *9 июня* приехали на дачу с Алешей и Налей. *11 июня* приехал Адриан в первый раз за войну. Погода чудная. 13-го утром Адя уехал. Печально».

Итак, мы с мамой вернулись в Москву и стали жить на даче. В конце лета 1943 года случилось событие, которое

произвело на меня большое впечатление и запомнилось на всю жизнь. За время войны все уже привыкли к звуку пролетающих высоко в небе военных самолетов. Но вдруг небольшой военный самолет несколько раз пронесся на малой высоте прямо над нашим дачным домом, делая разворот над соседним селом на горе. Все ужасно всполошились: ведь война еще не кончилась, а неподалеку находился важный охраняемый объект — железнодорожный мост через канал. Переполох достиг апогея, когда во время третьего захода от самолета отделился какой-то небольшой предмет и упал на крышу соседского дома. Все с ужасом ждали взрыва, и только бабушка сказала спокойно: «Это прилетел Адриан. Только он может совершить такое хулиганство». Вскоре прибежала соседка и принесла мешочек с песком и запиской от… Адриана. Он прилетел на один день в Москву и оповещал об этом мою мать, напугав всю округу. Мама тут же бросилась на станцию и, сев на ближайший поезд, успела с ним повидаться. Я не стал бы рассказывать об этом эпизоде, если бы не реакция бабушки, которая к тому времени уже хорошо изучила характер своего зятя.

Далее вновь дневник деда: «*7 сентября 1943 года.* Наши войска на Южном фронте за эти дни очень успешно продвигаются вперед, освобождая города и населенные пункты и уничтожая войска фашистов. В сегодняшней сводке сообщается, что с 5 июля по 5 сентября немцы потеряли убитыми 400 с лишком тысяч человек, 38 600 пленными, ранеными около миллиона! Но ведь и наших-то погибло не меньше. Жутко думать… Донбасс уже почти весь в наших руках. Приближаемся к Басмачу, обошли Брянск. Имеется уже Смоленское направление. Мы, вероятно, в километрах 30—35 от Смоленска. А вот под Ленинградом без движения. Его продолжают обстреливать немцы из орудий и теперь шрапнелью, что дает много жертв среди населения. Сережа давно не писал. Мы его все ждали в Москву. Между 20 и 25 августа он, по сообщению бывшего здесь его начальника, должен был приехать. Но тот прислал своей жене письмо от 19 августа, что неожиданно их расформировали и отправляют неизвестно куда на фронт. Сейчас мы находимся совершенно в неизвестности о Сереже…

3 ноября 1943 года. Какая масса событий совершается в переживаемое нами время в относительно короткий период! За 2 месяца, и то неполных, с моей предыдущей записи наши войска не только заняли Смоленск, Брянск, но и массу других городов. Всякий раз при занятии более или менее значительного города Москва “салютует” в определенный час 12—20-ю залпами из 120—240 орудий. Одновременно с этим из различных мест города при каждом залпе пускают массу ярких разноцветных римских свеч. Зрелище очень красивое, особенно если смотреть с крыши нашего высокого дома или с балконов верхних квартир… От Сережи за эти дни не только получили извещение, но даже известие о том, что он женился (перед самой войной Сергей развелся со своей первой женой Кирой.— *А. О.*). И не только извещение, но и приезд сначала его жены Александры Филипповны (урожденной Казако-

вой), а затем и его самого. 31 октября он уехал, пробыв здесь около 10 дней, а Шура осталась. Нельзя не порадоваться за Сережу, что он начал жизнь снова более полную. Он так любит детей, а Шура, по-видимому, подходящий для него человек, очень простая, без ломанья. Она из простой рабочей семьи, живущей в г. Боровичи Ленинградской области. Отец ее старший кузнец на паровом молоте в большом комбинате. Поживем — увидим. Во всяком случае, это неплохой шаг. Если удастся перетащить Сережу в Москву, то наша маленькая квартира, особенно с приездом Адриана и его демобилизацией, будет полным полна. Возвращения Адриана ждем в самом непродолжительном времени...»

В начале 1944 года мой отец был вызван из Ярославля в Бакуриани, где проводился первый после 1940 года чемпионат СССР по горнолыжному спорту, на который были командированы из армии многие, оставшиеся в живых горнолыжники. После этого была еще одна спортивная поездка в Свердловск. Вернувшись оттуда, отец заболел плевритом, и у него был обнаружен туберкулез легких. Дед так описывает это в своем дневнике: «*23 апреля 1945 года.* Давно не писал в этой тетради; не могу объяснить почему... Поводом к тому, что я снова взялся за записи, является чрезвычайный факт: сегодня наши войска вошли в... Берлин! Первым вошел Жуков (1-я Белорусская армия). Второй салют Коневу (1-я Украинская армия). Сейчас, в 10 ч 30 мин, жду третьего салюта. Он оказался по поводу взятия войсками 4-го Украинского фронта города в Чехословакии... В нашей семье крупным и неприятным событием за это время надо считать открытие туберкулезного процесса у Адриана. Он большого роста, сильный молодой человек 28 лет, мастер спорта и притом хорошего спорта — лыжник, специалист по т. н. слалому и скоростному спуску, один из первых по Союзу. Ездил в Бакуриани на состязания, там плохо питался. По приезде его направили на состязания в Свердловск. По возвращении оттуда он уже кашлял. Это было в апреле 1944 года. Прожил два дня на даче, где в это время уже жили Лиза с Алешей. Там он себя чувствовал больным. По приезде в Москву, когда кашель у него усилился, померил температуру, оказалось 38° С. Его посмотрела одна врачиха, сказала, что бронхит, посмотрела другая, сказала, что плеврит. Я приехал с дачи, послушал его, и мне не понравилось состояние его левого легкого. Я потащил его на рентген к себе в клинику, сделал анализ мокроты. На рентгене оказалась каверна под левой ключицей, а в мокроте ВК. Поместили его в госпиталь. Я очень болезненно отнесся к этому событию, будучи врачом, понимаю всю тяжесть его. Мне очень жалко было видеть, особенно в условиях госпиталя для туберкулезных, Адриана, которого видел постоянно бодрым, сильным, энергичным. Сразу он потерял свое лицо и подравнялся к общему туберкулезному уровню. Жалко и страшно за Налю и Алешку: контакт. После выписки из госпиталя, где ему наложили пнеймоторакс, пришлось направить его в тубинститут, где делали пережигание спаек, мешавших спаде-

нию каверны. После этого, когда мы все немало поволновались, как будто наступило затишье. Температура нормальная, мокроты почти нет. Пробыл он в санатории около полутора месяцев и вернулся к нам на квартиру. От военной службы его освободили. Уж не знаешь, что лучше — ранение на войне или такое вот заболевание легкого…» Дед приложил немало усилий, чтобы достать в «кремлевке» остродефицитное лекарство — только что появившийся стрептомицин, который и спас жизнь моему отцу.

Дальше опять из бабушкиного дневника: «*Март 1945 года.* 2-го у Сережи родился сын. Назвали Николаем. 16-го я приехала на дачу, +2. 17-го приехал Гоня, и призвали печника, чтобы сделал печку в столовой. Начал 18-го за 800 рублей. По утрам мороз −15, днем тепло. 20-го печка кончена, топится очень хорошо, сразу в столовой стало +15 по С. 24-го приехали Алеша, щенок и Марина на каникулы. Приехали на автомобиле. Погода чудная, в тени +7. Потекли ручьи. Грачи прилетели. … *Май 1945 года.* 2-го Берлин взят! Погода хорошая, тепло, хотя и мало солнца. Гоня здесь был 6 дней. 7-го мая в 2 ч 41 мин дня сдалась Германия всем союзникам! Это я услышала по коротким волнам из Англии в 5 часов вечера. 9-го мая — конец войне!!! Объявили ночью после капитуляции Германии в Берлине маршалу Жукову. Вот истинная радость и настоящий праздник! …*Апрель 1946 года.* 8-го — Овчинниковы уехали в Одессу. Я переехала на дачу. 12-го — погода холодная. Привезла щенка Мая. 13-го — получили письмо от Кати. 20-го — Гоня уехал в Ригу. *Май 1946 года.* 15-го — утром +7, туман. Щенок спаниель очень красив и мил. Жду с нетерпением поездки в Одессу. …*Март 1947 года.* С 23-го по 31-е были каникулы. Были после Узкого Гоня, я, Марина и Алеша. Погода теплая, снег тает, но его такая масса, что не запомнит никто. Грачи прилетели 27-го. Дети и Гоня уехали 31-го и приехал Адриан после 8 месяцев пребывания в тубинституте. Я осталась с ним…»

На этом бабушкин дневник кончается. В нем отразились и глобальные события того времени — окончание войны,— и мелкие, семейные происшествия, и наблюдения за погодой, и садово-огородные дела. И все одинаково кратко и лаконично. В этом вся бабушка — внутренняя сдержанность, ни намека на сентиментальность. Слишком тяжелые переживания выпали на ее долю.

Летом 1946 года дед с бабушкой поехали в Одессу к В. П. Филатову и взяли меня с собой. Оттуда мы совершили поездку на большом морском лайнере «Россия» до Сухуми и обратно. Этот корабль был до войны личной яхтой Гитлера, носил его имя и был передан нам по репатриации. Поездка оказалась не очень удачной. Дело в том, что по протекции академика Филатова, который был к тому времени всемирно знаменит и необычайно популярен в Одессе, нам достали билеты в шикарные каюты люкс на верхней палубе, где, как говорили, бывал Гитлер. И вот в каждом порту, где останавливалась «Россия» и где она брала на борт экскурсантов, огромные толпы любопытных стучались к нам в двери и окна, выходившие на палубу, и просились посмотреть каюты Гитлера. Кроме того, во время продол-

жительных стоянок корабль катал по морю всех желающих, и посетители заполняли все палубы и рестораны и потребляли невероятное количество горячительных напитков с неизбежными последующими беспорядками и драками. Поэтому мы старались на все время стоянок сойти на берег и там, где это было возможным, гуляли по набережной или ездили на экскурсии. В Сочи я упросил бабушку поехать покататься на глиссере. Дед, который к этому времени все больше и больше раздражался от переполнявшей корабль толпы, не был этим доволен, но согласился. И вот, помогая бабушке надеть туфли, я, балуясь, стукнул ее ладонью по подошве. Дед тут же взорвался и заорал на меня, как я смею бить старую женщину по ногам. Бабушка постепенно его успокоила, но ни о каких глиссерах речи уже быть не могло. Такие вспышки неожиданного гнева у деда бывали неоднократно, и бабушка всегда становилась буфером, защищая нас, детей, и успокаивая деда. В конечном счете мы, не доехав до цели нашего путешествия — Батуми, сошли в Сухуми, сели на другой пароход «Грузию» и уже без приключений, в обычной каюте, вернулись в Одессу.

В послевоенные годы Елизавета Петровна стала часто болеть. Постоянно болели суставы, почти ежегодно случались воспаления легких, прогрессировала глаукома. Тем не менее она стойко переносила недуги. В начале 50-х дед с бабушкой несколько лет подряд проводили летние месяцы на Рижском взморье в санатории Академии медицинских наук в Лиелупе. Каждый раз брали с собой внуков. Иногда приезжал Сережа Филатов, бывали там и мои родители. Короче, собиралась почти вся семья. Мы там назывались «колхоз Сперанского». По утрам, перед завтраком, дед ходил далеко по пляжу и каждый день купался, регулярно измеряя при этом температуру воды. Бабушка в основном сидела на скамейке в саду и беседовала с многочисленными знакомыми. Она никогда не купалась, но иногда добиралась с помощью деда до прибрежных дюн и сидела там, на пледе, среди сосен. На Рижском взморье ей очень нравилось. Правда, мы иногда доставляли ей немало хлопот. Как-то раз мои родители, взяв меня и Марину, наняли в яхт-клубе на реке Лиелупа яхту и отправились кататься к морю. До моря мы не доплыли, так как прекратился ветер, и мы несколько часов болтались в устье реки. Когда мы к вечеру наконец вернулись в яхт-клуб, на берегу стоял санаторский автобус с шофером Сашей, и в автобусе сидела бабушка, мрачнее тучи. Хотя мы и не были виноваты в отсутствии ветра, досталось всем за то, что заставили ее так волноваться.

В Турист по-прежнему приезжало много гостей. В разные послевоенные годы здесь бывали многие: тогда еще мало кому известный пианист Святослав Рихтер, приехавший к Сперанским с рекомендательным письмом от В. П. Филатова из Одессы, авиаконструкторы Андрей Николаевич Туполев с супругой Юлией Андреевной, очень дружившие с дедом и бабушкой, и Владимир Михайлович Мясищев, наш сосед по московскому дому на улице Чкалова. Дочка Мясищева Маша некоторое время жила у нас на даче, всегда переполненной детьми и молодежью. Приезжал Ираклий

Е. П. и Г. Н. Сперанские в санатории, Лиелупе, Рижское взморье, 1951

Андроников. Между прочим, он рассказывал, что в имении Лужиных Григорове, расположенном недалеко от нашей дачи, в свое время бывал М. Ю. Лермонтов. Много народу из соседних домов и дач приходило к нам играть в теннис. Художник Карпов, академик Долежаль, профессор Раговин, директор Института нейрохирургии Борис Борисович Егоров были постоянными игроками на корте. С сыном Б. Б. Егорова Борей, будущим космонавтом, мы часто играли в войну в старом карьере на месте дачи Побединских. Много гостей приходило от наших соседей «Василенок» — сам Сергей Никифорович с женой Татьяной Алексеевной и ее дочерью Еленой Сергеевной, полной веселой женщиной, обладавшей особым даром рассказчицы и незаурядным юмором; известный литературовед профессор Федор Александрович Петровский; князь Владимир Николаевич Долгорукий, который после войны инкогнито жил у «Василенок» и писал детские рассказы под псевдонимом Владимиров; арестованный в 1933 году и вернувшийся из ссылки в 1951 году географ и биолог профессор Павел Николаевич Каптерев; народная артистка СССР певица Ксения Дзержинская, с ее сыном Кириллом и его женой Таней Каптеревой, впоследствии известным искусствоведом, академиком, дружили мои родители. Всех и не упомнишь. Часто приходили в гости местная доктор Лидия Александровна Преображенская со своим мужем Сергеем Павловичем, учителем математики в Деденевской школе, которым Сперанские активно помогли в трудные годы. Они очень любили и уважали Елизавету

На берегу Рижского залива, Лиелупе, 1953

Петровну и Георгия Несторовича. Один из сыновей Преображенских, многократный чемпион СССР по слалому, Володя, был «лыжным» учеником моего отца. Мы дружим с ним до сих пор. Другая медицинская пара, милейшие Софья Георгиевна и Алексей Евгеньевич Звягинцевых, просто обожали деда и бабушку и часто приезжали к нам на несколько дней, как они говорили, «спераниться». Мы все очень любили Звягинцевых, а после смерти бабушки Софья Георгиевна стала для деда незаменимым другом.

В начале 50-х годов дед и бабушка решили продать большой дачный дом директору Института неврологии академику Н. В. Коновалову, который со своей семьей в 1951 и в 1952 годах проводил в нем летние месяцы в комнатах второго этажа. Незадолго до этого, когда решение о продаже дачи уже было принято, к Елизавете Петровне пришли какие-то люди из местных и предложили купить дом и участок. Увидев теннисный корт, женщина сказала: «Какая хорошая площадка. Здесь можно будет посадить картошку». Бабушка тут же сказала «нет», прекратила разговор и сухо попрощалась с посетителями. Дети Коноваловых Саша и Юра увлекались игрой в теннис, и это сыграло важную роль в выборе покупателя. Кроме того, Сперанские очень дружили с Николаем Васильевичем и его добрейшей супругой Екатериной Степановной. Продажа дома была очень мудрым поступком, так как дед и бабушка не хотели, чтобы после их смерти дом стал яблоком раздора между детьми. А это неизбежно бы случилось, если бы нам пришлось делить этот дом, рассчитанный на одну семью. К тому времени дед оформил на мою

С фокстерьером Тимкой на даче, весна, 1956

мать 20 соток в нижней части участка, где с его помощью мой отец построил небольшой летний домик из трех комнат с верандой. Деньги от продажи большой дачи бабушка разделила между двумя дочерьми и сыном. Я думаю, что это было очень непростое решение для Елизаветы Петровны и Георгия Несторовича: ведь дом был их детищем, и они прожили в нем почти полвека. После продажи дома бабушка практически перестала ездить на дачу, а дед построил себе на участке моей матери маленький сарайчик-мастерскую, куда продолжал приезжать по воскресеньям и в отпуск до последних дней своей долгой жизни и по-прежнему возился в саду, плел корзины и вытачивал на токарном станке ручки для инструментов и различные предметы из дерева. Последний раз бабушку привезли на дачу весной 1957 года. Она медленно прошла под руку с дедом по дорожкам маминого участка и попросила увезти ее в Москву. Ей было очень тяжело смотреть на свой любимый старый дом, в котором прошла вся жизнь.

Елизавета Петровна скончалась в январе 1958 года от очередной двусторонней пневмонии. Последний год своей жизни она практически не вставала с постели и почти полностью ослепла, не могла читать и очень этим тяготилась. После ее смерти дед собрал своих детей и сказал: «Мы с Лизой всегда хотели, чтобы вы жили дружно и во всем поддерживали друг друга». К сожалению, не все последующие поколения Сперанских последовали их желанию.

Мои первые отчетливые воспоминания о бабушке относятся к лету 1943 года, когда мы с мамой переехали из Ярославля в Москву и жили на даче. Бабушка составляла центр этой жизни. Мне она казалась тогда очень старой, хотя на самом деле ей было 66 лет, то есть меньше, чем мне сейчас. Она рано поседела и завивала концы своих волос с помощью горячих железных щипцов, почему некоторые пряди были желтоватого цвета. Я не помню, чтобы она когда-либо подкрашивала свои седые волосы, как это делают многие женщины ее возраста. На улице и в саду, а в последние годы жизни и дома, бабушка надевала на голову светлую косынку, завязывая концы узлом на затылке. Когда у нее стали болеть руки, она часто

просила меня завязать узел. Бабушка всегда была сухощавой, с тонкими чертами лица, с живыми темными глазами. Судя по фотографиям, в молодости она была очень красивая. Очевидно, у Филатовых была какая-то примесь греческой крови, потому что и отец Елизаветы Петровны, и его родной брат Нил тоже были похожи на греков. На моей памяти бабушка всегда носила темные крепдешиновые платья (часто в горошек) или длинные юбки и белые кофточки из крепдешина. В старости на плечи всегда была надета шерстяная коричневая кофта, связанная моей матерью. Она не носила никаких украшений, только на груди всегда были маленькие часики, приколотые к брошке с мелкими бриллиантами. Любимой обувью бабушки были белые теннисные туфли, которые мы ей чистили зубным порошком. На пальце — единственное колечко с бирюзой, ее любимым камнем. От бабушки всегда очень приятно пахло смесью дорогих духов и табака. Из духов она предпочитала «Шанель № 5», которые ей иногда привозили знакомые из-за границы, а когда французские духи кончались, покупала «Манон» или «Красную Москву».

Сколько я помню, бабушка всегда много курила. Курила папиросы, вначале предпочитала «Казбек», потом перешла на «Беломорканал», иногда курила «Пушку», т.е. довольно крепкие и недорогие, так называемые «мужские» сорта. Помню это хорошо, потому что меня часто посылали на станцию пешком или на велосипеде бабушке за папиросами. Любила курить вместе с заядлыми курильщиками, например с Кирой Постниковой. В Москве мы жили в одном доме с С. Я. Маршаком, который очень ценил Елизавету Петровну и часто по вечерам приходил к нам в квартиру. Он часами сидел рядом с бабушкой в столовой или в ее спальне (когда у нее болели суставы), и они дымили в две папиросы, прикуривая одну за другой. Дед, однако, никогда не курил. Он рассказывал, что в детстве у него был печальный опыт курения сигары, после которой его нещадно рвало. Это отбило у него охоту к курению на всю жизнь. Он, как правило, уходил к себе в кабинет и работал там, оставляя курильщиков наедине. Часто бабушка курила с Софьей Георгиевной Звягинцевой, которая относилась к ней как к матери. Вообще бабушка была у нас в семье центром притяжения всех соседей и знакомых. К ней часто приходили посоветоваться или поделиться новостями наши соседи художники Кукрыниксы — Порфиша Крылов с женой Еленой Анатольевной, Николай Соколов и Михаил Куприянов. Частой гостьей была Елена Александровна Спендиарова, дочь известного армянского композитора, жена генерала Мясищева, тоже наша соседка. Софья Сергеевна Четверикова, дочь дедушкиного коллеги профессора Четверикова, была лучшей подругой моей матери и практически еще одной бабушкиной дочкой. Я не раз слышал у нас в столовой рассказы Ираклия Андроникова. Бабушка дружила с Генрихом Густавовичем Нейгаузом и его женой Милицей Сергеевной, а Святослав Рихтер одно время жил у нас в квартире и играл на нашем рояле. Чем привлекала их бабушка? Думаю, своей неизменной

Е. П. Сперанская и С. Я. Маршак, середина 1950-х гг.

приветливостью, мудростью и умением слушать. Кроме того, у бабушки был еще один дар, в который свято верили все знакомые, особенно молодые и учащиеся люди. У бабушки была «счастливая» левая рука. Тот, кто пожимал ее левую руку перед экзаменом, был уверен в успешном результате. К ней «за левой рукой» приходили самые разные люди, и она никому не отказывала.

Бабушка была очень щедрым человеком и не умела считать деньги. Кроме того, воспитанная в дореволюционные годы, очень любила давать деньги «на чай». При этом она справедливо считала, что обидеть человека можно только в одном случае: дать ему слишком мало. Деньги у бабушки были: дед в ту пору хорошо зарабатывал, и она «давала на чай» парикмахерам, носильщикам, проводникам, таксистам — словом, всем тем, кто оказывал ей какие-либо услуги. Шофер Саша в санатории на Рижском взморье очень уважал бабушку за это. Он всегда с радостью встречал и провожал нас на вокзал на своем автобусе и никогда не отказывал, когда бабушка, например, решала поехать с нами в Ригу в магазин сладостей «Лайма» или поесть пирожных в кафе «Рига». Как-то раз культработник санатория долго ждал Сашу с экскурсией в Сигулду, но Саша сказал, что сначала он свозит Елизавету Петровну, а потом приедет за отдыхающими. Пришлось «культурнику» идти к бабушке и просить перенести поездку, так как собралось много народу и все ждут автобуса, а Саша отказывается их вести. Бабушка, конечно, извинилась и отменила свою поездку.

В 1948 году дед с бабушкой вместе со всей семьей отпраздновали золотую свадьбу. Их приехали поздравить многочисленные друзья и родственники, переполнившие нашу квартиру на улице Чкалова. Было много поздравлений, подарков и торжественный обед. Во время подготовки к празднованию произошел забавный инцидент. Елизавета Петровна решила заказать по телефону в ресторане Дома ученых мороженое к столу. «Сколько? — спросили у нее.— Хотите мы сделаем вам "бомбу"?» Не представляя себе, что такое «бомба», бабушка согласилась, а цена ее не интересовала. Каково же было общее изумление, когда «бомба» оказалась металлическим цилиндром в человеческий рост и диаметром больше четверти метра. В ней было около 100 кг изумительного сливочного мороженого. Это мороженое ели мы, ели все соседи и знакомые в течение недели. А хранили «бомбу» за окном, привязав ее на веревке, благо что время было зимнее.

Ценили и уважали бабушку не только за щедрость. В ней было то, что выдавало породу «бывших» людей, людей ушедшего времени. Очевидно, большое чувство собственного достоинства, может быть, строгий, властный взгляд, прямая фигура, красивое даже в старости лицо, нос с горбинкой. Недаром многие старые люди из нашего дачного окружения неизменно обращались к ней: «Барыня». Конечно, играло роль и то, что она была женой академика Сперанского. Когда надо было заказать в Академии наук билеты на поезд или путевку в санаторий «Узкое», Елизавета Петровна сама звонила всесильному управделами академии Чихмахчеву, и он всегда выполнял все ее просьбы, называя по имени-отчеству, хотя жен академиков было довольно много, и думаю, что всех упомнить было довольно трудно. Иногда доходило до смешного. Железнодорожными билетами в академии занимался человек по фамилии Карасик. Бабушка регулярно называла его по телефону Сусликом, на что он, совершенно не обижаясь, каждый раз отвечал ей: «Елизавета Петровна, я не суслик, я — Карасик». Бабушку это совершенно не смущало. А на Рижском взморье в санатории бабушка ежедневно проводила часы на скамейке в парке недалеко от веранды дома (далеко ходить она уже не могла). И рядом с ней и вокруг всегда было несколько человек, с которыми она оживленно разговаривала. К сожалению, не знаю о чем. Мне было тогда это совершенно все равно: мне важен был велосипед, теннис, море, приятели, кино и т. д. Дорого бы я дал сейчас, чтобы оказаться с ней рядом на той скамейке.

Елизавета Петровна была добрейшим человеком. Она всегда принимала участие в чужих бедах, стараясь хоть в чем-либо помочь людям, попавшим в беду. Сколько людей в разные тяжелые годы жили, иногда тайно, у Сперанских! Скольким они помогали деньгами и советами! Как вы уже знаете из дневника, когда у бабушкиного брата В. П. Филатова распалась семья и маленький сын Филатова Сережа остался беспризорным, она тут же помчалась в Одессу наводить порядок в доме. Она пробыла там с братом довольно долго, а потом забрала Сережу к себе в Москву, где он жил со Сперанскими почти целый год,

пока у Филатовых не появилась Александра Васильевна, очень хорошо отнесшаяся к Сергею. Подобная история произошла с другим сиротой — Володей Предтеченским, внуком дедушкиного старшего брата Николая. Его родные погибли во время блокады в Ленинграде, а Вову каким-то чудом вывезли из города, и он попал в детский дом в Ярославле. Бабушка сама отправилась в Ярославль и забрала Вову к себе и относилась к нему как к родному внуку. Владимир Предтеченский, в прошлом морской офицер, сейчас уже солидный немолодой человек, очень тепло вспоминает деда, и особенно бабушку. Нас, внуков, Марину и меня, она очень любила и часто заступалась за нас перед дедом или нашими родителями. На дни рождения и на Новый год мы всегда получали от бабушки подарки, и они были самыми лучшими и дорогими для нас. Все дети и внуки обожали Елизавету Петровну и называли ее Мусиком. Животные относились к ней с неменьшей любовью. В самом начале 30-х годов в очень голодное время дед купил на живодерне в г. Дмитрове старую белую лошадь «на мясо». Однако бабушка зарезать ее не дала, и лошадь жила на даче несколько лет. С ее помощью пахали огород под картошку, косили и возили траву и даже сделали для лошади конюшню в сарае. В доме у Сперанских всегда жили собаки: перед войной рыжий бульдог Булька, черный пудель Дик, пестрый спаниель Тим и белый мохнатый Фрам — огромная южнорусская овчарка, которую, к сожалению, были вынуждены застрелить в 1941 году, когда его стало нечем кормить. После войны появились рыжий испанский терьер Рэд (как Майкл и Джерри у Дж. Лондона) и черный английский спаниель Май. Обе собаки, к сожалению, погибли. После их смерти бабушка сказала, что не хочет новых переживаний и заводить собак больше не будет. Однако в конце 50-х годов знакомые предложили моей матери взять у них месячного щенка фокстерьера. Мама очень боялась, что бабушка не разрешит его оставить. Но когда Елизавета Петровна увидела щенка, она молча ушла в свою комнату и вскоре вернулась с картонной коробкой из-под обуви, в которой лежала мягкая подстилка. «Это будет для него кровать»,— сказала она. Щенка назвали Тимом, и он прожил у нас 15 лет, пережив бабушку.

Однако некоторым Елизавета Петровна казалась очень строгой. И действительно, она была далека от всякого рода сантиментов. Саша и Юра Коноваловы (ныне знаменитый нейрохирург и известный архитектор) в детстве жили на втором этаже нашего дачного дома. Как-то они признались мне в том, что очень боялись поздно возвращаться домой и подниматься вверх по лестнице, боясь разбудить или потревожить Елизавету Петровну. Она постоянно следила, чтобы дети соблюдали «застольный этикет»: сидели прямо, не клали локти на стол, не тянулись за солью и т. д. А однажды она выгнала из-за стола деда, когда он, протянув ей чашку (она всегда сидела во главе стола и разливала чай из самовара), сказал: «Лиза, наплюй в баночку». Такое нарушение этикета бабушка не могла оставить безнаказанным!

В детстве мне ежегодно устраивали день рождения. Накрывали стол, приглашали моих сверстников, и все пили чай с бутербродами и сладостями. Можно себе представить, что происходило иногда за этим столом. Даже присутствие моей мамы не останавливало расшумевшихся ребят. Тогда мама звала бабушку. Она молча входила в столовую, и мгновенно весь шум смолкал, как по команде. Порядок воцарялся от одного бабушкиного присутствия. В отличие от большинства «классических» бабушек, Елизавета Петровна не любила, да и, по правде сказать, не умела готовить. До войны в доме Сперанских едой занималась кухарка, а после — домработница, которая ездила за готовыми обедами в столовую Дома ученых. В трудную минуту бабушка могла быть очень решительной. Рассказывают, что во время известного «дела врачей» дед единственный выступил в защиту профессора Вовси, когда на общем собрании Академии наук того исключали из академиков. Кто-то позвонил бабушке и сказал, чтобы она собирала деду вещи, так как он обязательно будет арестован после этого собрания. Елизавета Петровна тут же набрала номер телефона жены Берии, внуков которого дед постоянно лечил, и рассказала ей о сложившейся ситуации. И дед вернулся домой. Очевидно, он был необходим сильным мира сего, и его не тронули.

Работая над этими краткими воспоминаниями, я впервые подумал, какая сложная и тяжелая жизнь выпала на долю моей бабушки. Две страшные мировые войны, две революции, ужасная Гражданская война, экономическая

Елизавета Петровна Сперанская, 1940

разруха, большевистский и сталинский террор, гибель старшего сына и многих близких ей людей, тяжелая болезнь зятя, нелегкий характер мужа — все это она вынесла на своих плечах, сохранив дружную семью и свою яркую индивидуальность. Это хорошо понимала Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, которая подарила бабушке свои замечательные стихи, написав к ним такое посвящение:

«На память дорогой моей героине Елизавете Петровне Сперанской, которая, к счастью, еще жива и здорова и которой не надо приносить слез, но нужно нести цветы любви и благодарности».

После страшной мировой войны
В мире много памятников встало:

В сердце каждой западной страны
Много огоньков затрепетало.
Славный подвиг жертвенный ценя,
Там народ поддерживает свято.
Где — цветы, где яркий взлет огня
В память «неизвестного солдата».
Их мильоны полегли в боях…
Каждый для кого-то был — утрата.
И поныне там живет в сердцах
Память «неизвестного солдата».
Каждая жена, сестра и мать,
Каждая, любившая когда-то,
Там привыкла голову склонять
В память «неизвестного солдата».

Но не тот лишь истинный герой,
Кто пошел на бой, кто пал в сраженье:
Есть на свете героизм иной,
Тоже подвиг — в самоотверженье,
Вот я вижу ряд других теней,
Гибнувших без жалобы, без стона:
Женщины тревожных наших дней —
Любящие матери и жены.
В дни, когда наш мир пылал огнем,
Рушились все старые оковы —
Женщины в величии своем
Оказались к подвигу готовы.
Предо мной встают — не только те,
Кто отважно шел на баррикады,
Кто, послушен пламенной мечте,
Разрушал все прежние преграды.
Нет: в работе, в вузе, за станком —
Винтик в государственной машине,
Но еще — жена и мать притом —
Участь «неизвестной героини».
Хлеб любимым принести домой
Под огнем немолчной канонады…
Над работой ночь сидеть зимой
При неверном огоньке лампады…
Разжигать угаснувший очаг,
И, согнав с лица следы тревоги,
Лишь заслышит утомленный шаг —
Улыбаясь встретить на пороге.

Сколько их, приняв судьбу свою —
Тяжкий труд и голод и лишенья —
Выносили на плечах семью
С ясным взглядом, с словом утешенья.
Этот взгляд — для труженика был
Маяком в бушующей пучине,
Для борца — притоком свежих сил…
Участь «неизвестной героини»!
Сколько их и жизнь свою и кровь
Отдавать по капле были рады
За свою великую любовь,
Не прося, не требуя награды.
Это — блики светлой красоты
В сером мраке жизненной пустыни…
Принесите ж слезы и цветы
В память «неизвестной героини».

Я думаю, что мало встречал в своей жизни женщин, подобных Елизавете Петровне. Ну, пожалуй, что-то общее с бабушкой было у ее племянницы Анны Алексеевны, жены академика Капицы; у Юлии Николаевны Туполевой; может быть, у профессора медицины Веры Евгеньевны Васильевой, подруги моей матери, жены известного лыжника Дмитрия Максимовича Васильева; быть может, у известного хирурга Тамары Темирхановны Дауровой, супруги моего покойного шефа профессора Генриха Ильича Лукомского. Те, кто знал этих замечательных женщин, думаю, согласятся со мной. К сожалению, многие из них ушли в прошлое. Им на смену приходят новые люди совсем другого типа. Ничего с этим не поделаешь — диалектика.

Е. С. Юрова

«Полпред» девятнадцатого века

Несмотря на то, что я родилась в 1939 году, мировоззрение, психологию и даже лексику XIX века я получила из первых рук от моей бабушки — Марии Павловны Юровой (урожденной Любимовой), которая родилась в 1889 году, воспитывала меня с рождения и прожила с нами до 98 лет.

От нее, кроме фундаментальных жизненных установок, я на всю жизнь усвоила, что сумку надо держать на сгибе руки, а не в руке; сережки с глазками годятся только для «горняшек»; в гостях надо доедать все, что положено на тарелку, а в дубленке становишься похожей на машиниста. От нее же пришли такие давно вышедшие из употребления выражения, как «жуировать жизнью», «бель фамм», «неглиже с отвагой», «жалованье», а не «зарплата» и т. п. Она пережила 11 правителей страны и, помимо врожденного непоколебимого здравого смысла, накопила обширнейший жизненный опыт.

Семья моей бабушки жила в городе Вязники. ее родители — Павел Васильевич Любимов и Анна Михайловна (урожденная Формозова) происходили из семей священников. Оба рано осиротели. Анна Михайловна и ее сестра попали на воспитание в разные семьи, жили далеко друг от друга и впоследствии тоже мало виделись друг с другом. Сестра вышла замуж за начальника станции Новки. Долгое время их фотография была единственным неопознанным объектом в нашем семейном альбоме, пока, наконец, я не прислушалась к бабушкиным разъяснениям и не записала, кто они такие.

Анна Михайловна воспитывалась в семье своего дяди Лаврова — священника в селе Пески недалеко от Вязников. У него самого было очень много детей и весьма скромный достаток, но к моей прабабушке, а потом и к ее детям вся семья Лавровых относилась с большой любовью. Я помню, какими теплыми бывали встречи моей бабушки с детьми Лавровых — московским врачом Михаилом Александровичем и украинской учительницей Марьей Александровной. У Павла Васильевича было 12 братьев и одна сестра, которая вышла замуж за миллионера Смирнова и жила в Сибири (кажется, в Красноярске). Один из братьев был членом земской управы в Иванове, другие разъехались по разным городам, а один стал настоящим бродягой, чем и запомнился, надо полагать,

© Е. С. Юрова, 2008

Сестра Анны Михайловны с мужем, 1880-е гг.

больше всех остальных. Время от времени он появлялся в семье Павла Васильевича, его сначала мыли в бане, затем облачали в платье брата и только тогда допускали в дом. Мою прабабушку он очень любил и почитал, а дети были без ума от его рассказов. Прадед устраивал его на работу, но его трудовая жизнь продолжалась только до первого жалованья, которое он немедленно пропивал, менял свое платье на рубище и отправлялся в очередное странствование. Однажды он решил идти пешком к сестре в Сибирь, но по дороге замерз где-то на границе Владимирской губернии.

Анна Михайловна вышла замуж очень молодой: ей было шестнадцать, а Павлу Васильевичу за тридцать. Сначала она смертельно боялась мужа, но постепенно забрала все хозяйство в свои руки и вела его безукоризненно. Это было, наверное, очень нелегко. У них было пятеро детей, дом в Вязниках, прислуга, корова, куры. Все это существовало на одно жалованье члена земской управы, надворного советника Павла Васильевича Любимова. Питались в основном за счет натурального хозяйства. Для того чтобы одеться и одеть детей, Анна Михайловна ездила на Нижегородскую ярмарку, закупала там штуками сукно для гимназической формы мальчикам, ткани на платье девочкам, лен на белье для всей семьи, а потом шила все это сама на швейной машинке «Kaiser», подаренной ей на свадьбу. Прошло больше ста лет, а машинка все еще живет у нас в семье и работает безукоризненно. Не меняя иголок, на ней можно шить все: от батиста до дубленок.

Все вспоминали о моей прабабушке как о женщине умной и решительной. Вот один маленький эпизод из вязниковской жизни. Мука и крупы в доме Любимовых для защиты от мышей хранились в больших деревянных ларях. Однако одна мышь все-таки ухитрилась пробраться в ларь и, когда кухарка его открыла, от страха прыгнула ей прямо в вырез кофты. Кухарка с дикими воплями выскочила во двор и стала там метаться, продолжая кричать на все Вязники. Никто не мог понять, что с ней случилось. Одна Анна Михайловна каким-то образом сообразила, в чем дело, подбежала к ней, рванула изо всех сил ворот кофты, мышь выскочила, и кухарка успокоилась. Когда у Анны Михайловны досужие приятельницы спрашивали, почему она гораздо больше заботиться о невестках,

Семья Любимовых, 1895 (1896)

чем о родных дочерях, она объясняла, что дочери ее все равно не разлюбят, а вот невестки, если ими пренебрегать, могут испортить жизнь сыновьям.

На лето Анна Михайловна с детьми перебиралась к дяде в Пески. Дети там наслаждались жизнью: бегали, играли, устраивали всяческие проказы. А потом поджидали дедушку с панихидками (так назывались лакомства, которые приносили в церковь прихожане, заказывающие панихиду). После беготни и игр на свежем воздухе какая-нибудь черная лепешка или черствая французская булка казались им необыкновенно вкусными. Как-то летом сын Лаврова Михаил Александрович заехал в Вязники к Павлу Васильевичу и застал дома одну кухарку, которая долго жалась и мялась и, наконец, объявила ему: «Уж очень барыню мне жалко: ведь барин каждый день под утро домой приходит». Михаилу Александровичу стоило большого труда втолковать ей, что барин играет в карты в клубе, а не посещает какую-нибудь даму сердца. Мой прадед да и прабабушка вообще очень любили поиграть в карты. Когда семья была дома, их партнеры собирались у них, а когда Анна Михайловна с детьми уезжала в Пески, Павел Васильевич ходил в клуб и сидел там допоздна, поскольку торопиться ему было некуда.

Бабушкин старший брат, Виктор Павлович, родился в 1880 году, учился в гимназии в городе Шуя, а затем в Московском университете на юридическом факультете. Учиться в Шую его отправили восьми лет, и весь город удивлялся, как Анна Михайловна могла отпустить такого маленького ребенка. Она очень тосковала без него, но считала,

что сыновья обязательно должны получить хорошее образование. Во все время ученья в день его именин из собора приносили чудотворную икону Казанской Божией Матери. После заутрени, когда еще было темно, приходили священники, ставили икону на сдвинутые, покрытые полотенцем стулья и служили молебен о здравии раба Божия Виктора.

Во время учебы в университете Виктор Павлович снимал комнату у каких-то обедневших аристократов. Их дочь Наташа имела обыкновение ходить дома в шелковом платье со шлейфом, подметая им пыль и мусор в давно не метенных комнатах. Виктор Павлович влюбился в нее и подумывал о женитьбе, что Анна Михайловна крайне не одобряла. Однажды в Вязниках она получила от него письмо, начинавшееся словами: «Дорогая мама, я собираюсь жениться...» Сначала она пришла в ужас, но, дочитав письмо до конца, выяснила, что он собирается жениться вовсе не на Наташе, а на бедной учительнице из какой-то глухомани. Она преподавала в приходской школе, а жила в монастыре. Виктор Павлович видел ее всего один раз, но в то время он уже окончил университет и должен был ехать на работу в Сибирь, так что откладывать женитьбу было никак нельзя. Анна Михайловна срочно приехала в Москву, и они вместе поехали в тот городок, где жила учительница. До монастыря они добрались поздно ночью и долго туда стучались, прежде чем им отворили. Сначала их пускать не хотели, но Анна Михайловна решительно заявила, что хочет говорить с матерью-игуменьей. Подняли с постели игуменью, и прабабушка объявила ей, что приехала за невестой сына. Когда, наконец, разбудили учительницу, она сначала никак не могла взять в толк, в чем дело. Потом заявила, что никакого жениха у нее нет, но в конце концов, разобравшись, что к чему, согласилась поехать с женихом и будущей свекровью к своему отцу, священнику. Отец быстро дал согласие на брак, и свадьбу сыграли в три дня. Молодые поехали работать сначала в Канск, а потом в Красноярск. В Канске у них родилась дочка Леночка. Когда Леночка была еще маленькой, мать приехала с ней в Вязники к Анне Михайловне (которую, наверное, с этих пор стали называть «бабатиком»). В Вязниках девочка заболела скарлатиной. Бабатик с моей бабушкой, которая тогда была еще девочкой, круглые сутки дежурили у детской кроватки, а мать Леночки, накинув одну шаль, в беспамятстве бегала по всему городу. В конце концов девочка выздоровела, и они отбыли в Канск, но вернулись с полдороги, потому что на Леночкину матушку в мягком вагоне свалилась полка и ушибла ей руку. Побыв еще некоторое время в Вязниках, они, наконец, уехали, а в Канске Леночка заболела ангиной и умерла. Бабатик очень любила свою первую внучку и, когда родилась я, попросила назвать меня Леной. Анна Михайловна была очень религиозна, хотя к обрядам относилась довольно скептически. Тем не менее, когда меня должны были принести из роддома, она заявила, что для нее некрещеный ребенок все равно что обезьяна и на руки она его брать не собирается. Судя по тому, что впоследствии она меня нежно нянчила, наверное, крещение все же состоялось втайне от родителей и бабушки, которая придер-

Татьяна Семеновна Любимова, 1898

Владимир Павлович Любимов, 1916

живалась весьма передовых взглядов и была убежденной атеисткой.

У Виктора Павловича с его женой детей больше не было. Во время или перед революцией они расстались. Все это время он работал в Красноярске помощником прокурора. После революции, когда в Сибири установилась на некоторое время власть белых, он, кажется, играл какую-то роль в правительстве Сибири. Вместе с белыми бежал в Харбин, где долгое время был директором гимназии, женился на владелице кондитерского магазина, но был выслан обратно в СССР. После войны бабушка получила от него письмо из лагеря, в котором он просил помочь ему. Ему послали какие-то продукты и теплые вещи, но больше никаких известий о нем не было.

Приблизительно в 1885 году в Вязниках появилась никому не известная супружеская пара. Вскоре жена родила двух девочек-близнецов и при родах умерла. Отец оказался совершенно неспособным содержать и растить детей, и девочек отдали на воспитание в разные семьи: одну взял местный богач, владелец типографии Матренинский, а другую — лакей самого выдающегося человека в Вязниках, фабриканта Сенькова. У Матренинского и его жены Меланьи Семеновны детей не было, и все их заботы были посвящены воспитанию приемной дочери Тани. Вот эта Таня и стала женой второго сына Анны Михайловны, Владимира Павловича. Знакомы будущие супруги были с детства,

вместе играли, встречались во время праздников и каникул. Татьяна Семеновна была необыкновенно хороша собой: стройная фигура, большие черные глаза, темные вьющиеся волосы. На балах-маскарадах она затмевала всех, блистая в туалетах, специально выписанных для нее Матренинским из Москвы, но учение ей никак не давалось. В то время как Владимир Павлович прекрасно окончил гимназию и поступил в университет, Татьяна Семеновна, несмотря на весь авторитет своего приемного отца, не смогла учиться в гимназии. Она была переведена в епархиальное училище во Владимире, но и его не смогла закончить. Тем не менее они любили друг друга, и родители с обеих сторон не возражали против этого брака. Перед венчанием Татьяне Семеновне рассказали о ее происхождении, она нашла свою сестру и вместе с ней и Владимиром Павловичем посетила могилу матери. После окончания университета Владимир Павлович работал в Москве в министерстве здравоохранения. У них было двое детей: Ольга и Борис. В начале Первой мировой войны Владимира Павловича призвали в армию, и он был адъютантом какого-то полка. Революция застала их полк в Москве. Владимир Павлович был арестован в своей квартире в Спасских казармах. Анна Михайловна и моя бабушка, которая к тому времени уже была замужем, очень волновались. Бабушка осмелилась позвонить в казармы. Там какой-то начальник объяснил ей, что с Владимиром Павловичем все в порядке: солдаты его снова выбрали офицером, и арест с него снят. Вскоре Владимир Павлович демобилизовался и до самой смерти в 1942 году работал юрисконсультом в каком-то министерстве. Он очень увлекался театром, был знаком со многими театральными деятелями и собрал обширную коллекцию фотографий артистов с их автографами. В том же 1942 году умерла и Анна Михайловна. К тому времени из ее детей в живых и на свободе осталась только моя бабушка. Но она уехала со мной и моей мамой в эвакуацию в Красноуфимск, а бабатик осталась в Вязниках на попечении чужих людей. В тот день, когда она умерла, моей бабушке приснился страшный сон. Ей снилось, что она приехала в Вязники, идет к своей маме и страшно торопится, боится опоздать. Вдруг с расположенного в центре города кладбища выбегает собака, хватает ее за подол и тащит на кладбище. Бабушка вырывается, кричит, но собака ее не пускает. Проснувшись, бабушка твердо сказала моей маме, что, наверное, с Анной Михайловной что-то случилось. Это подтвердило пришедшее только через два месяца письмо. Самым странным было то, что прабабушку похоронили именно на том кладбище, на которое бабушку тянула собака. Так решили хоронившие бабатика люди, поскольку кладбище, на котором хоронили всех Любимовых, было слишком далеко. Много лет спустя мы с мужем съездили в Вязники и узнали, что старое кладбище, на котором была похоронена Анна Михайловна, уничтожили и на его месте разбили городской парк.

Младший сын Любимовых — Сергей Павлович — унаследовал, по-видимому, что-то от авантюрного характера своего дяди-бродяги. Он сидел в лагерях, по-

том оттуда попадал в крупные начальники Дальстроя, потом опять сидел. Свои последние годы он провел в Москве в обществе жены Ольги Ивановны и сына Сергея.

Совершенно другим человеком была старшая бабушкина сестра — Надежда Павловна (Тёна, как ее называл мой папа). Родилась она в 1875 году, училась в гимназии во Владимире. Некрасивая, но чрезвычайно умная и целеустремленная, она хотела после окончания гимназии продолжать учиться, но Павел Васильевич придерживался достаточно консервативных взглядов на женское образование, поэтому поступать в высшее учебное заведение ей запретил. Однако надо отдать ему должное: ко времени окончания гимназии моей бабушкой, которая была на 14 лет моложе Тёны, он, не без влияния своей жены, пересмотрел свои взгляды, и бабушка, сдав дополнительные экзамены за мужскую гимназию, поступила на высшие женские медицинские курсы в Петербурге. А Надежда Павловна, окончив гимназию, стала работать учительницей в школе Сергея Ивановича Сенькова, владельца ткацко-прядильной фабрики. Вскоре она стала директрисой школы и проработала в этой должности до своей смерти в 1930 году. Сначала школа была очень маленькой. Помещалась она в покосившемся желтом домике, но по мере расширения деятельности Сенькова росла и школа. Сеньков построил для нее новое белое здание, а для учителей Надежда Павловна отвоевала красный двухэтажный дом. В этом доме у нее было две комнаты, по комнате у каждой учительницы, общая кухня и столовая. Постепенно Сеньков стал наряду с Демидовым самым богатым человеком в Вязниках. Демидов благотворительностью не занимался, а Сеньков по просьбам Надежды Павловны постоянно кому-нибудь помогал: больным чахоткой, способным, но недостаточным ученикам и т. п. Надежда Павловна была не замужем и все свои силы отдавала школе.

Надежда Павловна Любимова

По-видимому, такой же подвижницей была и подруга Надежды Павловны — Архангельская, преподававшая в школе для глухонемых, чуть ли не единственной в России. Туда свозили глухонемых из самых отдаленных мест, причем прибывали они в школу в самом диком состоянии (в деревнях их зачастую содержали на цепи).

Другой подругой Тёны была Фрида Крамме из семьи местных немцев. Однажды они вместе совершили большое путешествие по Европе. Тогда это было совсем несложно: надо было сходить в полицейский участок, взять там свидетельство о благонадежности, выправить там же паспорт, купить билеты и ехать куда заблагорассудится. Тёна знала французский, Фрида немецкий, и они, легко преодолевая языковые барьеры, побывали в это лето в Германии, Франции, Италии. Помимо обязательных достопримечательностей Надежда Павловна везде интересовалась постановкой школьного дела. Кажется, именно из этого путешествия Тёна привезла неплохую копию «Сельской мадонны» Феррари, которая до сих пор висит в нашей комнате. Еще несколько сувениров: бронзовую статуэтку Жанны д'Арк, ложечку с изображением Эйфелевой башни и датой «1900» подарил Надежде Павловне управляющий фабрикой Сенькова Иван Михайлович Новожилов, который работал на Всемирной выставке в Париже. Он очень нежно относился к Надежде Павловне, они любили друг друга, но Иван Михайлович был женат, имел детей, и ни ему, ни ей не приходила в голову мысль о возможности разрушить его семью. После революции он был, разумеется, лишен всего своего имущества и выслан на Медвежью гору. В это время умерла его жена, и он написал Надежде Павловне, прося ее навестить двух его девочек в Новогирееве. Она поехала туда зимой, в буран, вернулась совершенно больная с повышенным давлением. В таком состоянии уехала в Вязники, через несколько дней у нее сделалось кровоизлияние в мозг, а еще через несколько дней она умерла. Когда Иван Михайлович вернулся в Москву, ее уже не было в живых. Хоронили Надежду Павловну все Вязники: ее ученики, их родители, их дети запрудили всю центральную улицу, гроб несли на плечах до самого кладбища и останавливались у каждого дома.

Когда в 70-х годах мы с мужем были в Вязниках, удалось отыскать одну из выпускниц этой школы, окончившую ее сразу после революции. Дочь богатого купца, она доживала свои дни в одиночестве и ужасной нищете. Узнав, что я внучатая племянница Надежды Павловны, она предалась воспоминаниям о школе, о музыкальных вечерах, о выпускном бале. Было ясно, что это были единственные светлые мгновения в ее нелегкой жизни. О Надежде Павловне она вспоминала с величайшим уважением и благодарностью. Совсем другой прием встретили мы у местного «краеведа». Он долго и подозрительно расспрашивал нас, кто мы такие, а потом сурово сообщил, что о существовании Надежды Павловны Любимовой он знает, но ее деятельность в местной прессе не пропагандирует, поскольку она, кажется, неправильно повела себя после революции: вместо того чтобы поддержать большевиков, сочувствовала эсерам. Бабушка была уверена, что она не сочувствовала ни тем, ни другим, а просто пыталась защитить от революционных невзгод своих учеников. Тем не менее на Лубянку ее вызывали, но скоро отпустили, видимо, не найдя в ее действиях никакого состава преступления.

Мария Павловна (слева) и Надежда Павловна (справа) Любимовы

Уровень познаний идейного «краеведа» был, по-видимому, весьма невысок. В частности, он авторитетно заявил, что в Песках никогда не было никакой церкви. Все наши заверения, что там служил наш родственник и поэтому церковь там точно была, он отверг как не заслуживающие никакого внимания. Для расследования этого противоречия ни мисс Марпл, ни Пуаро не понадобились. Мы просто съездили в Пески, увидели там развалины церкви и отыскали дом, в котором жил священник Лавров с семейством и куда каждое лето приезжала к ним Анна Михайловна с детьми. Красный дом, где жила Надежда Павловна, в то время все еще стоял на центральной площади, мы даже попросили разрешения зайти в ее комнаты. Когда-то в них стоял маленький резной шкафчик, на верхней полке которого располагалась привезенная из Парижа Новожиловым статуэтка Жанны д'Арк. Этот шкафчик перешел потом к моей бабушке. В нем хранилось белье четырех поколений нашей семьи. Он по-прежнему называется «Тёнин шкафчик», стоит в нашей квартире и, наверное, ждет, когда в него снова положат комплект детского белья.

Моя бабушка, Мария Павловна, училась в женской гимназии города Шуя. Начитавшись романов Чарской, она мечтала о том, чтобы поступить в институт благородных девиц, и с нетерпением ждала того момента, когда ее отец получит орден Святой Анны, дававший право на дворянство. Орден Павел Васильевич получил, но к тому времени успели отменить даваемое этим орденом

право на наследственное дворянство, и дворянином стал только Павел Васильевич. Таким образом, Марусе (так бабушку называли в детстве) пришлось удовлетвориться гимназией. Бабушка всегда отличалась независимым характером: в первый день в школе, соскучившись по дому приблизительно в середине второго урока, она принялась деловито собирать свой портфель. На вопрос учительницы, куда это она собралась, бабушка ответила: «Домой, мне здесь надоело». Тем не менее в дальнейшем бабушка училась прекрасно, причем особенно хорошо ей давалась математика. В одном из последних классов произошел эпизод, который мог бы привести к весьма печальным для нее последствиям. В то время все увлекались передовыми идеями: сострадали народу, осуждали власть имущих и очень сомневались в существовании Бога. Бабушка основательно проштудировала Ренана и на обязательной для всех гимназисток исповеди сообщила священнику, что в Бога не верует. После такого признания священник должен был бы поставить ей двойку по Закону Божьему, что автоматически привело бы к исключению из гимназии и закрыло бы доступ к высшему образованию. К счастью, священник был в очень дружеских отношениях с Павлом Васильевичем. На исповеди он сделал вид, что не расслышал, а в доверительной беседе с бабушкиным отцом попросил сделать ей надлежащее внушение и сказать, чтобы впредь она ничего подобного вслух не произносила. Таким образом, бабушка благополучно окончила гимназию. Сразу после ее окончания, когда бабушке было 16 или 17 лет, она заболела брюшным тифом. В жаркий день они с веселой компанией катались на лодке по реке, очень хотелось пить, бабушка зачерпнула пригоршню воды из реки и выпила. Болезнь протекала очень тяжело, врачи уже теряли всякую надежду, когда она увидела в полузабытьи образ Казанской Божией Матери, которая сказала ей, что скоро будет кризис и она выздоровеет. Бабушка рассказала об этом своей маме Анне Михайловне. Из церкви был принесен этот образ, отслужен молебен, и бабушка действительно через день пошла на поправку. Несмотря на этот случай, в Бога она так и не уверо-

вала, хотя образ жизни вела поистине подвижнический.

Во время болезни бабушку, как тогда полагалось, остригли, и она со своей мальчишеской прической приобрела настолько современный вид, что моя внучка путает бабушкины фотографии и мои, сделанные приблизительно в том же возрасте. Для того чтобы получить высшее образование, надо было сдать экзамены за мужскую гимназию. Маруся Любимова мужественно выучила за год латынь, греческий и дополнительный материал по математике, сдала все дополнительные экзамены в Егорьевске и поступила на высшие женские медицинские курсы в Петербурге. Обучаясь на курсах, бабушка чуть не уморила себя голодом, решив, что она слишком полная и надо срочно похудеть. Обладая незаурядной силой воли, она соблюдала строжайшую диету и отказалась от всех видов транспорта, хотя очень любила кататься на извозчиках «с дутыми шинами». Когда в совершенно отощавшем виде она появилась в Вязниках, бабатик решила, что у нее последняя стадия чахотки и отправила ее на юг под присмотром старшей сестры Нади. На юге, выйдя на пляж и увидев в первый раз людей в купальниках, Маруся пришла в ужас и сказала, что такого неприличия ни за что не допустит. Надежда Павловна ее уговаривала три дня. В конце концов бабушка согласилась и выглядела в купальнике, наверное, очень неплохо, потому что фигура у нее всегда (вплоть до глубокой старости) была отличная.

На всю жизнь сохранила бабушка и правила обращения, которые сейчас стали весьма расплывчатыми. После

Сережа с няней, 1918

окончания гимназии ко всем полагалось обращаться на «вы» и по имени отчеству. Поэтому к своей ближайшей подруге, с которой она познакомилась еще на медицинских курсах, бабушка в течение 70 лет адресовалась не иначе как «вы, Людмила Павловна». Это правило не распространялось только на очень юных особ (например, моих подруг), к которым бабушка обращалась на «вы», но по имени. Обращение на «ты» допускалось только по отношению к детям и самым близким родственникам.

С детства мне было также внушено, что, здороваясь, надо обязательно называть человека по имени: «Здравствуйте, Марья Ивановна!» Когда я начала работать, от этой привычки пришлось довольно долго отучаться, поскольку на свое полное приветствие встречала лишь

Мария Павловна с мужем Гавриилом Федоровичем Юровым, 1912 (1913)

недоуменные взгляды и небрежное «Здрасте!».

Медицинские курсы бабушка так и не окончила, потому что, с одной стороны, падала в обморок при виде крови, а с другой стороны, вышла замуж за деда — Гавриила Федоровича Юрова. Дед только что окончил курс в институте и получил звание инженера-путейца. Был он красавцем почти двухметрового роста с голубыми глазами, светлыми волосами и роскошными усами. Происходил из казаков станицы Ахтубинская, которые все отличались исключительно высоким ростом и служили, как правило, в гренадерских полках. А фамилия Юровых была образована не от имени Юрий, как многие ошибочно полагают, а от слова «юр» — высокое место. Должно быть, дом Юровых когда-то стоял на юру. Сначала молодые отправились на строительство Амурской железной дороги. Поскольку бабушка была в молодости большая модница, она договорилась со своей петербургской портнихой, что будет выписывать себе туалеты по почте. Бабушка сообщала портнихе, что ее размеры за последнее время не изменились, и портниха высылала ей то летнее платье, то осенний костюм, то вечерний туалет, сшитый по последней моде. В 1914 или 1915 году Юровы переехали в Москву. Управление железной дороги, на которой должен был служить дед, предоставило им хорошую пятикомнатную квартиру в Лихоборах. Бабушка, которая в то время уже ждала ребенка, поселилась на первое время в номерах. Туда к ней приходил приказчик с образцами обоев и тканей для обивки мебели. Бабушка давала руководящие указания, и ремонт в скором времени был завершен. Мой папа родился в 1915 году. К нему взяли няню Ксюшу из Вязников, и жизнь потекла тихо и мирно, несмотря на то что уже шла Первая мировая война. Бабушка говорила, что на их жизни она никак особенно не от-

разилась, да и все их окружение от войны практически не пострадало.

Крутой поворот наступил после революции. Деда направили руководить ремонтом железнодорожных путей, которые взрывали белые при своем отступлении на восток. Жить стало чрезвычайно трудно, наступили большие проблемы с продуктами. Особенно удручало бабушку отсутствие ее культового напитка кофе, который она полюбила восьми лет от роду и пила, несмотря на гипертонию и плохое сердце, в течение 90 лет. Каким-то образом, кажется в Екатеринбурге, ей все же удалось раздобыть порядочный мешочек кофе и мешок муки. Все это она спрятала в нишу за высоким зеркалом в передней квартиры, которую они тогда занимали. До глубокой старости она с ужасом вспоминала солдат, которые неожиданно нагрянули с обыском. К счастью, заглянуть за зеркало они не догадались. Бабушкины запасы и их жизнь были спасены. Еще одним источником сожалений являлось бархатное манто, купленное как раз перед революцией. Решив купить себе шубку, бабушка выбирала между практичным каракулем и «остромодным» в то время бархатным манто. Куплено было последнее, которое через короткое время оказалось совершенно ненужной и даже предосудительной с классовой точки зрения вещью. В то время как каракулевая шуба вполне могла бы быть обменена на что-нибудь жизненно важное, типа мешка или даже двух мешков картошки.

Вернувшись в Москву, дед получил ордер на осмотр жилплощади. Бабушка, съездив в их бывшую квартиру в Лихоборах, пришла в ужас от перспективы остаться на зиму без дров в промерзшей квартире. После этого она поехала в коммунальную

С сыном и мужем, Крым, 1920-е гг.

квартиру на Покровке. Там было тепло, на кухне приветливо гудели керосинки и примусы. Было решено вселяться в предоставленные деду две комнаты в этой квартире, в которой бабушка с семейством, а потом и присоединившаяся к ним мама прожили больше 40 лет.

Как-то в разговоре с нашим молодым знакомым случайно были упомянуты коммунальные квартиры. Он призадумался и сказал: «Да, я как-то был в одной коммунальной квартире». В наше время такая фраза была бы совершенно невозможна, потому что в коммуналках жили все и, напротив, отдельные квартиры были редчайшим исключением. А сейчас я поняла, что настало время рассказать об этих экзотических жилищах, пока они и их обитатели не стали безвозвратно утерянной натурой.

Наш дом стоял во дворе на углу улицы Чернышевского (Покровки) и Покровского бульвара (ул. Чернышевского, д. 10, кв. 38, тел. К7-87-19). Наискосок, на втором этаже двухэтажного дома находился кинотеатр «Аврора», а напротив — сначала трамвайное кольцо, а потом стоянка такси. Именно в этом месте в марте 1953 года кончалась очередь желающих проститься со Сталиным. Мы с мамой шли домой, и она, правда, без особого энтузиазма, предложила тоже встать в эту очередь. Стоять в длинной очереди мне не хотелось, я решительно воспротивилась и, таким образом, возможно, спасла жизнь нам обеим, потому что в давке на Трубной площади погибло в этот день множество народа.

До революции наш дом и все дворовые постройки принадлежали купцу Калашникову, который обеспечивал предметами культа (ризами, окладами, паникадилами, колоколами и т. п.) почти всю Россию. Квартиры в доме отдавались внаем, а во дворе долгое время стоял маленький домик без окон с толстенными стенами. По рассказам, в нем испытывали звучание колоколов. В наше время там была сначала керосиновая лавка, а потом какой-то склад. Наш дом был выстроен с купеческой основательностью: стены были толщиной около метра, и летом в детстве я спокойно загорала на подоконниках. На наш второй этаж вела ажурная чугунная лестница. Высота потолков была около четырех метров. Комнаты отапливались высокими белыми кафельными печами. Зеркало печи и вьюшки выходили в комнату, а дверцы для загрузки дров в коридор, чтобы кухонный мужик мог выполнять свои обязанности, не мешая хозяевам. Все печные дверцы были литые чугунные с разнообразными античными сюжетами, которые я любила рассматривать. Еще одним интересным занятием было пристальное вглядывание в паркет, выложенный большими кубиками, которые при долгом разглядывании переворачивались. Весной появлялся еще один источник развлечений. Дело в том, что окно моей комнаты, в отличие от остальных окон, было до половины закрыто стеной соседнего дома. Между окном и краем крыши этого дома была щель шириной 10—15 см и глубиной, равной половине высоты окна, потому что снизу она ограничивалась подоконником. Как только мартовские коты заводили свою военную песню где-то наверху, на коньке крыши, я сразу от-

правлялась в свою комнату, чтобы быть на месте ко времени развязки. Немного попев, коты вцеплялись друг в друга и, потеряв всякую осторожность, с грохотом катились по скату железной крыши. А на краю их ожидала моя коварная щель, в которую они проваливались с душераздирающим воплем, пролетали до подоконника, ударялись об него и с диким видом, позабыв о своих распрях, выскакивали обратно на крышу и разбегались в разные стороны.

Были у нас и свои коты: три поколения Микешек. Но после того, как украли последнего и самого лучшего их них — черного Мику с белым галстучком, больше котов мы не заводили. Зато бесхозные кошки время от времени накапливались на коммунальной кухне в немыслимых количествах. Однажды, потеряв всякое терпение, бабушка с домработницей Машей задумали враждебную акцию. Выждав, когда на кухне никого не было, они распихали всех кошек по двум хозяйственным сумкам, довезли их на трамвае до конца маршрута, вытряхнули из сумок в чей-то подъезд и быстро закрыли дверь (наверное, для того, чтобы кошки не могли проследить, на каком трамвае их привезли). Дома они еще долго лицемерно осведомлялись, куда это подевались всеобщие любимицы.

Стержнем нашей коммунальной квартиры был длиннейший коридор, по которому дети катались на велосипеде. В коридор выходили все многочисленные комнаты, в которых обитало восемь семей. Больших скандалов среди этой разношерстной публики не было, но и идиллической дружбы с взаимопомощью и совместными праздниками, как это нередко описывается в литературе и изображается в кино, тоже не наблюдалось. Не дружили даже дети, каким-то образом чувствуя всю противоестественность подобного объединения. Кроме меня, детей было четверо: две девочки Галущенко и близнецы Ермолаевы-Фрисман. У близнецов, как это ни странно, были разные фамилии, и вот как это получилось. Когда началась война, мама близнецов, Галина Павловна, как раз была в положении. Отца призвали в армию, и они договорились, что, если родится девочка, она получит фамилию отца Фрисман, а если мальчик — фамилию матери Ермолаев. Отец погиб на фронте, а родились близнецы: мальчик и девочка. Так они и стали Боря Ермолаев и Леночка Фрисман. Их мама Галина Павловна была косметичкой, и дамское население квартиры широко пользовалось ее услугами. Даже после того, как мы перебрались в отдельную квартиру, мы довольно долго ездили к ней в какую-то парикмахерскую на Ленинградском проспекте «наводить красоту».

Иногда у нас появлялись «временные» дети. Это происходило, когда дочь Елизаветы Кирилловны, министерский работник Галя, приводила какого-нибудь очередного мужа с ребенком. Но долго эти мужья и дети не задерживались. Мой папа и Галя были приблизительно одного возраста, оба выросли в этой квартире, и на этой почве между их матушками — моей бабушкой и Елизаветой Кирилловной — установились несколько более дружеские отношения, чем между остальными соседями. Когда-то у Елизаветы Кирилловны были даже некие матримониальные проекты

относительно папы и Гали. Несмотря на то, что проекты не осуществились, две приятельницы продолжали ходить друг к другу пить чай, причем Елизавета Кирилловна попивала чаек из нашего самовара. Когда мы уехали в эвакуацию, он остался вместе с другим имуществом в наших комнатах. Одни из наших соседей решили воспользоваться моментом, собрали приглянувшиеся им вещи по всем оставленным уехавшими жильцами комнатам и стали их пропивать в ожидании прихода немцев. Несмотря на военное время, а может быть, именно благодаря этому, их деятельность очень быстро прекратили, все семейство то ли посадили, то ли выслали, а вещи отобрали. Наш самовар они, по-видимому, успели продать Елизавете Кирилловне, и так он у нее и остался. За очередным чаепитием Елизавета Кирилловна доверительно говаривала бабушке: «Я, Мария Павловна, конечно, знаю, что это ваш самовар, но так к нему привыкла, что просто никак расстаться не могу».

В самом конце коридора жила скромнейшая и тишайшая Шура, работавшая швеей на какой-то фабрике. После того, как папа в первый раз съездил в командировку за границу, вся квартира, естественно, пришла в большое волнение, а Шура, напротив, погрузилась в глубокую задумчивость. Через некоторое время она все-таки сформулировала вопрос: «Сергей Гаврилович, вот вы во Франции были. А что, правду говорят, что там никто нашего языка не знает и все только по-французски разговаривают?»

Напротив наших комнат жила малюсенькая старушка Ревекка с внуком Зюкой. Ее дочь Раю посадили по неизвестной причине еще до войны, и Ревекка из сил выбивалась, холя и лелея ненаглядного Зюку. У Ревекки мы снимали угол для наших последовательных домработниц: Дуси, Маши и Александры Васильевны. Бабушка Ревекку жалела, но не одобряла за бестолковость и безудержное баловство внука. Время от времени к Ревекке приходила ее родственница Соня, она выходила на общественную кухню и развлекала всех чтением анекдотов из своей записной книжки. Эта записная книжка была ее основным орудием труда, поскольку она зарабатывала тем, что ходила по квартирам и уговаривала жильцов отдать увеличить свои фотографии. Для этого она разработала специальную стратегию, включавшую в себя анекдоты как обязательный элемент. Думаю, что ее метод был очень близок к тому, что рекомендует Карнеги, а кое-что она могла бы, наверное, к его наставлениям и добавить, поскольку для того, чтобы в послевоенное время заставить людей раскошелиться на увеличение фотографий, надо было быть настоящим виртуозом. После смерти Сталина вернулась Рая. Выглядела она старше своей матери, непрерывно курила и виртуозно ругалась. Появление матери не повлияло на Зюку сколько-нибудь благотворным образом. В ранней юности он подавал какие-то поэтические надежды, но спился и исчез из нашего поля зрения. В ближайших к входной двери комнатах жила чета Вулкановых: Катя и алкоголик Сергей. Катя была намного старше Сергея и проводила жизнь в тщетных попытках отучить его от пьянства. В какой-то момент она решила,

что ему может помочь какое-нибудь коллекционирование. Они стали собирать спичечные этикетки, но это средство оказалось слишком слабым. Катя была не лишена некоторой доли кокетства. Понаблюдав за тем, как одевается моя мама, она объявила на коммунальной кухне, что ничего хитрого тут нет и она может выглядеть ничем не хуже. Для этой цели она купила голубые носочки с зеленой каемочкой и белый нитяной вязаный берет. Надев все это, она ощутила себя на вершине элегантности и больше беспокоиться о своей внешности не стала. Уже после нашего отъезда Сергей Вулканов повесился в дровяном сарае, а Катя умерла от ожогов, сунув голову во вспыхнувшую духовку.

В 1960 году папе, наконец, дали трехкомнатную квартиру в хрущевской пятиэтажке. Мама ликовала. В день переезда она первая покинула нашу коммуналку, сказав, что ее ноги больше там не будет. Она, действительно, больше ни разу не зашла в нашу бывшую квартиру. Мы постепенно перетаскивали все наше барахло, а мама вошла в новую квартиру, бросила в угол шубу, села на нее и руководила нашими действиями из этого командного пункта. По-моему, после 43-летнего кошмара коммунальной квартиры это более чем скромное жилище доставило ей гораздо больше радости, чем вполне достойная квартира на Фрунзенской набережной, куда мы переехали через 10 лет. При переезде мама стремилась взять с собой в новую жизнь как можно меньше вещей из старой квартиры. Мы с папой ее понимали и не очень сопротивлялись, когда в сарае были оставлены сборники «Живописной России», тома Брэма и атласы по античной истории. Единственной позицией, по которой мы проявили полное единодушие и принципиальность, был «Брокгауз и Ефрон». До сих пор эти тома являются незаменимым источником информации, и уже наша внучка знает, что те сведения, которые не удалось найти в других словарях и Интернете, вероятнее всего, можно обнаружить в «Брокгаузе и Ефроне».

Кроме перипетий Гражданской войны и кошмара существования в коммуналке были в бабушкиной жизни и другие невзгоды. Еще до войны внезапно тяжело заболел мой дед. Его мучили страшные боли, он не мог подняться с постели, и бабушка, как бывшая медичка, решила, что ему надо ехать на грязи. Она добилась приема чуть ли не у министра здравоохранения и, в лучших традициях высокой трагедии, рыдая и заламывая руки, умоляла спасти ее мужа и дать ему путевку в санаторий. Получив путевку и отправив деда, бабушка единственный раз в жизни пошла работать в какую-то канцелярию, которая не оставила у нее никаких светлых воспоминаний. Дед выздоровел, и с канцелярией было покончено. Бабушка целиком посвятила себя сыну и мужу. Здесь ее тоже ждало много огорчений. Моего папу, как происходящего из классово чуждой семьи, не приняли в институт, и он вынужден был сначала окончить ФЗУ, а потом отработать какое-то время на заводе. Только после этого он, теперь уже настоящий пролетарий, смог поступить в МЭИ. Параллельно папа очень серьезно увлекся альпинизмом и в ре-

зультате, кажется, перед самым моим рождением, упал в какую-то трещину и сломал себе ногу. Два дня его спускали с горы, потом сделали неудачную операцию в Нальчике и в конце концов привезли в Москву в Институт Склифосовского. Там ему для начала предложили ногу ампутировать, но потом нашлась благородная женщина-врач, которая ногу все-таки спасла. В результате папа остался на всю жизнь хромым, но, может быть, именно это спасло ему жизнь во время войны. Призыву он, правда, в любом случае не подлежал, так как работал во Всесоюзном электротехническом институте (ВЭИ) по оборонной тематике: разрабатывал прожекторы. После войны он защитил докторскую диссертацию, был одним из организаторов Всесоюзного светотехнического института и долго работал там заместителем директора по научной части. Вместе с ВЭИ папа был эвакуирован в Свердловск, а нас с бабушкой и мамой оставил недалеко от Свердловска — в Красноуфимске, где было намного легче с жильем. Нас поселили в избу к некой Степаниде, которая жила вдвоем с сыном-машинистом. Сначала они нам не очень обрадовались. Московские дармоеды, которые свалились им как снег на голову, сильно раздражали, и Степанида всячески старалась нас притеснить. Например: двор у них был вымощен досками, которые она время от времени мыла, после чего начинала ругать маму и бабушку за то, что они по нему ходят. Бедной бабушке доставалось и от баб возле колодца, когда она, не удержав тяжеленную обледенелую бадью, случайно выплескивала воду на их валенки. Поэтому каждый поход за водой оканчивался горькими слезами. Натерпелась она страху и в Вязниках, куда мы заехали по дороге в Красноуфимск. Там ей дали ружье и приставили охранять ночью колодец от диверсантов. Поскольку надежды на то, что она справится с диверсантом, не было никакой, факт его появления, по-видимому, надеялись обнаружить, найдя ее труп. К счастью, диверсант вязниковским колодцем не заинтересовался. А в эвакуации дела через несколько месяцев относительно наладились, потому что туда был эвакуирован Харьковский механико-машиностроительный институт, где отсутствовала заведующая кафедрой иностранных языков. Маму, которая до войны работала преподавательницей немецкого языка в МЭИ, сразу взяли на ее место, мы получили карточки и сразу стали уважаемыми людьми. Наше реноме поднялось еще выше, когда маме на работе выдали живого поросенка. Элегантной даме, которой мама оставалась, надо полагать, даже в эвакуации, нести по улице мешок с визжащим и брыкающимся поросенком было никак невозможно. К счастью, нашелся очередной поклонник, который осуществил эту операцию. Степанида встретила поросенка, естественно, с распростертыми объятиями, чего нельзя сказать о бабушке. Она его смертельно боялась и, когда кормила, плескала ему пойло через щель в закутке и быстро убегала. От щели поросенок и погиб, каким-то образом в ней защемившись. Пришлось бедного Прошку прирезать, но ели его только Степанида и мы с машинистом, потому что ни мама, ни бабушка родно-

го поросенка съесть, несмотря на голодуху, конечно, не смогли.

Несладко приходилось нашей бабушке и после войны: очереди, дефицит, коммуналка — в общем, сплошная борьба за существование. Преодолеть все трудности ей помогали незыблемые жизненные правила. С утра она составляла план своих действий на день, стремясь по возможности «запараллелить» наиболее простые домашние работы. Никаких отклонений от плана не допускалось. К числу основных смертных грехов причислялись халат как форма домашней одежды, оставленная немытой посуда, не застеленные с утра постели. К приходу всех членов семьи все было готово, а бабушка сидела в кресле и читала роман. Регулярно видя эту картину еще до войны, ее брат Владимир Павлович пришел к выводу, что Маруся себя домашним хозяйством не обременяет в отличие от его Тани, которая все время чем-то занята на кухне.

Все, кто бывал у нас в доме, отмечали необыкновенное бабушкино гостеприимство. Отпустить даже случайного посетителя, не напоив его хотя бы кофе с булочкой, считалось совершенно недопустимым. А к большим приемам пеклись пироги, делалось заливное, ореховый торт с кофейным кремом и пр., и пр. Все наши друзья до сих пор вспоминают ее пироги с капустой и особенно «внучатник». «Внучатник» — это пирог, состоящий из отдельных кусочков теста, обвалянных в масле и сахаре. После смерти бабушки я долго сокрушалась, что не записала этот рецепт. Только через несколько лет случайно выяснилось, что его в свое время записала моя подруга и,

С внучкой Леночкой, 1945

таким образом, он сохранился для грядущих поколений. Хорошо кушающие гости доставляли бабушке искреннее удовольствие. Однажды ко мне зашла голодная студенческая компания, и один из молодых людей съел половину бабушкиного пирога с капустой (который выпекался по размеру духовки). Этим он произвел на нее неизгладимое впечатление, и бабушка еще несколько лет осведомлялась о том, как он поживает.

Обладая необыкновенно ясным умом и здравым смыслом, бабушка прожила 40 лет в семье сына, ни разу не поссорившись с невесткой. Тут надо отдать должное и моей маме, которая никогда не вмешивалась в «кухонные» вопросы. Идея о том, чтобы стать хозяйкой в этой области, даже никогда не приходила ей

в голову. Мама всегда говорила, что согласна есть каждый день только вареную картошку, лишь бы не заниматься ее приготовлением. В результате наше меню этим отнюдь не ограничивалось, потому что бабушка отлично готовила. Никаких разногласий между бабушкой и мамой не было и в вопросах моего воспитания: мама всегда проводила мысль о том, что бабушка является в этом деле главной. Когда я приходила из школы и устремлялась к маме, чтобы сообщить ей последние новости, мама неизменно говорила: «Пойди, сначала расскажи бабе». Была у меня и другая бабушка — мамина мама, баба Маня, которую я тоже очень любила. Поэтому однажды в раннем детстве я решила выяснить у мамы вопрос о том, которая же из них все-таки «главнее». На это мама самоотверженно ответила, что, конечно, меня обе очень любят, но «баба» (Мария Павловна), безусловно, является основной.

Каждое лето мы всем семейством, включавшим зачастую моих, бабушкиных или маминых подруг, выезжали на лоно природы, а родители уезжали куда-нибудь путешествовать, заезжая к нам лишь на короткое время. Таким образом, мы побывали на Рижском взморье, в Верее, в Тарусе, в Ясной Поляне, в Архипо-Осиповской на Черном море. Хлопот вся эта компания доставляла бабушке, надо полагать, немало: то я вдруг заболевала воспалением легких, то какая-нибудь из подопечных пыталась сбиться с пути истинного. Прибавим к этому полунатуральное хозяйство, которое приходилось вести в то время за городом. Так, в Верее один раз домработницей Машей была куплена за неимением куриной тушки живая курица. Сразу ее не съели, а начали о ней, естественно, заботиться. Хохлатка в благодарность снесла яйцо и за такие заслуги была окончательно помилована. В конце лета со всей остротой встал вопрос о том, что же с ней делать. К тому времени на наших кормах курица превратилась в роскошную вальяжную птицу, регулярно через день несшую яйца. Мы предложили нашему хозяину обменять ее на любую из его худосочных жилистых пеструшек. Он промучился два дня, пытаясь отгадать, в чем заключается подвох и каким способом мы его пытаемся обмануть. Ничего не придумав, он все-таки от обмена отказался и курицу пришлось зарезать. Ели ее Маша и бабушкина подруга, но «без всякого удовольствия».

Иногда мама и бабушка все же доставляли друг другу несколько неприятных минут, но у обеих хватало выдержки и чувства юмора, чтобы не придавать этим моментам большого значения. Мама, появившись в нашем доме, задумала в первое же лето навести порядок. Когда бабушка уехала со мной на дачу, она решила покончить со всеми признаками «мещанства»: решительно срубила пальму и подмела ею пол, выбросила мраморный чернильный прибор и продала буфет красного дерева. Приехав с дачи и обнаружив следы маминой разрушительной деятельности, бабушка только покачала головой и горестно сообщила, что под доской буфета у нее было спрятано шесть или семь золотых. Причем больше всего ее озаботило то, что новые владельцы буфета не знают об этом и не смогут их отыскать. Случались нетак-

С сыном С. Г. Юровым, 1960-е гг.

тичные высказывания и со стороны бабушки. Так, один раз мама, красуясь в очередном модном костюме, имела неосторожность спросить у бабушки, как та его находит. Бабушка неделикатно ответила, что костюм сам по себе очень хороший, но в сочетании с мамой как-то не смотрится. Это высказывание долгие годы служило у нас дежурной фразой для оценки какого-нибудь не очень удачного туалета. Мою манеру одеваться бабушка в глубине души тоже не одобряла. Как-то раз, когда я собиралась на работу, она торжественно провозгласила: «Лена, если я тебе этого не скажу, тебе никто этого не скажет!» Я приготовилась услышать что-то ужасное, а бабушка продолжила: «Посмотри, как ты одеваешься: каждый день юбка и кофта, кофта и юбка. У настоящей дамы должно быть хотя бы одно струящееся платье». Струящегося платья я себе не обрела, поэтому так и не знаю, имею ли я право причислить себя к настоящим дамам.

Когда мы еще жили на Покровке, бабушка как-то раз сидела в комнате за швейной машинкой. На пороге появилась домработница Маша и объявила, что там «какая-то спрашивает Веру Матвеевну». Не поворачивая головы, бабушка поинтересовалась: «Кто, женщина или дама?» Маша не растерялась, она мгновенно оценила всю глубину вопроса и ответила: «Женщина, хотя и с портфелем». С тех пор этот эпизод стал семейной легендой и цитировался неоднократно.

Сама бабушка оставалась настоящей дамой в течение всей нелегкой жизни. Никому ни разу не пришло в голову обратиться к ней «бабуля» или сказать о ней «старушка». Внутреннее чувство собственного достоинства окружало мою бабушку незримой аурой, которую ощущали все знавшие ее люди.

А. А. Хвалебнова

Это милое, милое Узкое…

Есть под Москвой усадьба «Узкое». Вернее, это раньше она была под Москвой, а теперь это уже Москва, рядом метро «Теплый Стан». Последними владельцами усадьбы были князья Трубецкие, но речь пойдет не о них, а о том, как Узкое неразрывно связано с судьбой нашей семьи, а особенно моей бабушки — Наталии Александровны Власовой. Ах, это милое, милое Узкое, как вплелось оно во всю нашу жизнь!

Меня привезли туда трех месяцев от роду, и первые 12 лет моей жизни каждое лето я проводила на даче, которую мы снимали рядом с усадьбой, где бабушка отдыхала в санатории. И уже позже, когда дачи не было, навещать бабушку в Узком было самым любимым мероприятием. И вот уже и бабушки нет, но приезжая с замиранием сердца в Узкое в очередной раз, обнаруживаешь его неизменным: воздух, липы, дом… Правда, все чуть-чуть стало меньше (как становятся меньше старички), или это город вокруг стал больше, и сменилась система координат, или это сжимается пространство и время, которое «не щадит». Облупилась краска, осыпалась штукатурка, подгнили базы колонн, еще больше выросли ели, появились новые тропинки и заросли старые, чуть передвинулись родники, но то захватывающее чувство связи поколений нигде не ощущается сильнее, чем здесь.

А началось все с того, что…

В 1895 году здесь познакомились Софья Александровна Иванова, студентка консерватории, приглашенная для занятий музыкой с маленькими княжнами, и репетитор мальчиков Трубецких, студент Университета, будущий врач Александр Васильевич Власов. А в 1899 году родилась Наташа, Наталушка, а для меня — Бусяна или Бусенчик (соответственно Мусенчик для моей мамы). Крестили ее в церкви Симеона Столпника на Поварской. Крестной была кн. Елизавета Владимирована Оболенская, сестра Александры Владимировны Трубецкой, хозяйки Узкого.

Дружба с Трубецкими продолжалась многие годы. В 1916 году после нескольких тяжелых воспалений легких Наташа по приглашению Трубецких едет в их имение на Дону Казацкое лечиться кумысом. 11-летний Петя Трубецкой катает ее на лодке и говорит, что молится о ней после Папà и Мамà, прежде сестер. Через 70 лет он вспомнит об

© А. А. Хвалебнова, 2008

Узкое — имение Трубецких

этом в Париже и подпишет ей экземпляр своей книги о родословной Трубецких за несколько дней до своей смерти, а его сын привезет эту книгу ей в Узкое.

Но вернемся в самое начало XX века. В 1900 году родилась Леля, все так и звали ее всю жизнь, и она всегда жила с нами. Так что у меня было сразу две бабушки. И хотя они всегда были вместе и дома, и на работе (обе они были логопедами: с 1921 года лечили детей, сначала глухонемых, потом заикающихся), Бусяна и Леля являлись полными противоположностями друг другу. Очень люблю разглядывать их детские фотографии: Леля всегда (!) улыбается, Наташа всегда (!) серьезна. Гимназические подруги, стихи в альбомах, гимнастические упражнения на турнике, кольцах, трапеции, качели, «гигантские шаги» — круг интересов и увлечений Лели. Ее сестра мечтательна, все больше с книжкой, даже среди шумной компании. Учились хорошо и прилежно. Из «гимназического фольклора» Наташе особенно запомнился стишок про классную даму: «Суха, как палка, черна, как галка, увы, весталка, тебя мне жалко». Их поговорки были очень выразительны. Так и слышу Лелин голос: «Ты что это, мать моя, белены объелась?», «наготовили, как на маланину свадьбу!», «опять фордыбачишь?», «не погода, а светопреставление!»

Все ценили Лелю за ее открытость и отзывчивость. Сохранились письма, присланные с фронта (1915 год) с благодарностями за полученные подарки от солдата действующей армии, крестьянина, отца семерых детей Сергея Ивановича Чадина и даже от пленных австрийцев, которым она тоже помогала продуктами и табаком.

Софья Александровна Иванова с княжнами Тасенькой и Соней Трубецкими, 1895

Хроника событий тех лет запечатлена в письмах Лели и Наташи к Мише Михайлову (юнкеру 1-й роты 2-го взвода 3-й школы прапорщиков), к которому сестры были неравнодушны. Однако в 21-м году Миша женится на Леле (предполагаю, что Наташа помнила эту обиду всю жизнь). Их брак не был счастлив: к концу 30-х годов Миша ушел от Лели к другой женщине. Не имевшая детей и оставшаяся без мужа, она очень переживала его уход, были даже попытки покончить с собой. Наташа настоятельно уговаривала ее съездить отдохнуть в Узкое. Но обо всем этом я узнала, когда Лели уже не стало. Она всегда ласково говорила о своем бывшем муже, называла его «мой Миша», «Мишенька»:

«6/VII-41. Мой маленький, бесконечно любимый мальчик. Сегодня твое рождение. Да, рождение невеселое, никто из нас никогда в жизни не мог предположить такого ужаса. И сейчас единственным пожеланием может быть окончание войны. Мне кажется, что мы уже живем бесконечно в этом аду, а вся остальная жизнь далеко, далеко позади, и теперь кажется, что жалкое состояние, которое я влачила тогда, было раем по сравнению с теперешней жизнью. Не видеть тебя в такие дни ужасно, невольно ищешь какую-то поддержку, какую-то помощь у близкого человека, а я одна».

После смерти Миши Леля ездила к нему на кладбище, и мне даже в голову не могло прийти, как все было на самом деле. Теперь и я езжу к нему на кладбище, в память о Леле, о ее любви, которую она хранила всю жизнь, не помня обиды, и которая да послужит Мише во спасение.

Вообще, о личной жизни моих бабушек я узнала уже «потом», из писем и дневников. Почему-то при их жизни на все это было наложено табу. Дома говорили только о работе. Я до сих пор прекрасно помню имена и фамилии их сотрудников, помню разные истории, случившиеся с предками и двоюродными родственниками, но ни слова о личных переживаниях. На моей памяти я только трижды видела Бусяну в слезах: когда разбился Гагарин, когда умер Сахаров, когда погибла моя ручная крыса. Так что пусть о бабушке будет говорить ее дневник.

Итак… 21 января 1929 года в бывшем имении Трубецких Узком, а ныне са-

натории ЦЕКУБУ (Центральная комиссия по улучшению быта ученых), шутливо прозванном его обитателями «Республикой СанУзией», Наташа Власова знакомится со своим будущим мужем Вениамином Аркадьевичем Зильберминцем. Через 12 лет, в годовщину этого знакомства, она подробно описала все события той зимы, словно это было только вчера:

«Был чудесный морозный вечер, когда наш автобус подъехал к главной аллее "Узкого". У машины нас ждала лошадь с розвальнями, быстро довезшая нас к дому. Мы ехали вдвоем с Верой Васильевной Соловьевой. Обе были весело и чудесно настроены: обеих нас насильно выпроводили на три дня в "Узкое" отдохнуть. Я была очень утомлена сдачей зачетов в Университете, а Верочка — репетициями в театре. Впереди три дня отдыха! Сани наши остановились у парадного крыльца правого флигеля дома. В темноте кто-то окликнул: "Вера Васильевна! Наконец-то!" Наши чемоданы подхватил невысокий гражданин в лыжном костюме и стремительно побежал возвестить кого-то и где-то о нашем приезде, сказав, что это лежит на его обязанности, так как он в "СанУзской Республике" является "наркомом развлечения". Я успела увидеть только его очки и светлые волосы, в беспорядке лежащие на лбу. Верочка успела мне шепнуть, что это писатель Зайцев — "чудак, но славный малый!". "Спешите к ужину, не опаздывайте, здесь правила строгие: опаздывать после последнего гонга нельзя, а я до ужина хочу вас познакомить с одним профессором, он геолог, но прекрасный музыкант и в

Наташа и Леля, 1916

придачу спортсмен, на лыжах так катается, что за ним никто не угонится, завтра пойдем на лыжах..."

...Мы с Верочкой были в восторге от нашей комнатки, в окна падал яркий свет луны, такой яркий, что был заметен при розовом свете лампы на ночном столике. Мы присели на диван и, заболтавшись, услыхали только третий гонг... Когда шли по большим коридорам главного корпуса, не встретили никого, очевидно, все были уже внизу в столовой. Мы поняли, что опоздали, и обеим хотелось уйти и не ужинать, но потом решили все-таки как-нибудь боком незаметно пройти в зал... В момент, когда мы с Верочкой открыли дверь, вдруг все разговоры смолкли и раздались громкие аплодисменты. Мы от смущения не двигались с места, не понимая, в чем дело.

Е. А. Михайлова (Леля) с маленьким пациентом, 1949

Первая догадалась Верочка: это вот и есть "наказание" за опоздание, о котором говорил Зайцев. Он уже шел к нам, а с ним высокий старик, Василий Александрович, директор санатория, который приветствовал нас очень чопорно и торжественно провел нас к нашим местам. Они оказались рядом с Зайцевым и тем профессором, о котором Зайцев нам говорил. Когда мы, смущенные, заняли свои места, Зайцев обратился к нам: "Ну, а теперь позвольте вас познакомить с первым лыжником "СанУзской Республики", профессором Вениамином Аркадьевичем Зильберминцем!" Я почему-то думала, что этот профессор-геолог должен был быть очень суровым и скучным. Но собеседник наш оказался совсем иным, через пять минут мы говорили уже о театре, Шекспире, искусстве. Он весело рассказывал о правилах "СанУзской Республики", о том, как завтра обязательно прокатит нас с высокой ледяной горы — мы не откажемся?.. Здесь на это никто не решается, и он ездит один, "это так замечательно: переезжаешь пруд и выезжаешь в поле...". Верочка дала свое согласие, а я порядком трусила. Конец ужина я мучительно молчала, так как не могла припомнить имя и отчество нашего милого собеседника. Во время сладкого блюда объявили, что после ужина будут танцы и что за лучшую мазурку будет выдан приз... Мне хотелось танцевать, но не хотелось уходить от Верочки и нашего милого собеседника. Мы уже разговаривали так изумительно легко и свободно, точно знали друг друга давно, и я даже решилась спросить о его имени и отчестве. "Его не скоро запомнишь",— сказал он, улыбаясь, и столько было тепла в этой улыбке, что я в первый раз за долгие годы вспомнила папочку нашего... "Хотите, пойдем строить китайскую стену? Играть в маджонг умеете?" Мне было очень хорошо в этом уютном уголке гостиной нашего "Узкого". Я уселась глубже в кресло и хотела себе представить, как здесь жила мамочка, давно... как это было... Верочка меня вывела из задумчивости: "Наташа, идите танцевать!"... Я обернулась к Верочке и Вениамину Аркадьевичу, который в это время как раз на меня смотрел, и сказала ему: "Я пойду, только вы не уйдете?"... Мне было изумительно хорошо. Я танцевала с таким наслаждением, как бывало в 15, 16 лет, мне было легко, радостно и как-то особенно хорошо тепло... Видимо, у меня было очень счастливое лицо, Вениамин Аркадьевич подошел ко мне, я его поблагодарила, что он не ушел. "За что же меня благодарить?! Это я Вас должен благодарить, и знаете больше за что? За то, что я увидел, какую искреннюю радость Вам доставили эти танцы, такую непосредственную радость не скоро еще увидишь, спасибо Вам!" Как это было тепло и

грустно сказано. Мне хотелось многое, многое сказать этому милому, еще недавно незнакомому человеку, но я не сказала ничего… Через пять минут раздались первые такты мазурки, глинковской мазурки из "Жизни за царя", ко мне подошел Василий Александрович, директор санатория, во всей его фигуре, походке было столько еще бодрости, что позавидовать могли все молодые люди. По-старинному расшаркавшись, он быстро взял мою руку, вытянул ее, выжидая такта, и быстро, легко мы понеслись по залу. Ему аплодировали после первого круга, а когда под конец он опустился на одно колено, поцеловал мою руку и, взяв меня под руку, повел к Верочке, в зале ему устроили овации, а мне несли приз! Это было огромное блюдо бутербродов, а сверху лежала большая плитка шоколада. Бутербродами я должна была угощать всех. Я увидела пробиравшегося ко мне Зайцева: "Пойдемте пройдемся — ночь сказочно хороша!!! Вениамин Аркадьевич ждет с лыжами".

…После душного зала на воздухе было так хорошо! Была яркая лунная ночь. Деревья были все в белом уборе в инее, который весь искрился, как мириады бриллиантов от яркого блеска луны, огромные пушистые ели были усыпаны снегом, от луны было светло, как днем!.. Я чувствовала себя такой счастливой, мне хотелось от счастья обнять весь мир! Я приехала в этот замечательный дом, такой красивый, уютный, фотографию которого я с детства привыкла видеть у мамы в спальне, дом, где она провела столько хороших дней! Мы шли и говорили обо всем, об искусстве, науке, природе, путешествиях, и опять об искусстве и литературе. Как сейчас слышу голос Вениамина Аркадьевича, с воодушевлением говорящего о "Кольце нибелунга" Вагнера… "Как хорошо, что мы сюда приехали!" — "Да, очень хорошо",— подтвердил Вениамин Аркадьевич, и как-то вдруг мы замолчали, пора было идти домой. Наши спутники проводили нас с Верочкой до нашей комнаты, и, пожелав друг другу спокойной ночи, мы расстались до утра.

У меня закрывались от усталости глаза. Помню, Верочка, наклонившись ко мне, тихо и ласково говорит: "А профессора-то Вы, кажется, сильно пленили!" Я вдруг встала, почувствовала, что весь сон мой пропал, и, обняв Верочку, просила не говорить так, он слишком хороший человек, и тут этого не может быть! Я долго потом не могла уснуть…

…Пролетели три дня, и нам пришло время уезжать. Прощаясь, я взяла с Вениамина Аркадьевича слово, что по приезде он сейчас же посетит нас на Донской, а в театре — в первую очередь спектакль "1825 год". Верочка шутя сказала: "Ну, как всегда, надо записать адреса, а потом, конечно, не встретиться". Это было сказано уже тогда, когда мы усаживались в сани. И только, когда лошади тронули, крикнула: "А адреса мы и не записали, звоните в театр!" — "До скорого свидания!" — услышали мы ответ Вениамина Аркадьевича…

…День 22 февраля 1929 года был моим обычным трудовым днем. На работу в детский дом я шла пешком. Проходя по Крымскому мосту, я почувствовала с реки, откуда-то издалека, дуновение теплого ветра, захотелось скорей весны,

тепла, отдыха. Вспоминаю, что весенняя сессия в этом году будет большая, много будет работы, а в мае съезд по глухонемоте, и я назначена делать доклад. Я пришла в группу и начала как всегда заниматься с детьми, когда из зала донесся голос: "Наташа, к телефону". Я взяла трубку: "Вам привет из 'СанУзской Республики'! Вы не забыли меня, Наталия Александровна?" "Я... забыть! Что Вы! Да я все время помню! 24-го идемте на 100-е представление спектакля '1825 год' 2-го МХАТа, я Вас познакомлю со своими МХАТовскими друзьями. А вот 26-го приходите на Донскую, будет мое рождение",— почему-то сразу сказала я, не найдя другого более удобного предлога ему прийти. Так начался наш первый чудный день, день, который стал потом таким большим, чудесным и длился 100 дней. И ежедневно мы обменивались письмами с 26 февраля до памятного дня 27 мая — дня нашей свадьбы...»

После свадьбы, обманув ожидания близких увидеть молодых в Крыму, Наташа едет к Вениамину Аркадьевичу в экспедицию. Четверо суток до Челябинска, где он встретил ее, а дальше уже вместе поездом до Кыштыма, а оттуда по озерам на лодке до озера Сунгуль, на маленький остров, где расположился небольшой старообрядческий скит и где в домике-избушке прожили они около двух месяцев, ставших сказкой их любви.

«Потом снова Узкое, после свадьбы, о, сколько оно мне дарило!.. Здесь впервые села за письменный стол с желанием писать о моей работе с заикающимися детьми, трудно было, ведь не было ничего, откуда я могла заимствовать опыт, и снова в памяти встает голос В. А.: "Как бы я хотел тебе помочь, я постараюсь вникнуть в то, что ты будешь делать, ведь это так интересно..." А потом... Сколько сложностей было в нашей жизни! Ведь нам негде было жить... и виделись по-настоящему только, когда приезжали в Узкое. И вот родилась Аленушка, и все сложности жизни пропадали в счастье, что она есть, и мы опять в Узком, у чудесного знаменитого академика Вернадского. Как он любил В. А., радовался, когда мы приезжали сюда, в родное Узкое, когда играли для него с В. А. в четыре руки Бетховена, а он сажал на большой письменный стол Аленушку и угощал конфетами».

Оба очень много работают. Уходя на работу, оставляют друг другу записки.

«Моему Вениаминушке. Дорогой мой дружочек! Сегодня весь день как-то думаю о тебе, и, правда, родной мой, очень тоскливо, что мало я с тобой, ты ведь мне очень нужен! Так захотелось хоть дня два побыть друг с другом! Крепко, крепко тебя обнимаю и целую, твоя Наталушка». И еще: «Любимый мой друг! Я все время с тобой. Люблю тебя и хочу, чтобы мы вместе отдохнули. Крепко обнимаю. Твоя Наталушка». «Дорогой мой! Хотела тебе оставить записочку, чтобы не скучно было вечером одному, но совершенно не соберу мыслей. Крепко целую. Все равно твоя Наташа».

Дедушка бережно хранил каждый лоскуток бумаги с ее почерком. Маме в КГБ вернули их вместе с его бумажником спустя почти 60 лет. А в бабушки-

Последняя фотография мужа, В. А. Зильберминца, 1938

ном дневнике я нашла засушенный букетик ландышей, который она берегла со дня свадьбы. И письмо. Последнее письмо, написанное рукой дедушки:

«26/VII-38. Дорогая Наташенька! Очень жалею, что не смогу тебя завтра повидать, как собирался. Право, даже не знаю, что писать дальше. Сейчас, едва приехал, как пришли за мной. Для меня это настолько неожиданно, что я не знаю, что и думать. Крепко целую тебя и Аленушку. Шлю всем привет. До свидания, я уверен, что мы скоро увидимся. Позаботься о себе и о доченьке. Всегда твой Вениамин».

Очевидно, что было потом. Вернадский пытался сделать все, что было в его силах, чтобы спасти своего друга и ученика. Он пишет письма Сталину, военному прокурору Москвы. Но… было уже поздно. Вынесенный приговор был приведен в исполнение в тот же день. Бабушка долго верила, что «10 лет без права переписки» нужно понимать буквально. Она носила передачи в Бутырку, а письма, которые писала каждый день, складывала в чемодан. Они сохранились, все эти письма. Их невыразимо тяжело читать, зная, что человека, к которому они были обращены, уже не было на свете.

«Мой бесконечно любимый, родной, единственный мой друг! Я начинаю эти записки не для того, чтобы в них запечатлеть весь кошмар и ужас, переживаемый нами с тобой. Горе наше, скорбь и тоска друг по другу так велики, что словами этого не передать. Я взялась за эти записи, чтобы в них отразилось другое, чтобы тогда, когда мы встретимся, а я верю, верю всем существом своим, верю так же сильно, как тогда, когда отдала тебе свое сердце, я знаю, мы будем вместе снова, и я хочу, чтобы ты тогда прочел все о доченьке, о нашей жизни с ней, о тех днях, которые уже ушли и уходят… Ради доченьки и ради тебя, мой любимый, она не увидит ни одной слезы на моих глазах. Я точно в броне какой-то: страдания, которые принесла нам эта ужасная разлука, где-то очень глубоко, я боюсь дотронуться до этого места и весь день в заботе о доченьке бережно обхожу эту нашу рану. Ночью мне тяжело: тревога за тебя, беспокойство за все, тоска, безумная тоска по тебе — ужасна. Мой любимый, родной мой, я не смогла здесь писать только о доченьке. Это будут, очевидно, записи о всем, с чем душа к тебе рвется».

Н. А. Власова на занятиях с детьми, 1956

Среди писем — детские рисунки, и засушенные листики, и странички с расплывшимися чернилами. «Вот и еще один год прошел без тебя, любимый...»; «Скоро 7 лет, как я не вижу тебя!..»; «Война близится к концу, и, может быть, тогда...»

Осенью 1944 года бабушка делает запись в своем дневнике: «Казалось, что все страдания, которые мне суждено было пережить, уже исчерпаны, все тюрьмы исхожены... В первые дни войны была снова надежда, может быть, Вениаминушка мой будет работать для фронта, ведь все, что он делал, исследовал, добывал,— все было для нашей страны. Но вот уже четвертый год этой страшной войны! Где он теперь, где? Этот неотступный вопрос со мной всюду, всегда, везде... Надо решиться пойти к этому властителю всех лагерей генералу Наседкину. Неужели он не скажет после всего того, что я сделала для его маленькой глухонемой дочери?.. Вот и рухнула самая большая надежда моя! С надеждой я шла к нему. С надеждой я пожала ему руку. Мне показалась даже его первая фраза — "Я Вас очень внимательно слушаю, Наталия Александровна" — обнадеживающей. "Просьба моя небольшая, я прошу сказать мне, жив ли мой муж, если да, то, может быть, Вы разрешите ему написать, что я и дочь его живы". Он молча, долго, с какой-то странной улыбкой смотрел на меня. И вдруг я услыхала слова, не имевшие к моей просьбе никакого отношения: "Я ведь давно любуюсь вами, с тех пор, когда вы с вашей дочкой были у нас на елке. Зачем Вам все это надо знать? Вы свободны, молоды, хороши". Я встала, чувствуя, что надо скорее уйти. "Не надо уходить,— спокойно продолжал он.— Вот вам мое предложение: завтра я еду на Кавказ, едемте со мной, это будет и отдых для Вас, а там я что-либо узнаю". Он подошел совсем близко, но уже без улыбки, схватил крепко мою руку. С какой силой я выдернула ее! Почти не помню, как я очутилась у двери, открыла ее и тут только поняла весь ужас происшедшего. Меня сейчас арестуют! Эта мысль мелькнула одновременно с другой — Аленушка! Чувствуя, что силы меня скоро покинут, я прислонилась на секунду к стене в коридоре. Потом, собрав все силы, стала спускаться с громадной мраморной лестницы. Сейчас меня остановят... нет! прошла последнего часового, вот и улица! Улица Кирова. Я, почти не понимая, что делаю, пошла куда глаза глядят... Началась другая жизнь, без надежды на встречу. На другой день я узнала от одной женщины в справочной прокуратуры, что значит «без права переписки с конфискацией имущества»,— это самое страшное извещение — папочки нашего

уже нет в живых. А жить надо, какая она тяжелая, жизнь...»

Однако я нахожу письма, датированные и 45-м, и 46-м годом. Она по-прежнему ему пишет и по-прежнему не решается все рассказать дочке.

Я, конечно, тоже ничего не знала. О дедушке никогда не говорили, и я понимала, что спрашивать нельзя. Казалось, что для бабушки не существует ничего, кроме работы — дела всей ее жизни. Она сама написала о себе: «Я стала теперь словно из стали». Теперь бы сказали «железная леди». Она была строга во всем: к себе и другим, на работе и дома. В кругу домашних всегда одетая в черный сарафан с белой блузкой или черное платье, но обязательно с белой вставкой. Ворот заколот брошкой (моя мама была геолог и из отполированных красивых камней она делала сама или заказывала институтским умельцам брошки, подвески, перстни). К каждой трапезе она что-то меняла в своем туалете, нимало не заботясь о том, что на нашей пятиметровой кухне это не слишком актуально.

Конечно, в этом сказывалось еще и немецкое воспитание, ведь кроме горячо любимых папы и мамы был еще один очень близкий и родной человек — обожаемая немка Fräulein Люция Ивановна Зенинг. Она была при детях неотлучно, так что младший брат Вова даже говорить начал сначала по-немецки, а потом по-русски. Имя Люции Ивановны я слышала едва ли не чаще всех остальных, вместе взятых. В 20-х годах Люция Ивановна уехала к себе на родину в Кулдигу. Своей семьей она так и не обзавелась, любя без памяти Наташу,

С внучкой Таточкой, 1972

Лелю и Вову. Как трогательны ее письма, сохранившие старую орфографию и звучащий в них немецкий акцент: «Милые мои дети! Здоровы ли вы? — пишет она в 1956 году, когда ей уже 79 лет.— ...Ваша старая Fräulein печальна, если нет от вас писем...» Они ей пишут, шлют посылки, деньги. Она волнуется за них, как когда-то за маленьких: «Милая Наташа, как ты так очень много надо работать, это же ужас, если и ночь нельзя спат, как следует... Радуюсь, что ты такая известная дама, что из Берлина тебе профессоры пишут. Если ты только хорошо и правильно можешь им ответить. Жаль, что я не могу на орфографию смотреть, чтобы не были ошибки...» Но Люция Ивановна напрас-

У Люции Ивановны (в центре) в Кулдиге: Леля и Наташа, 1958

Н. А. Власова и К. П. Беккер, 1979

но волновалась: бабушка знала немецкий язык, как родной, и вот судьба подарила ей сначала знакомство, а затем долгую, многолетнюю дружбу с коллегой — логопедом из ГДР Клаусом Беккером. Где писать совместную монографию по логопедии? Конечно, в Узком! А затем уже вошло в традицию отмечать здесь свои дни рождения 23 и 26 февраля. Об этом знает весь санаторий, и никто уже не удивляется присутствию молодого профессора из Германии. А сами именинники обмениваются подарками и письмами. Вот два из них:

«Дорогая Наталия! Теперь уже Узкое не только твое, но оно стало и моим! Я знаю в нем каждую аллею парка, каждую тропинку, каждое дерево, но, прежде всего, я знаю тебя, всю твою жизнь.

Без Узкого я не мог бы так глубоко все прочувствовать и понять тебя, моя дорогая. С Узким связано мое представление о прежней России, Октябрьской революции и, наконец, Советском Союзе. Все это объединяешь ты с таким достоинством, глубоко по-человечески щедро ты подарила мне это большое чувство, ставшее нашей необыкновенной дружбой. Пусть город из бетона и стекла дошел до ворот старого подмосковного дворца Трубецких, все равно этот оазис не потерял своей красоты и животворящей силы, нет, наоборот, здесь все так же прекрасно! В моих мыслях, когда я думаю об Узком, я не могу ни этот дом, ни аллеи парка представить себе без тебя! Ты придала всему здесь особое очарование! Как я люблю стройные лиственницы у большого дома, суковатые столетние дубы и эти красивые старые липы, которые приветствуют нас шелестом своей листвы, и, может быть, в этом шелесте остались подслушанные ими наши с тобой разговоры. Как прекрасны эти аллеи были в весенние светлые вечера! Какое счастье, что мы так часто могли здесь с тобой встречаться! Как я тебе благодарен за это!»

«Дорогой мой! В этой короткой записке — весь ты, такой, каким я тебя давно почувствовала, узнала, но так редко ты раскрываешься… Но все-таки, читая эти дорогие строки, я повторяю про себя: какое счастье, что мы встретились!!! Ты прав, Клаус, Узкое стало теперь нашим, но это не заставило меня забыть красоту моей встречи и любви с моим мужем. Ты знаешь все, ты один знаешь и мое огромное счастье этой любви, и горе, и верность этому прошлому, а наша встреча с тобой принесла нам обоим и дружбу, и большое счастье, вероятно, никто, кроме нас с тобой, этого не поймет, да и не надо, чтобы понимали».

Если есть возможность, бабушка сама едет в Берлин: на конференции, симпозиумы, читает лекции, доклады, навещает учеников, детский санаторий в городе Тайльхайме, и всюду они вместе. В 1986 году в Берлинском университете выступает на торжественном собрании с поздравлением по поводу 35-летия образования факультета реабилитационной логопедии и волнуется, как девочка, ведь обращаться нужно к нему — декану факультета, академику Беккеру.

Время идет неумолимо. Уже 30 лет прошло с момента их знакомства в 1956 году. Они вспоминают эту встречу, первый приезд его в Москву 9 мая

В день девяностолетия, 26 февраля 1989 г.

1956 года, праздничный салют, увиденный с Ленинских гор, и воспоминания о Дне Победы свои у каждого: и тяжелые, и радостные. Как давно это было! «Но что у нас с тобой не стареет, дорогой мой Клаус,— это наша поразительная дружба, может, это оттого, что мы украсили ее нашей любовью?! Может быть… Любовь — это большая тайна, а такая, как наша, никому не понятна, она и украшает наши отношения, и делает меня молодой… Как светлы и прекрасны наши встречи. Наше дорогое Узкое! Нигде нам не было так хорошо с тобой, как здесь».

Свой юбилей, 90-летие, бабушка отмечает, конечно же, в Узком. «Празднование и семейное, и не семейное — “узковское”. Ведь ближе Узкого у моей маленькой семьи ничего нет! Здесь встретились папа с мамой, тут началась и моя семья… Вот пришел день моего 90-летия, которого я не хотела, но сейчас я радуюсь, что этот день приведет ко мне тебя, Клаус! Я счастлива, что ты приедешь, что мы будем вместе, я радуюсь этой встрече, как 30 лет назад! У меня только одна боль осталась, это невозможность больше побывать в Берлине… Но постараюсь быть оптимисткой, как ты советуешь…»

И последняя запись в дневнике — август 89-го года (в декабре бабушки не стало). Клаус был проездом, вернее, пролетом в Москве. У него несколько часов между рейсами. Мы с бабушкой берем такси, встречаем его в Шереметьево, они опять вместе в Узком, и снова на такси в аэропорт и обратно домой. «18-го августа ты был у меня! Мы были снова в нашей уютной комнате… Я чувствую приближение старости, я не хочу ее, я борюсь с ней, гоню ее, я еще много недоделала…»

Бабушка так и не ушла на пенсию. Она работала и делала свои записи до последнего дня:

«Узкое — кто знает, отчего мы так тебя любим? Отчего так тянет меня сюда? Что это? Воспоминания? Отдых? Тишина? Или все, все вместе! Стройные любимые лиственницы! Зимой — заснеженные аллеи парка, а осенью — “в багрец и золото одетые леса”, освещенные луной пруды и отражение в них заката! Старые колонны балкона, и из окна моего — луг, хотя и недовольны мы, что он не тот, что в былые годы, но он — родной и потому — любимый. Кто знает, отчего мы так любим здесь все? Все,

что тревожит нас, смягчает старый дуб и липовая аллея. Природа своим величием словно хочет сказать, что жизнь — вечна. И вот идешь по извилистым дорогам парка и в тишине его понимаешь, что это так, что здесь "задумчивый покой". Я нигде не люблю так ходить одна! Нахлынут воспоминания — о, сколько их! И все они дороги, все полны поэзии. "Вы — мечтатель,— сказал мне как-то академик Северный.— Как я завидую Вам, ведь это так украшает нашу серую жизнь!.." А может быть, он и прав! Вот, мой друг, мы мечтали и думали вместе... мы напишем об этом потом... Узкое — родина счастья моего».

Из воспоминаний моей мамы Е. В. Власовой о своей бабушке

Если, выйдя из метро «Шаболовская» и бросив взгляд на Шуховскую радиобашню, обратиться налево, можно увидеть особняк в русском стиле, с шатровым козырьком над входом. Время не пощадило его: мозаичный образ Спаса над входом исчез, нет уже фруктового сада с фонтаном, домовой церкви с иконостасом из итальянского мрамора и оранжереи...

Между тем дом этот — такая же достопримечательность Москвы, как Музей изящных искусств на Волхонке, его строил тот же архитектор Клейн на средства того же мецената — Нечаева-Мальцева (почти в те же годы). Здесь помещалась Дворянская богадельня, главным врачом и заведующим которой был мой дед, Александр Васильевич Власов, здесь прошли детство и юность моих родных.

С Нечаевым-Мальцевым Власовы были, по-видимому, знакомы давно: дед Александра Васильевича Борис Власов арендовал у Нечаева-Мальцева мельницу в Скопине Тульской губернии. А другой дед (мой прапрадед) Никита Иванович Скромнов жил неподалеку, в Богородском. Был он прасолом, торговлю вел успешно, и дом был весьма зажиточным. Фамилию свою Никита получил в церковно-приходском училище, куда отдал его, смышленого мальчика, барин, граф Бобринский, крепостным которого был отец Никиты, Иван Евдокимов. Тихого и усердного мальчика дьячок и «перекрестил» в Скромнова. Однако нрав у Никиты оказался серьезный. Встав на ноги и обзаведясь хозяйством, он присмотрел себе невесту в старообрядческой молельне. Какими путями удалось уговорить ее — неведомо, но венчались они тайком, против воли родителей. Зажили хорошо, родилась у них дочь Евдокия, Дунюшка. Красавица — таких Кустодиев любил писать. Да вот сыновей не давал Господь — всех Никитами называли, и все они в младенчестве умирали. Не иначе как кара за самовольную свадьбу без благословения. С тех пор стали супруги жить, как в монастыре,— поврозь, сурово. Дунюшка от такой грустной жизни рано замуж вышла — в 16 лет, за сына мельника, Василия Борисовича Власова, и из Богородского уехала. В те годы, говорят, старики Скромновы в Америку подались, со староверами, да ненадолго — не показалось там. Вернулись, а у Евдокии полон дом детей, мал

мала меньше, всех прокормить, одеть трудно. Никита Иванович внуков постарше к себе взял на воспитание, старших — Сашу с Васей — отдал в Тульскую гимназию. А как скончалась жена Никиты Ивановича, через некоторое время женился он на своей экономке, независимой барышне из смольнянок. И дети пошли — две девочки и два мальчика. Семья разрасталась, и вот тут-то однажды и вышел разлад. Сидели за обедом, за большим столом. Евдокия приехала старших сыновей навестить. О чем-то батюшку попросила — то ли одежку младшим справить, то ли еще чем помочь. А Никита Иванович возьми и скажи: «Хватит. Живи своим домом. У меня теперь своих ртов хватает». И вот результатом этого разговора явилось то, что Саша, окончив гимназию, у деда не остался, а уехал в Москву начинать самостоятельную жизнь. Поступил на медицинский факультет Университета, подрабатывал уроками, дружил с однокурсниками — Николаем Раевским, Георгием Сперанским, слушал лекции Вернадского, Корсакова, Сеченова. Летом 1897 года Сперанский предложил поехать в подмосковное имение князей Трубецких Узкое репетитором к сыновьям князя Петра Николаевича — Володе и Пете. Молодой врач-студент подружился с мальчиками. В парке играли в крокет, лаун-теннис, катались на лодках. Девочек Трубецких часто сопровождала их учительница музыки, юная стройная консерваторка Соня Иванова, ученица Пабста. Вечерами в гостиной звучали транскрипции Листа, этюды Шопена. Узкое и Трубецкие остались самым романтическим семейным воспоминанием. Зимой Саша стал часто бывать у Ивановых на Новинском, в доме Плевако, в просторной квартире в бельэтаже. Отец Сони, Александр Иванович Иванов, глава (и к тому времени вдовец) большой семьи (было у него двенадцать детей), был профессором географии и истории, попечителем 4-й женской гимназии на Садовой-Кудринской. В жизни всего добился сам, рано уйдя из семьи. Был незаконнорожденным сыном московского богача Ельчанинова. Других детей у того не было, но когда он скончался, сестры Ельчанинова опротестовали завещание, Александр Иванович отказался от наследства. В молодые годы участвовал как географ в кругосветном плавании. Воспоминанием о нем хранятся у нас большие океанические раковины, в которых «шумит море». Женился он на Любови Николаевне Паниной, сестре Николая Николаевича Панина, баритона Императорских театров. Все дети Александра Ивановича и Любови Николаевны были музыкальны, особенно дочери — Соня, Вера, Надя, Маруся. Соня с успехом окончила консерваторию, и вскоре после дипломного концерта сыграли ее свадьбу. Молодые Власовы зажили своим домом. Первой покупкой был рояль «Эберг», приобретенный в магазине Шора. Рояль привезли, настроили… Ночью переполох: Шор примчался на извозчике в панике, так как вспомнил о крошечной трещине в чугунной раме (поэтому рояль был недорогой) и испугался, что раму разорвет, спустил строй на полтона ниже, так рояль и был настроен с тех пор. Возмущалась только Елена Александровна Бекман-Щербина, пианистка,

Александр Васильевич и Софья Александровна Власовы в день свадьбы 7 января 1898 г.

обладавшая абсолютным слухом, на что Соня говорила: «Садись и транспонируй!» Молодые Власовы снимали квартиру на углу Никитской и Мерзляковского переулка. Здесь и родилась 26 февраля (по новому стилю) 1899 года моя мамочка, мусенчик, Наташа, Наталочка, Наталья Александровна Власова. <...>

Через пару лет Власовы переехали на Шаболовку в только что отстроенное архитектором Клейном на средства Нечаева-Мальцева здание дворянской богадельни, главным врачом и заведующим которой стал Александр Васильевич. Здесь, в просторной 17-комнатной квартире на первом этаже и жили они счастливо до перечеркнувшего все 1917 года. Здесь родился Вова, рано проявивший незаурядные музыкальные способности. У него был абсолютный слух, и, когда все дети пели в своей домовой церкви, он щипал сестер за малейшую фальшь. Квартира была обставлена прочной, на века, мебелью: дубовые стулья с высокими готическими спинками, полки с грифонами, под стать им массивный буфет. Большие кровати с украшениями в стиле модерн. Конечно, переехал туда и рояль. Столовую украшал большой, сделанный из каменной соли средневековый замок, подсвечивавшийся изнутри. Наташа любила поздним вечером прокрасться в столовую и мечтать, глядя на него (замок потом «съели» в революцию — меняли соль на пшено и муку). Вообще она росла мечтательницей, чему еще способствовали частые болезни, также вынужденное лежание в постели. Леля, напротив, была хохотушкой, любила

Софья Александровна с дочерью Наташей, 1899

спортивные игры, не отставала от мальчишек в беге, кувыркании на кольцах, качелях, трапеции. За домом был прекрасный яблоневый сад с фонтаном и цветниками, дети много гуляли там. С родителями они виделись мало — утром за завтраком («Доброе утро, мамочка!») да вечером за ужином («Спокойной ночи, дети»), росли они под присмотром няни и в основном Fräulein, Люции Ивановны Зенинг, немки из Гольдингена (потом Кулдига в Латвии). Она, тогда еще очень молодая, любила их без памяти (будучи неравнодушной, правда, безответно, к Александру Васильевичу), но строга была чрезвычайно. От нее на всю жизнь осталось прекрасное знание красивого прибалтийского диалекта немецкого языка, выправка («Не сутулься!»), привычка к идеальному порядку и любовь к немецкой культуре.

Александр Васильевич был занят почти круглые сутки. Помимо дворянской богадельни, требовавшей много внимания и хлопот — хозяйственных и врачебных и часто психотерапевтических, поскольку старики — разорившиеся дворяне — порою плохо уживались друг с другом, он подрабатывал частной практикой в клинике доктора Усова (где познакомился с лечившимся там Леонидом Андреевым и даже стал одним из персонажей его рассказа «Жили-были»), на заводе Михельсона, в Большом театре. Кроме большой семьи (потом еще родились Юрочка и Ксеничка, правда, недолго прожившие) приходилось содержать целый штат прислуги: горничных, кухарку, швею, а также платить дворнику, швейцару, экономке, кучеру…

Революцию 1905 года Власовы встретили сочувственно, но без восторга. Взгляды в семье были, конечно, левые, как и у всей тогдашней интеллигенции: осуждали японскую войну, правительство, но террор не принимали. Александр Васильевич был известен как доктор передовых взглядов, неподкупный. Когда в Бутырке был убит Петр Шмидт и власти распространили версию о самоубийстве, сестра Шмидта ходатайствовала перед тюремным начальством, чтобы тело освидетельствовал не тюремный врач, а доктор Власов (знакомы они были, наверное, через дом Плевако, где жили и Шмидты). <…>

Лето проводили в разных местах — в Ассерне, Братовщине. А с 1910 года началось строительство собственной

Александр Васильевич, Софья Александровна, Люция Ивановна Зенинг и дети: Леля, Вова и Наташа, 1911

дачи в Петровске, под Ярославлем. Был куплен большой участок земли, недалеко от железной дороги. За строительством наблюдала Софья Александровна — Александр Васильевич был очень занят в Москве делами богадельни. Жили неподалеку от стройки, у знакомых. Как хватало сил у молодой пианистки с годовалой Ксеничкой на руках и еще тремя детьми нанимать рабочих, увольнять пьяниц, следить, чтобы прораб не обсчитывал, решать, где копать колодец и как строить веранду, она пишет об этом в письмах к мужу, «своему любимому мальчику», где в каждом письме (через день, а то и каждый день) — бездна любви и тоски. Кроме строительства дома, сразу начали разбивку сада с погребом, горкой, качелями, крокетной площадкой. Из леса были привезены 50 маленьких елочек, и дети должны были каждый день выливать под каждую елочку ведро воды. Когда 60 лет спустя дядя Володя [Власов] посетил Петровск, единственное, что осталось от их прежней жизни,— аллея прекрасных высоких елей. <...>

А в 1914 году началась война. Поначалу она не очень чувствовалась, потом начались трудности с ездой, продовольствием. Пришлось сократить заготовки варенья — трудно было достать сахар. Софья Александровна пишет в Москву, чтобы экономка варила крыжовенное варенье, не добавляя спирт,— ведь введен сухой закон.<...>

В сентябре 17-го еще сохранились отголоски прежней жизни. Все пока живы... В Большом абонемент: идут «Кощей» и «Иоланта» с Неждановой. На именины Софьи Александровны собираются гости, постоянные «винтеры» (игроки в винт), Нина Гладкова, ее подруга Наташа Орлова, Померанцевы, Гура Сакович, приехал из действующей армии Юра Игнатов, счастливо избежавший солдатского самосуда.

В октябре Москва «опять накануне великой забастовки. Будет бастовать всё, даже водопровод». Наташа ходит на вечерние французские курсы, но вечером возвращаться становится все опаснее. На Лубянской площади однажды трамвай наехал на пьяного солдата, остальные солдаты (наверное, не менее пьяные) разбили вдребезги трамвай, устроили митинг с криками «долой». В городе темнота, фонари не горят. <...>

В 1919 году от сердечного приступа внезапно умирает Александр Васильевич:

ночью его вызвали к больному, там он и скончался, с докторской трубкой в руках. Было ему 48 лет. Из богадельни Власовых выгнали анархисты, сожгли библиотеку. Кое-как перебрались по соседству, на Донскую, в дом Белянкиных, купцов, уехавших за границу. Постепенно дом заселяли, «уплотняли», появлялись все новые жильцы из рабочих, с неприязнью и враждебностью относившиеся к «бывшим». С большим трудом и хлопотами удалось спасти от реквизиции рояль, для чего понадобилось собирать множество справок, подтверждающих его необходимость пианистке и учительнице музыки Софье Александровне. <...>

Кроме того, бабуля подрабатывала в музыкальном отделе Педагогической библиотеки. Но в 1920 году она вынуждена была подать заявление об уходе в связи с плохим состоянием здоровья. Ее начальник отреагировал на это следующим посланием:

«Многоуважаемая Софья Александровна! На основании Вашего заявления мне пришлось, к сожалению, известить музыкальный отдел о Вашем уходе со службы. Но, делая это, я испытывал очень неприятное чувство, что меня в начатом довольно успешно при теперешних условиях полезном и нужном деле покидают самые деятельные и ценимые мною сотрудники. Я считаю долгом выразить Вам глубокую благодарность за совершенные Вами весьма нудные и скучные подготовительные работы по каталогизации педагогической библиотеки, тем не менее необходимые и кладущие основу делу. Эти самоотверженные и обыкновенно столь мало ценимые труды, тем не менее, на деле имеют огромное значение, так как устанавливают первое, что нужно для всякого дела,— порядок, а время все особенно убеждает в том, насколько он необходим и какою трудною ценою достигается. Позвольте мне рассчитывать, что, когда изменятся ужасные условия, при которых Вам пришлось работать и которые никто так не сознает, как я, борющийся с ними всеми силами при весьма малой успешности в результатах этой борьбы, Вы вернетесь в организованную уже библиотеку-читальню в качестве опытной ее руководительницы. Ваше серьезное и основательное, терпеливое и внимательное отношение к делу, за какое бы Вы ни брались, я глубоко ценю и еще раз выражаю искреннее сожаление о том, что обстоятельства времени, тяжелые условия работы и состояние здоровья заставляют Вас выйти из числа моих сотрудников. Глубоко преданный Вам и уважающий Вас Э. <фамилия неразборчива> 6.01.1920 г.»

До 1937 года мы вместе с бабулей жили на Донской. Затем я с мамой и папой переехала на Ордынку, а бабуля — к сыну в Газетный переулок. Папа получил две комнаты в большой, во весь этаж, коммунальной квартире в надстройке Аршиновского дома рядом с Николой-на-Пыжах (Большая Ордынка, дом 29, квартира 13). Дом купца Аршинова был выстроен в русском стиле с крыльцом на пузатых колонках, как в русском тереме. А сын Аршинова основал на отцовские деньги ВИМС — Институт минерального сырья, где папа и был профессором. Церковь тогда была хоть и закрыта, но не разрушена, и на ее си-

Аленушка Власова с бабушкой, Крым, 1937

нем куполе сияли большие выпуклые звезды. Одну из них мне подарил мальчик Кирюша, гулявший со мной во дворе церкви, и она долго хранилась в большом деревянном ларе, стоявшем в длинном квартирном коридоре, таком длинном, что я каталась по нему на трехколесном велосипеде. В нашей комнате обстановка была убогая даже по тем годам: кровать с железной спинкой, отгороженная шкафом, моя кроватка с веревочной сеткой, этажерка с книгами, пианино, основательный дубовый стол, под которым я любила прятаться, за занавеской — нянин уголок с сундуком. Няня Наташа — монашка из разогнанного вяземского монастыря, тихая, немногословная, для меня тогда — «старенькая». До нас она была домработницей в семье Лихачевых (директора автомобильного завода) и однажды повезла меня к ним — показать свою воспитанницу. Поездка мне показалась долгой, они жили в большом доме, разделенном аркой с высокими колоннами, на Симоновом валу. Меня поразила роскошь обстановки, прохладный полумрак больших комнат с высокими потолками и — чудо техники — холодильник, из которого вынули кубики льда: их опускали в стакан с водой, и они медленно таяли. На буфете стояла синяя фарфоровая пепельница-галчонок: я потянулась к ней, и мне ее подарили! Это было чудо: я не была избалована вниманием и подарками. Думаю, что в это время Лихачев был уже арестован и меня, по сходству судеб, пожалели.

Няня хорошо готовила и часто раскатывала тесто для «монастырской лапши»: тонкий лист теста она сворачивала во много раз и плоскую трубку тонко-тонко нарезала. Тут уже я была наготове: вкуснее сырого теста для меня ничего не было. В комнате на окне был аквариум с рыбками и выращенные из косточек виноград, мандарин, позже даже целое деревце — вяз, осенью он исправно сбрасывал листья, несмотря на тепличные условия. Пианино звучало редко: иногда по вечерам играла мама, чаще всего начало «Патетической» Бетховена. Больше музыки звучало в новогодние вечера. В углу комнаты стояла елочка, дети (приходила в гости Мариночка Сперанская — внучка Георгия Несторовича Сперанского, замечательного детского врача, однокурсника дедушки, Александра Васильевича Власова), надевали вырезанные из бумаги маскарад-

В гостях у бабушки, 1936

ные костюмы, приходил неизменный верный друг семьи Женя Гуров, одаривший меня на каждый праздник своими стихами.

Но няня няней, а полагалось обязательно ребенка отдать в «группу» — для обучения и воспитания. И такая группа нашлась рядом, в Лаврушинском переулке, в писательском доме напротив Третьяковки, французская группа. Все мы были однолетки — Таня Барто, Сашенька Ильф, я, только Миша Гусев был, кажется, чуть постарше. Сухопарая пожилая «мадам» говорила с нами только по-французски, и скоро мы стали понимать ее и довольно бойко болтать. Мне даже сны какие-то виделись на французском. Запомнились чинные прогулки по переулкам Замоскворечья, весной со стороны реки перегороженным бревенчатыми просмоленными щитами на случай наводнения. Послеобеденный отдых на широченной тахте у Ильфов. Добрая и улыбчивая Агния Львовна Барто, дарившая мне свои книги. Вечер у Катаева, где я читаю «Белеет парус», вызывая его одобрение. Квартира на Ордынке была настолько велика, что я не помню там квартирных склок или скандалов — все жили сами по себе, не то чтобы дружно, но обособленно. Этому способствовало и время. Привечали меня иногда только Мокроусовы, да Соня — одинокая тихая женщина, больная гемофилией. От нее я впервые узнала об этой болезни, увидав ее испуг от пустячной царапины, случившейся, кажется, по моей вине.

Видимо, до пребывания во французской группе я гуляла часто одна во дворе ВИМСа, помню кучки выброшенных образцов, среди которых я находила то

кристаллики сульфидов, то гальку кварца. А еще весенние подтаявшие сугробы с сосульками и пещерками и тонкий последний ледок, об который я режу палец. Еще Ордынка запомнилась частыми болезнями — я цепляла все детские хвори подряд. Летом 1941 года мы уехали оттуда в Пестово и уже не вернулись.

Выходные дни были обычно днями визитов в Газетный переулок, к бабуле, где она жила в кооперативном доме 2-го МХАТа «Сверчок». Квартиру эту дали ее сыну, дяде Володе, композитору и музыканту. Шли на 26-й трамвай, на Полянку, через Пыжевский и Старомонетный переулки. Остановка трамвая была где-то около церкви Григория Неокесарийского. Мама шла широкими шагами, и мне всегда хотелось подладиться под этот шаг. Ехали через Каменный мост, мимо «Дома на набережной», мимо Манежа (казалось тогда — долго). Часто у бабули бывали ее ученики: шесть-семь человек разных возрастов. Несколько раз в год обязательно устраивались отчетные концерты — все должны были выступать на них. Рукописные программы готовились к каждому концерту. Само собой разумелось, что я должна была начать учиться музыке — о моем желании или нежелании никто и не спрашивал. На одном из концертов мне позволили выступить «сверх программы» чуть ли не с «Чижиком». Помню, что я тщетно искала себя и сверху и снизу и даже на обороте программки: ведь «сверх»! Не найдя, обиделась. Читать я начала очень рано: научилась по вывескам при прогулках с няней, особенно много их было на Пятницкой. Поэтому помню хорошо, что при переписи 1939 года я отстаивала свое право числиться «грамотной» (тогда много было неграмотных, и в анкете была специальная графа).

Всегдашний воскресный обед у бабули обставлялся основательно: в комнате, за столом с белой, с отглаженными складками скатертью, с салфетками в кольцах. Особенно все соблюдалось в дни приезда из Ленинграда дяди Лени — бабулиного старшего брата Леонида Александровича Иванова. Он был ботаником, членом-корреспондентом Академии наук, то ли директором, то ли замдиректора Лесного института и жил в роскошной профессорской квартире. К его приезду стол накрывался особенно тщательно: он был порядочный сибарит и подшучивал над «Сонькой», наливавшей себе суп в миску, мне в тарелку, а ему прибор ставился «по полной программе»: две тарелки, ножик справа, вилка слева, салфетка в серебряном кольце (ее он разворачивал и затыкал за ворот рубашки). Носил он пенсне, бородку (немного похож на Чехова), был добр, немногословен и в жизни довольно бесхарактерен. Уехав с Институтом в эвакуацию в Боровое, вернулся оттуда уже в Москву с жгучей брюнеткой одесского «привозного» облика, дочерью академика Гамалея. В ее квартире он и прожил последние годы не то чтобы в опале, но и не в фаворе (имел мужество не одобрять Лысенко). Однажды, уже в школьные годы, он меня крепко поставил на место, выслушав мой официозный бред по поводу якобы ненужности изучения дрозофил: «Не говори о том, чего не понимаешь». Думаю, что с тех пор я перестала говорить и о том, что

Обед у бабушки. Леонид Александрович Иванов, Аленушка, Софья Александровна Власова, 1940

знала, поскольку всегда появлялись какие-то сомнения.

У бабули постоянно крутился Меджи — доберман, породистый, с родословной. Соблазнившись этой родословной, ее завела тетя Нина, жена моего дяди Володи, а вскоре и бросила: ей надоело. Уход за Меджи лег на тетю Лелю, и это определило на многие годы ее неприязнь к возне с собаками. Меджи была не просто умная — обученная собака. Она знала счет: держа на носу печенье, терпела до счета «десять», затем подбрасывала и ела, искала кусочек печенья, спрятанный в ее отсутствие в любом углу комнаты, садилась, давала лапу и т. д. Однако была очень нетерпелива: все двери квартиры долго хранили следы ее когтей, так как она царапала их, когда ее запирали или долго не выпускали. Когда началась война, Меджи хорошо изучила сигнал воздушной тревоги и выла, едва заслышав его: она знала, что ее оставят одну в темной, пустой, холодной квартире (в бомбоубежище собак не брали). Она, конечно, голодала и однажды съела чьи-то оставленные на кухне котлеты. Никогда не забуду, как она жалобно визжала, когда Леля ее била. Потом Меджи куда-то увели, а мне сказали, что отдали военным как служебную собаку, но, скорее всего, просто усыпили. <...>

Начало войны запомнилось толпой у входа в столовую, слушающей по радио выступление Молотова. В нашем подъезде остались Сулеры (им было все равно, где вести свой богемный полуголодный образ жизни,— среди картин, обрезков дерева, макетов кораблей и

фрегатов, старых фотографий, собак, кошек, сухих запыленных цветов), гостеприимные в любой нищете (кстати, именно Сулеру был обязан своим появлением мхатовский «Сверчок»), Гуровы с новорожденным Гришкой, кажется, Шиловцевы. Осенью ненадолго появилась Ольга Николаевна Андровская: смутно помню ее рассказы о бегстве МХАТа из Минска. Позже, уже зимой, появился Женя Гуров — тайком, первое время скрываясь,— он чудом спасся из окружения и чуть ли не единственный остался в живых из наспех набранного по театрам ополчения. Приглашенный из Соловьевки печник сложил за хлеб нам в коридоре настоящую кирпичную печку, но до комнат это тепло не доходило. Спали не раздеваясь, еще и потому что среди ночи мог поднять сигнал воздушной тревоги — на долгие годы запомнившийся звук сирены и голос Левитана из черной тарелки радио: «Граждане, воздушная тревога». У меня на этот случай был припасен детский рюкзачок, в нем лежал любимый, еще папой подаренный ослик Ося и еще кое-какие зверюшки. Бомбоубежище было под соседним домом Меньшикова, говорили, что когда готовили эти огромные сводчатые подвалы, нашли замурованный подземный ход в сторону Кремля. Спать там не удавалось, разве что подремать, сидя на узких деревянных скамейках. Народ из нашего «Сверчка» был все знакомый, часто пытался всех смешить своими рассказами Хенкин, иногда играли в «города», в «наборщика-разборщика». Интересно, что две темы разговоров начисто отсутствовали — еда и политика. Разве что сетовали на затягивание с открытием 2-го фронта. Вскоре мы перестали ходить в бомбоубежище. Бабуле становилось все хуже (у нее был рак желудка), я заболела сначала корью, а затем воспалением легких. Рассудили, что от прямого попадания ничто не спасет, а от осколков темная комната в центре квартиры убережет. Сначала спускались к Гуровым: на 1-м этаже казалось безопаснее, да и Алене с маленьким Гришкой не было так страшно. Там нас застал бомбовый удар по телеграфу. Алена обняла меня и сказала: «Ну вот и все. Уже кончилось». А попадание торпеды во дворик Университета пережили в бомбоубежище. Стены дрогнули от удара. Тогда бюст Ломоносова перелетел через два переулка и грохнулся где-то в Кисловском, а у нас в доме вылетели стекла, но очень странно: 2-й и 4-й этажи зияли чернотой, а наш 3-й сиял, отражая свет полной луны. У телеграфа я потом нашла осколок, очень острый, весь в зазубринах, там же, у телеграфа, мы стерегли ночью какие-то дрова, за что получили одно толстое полено, которое я везла на саночках. Голода я не помню — был хлеб, Леля пекла оладьи из очисток от мороженой картошки. Меня неотвязно преследовало воспоминание о пенках с клубничного варенья, которое варила когда-то бабуля и все пили с ними чай, а я, услышав ненавистное слово «пенки», отказалась и только под конец лизнула блюдечко. А ведь могла бы много съесть!

Почему-то военные годы видятся мне как нескончаемая зима — темная и холодная. Горящая в коридоре печка и лед в ванной, мерцающий огонек коптилки и голубые слабые язычки газа, появляв-

шиеся только после долгого постукивания по трубам, мышка, сидящая у ножки рояля и слушающая гаммы, которые я с трудом играю замерзшими руками в старых перчатках с отрезанными пальцами, страшные крысы на кухне, тьма на лестнице и постоянное напутствие уходящим гостям: «Считайте ступеньки: одиннадцать и пять».

А бабуля уже не ела ничего и вдруг попросила яблоко. И мы с мамой пошли его искать. Кто-то сказал о складах на Никольской (наверное, ведомственных). После блуждания по замерзшим дворам мы оказались перед дверью в подвал, откуда так пахло яблоками: он был ими завален! Какой-то толстый мордатый мужчина презрительно отказал нам. Бабуля умерла в феврале 42-го после долгих мучений. Мама утром разбудила и сказала: «А бабуля уснула. Навсегда». По маминой просьбе я отнесла бабуле распустившиеся у меня на окне тополевые веточки. Страха я не помню, только жалость к маме.

К счастью, остались бабулины фотографии и письма…

Н. Г. Жиркевич-Подлесских

«Солнышко души моей…»

Я никогда не знала свою бабушку, не сидела у нее на коленях, не слышала увлекательных сказок, на которые она была большой мастерицей… Не знала я также и своего деда. Оба они умерли до моего рождения.

Моя мама рассказывала, что ее отец и мой дед Александр Владимирович Жиркевич (1857—1925) служил в военно-судебном ведомстве, печатался как поэт и прозаик в столичных и провинциальных журналах, собрал большую коллекцию картин, которую подарил Симбирскому (Ульяновскому) музею. Много лет дружил с И. Е. Репиным. Дослужившись до звания генерал-майора царской армии, продолжал заниматься филантропической деятельностью среди военных арестантов. Тогда в детстве это было то немногое, что я знала о своем деде… О бабушке Екатерине Константиновне Жиркевич (урожденной Снитко, 1866—1921) я знала еще меньше. Слышала, что она, в отличие от деда, была из состоятельного дворянского рода, получила блестящее домашнее воспитание и, выйдя замуж, стала преданной женой и матерью шестерых детей.

Настоящее же знакомство с бабушкой началось много позднее, когда я стала работать с огромным архивом Александра Владимировича Жиркевича. К счастью, сохранился не только семейный архив, но и дневники деда, рукопись его воспоминаний «Потревоженные тени», многочисленные фотографии и сотни писем Екатерины Константиновны и Александра Владимировича — летопись их счастливой совместной жизни. Долгие годы бабушка оставалась для меня в тени своего замечательного мужа, пока я не прочитала его воспоминаний. Когда бабушка умерла в 1921 году, он записал в дневнике: «Уже одно то, что меня любила и уважала такая женщина, заставляет радостно биться мое сердце! Значит, было же что-либо в моей жизни и личности такого, что встречало ее любовь и сочувствие! Значит, и я прожил на свете недаром…» Несомненно, мой дед сумел реализовать в жизни свои принципы и интересы благодаря поддержке «любимой Каташи». Человек неуемной энергии, абсолютно лишенный чувства лени, обладавший феноменальной памятью, он заполнял свою жизнь большими и малыми делами. Военный юрист, литератор, коллекционер, общественный деятель. Его называли последователем доктора Гааза

© Н. Г. Подлесских, 2008

Катя и Андрюша Снитко, 1879

за милосердную помощь военным арестантам, заключенным, раненым, вдовам, сиротам, то есть «униженным и оскорбленным». Даже во время страшного поволжского голода он неизменно следовал своему девизу: «Спешите делать добро...» и «Один в поле воин».

В 1922 году он передал, фактически даром, свою почти двухтысячную коллекцию живописи, графики, рисунков, эскизов, предметов историко-культурного значения в Симбирский (Ульяновский) художественно-краеведческий музей, назначив сумму, равную стоимости проезда по железной дороге от Симбирска до Вильны. Многие пожимали плечами, называя это донкихотством. Опись коллекции Жиркевича начиналась словами «Родине и русскому народу». В коллекции работы К. Брюллова, Зарянко, Айвазовского, Верещагина, Репина и других замечательных русских и зарубежных художников.

В 1925 году Александр Владимирович передал свой личный архив музею Л. Н. Толстого в Москве с уникальными документами, связанными с именами Апухтина, Полонского, Кони, Толстого, патриарха Тихона, Фета, Верещагина, Нестерова и др. В памяти старожилов сохранилась легенда, как дед приехал в Москву в калошах, подвязанных веревочками: по дороге его обворовали. Ожидая разрешения на выезд в Вильну, он помогал сотрудникам музея разбирать свой архив. Музей приютил его. И около двух месяцев дед вынужден был спать на столах в холодном помещении музея. Скудная еда, пошатнувшееся здоровье, одиночество... В таком состоянии он пишет для старшей дочери Марии воспоминания «Потревоженные тени», где самые яркие страницы посвящены жизни моей бабушки, которую Александр Владимирович ласково называет Мамочкой:

«Детство Мамочки вообще было безрадостно благодаря болезни ее матери (чахотка), которая обратила дом не то в монастырь, не то в лазарет. Мамочка, по обычаю своему — не жаловаться, а все сглаживать, смягчать, извинять — и тут не любила жаловаться на судьбу, стараясь обходить молчанием скорбные страницы своего раннего прошлого. <...> Зная Мамочкину натуру, я хорошо себе представлял, как тайно, глубоко она страдала, видя угасание любимой матери».

Когда Катюше и ее брату-близнецу Андрею исполнилось 13 лет, их мать, Мария

Алексеевна, урожденная Пузыревская, умерла от чахотки, оставив детей сиротами (ее муж, человек широкой, но расточительной души, бывший одно время предводителем дворянства в городе Вилейка, скончался семью годами раньше). Перед смертью Мария Алексеевна просила свою близкую подругу по институту Варвару Ивановну Пельскую стать опекуншей и воспитательницей ее детей. Варвара Ивановна переехала из Москвы в Вильно, где жили дети, и посвятила свою жизнь Кате и Андрюше. Сама Варвара Ивановна была незаурядной личностью, в биографии которой много загадок и тайн. Внебрачная дочь московского князя И. Д. Трубецкого, она жила и воспитывалась в семье князя, получив блестящее образование. По семейной легенде, незадолго до своей смерти, отец открыл ей тайну ее рождения. Как незаконная дочь она не имела права на наследство, однако И. Д. Трубецкой позаботился о ее будущем. Он предложил ей принять покровительство своего друга, генерала Пельского: выйти за него замуж, а форму брака предоставлялось выбрать Варваре Ивановне. Как будто бы Варвара Ивановна согласилась, но лишь при условии фиктивности отношений. Между тем сохранилась запись в ее воспоминаниях, где говорится о безоблачном 18-летнем счастье с Владимиром Петровичем Пельским. После его смерти она совершила путешествие ко Гробу Господню вместе с семьей историка М. П. Погодина, увлекательно описав не только местные нравы, но и саму поездку по каменистой пустыне на осликах к иерусалимским святыням. Варвара Ивановна была глубоко религиозным человеком. Сохранился ее рукописный молитвенник, куда она каллиграфическим почерком вписывала молитвы (есть среди них и молитва на случай эпидемии чумы). Между страницами — засохшие цветы или подаренные детьми рисунки на евангельские темы. Катя и Андрюша обожали Варвару Ивановну, называя ее «Тетей». Сохранились 200 писем моей бабушки к В. И. Пельской. Переписка продолжалась более двадцати лет, до самой смерти Варвары Ивановны. Умерла она в 1902 году и похоронена на кладбище бывшей усадьбы Карльсберг, теперь это место называется Радошковичи, в нескольких десятках километров от Минска.

Е. К. Жиркевич и В. И. Пельская, 1888

Тепло отзывается о В. И. Пельской Александр Владимирович Жиркевич, несмотря на довольно непростые отношения, которые впоследствии сложились между ними: «Варвара Ивановна Пельская, при всех ее прекрасных качествах, как никогда не имевшая детей, понятия не имела в вопросах воспитательного характера. Скоро у нее на этой почве начались столкновения с опекуном детей — сухим, черствым, практично педантичным П. И. Лего и холодною по натуре женою его Софьей Тимофеевной, составлявшей полную противоположность Тете, женщине светско-воспитанной, сентиментальной, идеалисткой, непрактичной в жизни, мало знавшей людей, избалованной хорошими средствами и поклонением друзей такого же, как она, типа. <...>

По мере того как дети подрастали, пришлось заниматься их образованием (Андрюша стал проходить курс Виленского реального училища, Мамочка училась дома с помощью целого штата учителей и гувернанток). Живший в доме престарелый "дедушка" П. В. Кукольник, которого я уже знал угасающим, опустившимся стариком, требовавшим за собою особого ухода, вносил много стеснения в жизнь Андрюши и Мамочки, требовавших уступок и компромиссов. <...> Отсюда в Мамочке с юности выработалась девушка-дипломат, привыкшая избегать столкновений и уживаться с людьми при всевозможных обстоятельствах путем уступок и христианского терпения. Мамочка рассказывала мне, как ей иногда тяжело жилось при столкновениях между Тетей и четой Лего, между Тетей и Андрюшей, как трудно бывало примирить враждующие стороны и оставаться в добрых отношениях, чтобы домашняя жизнь не обратилась в ад...»

Далее дед рассказывает историю знакомства со своей будущей невестой:

«На вечерах, в те дни, мы с нею встречались у старушки Любовь Петровны Марк, сестры известного генерал-адъютанта Константина Петровича Кауфмана, у которой были молодые дочь и сын. В доме устраивались домашние спектакли, в которых, на второстепенных ролях, принимала участие и Мамочка; после же спектаклей танцы под рояль, на котором играли или тапер, или сама Любовь Петровна, или кто-либо из присутствовавших дам общества Вильны. Там я и Мамочка встречались со многими высокопоставленными лицами, в том числе с семьей Виленского генерал-губернатора и командовавшего войсками Виленского военного округа генерал-адъютанта Эдуарда Ивановича графа Тотлебена, знавшего M-me Марк по брату ее Кауфману. Несмотря на присутствие таких "особ", на вечерах царило полное, непринужденное настроение. Мамочка танцевала хорошо. Но я, как не танцующий, только ею издали любовался... Признаться, я сам долго не мог отдать себе отчета в том чувстве, которое невольно влекло меня к Мамочке. Только, почувствовав окончательно, что я влюблен, решил я завоевать право на семейное счастье высшим образованием, почему и стал готовиться в Академию!..

На этих симпатичных семейных вечерах завязалось много сердечных отношений, кончившихся затем браком».

«Мамочка никогда не была красива. Но у нее были в молодости изящная фигур-

А. В. Жиркевич, 1887

Е. К. Снитко, 1885

ка, чудные, почти до колен, густые волосы и ясные, чистые, красивые глаза, при свежем, ярком румянце лица. При скромности костюмов и манер, она в обществе поражала всех тактом и сдержанностью, так что казалась старше своих лет и выделялась между подругами, с которыми в Вильне "выезжала в свет". Неудивительно, следя за нею в моей молодости, я в нее скоро влюбился».

Вероятно, и Катя не осталась равнодушной к молодому офицеру. Когда Александр Владимирович поступил в военно-юридическую академию в Петербурге, между ними завязалась переписка. Молодые люди тщательно скрывали свои чувства, в письмах делились впечатлениями от прочитанных книг, других событиях культурной жизни. Так продолжалось три года. На последнем курсе Александр Владимирович заболел брюшным тифом, и ему не разрешили перенести экзамены. Под угрозой оказалось окончание академии. В отчаянии он написал Кате письмо, где, нарушив свое молчание, сделал ей предложение. Катя приняла его, проявив волю и решительность, так как ее опекун П. И. Лего был против этого брака, он прочил в мужья своей воспитанницы человека состоятельного, а дед был из обедневшего дворянского рода, хотя и знаменитого своими воинскими заслугами. Лего наговорил в письме Александру Владимировичу много оскорбительных слов, которых дед так и не простил ему... Поддерживала Катю Варвара Ивановна. Вероятно, она давно заметила возникшую симпатию между молодыми людьми и всячески способствовала их сближению.

Венчание состоялось в сентябре 1888 года, и молодые тут же уехали в Петербург. «Свадьба была отпразднована парадно. Обряд бракосочетания был совершен в Пречистенском соборе протоиереем Котовичем при хоре архиерейских певчих и при массе публики (гостей и посторонних), собравшейся взглянуть на богатую невесту. Карет было множество. На Мамочке было дорогое венчальное платье из белого муара-антика с парадной пуховою накидкою на плечах. Из церкви все поехали на нашу новую квартиру, роскошно декорированную тропическими растениями и цветами. Шампанское лилось рекою.<...> Прямо с квартиры, после разъезда гостей, я и Мамочка поехали в Петербург, в свадебное путешествие — знакомиться с моими родными, там жившими. В Петербурге мы пробыли около месяца, делая визиты родне, участвуя в устраиваемых для нас фамильных обедах, бывая в театрах (главным образом в опере и балете). Жили мы в одной из лучших гостиниц города, занимая № в две комнаты, где и устраивали завтраки для моих литературных друзей (Фофанова, Величко, Лемана и др.). Я познакомил Мамочку с другом моим, художником И. Е. Репиным, который для Мамочки написал с меня портрет черной масляной краской (он сейчас находится в Ульяновском художественном музее)». Подробнее об этом эпизоде дед напишет в дневнике: «Репин пригласил меня с женой к себе на вечер, куда мы с ней вчера и отправились.<...> Репин был рыцарски любезен с Катей, и, видимо, лицо ее ему нравилось, так как он в нее вглядывался задумчиво и пристально, что, как я заметил, он делает всегда, когда старается уловить выражение, обратившего на себя его внимание... Репин удивляется, что мы женаты всего несколько дней, а кажется, что уже давно...»

Е. К. и А. В. Жиркевич, 1888

Тогда же он ведет Каташу к своему хорошему знакомому поэту А. Н. Апухтину: «Апухтин хочет познакомиться с Катей, но из-за своей полноты не может подняться к нам на третий этаж гостиницы, где мы живем... Повел Катю к Апухтину. Он встретил Катю на пороге. Хорошо одет, подтянут. Ведет ее под руку... Молодежи бы поучиться, как вести себя с женщиной!.. Катя просит прочесть ей стихи, которые он мне читал накануне и которые так меня восхитили. Апухтин читает и просит разрешения преподнести их Кате...» — «Я думаю,— вспоминала моя мама Тамара Александровна Жиркевич,— стихи,

о которых говорит здесь отец, это те, которые отец очень любил и часто декламировал и в которых так художественно показал Апухтин свое мироощущение». Речь идет об известном стихотворении «Проложен жизни путь бесплодными степями...».

Вернулись Екатерина Константиновна и Александр Владимирович в Вильну 21 октября: «Катюша, кажется, счастлива, а моему счастью нет предела. На вокзале нас встречала Тетя — я был ей ужасно рад»,— запишет в дневнике дед. По возвращении началась семейная жизнь. «Будучи бедным офицером, я вошел в дом моей жены с убогим багажом, сразу же попав на положение обеспеченного человека. У Мамочки были доходы с имений, имелся небольшой капитал. Жила она с Тетей Пельской (Андрюша учился в Рижском политехникуме) безбедно, хотя и скромно. Я застал в доме ту роскошную мебель, принадлежавшую В. И. Пельской, которую ты помнишь с детства и которую Тетя, умирая, оставила нам по завещанию (теперь она, при бегстве нашем в 1915 году из Вильны, от немцев, раскрадена управляющим того дома (нрзб), на Набережной, в котором мы жили в последнее время). В доме была кухарка (она же и горничная). Кроме того, одно время жила с нами старая экономка — немка Домброся, много лет находившаяся в семье Кукольников — Снитко. По наследству Мамочка, от разных предков, получила много хороших, ценных вещей. Все это наполняло довольно обширную, уютную нашу квартиру, в которой было много цветов, на столах лежали дорогие издания. На стене висел дивный портрет Павла Васильевича Кукольника, работы друга его Карла Павловича Брюллова (ныне отданный мною в Ульяновский художественный музей). Все еще дышало фамильными воспоминаниями В. И. Пельской, Кукольников, Пузыревских. Когда пошли у нас дети, Домброся переехала к Андрюше Снитко, в именье Карльсберг (Витенской губ<ернии>. Вилейского уезда), доставшееся ему по разделу. Но зато стали появляться в доме у нас кормилицы, бонны, гувернантки (немки, француженки), учительницы музыки, учителя рисования и т. д. Средства были. На образование же ваше и воспитание Мамочка средств не жалела и, как прекрасно знавшая языки немецкий и французский, а также недурно и английский, недурно певшая и игравшая на рояле, принимала живое участие в вашем образовании.

Будучи (как я уже сказал) бедняком, не принеся с собою ничего, я вошел в дом Мамочки так, как будто бы всегда жил в нем, в полном довольстве, на всем готовом, и Тетя, с которой установились у меня еще ранее, до женитьбы, хорошие отношения, и Мамочка были настолько воспитаны в лучшем смысле этого слова, что я не чувствовал унизительности положения человека, живущего на чужих хлебах. И, по правде сказать, я скоро привык к удобствам, обстановке, хорошему столу и другим преимуществам вполне обеспеченной обстановки, хотя всегда благодарно относился к членам приютившей меня у себя стародворянской семьи.

Со временем, когда я перешел в военно-судебное ведомство, т. е. получил и

положение в обществе, и стал получать порядочное содержание, я стал чувствовать себя несколько лучше, как вносящий и свою долю в общую семейную кассу — на жизнь и удовольствия. <...> Не скажу, чтобы наша семейная жизнь была безоблачна. Хотя Тетя Варвара Ивановна Пельская и была прекрасно воспитанная, добрая и благородная старушка, но характер ее был неровный. А при моей вспыльчивости и щепетильности у меня с нею выходили иногда столкновения, зачастую из-за пустяков, причем она всегда была виновницей недоразумений. Отношения наши, за последнее время жизни с нами Тети, настолько стали неприятны, несмотря на усилия Мамочки наладить их, что Тетя, незадолго до своей смерти, переехала от нас к дяде Андрюше, в Карльсберг, где и умерла. До последних дней ее жизни у меня сохранились с нею вполне приличные отношения. Она до конца продолжала уважать меня и ценить как любящего свою семью семьянина, о чем, при случае, говорила знакомым и писала в письмах к своим друзьям. Быть может, и я не всегда был прав в наших домашних столкновениях. Теперь поздно разбираться в ошибках прошлого. Лучше считать себя виновным в недостатках характера и ошибках по отношению к ближним. Это я сейчас, набрасывая эти строки, и делаю.

Как счастливый сон пролетела моя семейная жизнь. Но разве я, с моим вспыльчивым, упрямым, не всегда уступчивым характером, могу считать себя вполне безукоризненным и чистым по отношению к нашей чистой, святой, несравненной Мамочке (Мурочке, как вы, дети, ее звали иногда в детстве по известной сказке из кошачьей семейной жизни)?! Хотя я никогда не изменял Мамочке, а всегда благодарно восторженно смотрел на ее семейные подвиги и добродетели, то мне иногда кажется, что в некоторых случаях я мог бы быть более мягок, уступчив в отношении ее. Но и тут поздно уже раскаиваться: прошлого не воротишь! Неким утешением для меня служит, что наша Мамочка, умирая, при Кате и Тамарочке, благословила меня и благодарила за то семейное счастье, которое я ей дал... Значит, она и меня простила, как в течение всей своей жизни прощала всех тех, кто был в отношениях к ней несправедлив...

Наконец, у нас пошли дети. Первым родился здоровый, полновесный мальчик Гулеша (Сергей — Сережа — Сергуля — Гуля, как мы его все звали). Родился он в той же квартире, в доме Зайончика, по Мостовой улице г. Вильны, где мы праздновали свадьбу и жили первый год с лишком. Не забуду всех тех волнений и ожиданий, которые предшествовали появлению на свет Божий нашего первенца.

Мамочка всегда была глубоко религиозна, не только в узкоправославном, церковном духе (чему способствовала ее семейная обстановка и влияние дяди Павла Васильевича Кукольника, матери Марии Алексеевны и Тети Варвары Ивановны Пельской), но и как настоящая христианка, свято убежденно проводившая в жизнь свою и ближних Евангельские заветы о любви, милосердии, помощи страждущим, прощении врагов и т. д. В жизни моей я не видел

другой такой же истинно христианской женщины, какой была она. Все это я говорю для того, чтобы объяснить, с какой верой в Бога, с какими практическими приготовлениями Мамочка готовилась к первым родам. Приглашенный акушер отрекомендовал опытную акушерку, которая, посещая Мамочку, время от времени, в период ее беременности, и явилась по моему зову, когда начались первые родовые боли (схватки). Я видел, как, ложась на кровать, которая могла обратиться в смертное ложе, Мамочка усердно молилась, приложившись к любимым ее иконам и положив под подушку тот крест с мощами, который теперь у тебя хранится. Не желая, чтобы я видел ее страдания (то есть сам страдал), Мамочка настояла, чтобы я при родах не присутствовал, а ждал окончания их в соседней комнате, что я исполнил. Проходили часы, а в Мамочкиной комнате царило безмолвие. Изредка выходила ко мне Тетя, чтобы, по поручению страдалицы, успокоить меня заявлением, что все идет нормально. Сколько прошло времени в томительном ожидании —не знаю... Наконец-то раздался голос, совсем мне незнакомый, так странно и дерзновенно прозвучавший из той комнаты, в которой до того царила зловещая, пугавшая так меня тишина, голос моего сына, о благополучном появлении которого на свет Божий объявила мне вышедшая ко мне с радостным, хотя и измученным лицом Тетя. Мы обнимались с нею, целовались, плакали. Минут через десять, когда все в спальне было приведено в порядок, меня, наконец, туда впустили, и я увидел Мамочку, слабую, но сиявшую внутренним светом, мне улыбающуюся счастливой улыбкой матери, а возле нее маленькое, краснолицее, сопящее существо — Гулешу, завернутого в пеленки и одеяло... Надо ли много говорить о том, что мы переживали с Мамочкой в эти минуты <...>

Если и ранее Мамочка не любила "света", выездов, балов, туалетов, драгоценных украшений, вообще всего того, что Пушкин так удачно назвал в "Евгении Онегине" "ветошью маскарада", то с появлением Гули она вся ушла в интересы детской, представлявшей всегда (как и в те дни, так и при появлении на свет Божий) образец порядка, чистоты, гигиенической обстановки. <...> Лучшей комнатою в наших квартирах всегда считалась детская, так образцово обставленная Мамочкою, что все удивлялись ее порядкам. Мамочка, забывавшая о своих интересах, никогда не имела особых комнат, будуаров, гостиных, приемных и т. д., а помещалась вместе с вами, детьми, терпя все неудобства, связанные с подобной обстановкою. С раннего детства она, ревностная, православная христианка, приучала и вас к молитвам, посещению храмов, исполнению обрядов и т. п. В эту сторону жизни я не вмешивался, предоставив Мамочке делать, что ей было угодно, тем более что сам я, к ее великому огорчению, вскоре после появления Гули и Варюши, стал охладевать к Православию, обрядовой ее стороне, оставаясь лишь (на всю жизнь) верным поклонником красоты православного богослужения и церковных песнопений. На этой почве — разницы во взглядах на религиозные вопросы — у меня с Мамочкой

Е. К. Жиркевич с детьми Сережей и Варей, 1894

сначала происходили недоразумения и пререкания, вносившие некоторый разлад в нашу мирную, счастливую, полную довольства семейную жизнь. Но и тут Мамочка наша осталась верна себе: она оставила меня в покое (перестала упрашивать говеть, исповедоваться, причащаться), молясь Богу, чтобы он привел меня на тот путь, по которому так убежденно шла она к "царствию небесному". Во время постов для меня устраивался особый, скоромный стол. И тут она умела поступаться своими убеждениями, прощать чужие слабости и недостатки. Недаром же, еще при жизни Мамочки, я глядел на нее как на святую, как на подвижницу, никогда не жившую для себя, а всегда, во всем соблюдавшую интересы ближних, особенно "страждущих и обремененных"... Такой и сейчас она живет, светит и греет в моей душе <...>.

Когда я женился, мне пришлось познакомиться с рядом бедных стариков и старушек, которых пригревали, опекали и материально поддерживали и Мамочка, и Тетя. Многие из них еще ранее пользовались благотворительным вниманием Кукольников (Павла Васильевича и Юлии Алексеевны) и Марии Алексеевны Снитко, твоей бабушки (матери Мамочки). Я назову хотя бы Клеопатру Александровну Тейнер, престарелого, полуслепого педагога Франца Антоновича Монюшко. С моей стороны вошли в наш "молодой" дом, тоже нуждавшиеся, мои мать и бабушка Мария Иосифовна Астафьева, а также Елизавета Густавовна Смецкая. У Мамочки, по Вильно, жило немало бедных дальних родственников, которым она помогала материально... Неудивительно, что по воскресным дням в нашу квартиру собиралась вся эта беднота, вносившая к нам, в нашу молодую, светлую, довольную жизнь, свои жалобы на судьбу, нужды, недуги. Все это обожало Мамочку, так как она всегда любила утешать, чем могла, именно таких, обездоленных, нуждающихся, "страждущих и обремененных". Сходились обыкновенно к обеду, оставаясь до позднего вечера, когда подавался чай с холодными закусками. Надо заметить, что у нашей Мамочки наблюдалось замечательное уменье разгадывать нужды, потребности, привычки ближних с тем, чтобы их деликатно, любовно удов-

летворять. Тут у нее проявлялись удивительное внимание, настойчивость, самопожертвование и изобретательность. Я бывал в ее доме, когда она была еще подрастающей девушкою. Меня всегда умиляло то уменье, та деликатность, то внимание, с которыми она ухаживала за престарелым, полуслепым, плохо уже слышавшим "дедушкой" П. В. Кукольником, иногда по целым часам, с помощью слуховой трубы, развлекая его интересным для него чтением книг и газет. При этом ей приходилось усиливать голос, надрывать грудь повторением того, что старик недослушал...»

Здесь я прерву рассказ своего деда, чтобы сказать несколько слов о Павле Васильевиче Кукольнике. Брат известного поэта Нестора Кукольника, он сам по себе был интересной личностью. Историк, литератор, цензор, профессор Виленского университета. Ему принадлежит ряд литературных сочинений на религиозные темы, а также из истории литовского народа. Его образ запечатлен в знаменитом портрете кисти К. Брюллова, с которым братья Кукольники были дружны. Сохранилась фотография стареющего Павла Васильевича с маленькими внучатыми племянниками Катей и Андрюшей на коленях. Последние годы жизни Павел Васильевич провел в семье Кати и ей же подарил свой портрет, который долго находился в семье Жиркевичей. Сейчас портрет хранится в Ульяновском художественном музее и по праву считается его гордостью.

«Тоже иногда происходило и у нас в доме,— продолжает рассказ дед,— с разными немощными старичками и старушками, которых по вечерам Мамочка развлекала чтением и беседой (в чем, надо признаться, помогала ей и Тетя, тоже любившая и опекавшая подобных посетителей). Изучив вкусы некоторых старичков и старушек, Мамочка, в желанье угодить убогим гостям, чем-либо порадовать их, заказывала к обеду особые, лакомые для них блюда... Накануне праздников Св. Пасхи, Рождества, Нового года, именин и дней рождений наших обычных воскресных гостей Мамочка на меня возлагала обязанность разносить и развозить по городу гостинцы, деньги и праздничную провизию; причем только тут я узнавал иногда впервые о новых бедняках, которым Мамочка помогала, не требуя благодарностей. (Скажу тебе, кстати, что незадолго до смерти, чувствуя ее приближение, Мамочка, уже не имея сил вставать с кровати, пересмотрела всю, уцелевшую, свою переписку и уничтожила те письма и документы, которые свидетельствовали об ее широкой благотворительности, в чем сама мне, улыбаясь, созналась).

Я чрезвычайно сам любил воскресные вечера, когда наша, парадно обставленная, полная предметов старины и искусства квартира наполнялась бедняками, жаждавшими и пожить по-праздничному, и отдохнуть, порадоваться нашему семейному счастью. Особенно любила бывать у нас бабушка моя Мария Иосифовна Астафьева, обожавшая меня с детства, влюбленная и в Мамочку, и в нашего первенца Гулешу. Старушка, приходя к нам, переобувалась, надевала парадную накидку на голову, вообще

Сережа, Варя и Маня Жиркевич, 1901

приводила себя в праздничный вид и только после этого входила в гостиную, где могла встретиться с лицами из высшего общества, у нас по праздникам бывавшими,— ей не хотелось уронить свое достоинство и поставить меня и Мамочку в неловкое положение перед чужими своим бедным костюмом. Для бабушки, зная ее вкусы, Мамочка к обеду готовила рыбное блюдо, а к чаю подавала любимые ее закуски и сласти.

Те же старички и старушки, на Рождество, сходились у нас на детских елках. Таких елок Мамочка устраивала обыкновенно две: одну для детей наших знакомых, другую — для детей бедняков, живших у нас, на дворе или в соседских домах. Устраивалось это не в целях разделять детей по их положению и достатку их родителей, а для того, чтобы дети бедняков чувствовали себя свободно, непринужденно. Конечно, на елках, кроме музыки, танцев, игр и угощений, раздавались подарочки, соответствовавшие нуждам и вкусам детворы. В отношении подарков Мамочка не забывала и тех старичков и старушек, которые присутствовали на елках, любуясь детской радостью: и для каждого из них на елке висел (или лежал у подножья праздничного дерева) особый подарок с чем-либо нужным в домашней жизни (а иногда и с деньгами). Не забывалась и наша прислуга, всегда щедро одариваемая Мамочкою к дням больших праздников <...>».

В детской памяти Тамары Александровны, моей мамы (она была младшей дочерью в семье), сохранились подробности домашних рождественских и пасхальных праздников:

«В мои детские годы,— вспоминала мама,— помню оживленную суету в нашем доме в предпраздничные дни. Громадные бельевые корзины, полные свежих булочек, куличей, яиц ставились на извозчичью пролетку и развозились отцом и матерью в тюрьмы и приюты. Мать устраивала на Рождество елку для бедных детей с подарками и угощением. Она любила доставлять радость другим, вспоминая свое грустное детство. <...> Но нам мать с отцом постарались создать золотое детство. Нас не баловали, нет, но мы были окружены большой любовью и вниманием. Родители старались дать нам разностороннее образование. Нас учили языкам, музыке, лепке, рисованию. И все было так интересно! Много

радости доставляли зверьки, игрушки и книжки, даримые нам в праздники. А чудесные традиции Рождества и Пасхи оставили незабываемые воспоминания. Предки матери были униаты. Отец ее и мать православные. В семейных традициях бытовало много разных обрядов. В Сочельник и мама, и прислуга не ели ничего до "первой звезды". Затем большой стол в столовой раздвигался и покрывался соломой (в память рождения Христа на соломе в яслях), а сверху белоснежной скатертью. Подавался обед, на котором присутствовали и хозяева и прислуга... Стаканы качались, опрокидывались на соломе, суп проливался к великому удовольствию детей... Отец сидел во главе стола, большая салфетка, заткнутая за воротник, закрывала ему грудь — это по требованию мамы, иначе за разговорами он заливал китель супом. Наши славные кухарки и няня шептали свои католические молитвы, свет долго не зажигался, и в окно смотрели первые звезды... А потом елка до потолка, украшенная не покупными игрушками, а сделанными под руководством мамы самими детьми из ваты, бумаги, коробочек, шишек, скорлупок. Много игрушек, сделанных еще в прежние годы талантливой воспитательницей мамы В. И. Пельской, которые наша мать очень ценила и берегла. Заворачивались финики в цветные бумажки в виде хлопушек, и инжир, который тогда называли фигами. Вешались на ниточках конфеты, мармелад, яблоки, мандарины. Еще была традиция ставить башмачки перед камином под Рождество. По-моему, эта традиция пришла к нам с Запада. <...> Родители говорили, что придет

Е. К. Жиркевич с детьми: Маней, Катей и Тамарой, 1908

добрый Дед Мороз, только надо не закрывать вьюшку у камина или форточку. Мы подозревали, что это и не Дед Мороз, а, может быть... папа. Уж очень хитрый вид у него бывал в Рождественский сочельник. Мы, дети, сговаривались не спать, подстеречь Деда Мороза или папу... и засыпали в конце концов. А утром какие-нибудь крошечные куколки, шоколадки, коробочки оказывались в наших тапочках.

В весенний праздник Пасхи были свои традиции. Тут уж верующие постились не до первой звезды, как на Рождество, а позволяли себе "вкусить пищу" лишь ночью, по возвращении из церкви. Нас укладывали спать пораньше, а часов в 11 ночи поднимали, и в 12 мы были уже в церкви. Трогательна была наша дет-

ская вера и восторженные чувства, когда после тишины и ожидания в церкви раскрывались двери алтаря и священник торжественно провозглашал "Христос Воскресе!". Отец не входил в церковь, но он любил постоять где-нибудь снаружи храма, послушать красивые церковные напевы, вспомнить свое детство. Вот как он, уже будучи стариком, в письме ко мне от 16 мая 1926 года из Вильны описывает свои чувства в пасхальную ночь: "Я стоял под деревьями, когда проходил крестный ход и пели первое 'Христос Воскресе!'. Все было убого, но искренне и поэтично. Никто меня в полумраке не видел, и я мог плакать свободно — о прошлом, о Родине, о тех, кто уже не встретит со мной Светлый праздник..."

Но вернусь к своим детским воспоминаниям... По возвращении домой мы "разговлялись": садились все за стол, красиво убранный, уставленный всевозможными яствами — банкухенами (сооружение из теста, но полое внутри), мазурками (польский сухой торт, обсыпанный разноцветными крупинками), куличами, пасхой, яйцами. Нам, детям, очень нравились тарелочки, на которых был заранее посеян овес, и в зеленую травку клали разноцветные яйца. А некоторые бутылочки оборачивались ватой, поливались водой, и в вату сеялся кресс-салат. К празднику кресс-салат прорастал, появлялись крохотные листочки, и вся бутылка становилась зеленою».

Далее Тамара Александровна вспоминала об обстановке дома: «Вспоминаю сплошь завешенные картинами стены, и когда на стенах места не хватало, картины вешались даже на дверях, при слабых протестах мамы. В гостиной висел портрет П. В. Кукольника работы К. Брюллова, портрет Жиркевича работы Репина, его "Дуэль", картины Айвазовского, Сверчкова, Зарянки, Дубовского, Нестерова и др. Много картин иностранных художников. В углу гостиной стояла фигура японского самурая, в латах и полном вооружении,— вечером проходить мимо самурая было страшно... В стеклянных шкафчиках стояли бронзовые колокольчики, цветные шашечки от японских шапочек, бронзовые изящные фигурки. В кабинете отца висел ковер — на нем древнее оружие. Все это можно было рассматривать часами...»

От воспоминаний моей мамы вернемся, однако, к мемуарам Александра Владимировича: «Мамочка (Мурочка) никогда не отказывала мне в денежной поддержке на издание моих сочинений, на поездки в Петербург, на Кавказ (для лечения). Немало денег своих она вложила в мои расходы по облегчению участи арестантов и раненых жертв войны. Наши кошельки никогда не были закрыты, когда вопрос шел о выдаче субсидий благотворительным учреждениям. Мурочка не жалела для моих знакомых в выдаче им крупных вспомоществований, когда дело касалось их участи. Так было ею поступлено по отношению к бывшему полковнику Аристову, во время службы на железной дороге растратившему крупную сумму вверенных ему по службе денег, и редактору Солоневичу, посаженному в тюрьму за невзнос наложенного на него штрафа. Мурочка обоих их выручила: один избавился от суда, другого выпустили из темницы. <...>

Мне нравилось отношение Мамочки к прислуге, к гувернанткам, боннам, нянькам и другим служащим, беднякам. Когда у нас бывали на дому детские вечера и елки, Мамочка, бросая иногда гостей, старалась занять, угостить приехавших с детьми гувернанток, говоря с ними на иностранных языках».

Бабушка свободно владела французским и немецким языками, серьезно занималась с детьми переводами. Она не жалела средств для того, чтобы научить их иностранным языкам, музыке, пению, рисованию. «Она вообще в деле воспитания детей придавала огромное значение искусству».

...Я всматриваюсь в бабушкин портрет: одухотворенное лицо, умные, внимательные глаза, четкий абрис лица выдает определенность и устойчивость внутреннего мира... Глубокая вера в Бога всегда помогала ей в трудные минуты: и тогда, когда она оплакивала детей и когда переживала голод, нищету в революционном Симбирске. «Кроткая и боязливая» по натуре бабушка не раз проявляла чудеса мужества, спасая деда от арестов и репрессий. Дед вспоминал: «Когда меня арестовали в первый раз за ношение генеральского платья (арестовали неосновательно, так как тут я был одет в штатское платье), то Мамочка, узнав от прохожих о моем аресте на улице, у Вознесенского собора, явилась в Чеку, добилась моего освобождения: я отдан был ей на поруки, и мы вместе вернулись из здания, в котором находился на положении “арестанта”».

Бабушка, «потерявшая все, что имела», успокаивала деда в страшные годы поволжского голода: «Бог дал, Бог и взял! Да будет на то Его святая воля!» (В 1915 году, спасаясь от немцев, семья переехала в Симбирск. Думали, ненадолго, а оказалось, для бабушки, навсегда...) О том, какие испытания пришлось вынести семье, свидетельствуют опубликованные страницы «Симбирского дневника генерала А. В. Жиркевича» (журнал «Волга». 1992 г. № 7—12).

Вот некоторые выдержки из него:

1918 г.

10 августа. ...В Симбирске действительно объявлено военное положение, учрежден военно-полевой суд. Будут судить и за прошлое, и за настоящее. Знаю я это упрощенное, ускоренное правосудие — знаю и содрогаюсь. Прежде душили большевики. Теперь будут душить их... А там... Точно мало делали в России кровопусканий. Удивляешься, откуда у народа хватает сил выбрасывать новые и новые жертвы... Россия удивительно живуча...

Я все тоскую от бездеятельности. Но если бы мне сейчас предложили работу, соответствующую моим знаниям и силам, то я, наверно, предпочел бы ей свободу ничего-неделанья. Не идти же мне в военно-полевой суд, чтобы приговаривать к расстрелу красноармейцев и большевистских комиссаров.

Одна лишь чистая, святая душа притягивает меня к жизни. Это моя Катя. Если б ее не стало, я ушел бы за нею. Только она меня любит и жалеет. Сколько выстрадала в жизни, и ни одной жалобы. Солнышко души моей, свет моей совести, маяк моего сердца... Моя смерть огорчила бы ее.

19 августа. Катя продала на круглую сумму свое фамильное серебро. Я тоже продал кое-что из старинных вещей. Таким образом, есть на что купить на зиму запас дров и припасов. В Петрограде при таких продажах-куплях говорят: «Мы съели наше серебро», «Мы сожгли на дрова старинные наши вещи».

1919 г.

4 января. Скверная старая привычка по-праздничному встречать праздники. Так и у нас в семье живут воспоминаниями о том, как, где и когда радостно встречались праздники.

Нам захотелось порадовать чем-нибудь детей! И Катя повела вчера Катюшу и Тамарочку в концерт, посвященный Бетховену, в начале которого профессор Абутков читал краткую биографию великого композитора. Все мои вернулись радостные, освеженные. А я караулил квартиру при свете лампадки.

5 января. ...Шел разговор о дороговизне в Симбирске. К празднику стоят такие цены: фунт мяса — 8 р., десяток яиц — 20 р., 1 пуд пшеничной муки — 150 р., коробка спичек — 5—7 р., 1 ф. масла — 48 р., бутылка молока — 3 р.

Катя твердо надеется на Бога. Не могу равнодушно видеть, как, идя на базар, она, зажав в руке кошелек, отвешивает перед иконами поклоны, просит Божьей помощи при покупках. Откуда у нее берутся силы, физические, конечно?! А силы духа (вера, надежда, любовь) у нее неисчерпаемы... Боюсь, что она ради семьи сжигает себя на медленном огне. И никто ведь не видит ее подвигов, не знает о них!

1920 г.

7 января. По старому стилю сегодня 25 декабря, т. е. праздник Рождества Христова. Сколько воспоминаний! И как много загробных теней сошло в нашу квартирку вчера и сегодня для того, чтобы помочь нам, несмотря на всякие испытания и невзгоды, по-христиански встретить этот дивный праздник — приход в мир Спасителя... Убога была наша вчерашняя трапеза. Но под скатертью, по старому обычаю, лежало сено и, съедая разогретый постный суп и безвкусный винегрет, мы по-своему были счастливы, благодарили Бога за счастье прошлого, за то, что он дал нам возможность еще раз здоровыми, мирно настроенными духовно соединиться со Христом. «На землю мир, и в человецех благоволение». Мира нет. Но благоволение, несмотря на все, пробивается даже у оскотинившихся, озверевших людей. Уплотнившие нас Семеновы весь день накануне Сочельника провели в ссорах и перебранке. А вчера, благодаря Сочельнику, у них в логовище царят мир и тишина. Моя Катюша ушла к ранней обедне, всю ночь не уснув, прибирая что-то в кухне. ее святых молитв хватит на всех нас, многогрешных. За вчерашним обедом у нас на столе стояли фотографии дорогих покойников, точно и они, как «во время оно», были с нами. Тамарочка украсила комнату веточками елок. Бедное дитя не увидит елки, не испытает ничего похожего на былые рождественские радости. Сестры ее — тоже.

2 февраля. Боже мой, Боже мой! Какие ты послал испытания на мою Катюшу! И за что?! Она и без того давно святая,

чистая, готовая каждую минуту перейти в иной мир. Мне больно, что я не в состоянии избавить ее от грубостей и несправедливостей, сыплющихся на нее из семьи уплотнившего нас рабочего-патронщика. Если бы я вмешался, то это только усилило бы скандалы. Приходится молча все переносить.

5 февраля. В квартире сыро, холодно. У детей пухнут руки. У всех нас ревматические боли. Думали ли мы, что придется жить на положении каких-то бродячих собак.

Боже мой! Боже мой! Смилуйся не надо мною, а над моей Катей и девочками, терпящими лишения!! Если все это происходит из-за моих грехов, то накажи одного меня, а помилуй невинных моих страдальцев! Сейчас Катюша ушла на базар покупать хлеб и дрова. Уходя, на коленях она молила Тебя, Боже, помочь ей все это достать, притом по возможности по дешевке… Не могу видеть равнодушно таких молитв.

6 февраля. У нас не было хлеба. Я должен был от Яковлевых идти на базар за его покупкою. Узнав про это, Екатерина Алексеевна поднесла мне полкаравая только что испеченного хлеба. Я донес его домой еще теплым, и мы, проголодавшись, ели его с наслаждением, точно лакомый пряник. Вот до чего мы дошли!

1 июня. Вчерашний день был для меня днем неприятных впечатлений. Началось с того, что по доносу уплотнившего нас мерзавца рабочего Семенова к нам ввалилась комиссия от жилищного отдела патронного завода, отыскивая у нас три комнаты, которые мы будто бы занимаем. Когда же оказалось, что у нас всего две комнаты, то пришедшие заявили, что хотят взять маленькую комнатку Мани для семьи в 5 человек. А в комнате более чем одному человеку поместиться нельзя. Я начинаю и тут борьбу за справедливость, почти уверенный, что не выйду победителем, т. к. по существующим порядкам все и всё против нас, как причисленных к «буржуям».

2 июня. Мерзавцы Семеновы напали на мою бедную Катю (жену) и Катюшу (дочку), обвиняя их лживо, по явной нелепице, будто бы те били их крошку-дочь, бросались на нее с кулаками, а негодяйка Семенова хотела ударить Катюшу, и когда Катя закрыла собой девочку, то дважды ударила мою Катю по руке кулаком. Затем она хотела еще броситься, но даже ее муж, ругавший Катю, бросавший ей в лицо невероятно глупые обвинения, удержал свою обезумевшую мегеру. Послали за милиционером. Тогда негодяи присмирели.

28 июля. На мне и Кате белье грязное, висит клочками. Но на починку его, мытье нет времени, нет средств. Катушка ниток дошла до 1200 р. Мыло тоже бешено дорого. Прачки дерут, конечно, ужасно. Ловлю на себе ежедневно паразитов. Невозможность ходить в баню или на реку, чтобы купаться, заставляет ограничиваться вытиранием тела мокрым полотенцем. Откуда-то налезли вши, и я их не могу вывести. Начинаешь терять уважение к себе, когда заводится такая нечисть и мерзость. И выхода пока нет. Мы сидим без денег, едва наскребывая их на жалкий обед… А тут еще болезнь Кати (дочки) и упадок сил у бедной нашей труженицы Катюши (жены). Мы с нею чувствуем постоянный зуд на теле, вероятно, от грязи и па-

разитов, расчесывая себе тело до крови… Вот до чего мы дошли, как пали в смысле обстановки жизни… Не знаешь, что предпринять, как выйти из такого положения.

1921 г.

1 января. Сегодня советский Новый год. Бывало, при встрече Нового года сколько радостных воспоминаний, сколько горячих пожеланий теснилось у меня в душе… А сегодня там — пустыня, по ней рассеяны могилы. Ночью спалось плохо. И что же мне упрямо лезло в голову? — «Венеция» Апухтина, о которой я давно не вспоминал. От стихотворения я перешел к личным воспоминаниям о пребывании в этом сказочном городе… И вдруг встала передо мною, в блеске солнечного южного дня, царица Адриатики с заплесневелыми мраморами ее полуразвалин дворцов, в тени которых бьются волны, разгоняемые бойко бегущими пароходиками… Стало вдруг так тоскливо, что я встал, оделся и пишу, хотя еще — глубокая ночь… Право, можно подумать, что воспоминания созданы не на радость, а на скорбь человека… Подумаешь, что где-то люди счастливы, спокойны за свою личность, сыты, согреваются южным солнцем, наслаждаются красотами природы и искусства… А мы… Сейчас вот я прервал писание моего дневника («ночника»), т. к. почувствовал, что по мне ползают известные насекомые. Полураздевшись, я занялся их истреблением. Но знаю, что через час они опять откуда-то наползут — на смену павшим в борьбе со мною… И опять надо будет раздеваться, спрятавшись за занавеской моей постели от дочерей. На мне грязное, рваное белье, я давно не был в бане, на теле моем чирьи от неопрятности. Боже мой! Думал ли я когда-либо, что опущусь до такого пролетарского убожества?! А вот случилось же и это! Господь не оставляет меня своим вниманием, за эти три года проведя меня через ряд мук, унижений, испытаний. Но невольно хочется выкрикнуть к небу: «Когда же конец испытующей меня любви Твоей, о Боже правый! Смилуйся и огради меня от новых казней египетских». Но небо молчит…

2 января. В эту ночь повторился у нашей Мурочки-Каташи припадок астмы. Она стала задыхаться, холодеть, говорить о смерти. Самочувствие было настолько тяжелым, что она стала прощаться с нами, крестить нас и говорила, как бы в виде завещания: «Любите друг друга». Бедная страдалица, не выходя из дома, опять простудилась, т. к. не могла удержаться, чтобы не помогать Кате и Тамарочке по хозяйству… Я снова точно окаменел и движусь подобно автомату. Мне нет смысла жить, если Катя умрет.

18 октября. Каташе совсем плохо. Ей нужны тепло и пища, которая не вредила бы ей по ее болезни. А у нас едва хватает на молоко, нет дров и в окнах выбиты стекла. Мне не жаль себя, а душа болит за Каташу и детей… Умирать, жить в такой обстановке… Думали ли наши предки и усопшие родные о том, что мы будем прозябать, угасать и умирать в такой собачьей обстановке!.. Не знаю, что было бы со мною, если бы я не находил себе забвения в искусстве. <…> Захожу к Д. И. Архангельскому.

По случаю удачно прошедшей выставки у него домашнее торжество — улучшенный обед и пр. Угощает меня супом с пельменями (которые я давно не ел), мочеными яблоками, чаем с сахаром и молоком, хлебом. И я снова счастлив, гадким, животным, утробным счастьем, за которое, пока и пьешь, терзает тебя неумолима совесть: вспоминаешь о своей семье, которая в эти минуты терпит лишения... Я ел и ронял слезы горя и стыда в тарелку с горячим ароматным супом. Только что перед тем пришлось бегать по городу, добывая лекарства, изыскивая средства: я продрог в холодном пальто, почти окоченел. От горячего же у меня по всему организму разбегается живительная теплота... А Катя моя умирает в холоде! Боже! Боже! Будь к страдалице справедлив! А меня зато наказывай, карай, отдавая на жертву вшам, голодовке, холоду и прочим невзгодам.

22 октября. Когда бедной Каташе моей особенно плохо, она громко молится. И так трогательно молится! Сегодня ночью, когда ей было так плохо, а я крепко спал, она, думая, что умирает, издали благословляла меня и отсутствующую Маню. О чем я узнал у нее поутру, когда стал упрекать ее в том, что она не велела меня будить. Уже одно то, что меня любила и уважала такая женщина, заставляет радостно биться мое сердце! Значит, было же что-либо в моей жизни и личности такого, что встречало ее любовь и сочувствие! Значит, и я прожил на свете недаром...

26 октября. Наша Мамочка скончалась сегодня, после агонии, которая продолжалась $1/2$ суток. Мы не увидим более нашей страдалицы. Но верю — она с нами. Она в наших сердцах, помыслах, памяти, в нашей совести. Бедные мои девочки-сиротки, так самоотверженно ухаживавшие за матерью, горько плачут по ней...

В воспоминаниях, адресованных старшей дочери, Александр Владимирович писал: «Мамочка, при ее непоколебимой вере, готовилась к переходу в мир иной с удивительным спокойствием и радостным предвкушением загробного счастья. Для нее такой переход был равносилен переходу из одной комнаты в другую.

Как-то раз солнце щедро озолотило утром своими лучами рыжевато-красную листву (осенний убор) деревьев, находившихся против наших окон, через улицу, на той стороне ее. Картина была действительно волшебная!.. Мамочка через окно все видела и, налюбовавшись, воскликнула: "Боже! Какая красота! Как хорош Божий мир!.." И тут же, пониженным голосом, несколько успокоившись, добавила: "Но разве может сравниться эта, земная, красота с той красотой, которую мы встретим там, когда закроются наши земные взоры!" Никогда не выражала ропота на Бога за свои жестокие страдания, а, напротив, благодарила его за них, так как твердо веровала в то, что земные страдания, заглаживая наши грехи, служат залогом будущего нашего райского блаженства, в которое она робко веровала».

На шесть лет пережил Александр Владимирович свою дорогую Каташу. «Тем не менее духовная красота Мамочки, не меркнет передо мною,— признавался он,— а получает все более и более опре-

деленный образ. Да оно и понятно! Пока мы стоим у подножия горы и на таком близком расстоянии начинаем изучать ее, то перед нами лишь мелкие ее подробности. Чтобы оценить всю величину, мощь, красоту гиганта — горы, надо отойти от нее на значительное расстояние. Тогда только откроются перед нами ее склоны, покрытые вековыми лесами, ее пропасти, крутизна, ее вершины, покрытые вековыми снегами... Так и с Мамочкой, и с Толстым, и с другими замечательными личностями, с которыми сталкивала меня судьба. По мере того как я отхожу от их, священных для меня могил, яснее становится для меня духовные их облики...»

Могила моей бабушки не сохранилась. На ее месте разбит парк. Но память о ней хранят засушенные цветы между страницами ее домашних альбомов, рисунки детей, свадебные перчатки, акварель художника Д. И. Архангельского, зарисовавшего могилку моей бабушки Екатерины Константиновны, и огромное количество писем к Александру Владимировичу. Тридцать три года прожили они вместе. Именно сейчас, когда я читаю строки этих писем (а их свыше 600!) к жениху, а затем мужу, встает передо мной образ моей бабушки. Сколько в них такта, сдержанности, милого кокетства (иногда и юмора), умения умно и красиво дать совет, скрытности чувства, которое все же иногда прорывается с горячностью влюбленной девушки.

Я мечтаю опубликовать когда-нибудь этот трогательный роман в письмах. А пока вниманию читателей предлагаются «первые главы»:

Из переписки Екатерины Константиновны Снитко и Александра Владимировича Жиркевича:

Вильно, 20 Декабря 1885 г.

Многоуважаемый
Александр Владимирович,

Вы напрасно думаете, что я на Вас сержусь за то, что Вы обратились за справками о Дедушке к Тете, а не ко мне: мне и в голову не пришло обидеться этим, напротив, я Вам от души благодарна, что Вы захотели восстановить память о Дедушке, и жду случая, чтобы лично поблагодарить Вас.

Думаю, что Ваша заметка будет удачнее, чем биография Шверубовича, который непременно хотел сделать или, вернее, выставить Дедушку политическим деятелем, вожаком партии, что, сколько мне известно, совершенно неверно: Дедушка никогда не играл этой роли, да и не имел всех качеств, нужных для нее. Шверубович в своей биографии привязался только к случаю, чтобы написать хронику последних событий в здешнем крае, а о Дедушке говорит очень мало, хотя в некоторых местах он говорит о Дедушке довольно тепло. Во всяком случае, думаю, что Вы лучше поняли всю глубину честной души Дедушки и не будите измерять пользу, принесенную им только в той мере, в какой он был человеком современным. Затем позвольте еще раз поблагодарить Вас за то, что Вы потрудились в память Дедушки, и пожелать Вам счастливого исхода экзаменов.

Уважающая Вас Е. Снитко

P. S. Тетя и брат мой, который с неделю как приехал из Риги, благополучно сдав экзамены, просят передать Вам поклон. Клеопатра Александровна все хворает, хотя припадки болезни сердца обнаруживаются гораздо реже.

Ждем Вас с нетерпением, добрейший Александр Владимирович. Помоги Вам Бог покончить благополучно и приехать к нам веселым и здоровым.

Надеюсь, что к тому времени и наша M-me Feiner будет здорова. Сейчас иду навестить ее.

Душевно уважающая В. Пельская

Москва, Январь, 1887 г.

Многоуважаемый
Александр Владимирович,

Вам, вероятно, писала Клеопатра Александровна о нашем внезапном отъезде в Москву по случаю смертельной болезни друга Тети M-me Погодиной.

Мы приехали в Москву за день до смерти M-me Погодиной, так что Тетя имела утешение повидаться со своим другом и представить меня ей, чего Тетя давно желала. Свидание с умирающей произвело на меня сильное впечатление, таких всеми любимых и уважаемых людей, как M-me Погодина, приходится видеть немного, и я очень счастлива, что получила ее благословение и удостоилась увидеть ее: она сама потребовала меня к себе. Но разнообразные впечатления, испытываемые здесь, не мешают нам вспоминать о наших добрых знакомых и друзьях, и Тетю немало беспокоит неизвестность, в которой мы находимся о Вас. Если бы Вы нам написали в Вильно, Ваше письмо переслали бы нам сюда, так как я отправила нашим людям наш московский адрес.

Успокойте нас, добрейший Александр Владимирович, и напишите нам сюда: мы остаемся здесь, кажется, до 8 февраля. Теперь, когда кончилась вся печальная церемония похорон, Тетя показывает мне достопримечательности Москвы, которая очень мне нравится. На прошлой неделе ездили мы в Троицко-Сергиевскую Лавру, где у мощей Св. Сергия Радонежского молилась за Вас. Кончаю свое письмо, прося Вас еще раз написать нам в Москву <...>

Уважающая Вас Е. Снитко

Вильно, 23 Марта 1887 г.

Многоуважаемый
Александр Владимирович,

Сердечно благодарю Вас за присылку Ваших грациозных элегий, которые мы несколько раз читали и перечитывали все с новым удовольствием. Скажу Вам, так как Вы желаете знать от нас некомпетентное мнение о Ваших произведениях, что я всегда Вас считала идеалистом, но не думала, чтобы в Вас было так много такой поэзии и так много сочувствия к красотам природы. Это по содержанию, по форме же изложения на меня, по крайней мере, Ваши произведения делают впечатление чего-то вырвавшегося на бумагу по вдохновению, а не плодом трудолюбивых, но бездарных гениев последнего времени. Как приятно, я думаю, обладать даром так легко и изящно высказывать свои мысли. Мне же только раз в жизни удалось

и то с большим трудом написать четверостишие дедушке на именины. Позвольте мне спросить Вас, кто из литераторов читал Ваши произведения? Как Вы счастливы, ежели знаете Кутузова! Мне его стихотворения чрезвычайно нравятся, и, говорят, он такой приятный человек в обществе. Впрочем, Вы теперь, вероятно, ужасно заняты, и я совсем не претендую, чтобы Вы отвечали мне теперь на мой, может быть, неделикатный вопрос. В конце этой недели мы ждем брата, который благополучно сдал теперь еще один экзамен. Очень бы мне хотелось показать ему Ваши стихотворения, но желание исполнить буквально Вашу просьбу показать их теперь только одной Клеопатре Александровне удерживает меня, хотя, я надеюсь, Вы думали не об Андрюше, когда писали это. Письмо Ваше, адресованное в дом Айзенштадта, попало к нам в дом Шейнюка, а за стихотворение, посланное Екатерине Владимировне, благодарит Вас Екатерина Константиновна.

Желаю Вам от всего сердца успеха в Вашем экзамене и на литературном поприще.

Уважающая Вас Е. Снитко

P. S. Надеюсь, что со временем Вы познакомите нас и с прочими Вашими произведениями.

Моя Катя так хорошо высказала и свои и мои мысли, что мне нечего больше прибавить ко всему сказанному, уважаемый Александр Владимирович. Когда пожелаете утешить нас письмом, напишите между прочим: можно ли будет надеяться видеть вас этот год у нас в деревне, в этот маленький промежуток вашего отдыха?! Или я уже слишком много от вас требую, жду и надеюсь…

Душевно уважающая Вас
В. Пельская

Вильно, 6 Июня 1887 г.

Многоуважаемая
Екатерина Константиновна!

Пишу на бивуаках, а потому за чернила и бумагу не взыщите, не могу никак добыть и то, и другое хорошего качества! Очень рад, что посылкой моей угодил Вам, хотя мне кажется, что перчатки на 4 пуговицы вместо 3 Вам не годятся?!. Клеопатра Александровна получила от Вас мои стихи и наговорила мне кучу комплиментов по их адресу; но в в «Прощании с Карльсбергом» я нашел две неточности и смею предположить с Вашей стороны пропуск при переписке и моем неразборчивом почерке. В одном месте надо читать « <2 слова нрзб>», а не «трепет». В другом: «горит в нем светочем…», а не просто «горит светочем…». Клеопатра Александровна списывает мне оба эти стихотворения, и мне самому было приятно их перечесть — как будто и не я их писал! Что касается до разрешения читать мои скромные стихи Вашим друзьям, то этим, кроме удовольствия, Вы мне ничего иного не доставите!.. Я перестал скрываться и таить свой талант от людей и повторю теперь то, что уже раз говорил Вам лично: «Буду счастлив, если достигну моей цели, чтобы стихи мои хоть на миг развлекли кого-нибудь, заставили отвлечься от окружающей ежедневной прозы и ее невзгод!» Вполне уверен, что

стихи мои будут Вами читаться тем лицам, которым и сам бы я их прочел, да, кроме того, мне еще приятнее доверить Вам мою музу в знак того, как я ценю Вашу любовь ко всему честному, изящному и хорошему. Итак, раз и навсегда вверяю Вам «подругу дней моих суровых»! Помогите мне достичь заветной цели, чтобы хорошие сердца в моих стихах находили хоть крупицу священного огня поэзии, которой в наш век один способ примирить человека с жизнью, Богом и самим собою!.. Кончаю мою философию (скверная привычка на письме высказывать свои мысли и чувства!). Перейду к действительности. Я решил не ехать на Юг к родным в этом году, а приехать еще раз, перед отъездом в Карльсберг, чтобы набраться в нем и сил, и песен на скучный предстоящий год Петербургского прозябания. Родные по крови — хорошая вещь в жизни; родные по сердцу — еще лучше, и последних я всегда предпочитаю первым... Моих родных по крови я буду видеть целый год в столице, а с Вашей семьей не увижусь до окончания Академии — вот мотивы, которые убедили меня ехать к Вам, где мне так хорошо жилось и мечталось. Приеду в четверг на этой неделе с тем же поездом, как и прежде, но умоляю Андрея Константиновича не конфузить меня и не выезжать навстречу; я его обниму так же тепло в Карльсберге, как на вокзале!.. Итак, обстоятельства желают, чтобы я написал не «прощание» с Карльсбергом, а новые стихи под заглавием «до свиданья» с ним! Еще раз благодарю за Ваше письмо и прошу кланяться Вашему брату!

Преданный Вам, уважающий

Александр Жиркевич

С. Петербург, 1 Августа 1887 г.

Многоуважаемая
Екатерина Константиновна!

Только что получил Ваше письмо и Варвары Ивановны. Меня тронуло то, что Вы не забыли меня и так мило напомнили своей весточкой о днях моего счастливого пребывания в Карльсберге, когда я вполне отдыхал и телом, и душою. Правда, уже и теперь занятия отняли у меня ясность духа и мысли; но все же сил еще довольно, хватит, и этим я обязан и Карльсбергскому благодатному воздуху и вниманию Вашей семьи!.. Если бы не моя болезнь, такая непрошеная и неожиданная, я мог бы сказать, что жизнь в Карльсберге мелькнула безоблачно... Я, конечно, и не думал обидеться Вашей приписке, тем более что <4 слова нрзб>. В ней Вы невольно оказались сами поэтом, в чем я Вас подозревал, хотя Вы тщательно скрываете и свои хорошие стороны и недостатки! Ваше прелестное описание восхода солнца тронуло меня, как поэта, до глубины души, и если минута вдохновенья найдет, то я, может быть, и пришлю Вам перевод на стихи Вашей поэтической прозы. Теперь я понимаю, отчего Вас так трогает все прекрасное, и больше всего поэзия, этот дар Неба, данный человеку, чтобы в часы невзгод и сомнений отрешаться на миг от земного в мир чистых идеалов, где вечный свет, вечная правда, вечный Бог! Не знаю, что было бы со мной, если бы не минуты творчества и не способность уноситься на несколько минут в день туда от суетоки!.. Как прекрасно охарактеризовал поэзию Жуковский:

«Поэзия есть Бог в святых мечтах Земли!..»

Надо же кого или что-нибудь любить в жизни!.. Любите поэзию, и в награду за эту любовь она Вам даст такие минуты наслажденья, какие ни люди, ни блага земные дать не могут! Поэзию оттого еще стоит любить, что и религия, и Евангелие — та же чистая поэзия, та же вечная область идеалов, тот же неотразимый призыв от преходящего к вечному, неизмеримому, доступному только вере! Скажу Вам откровенно, что ежели я не утратил веры, то обязан опять-таки поэзии, не позволявшей житейской грязи засосать меня в свои тиски!.. <...> Но, простите мои фантазии: рука расходилась, а сердце диктует и диктует!!. Как важно в жизни уметь сказать вовремя: «довольно!» Итак, довольно на сегодня! (Помните Тургеневский эскиз на эту тему?!) Прошу Вас передать мой поклон Варваре Ивановне и Андрею Константиновичу. Писать Варваре Ивановне буду немного погодя, пусть простит меня за это, а рисунок домика, какой он есть, умоляю, выслать в холодный, неприютный Питер: мне дороги воспоминанья, связанные с рисунком, а не его детали. Закончу письмо вопросом: согласны ли Вы с моей параллелью — религии и поэзии или нет? Кстати, что теперь читаете и когда собираетесь ехать в Вильну? Хочу писать Екатерине Антоновне Плотниковой, я уехал с нею <не> простившись. От Клеопатры Александровны получил письмо, как будто и веселое. Но по себе знаю, что не всегда содержание писем бывает отражением всей души. На бумаге всего не передать, что высказал бы на словах. Не забывайте же меня, бедного поэта, которого жизнь пригвоздила к скучным книгам!..

Преданный и уважающий Вас
Ал. Жиркевич

С. Петербург,
<12> Окт. 1887

Многоуважаемая
Екатерина Константиновна!

Отвечаю на Ваше письмо довольно скоро; но ответил бы еще скорее, если бы не масса литературной работы и новых литературных знакомств, отнимающих у меня много времени.

Очень рад, что пребывание Ваше в Риге было для Вас приятно, и благодарю, что, вернувшись из приятного путешествия, не забыли меня, столь далекого теперь от Вильны и ее интересов!!. Прилагаю некоторые последние стихотворения, более оконченные, и желал бы знать Ваше мнение, мнение беспристрастного судьи — читателя, а здешним собратам-поэтам я не верю.

Из новых поэтов, с которыми я познакомился, назову знаменитого Фофанова, который теперь обращает своим талантом общее внимание, и вполне заслуженное. Вчера я провел у него вечер в обществе нескольких юных поэтов и своим стихотворением «глыбой», Вам известным, произвел фурор. В эту субботу Фофанов будет у меня. Это — личность замечательная, как человек и как поэт, и им занят теперь весь литературный Петербург, а мне очень приятно, что с первых же шагов мы с ним сошлись. Не знаю, буду ли в этом

году что-либо печатать, так как нет времени работать усидчиво, а выпускать в свет неоконченные вещи не стоит! Но меня уговаривают сильно отдать что-либо напечатать, и вот теперь я колеблюсь, не зная, слушать ли себя или тех, с которыми приходится встречаться.

От Марк я получил любезное приглашение на свадьбу их дочери и, конечно, поблагодарил за внимание письмом. Меня тронуло, что и в этой семье я не забыт!! Какова была свадьба и что за личность г. Скачков?

На днях был у Саши Лунского. Он говорит, что Володя строит церковь на кладбище; разве в ней принято венчаться? Подозревали мы с ним, что Володя и тут прихвастнул, так что Вы напрасно его похвалили!..

Ожидаю с нетерпением начала картинных выставок, где всегда много прекрасных вещей. Были на «Фаусте» с знаменитым Фигнером в роли самого Фауста, недели две тому назад, и действительно восхищался его голосом и приличными манерами на сцене.

О себе ничего сообщить не могу, кроме того что живу в мире идеалов, форм и звуков, куда неприятным диссонансом врываются вопросы дня, неинтересная работа и разные житейские сюрпризы. Но все это — неотвратимо, а потому и примиряешься с обстановкой!!. Надеюсь, что время от времени дадите о себе весточку хоть парой слов; а пока желаю Вам всего хорошего, а главное беречь себя и не простуживать горло.

Неизменно преданный Вам

Александр Жиркевич

С. Петербург, 11 Ноября 1887 г.

Многоуважаемая
Екатерина Константиновна!

С большим удовольствием посылаю Вам стихи, посвященные мною Тимановой, хотя мне почему-то кажется, что Вам они не понравятся. Но прочтите их и скажите свое мнение?! Я теперь погружен в литературу и приобрел много новых литературных знакомств, кроме знакомств с разными художниками. Между прочим, знаменитый художник Сверчков посвятил мне одну картину не масляными красками, а пером, где изображена тройка, в ответ на мое стихотворение, где я аллегорически изобразил его несущимся на русской тройке к Храму Славы. Жаль, что стихотворение слишком велико, а времени у меня мало, а то я бы Вам его прислал, так как оно теперь здесь в ходу, и недавно у Сверчкова был ужин, где присутствовали Зичи, Каразин и другие художники; Каразин прочел мое стихотворение с энтузиазмом и при последних словах все чокнулись за здоровье «русского художника», которого я и изобразил в стихах. Вероятно, скоро появятся мои произведения в «Живописном Обозрении» и в «Наблюдателе», тогда сообщу Вам. Недавно я получил мой первый гонорар и употребил его на доброе дело, чтобы память о первом заработке на поприще словесности осталась подольше в душе. Но довольно о своей жизни, где я теперь мало принадлежу себе и живу целыми днями.

Очень рад, что Володя Лунской сказал правду; вот что значит лгать так долго: теперь все невольно думаешь — не врет

ли? Получила ли Варвара Ивановна мои письма? Я не нахожу слов благодарности за ее ласку и внимание ко мне. Как здоровье Клеопатры Александровны? Жива ли она? Все какие-то предчувствия тревожат меня!

В Вильне все женятся и выходят замуж. Что ж, так и следует! Для девушки настоящая жизнь и свобода только и начинаются с минуты вступления в брак, конечно, если выбор ее упадет на порядочного, образованного человека! Тип старой девы, озлобленной на всех, черствой и подозрительной, мне крайне несимпатичен, так как у меня в родне есть один такой экземпляр, и я его изучил достаточно; да и прежде встречался неоднократно с такими же изломанными особами. Но, однако, пора и честь знать, т. е. закончить мою философию и наблюдения опыта! Желаю вам всего хорошего, а главное веселиться и беречь свое здоровье. Варваре Ивановне целую ручки.

Всегда готовый к услугам, уважающий Вас

Ал. Жиркевич

21 Ноября 1887 г., С. Петербург

Многоуважаемая Екатерина Константиновна!

Спешу поздравить Вас с днем Вашего Ангела и пожелать Вам всевозможного счастья и благополучия в жизни. На этих днях буду писать Вам, Варваре Ивановне и Клеопатре Александровне, а пока прошу Вас передать им мой сердечный привет. Работы масса, и академической, и литературной, так что и скучать некогда. Итак до скорого свидания в следующем письме, где, быть может, приложу что-либо из новых своих произведений.

Неожиданная помощь изменила к лучшему мою обстановку, и материально я вздохнул легче, а это не могло не отразиться и на душевном состоянии. Я, кажется, писал Вам уже, что от знаменитого художника Сверчкова получил в подарок (за стихи) картину «Тройка», с посвящением ее мне. Как жаль, что не могу показать ее Вам, чтобы и Вы полюбовались этой талантливой вещицей!

Примите уверение в неизменном уважении и преданности.

Ал. Жиркевич

12 Декабря 1887 г., С. Петербург

Многоуважаемая
Екатерина Константиновна!

Ваше последнее письмо так живо заинтересовало меня, что я решил лучше отложить немного ответ на него и ответить подробнее, как я смотрю на вещи!.. Ну, что ж, будем спорить!

1) Начну с того, что меня удивило, отчего Вам показалось, что затерявшееся письмо Ваше должно нас было «немного поссорить»?! Я всегда уважал чужие мнения, в Вас я заметил то же; что ж могло нас поссорить, если бы мы решились обменяться честными и открытыми мнениями? Кроме того, разве секрет только то, что неприятно выслушивать, и разве Вы не предполагаете во мне столько гражданского мужества, чтобы смело взглянуть судьбе в глаза и собственноручно отказаться от несбыточных надежд, даже если бы от них зависело

счастье моей жизни. Ради Бога, не со мной с одним, а со всеми поступайте прямо, открыто и не щадите чужого сердца, поверьте, если оно благородно, то пощада только возмутит его, а честный удар заставит, правда, облиться кровью, но от таких ударов люди редко умирают!..
2) Не читайте никому моих стихов: я их переписывал для Вас, видя в Вас чувствующее и мыслящее существо; слава поэта меня не манит, а толпа и масса, в которой всегда большая половина ходячих кукол, пугала меня и заставляла уходить в себя! Если несколько человек забудутся хоть минутку над моими стихотворениями, то это — высшая для меня награда, а таких минут я уже испытал довольно в жизни, поэзию не брошу и считаю, что поэзия всегда «современна» <2 строчки нрзб>. Да и что такое значит «современно»?! Кто определит это слово, и, право, лучше писать стихи, но писать искренно, как Бог на душу положит, чем говорить обо всем слегка, ничего основательно не зная, жить интересами минуты и лгать, с сознанием, что «лжешь»,— а таких господ, считающих себя современными, теперь на Руси масса, и здесь, в столице, я их довольно встречаю в разных слоях общества. Не верьте этим фарисеям и лжепророкам, поступайте так, чтобы не являлась тут же мысль: «а ведь я солгал? Зачем я это сделал?!»
Говорю это к тому, что нет занятия, труда, таланта «несовременного»: все современно, так как все от Бога. Только та и разница, что одна современность пуста и лжива, а другая — великая и святая, так как идет от чистого сердца, из честной души, а в них Бог, который не ошибается, но дает «счастье, радость, жизнь!» Моя же Муза принадлежит к последней категории, так как в ней нет лжи и ее можно обвинить разве в бесцветности, в безыдейности. Я Вам буду, если хотите, посылать свои стихи, но никому не показывайте их, особенно тем людям, которые находят писание стихов пустым времяпрепровождением, утопией; поверьте, многие из них и Христово учение назовут утопией. Так как поэзия и Евангельские истины имеют один источник — душу человеческую, как частицу души Божией. И, ради Бога, не слушайте этих людей, а то не заметите, как окаменеет Ваше хорошее, отзывчивое на все прекрасное сердце и к Богу, в день Суда, Вы принесете не чистое, неуловимое и вечное существо души, а камень, бесчувственный и мертвый, неспособный слиться с Божеством, как с своим прообразом! Я много думал об этом и всегда боролся с этими врагами человечества, которые, разрушая идеалы, религию, чувство прекрасного, делают нас неспособными на истинное счастье, заключающееся в том, чтобы быть в состоянии посредством молитв, поэзии, музыки, уноситься от дрязг земли в область идеала, где вечный Бог!!
3) Повторяю, сказанное в первом письме: «для девушки настоящая жизнь и свобода только и начинаются со дня вступления в брак». Жизнь и свобода, конечно, не одно и то же. Но пользоваться свободой, не живя вполне, немыслимо. Объяснюсь. Девушка, как бы ни обставлена была ее жизнь (книгами, обществом, музыкой и т. п.), не знает жизни и не может знать ее: тысячи препятствий восстают перед ней, как толь-

ко она захочет переступить за границы, установленные «светом» для ее сверстниц. Она хочет пойти в театр — нельзя, так как дается такая-то «неподходящая пьеса»; она хочет поехать кататься — одной нельзя; ей захотелось бы познакомиться с таким-то или с такой-то, но ей ведь бывать нельзя, да и общество девиц не всегда удовлетворяет, в кружках же литературных, политических салонах девицы не бывают; ей хотелось бы прочесть интересную книгу — девицам ее читать не следует, и приходится покориться. Ни поехать куда-либо, ни сказать многого, что волнует душу и просится на язык, современная девушка не может, так как это не принято, неприлично для нее. Следовательно, и жить приходится как-то в половину. Не участвуя вполне в жизни, разве можно быть вполне полезной обществу?! Нет, нельзя, так как, чтобы приносить пользу, надо знать жизнь во всех ее проявлениях, видеть ее вблизи, как можно чаще испытать ее уколы, удары, обдумать ее задачи?! А разве это доступно девушке, живущей под крылышком у родных, опекунов, из любви к ней старающихся об ее счастье и об удалении всего, что может грозить ей опасностью, а следовательно, сблизить с жизнью?! Сама жизнь кажется девушке совсем в ином... свете, так как этими элементами жизни являются и чувство матери и чувство супруги, а эти чувства девушке недоступны! Сам Бог создал все живущее так мудро, что в мире животных, растений, рыб — все любит, все стремится к семье, все думает об устройстве семейной жизни, об ее задачах. Отчего же это так? Отчего, хотя многие и боятся чувства любви,— все любят на свете, и сколько света, тепла и задач вносит это чувство!!. Нет, девушка не знает и не может знать вполне жизни, следовательно, не может быть вполне счастлива, не может быть вполне свободна. Брак, конечно, как и все на свете, рискованная вещь, но, говоря, что девушка, выходя замуж, становится свободной, я предполагал не всякий брак и не со всяким человеком, а с таким, который сам любит свою личность и свою свободу, а потому, как порядочное существо, будет уважать их в той, которая разделит с ним жизнь его! С таким человеком жизнь раскрывается вполне для счастья; в нем соединяется муж, брат, друг, спутник, путеводитель, советник, защитник. Сковывавшие условия замкнутой девичьей жизни падают, и жизнь — общественная, благотворительная, умственная — раскрывается перед замужней женщиной так, как никогда перед девушкой! Здесь, в браке, нет рабства, и нельзя верить холостякам, говорящим фразы вроде того, что они, женившись, «теряют свободу», так как и они, как девушки, не знают семейной жизни и не могут правильно судить о ней. Взгляните вокруг себя: кругом процветает брак, наши родители, друзья, родные, лучшие люди общества — все были женаты, замужем, а ведь это самые дорогие, уважаемые для нас лица!.. Свобода без жизни, в полном ее смысле,— немыслима! Разве жили наши боярышни старых времен в теремах за замками и разве были они свободны? Нет, тысячу раз нет! Я уверен, что большинство барышень наших боится брака <2 строчки нрзб>. Умирают близкие,

родные, теряются средства, и как часто девушка остается одна в мире, без друга, без совета, а годы прошли, и на брак рассчитывать нельзя. Конечно, есть «старые девы», умеющие сохранить свою душу от сухости и холода и отдаваться интересам братьев, хозяйству; но ведь это все — частные интересы, а человек создан приносить пользу обществу, идет в общество, помогает там не только своим близким, но всем страждущим, <1 слово нрзб> и нуждающимся, а это счастье помощи ближнему вполне только доступно женщине, а не девушке! Вот мои взгляды! В письме все не изложишь, но, в общем, хоть и бессвязно, я высказал, что хотел. Я, как только кончу Академию, сам постараюсь жениться, так как чувствую, что «годы проходят, все лучшие годы», а у меня нет друга, с которым я мог бы говорить обо всем, не опасаясь, зная, что встречу сочувствие и не буду покинут в трудные минуты. Даже по характерам женщина дополняет мужчину и наоборот, и полная гармония человеческих душ только и возможна в браке. Он налагает известные обязанности, создает <1 слово нрзб>, но дает то, что выше всего в мире,— полноту счастья, дружбу, душевный мир!

Однако пора и окончить это письмо, написанное между двумя занятиями приготовлений к экзамену. Варваре Ивановне пишу отдельно. Будьте здоровы, и если не согласны с моими взглядами, то пишите откровенно и не щадите меня, не лишайте себя наслаждения говорить правду, не боясь обидеть.

Примите уверение в совершенном почтении.

А. Жиркевич

4 Января 1888 г.

Многоуважаемая
Екатерина Константиновна!

Получили ли Вы мое последнее письмо, недели две тому назад посланное? Из письма Варвары Ивановны вижу, что Вас заинтересовало письмо гр. Толстого, и хотя она просит меня не удовлетворять Ваше и ее любопытство теперь, а после моих экзаменов, но я решил совершить подвиг, списать копию с письма ко мне Толстого, боясь послать подлинник в простом письме, чтобы эта драгоценность, которая со временем будет напечатана, не затерялась. Чтобы Вам ясно было письмо, замечу, что в письме к Толстому я сомневался в двух вещах: 1) Не бесполезно ли устраивать общество, когда борьба с пьянством была ведена всегда отдельными лицами и так всегда будет продолжаться? На мой взгляд, самыми верными членами будут такие же непьющие, как я, которому ничего не значит дать такой обет. 2) Возможно ли существование общества, построенного на одной нравственной почве, и чем обязательным будут связаны члены, чтобы не изменять обещанию, данному «не пить и не угощать у себя в доме других пьяными напитками» (такова основная мысль Толстого, его пророка). Между прочим, я видел список, в котором Толстой записал своих маленьких дочерей и написал ему, что считаю странным такое насилие над детьми, к тому же, на мой взгляд, бесполезное, так как какие же они сознательные члены и распространители учения?! Писал я еще кое о чем, да жаль, что не осталось копий с моего письма, а здесь

писать больше некогда. Заметьте, что Толстой называет общество «согласием» в ответ на мое письмо, так как всякие общества в России запрещаются, без разрешения правительства, а кроме того, название это, когда прочтете письмо, станет Вам ясным. Так как Толстой вызывает меня на ответ, то я послал уже ему громадный ответ; не знаю, получу ли и на него что-либо? Варвара Ивановна нехорошо поняла мое письмо: цели общества я сочувствую, оттого и записался в него, но никак не Толстому, не понимая (да и теперь не убежденный), возможно ли создать на одной нравственной формуле что-либо серьезное?! Он пишет, что «да», а я написал опять против, и еще несколько возражений. Не пишу Варваре Ивановне, так как каждая минута дорога. Копия с письма ко мне Толстого ходит по рукам в Питере и составляет событие дня. Будьте здоровы и желаю веселиться. Андрею Константиновичу поклон, а у Варвары Ивановны целую ручки.

Преданный и уважающий Вас

Ал. Жиркевич

Когда прочтете копию, то не могли бы Вы ее вернуть обратно? У меня постоянно спрашивают подлинник, а мне его жалко давать, так как пачкается! <1 строчка нрзб> Письму все удивляются, так как много надо заинтересовать Толстого, чтобы он ответил, да таким огромным письмом. Не скрою, что мне лестно было его получить и иметь право на него ответить.

Вильно, 16 Января 1888 г.

Многоуважаемый
Александр Владимирович!

Простите, что только теперь собралась поблагодарить Вас за присланную копию с письма графа Толстого и ответить на Ваши два последних письма.

Письмо графа Толстого очень заинтересовало нас, но нам не все ясно в нем: по-моему, общество трезвости должно иметь задачею борьбу с пьянством, а не с теми лицами, которые позволяют себе иногда выпить, не впадая в излишество. Я понимаю еще, что можно отказаться от вина самим, но не угощать гостей и Андрюше и мне кажется в некоторых случаях совершенно невозможным. Из письма же Толстого мне неясно, могут ли лица, которые не согласны вполне с ним, вступить в его согласие? Потом, я не понимаю, отчего бы Толстому не предоставить свой устав на утверждение Правительства. У него, вероятно, есть связи, и ему, я думаю, нетрудно будет добиться этого. Цели общества я от всей души сочувствую, но я сомневаюсь, чтобы оно привело к каким-нибудь результатам, а самой записываться в него мне не хочется, тем более что я не вижу, чем я могла бы быть полезна в нем.

Но устав общества мне хотелось бы знать, и я была бы Вам очень благодарна, если бы Вы прислали нам его, когда он будет выработан.

В Вильно я от моих слышала мнение, что все, что граф Толстой делает и пишет, все это имеет целью порисоваться. Это мнение, кажется, еще более укоренилось с тех пор, как он затеял согласие против пьянства. Особенно его упрека-

ли за то, что после своего имени немедленно он поместил имена своих лакеев с обозначением их должности. Но мне не хочется верить, что все это неискренне, по прочтении присланного Вами письма я еще меньше, чем прежде, способна поверить возводимым на него подозрениям.

Праздники прошли для нас очень тихо, но вместе с тем очень приятно. Так как у Андрюши почти все время болели ноги, то мы только раз с ним танцевали, затем были два раза в театре и раз в концерте (певицы Белохи и виолончелиста Портена). Но, вообще, в нынешнюю зиму я довольно много танцую: были мы, между прочим, два раза в Дворянском клубе, где я прежде не бывала. Первый мой выезд в Дворянский клуб был очень веселый, а второй вечер был очень немноголюдный, и сначала вечер шел очень вяло, зато мазурка все исправила, и все оставшиеся оживились. Думаю и еще когда-нибудь поехать туда. Мои занятия пением и английским языком подвигаются не много. Соловьева, моя учительница пения, думает устроить в феврале нечто вроде публичного экзамена или концерта своих учениц и учеников. Я этого немного побаиваюсь, но, кажется, мне этого не избежать. Не знаю наверное, что мы будем петь хором, а solo, мне кажется, придется петь «Ave Maria» Шуберта. Ужасно страшно! Это довольно трудная вещь.

В Понедельник у Вас экзамен: от души желаю Вам успеха и, не желая дольше удерживать Вас от Ваших занятий, кончаю это письмо. Тетя познакомилась с Вашей Maman, которая сказала, что Ваше зрение очень ослабело: неужели в самом деле Вы не можете поменьше утруждать его. Желаю Вам всего хорошего.

Уважающая Вас

Е. Снитко

18 Марта 1888 г.,
Лазарет Л. Гв. Конного полка

Многоуважаемая
Екатерина Константиновна!

В последнем письме Вашем Вы пишете мне, что я вполне могу рассчитывать на Вашу дружбу... Очень рад случаю, дающему мне возможность сказать Вам прямо и честно, что Вашей дружбы для меня мало: я уже более четырех лет люблю Вас и теперь первый раз решаюсь это Вам высказать. Еще задолго до поступления в Академию Вы интересовали меня, но в чувствах своих я еще не мог разобраться, и только за год до Академии я понял, что люблю Вас и никогда разлюбить не буду в состоянии. Скажу Вам теперь, что и в Академию, главным образом, я поехал ради Вас, чтобы получить более определенное положение и обеспечить себя материальными средствами; все, что перенес я здесь в эти три года каторжного труда и лишений, я переносил безропотно и с радостью, говоря себе, что этот подвиг я делаю для Вас, которую тайно и безнадежно люблю! Согласитесь сами, что я держал эти четыре года себя как порядочный человек и ни одним словом не выдал Вам себя, скрывая даже от близких мне лиц свои чувства?! Между нами завязалась переписка, с моей стороны — полная вопросов и симпатий к Вам. С Вашей — довольно холодная и сдер-

жанная. Но любящим сердцем я и там ловил признаки симпатий ко мне и во имя их решаюсь теперь высказаться перед Вами, не зная даже, что Вы ответите мне, и не имея даже права и основания на что-нибудь надеяться. Итак, согласны ли Вы разделить мою судьбу с моею жизнью, вверить свое счастье моей охране и попечению?! Помните, что ведь дело идет здесь о всей Вашей жизни, а потому не торопитесь с ответом, вдумайтесь в мои слова, загляните в будущее, а главное — загляните в свою чистую, святую душу и спросите себя, можете ли твердо и уверенно сказать мне «да!» и повторить это «да!» перед алтарем Всевидящего Бога?! Я очень сожалею, что вынужден делать свое предложение теперь, когда я болен и Вы невольно жалеете меня; а это чувство жалости может помешать Вам хладнокровно обсудить это письмо. Но ввиду окончания через 2 месяца Академии я решил не молчать более, а если суждено, то громко всему миру заявить о своих чувствах. (Ради Бога, забудьте про мою болезнь, которая скоро оставит меня, и постарайтесь быть беспристрастной и даже строгой к моей личности. На этом бы следовало окончить письмо; но совесть моя этого не позволяет). Я старше Вас годами, опытнее Вас в жизни и считаю нужным сказать о себе несколько слов. Не сделайте неосторожного шага, если захотите вверить свое счастье именно мне! Не забывайте, что я — человек без средств и еще года два-три буду жить одним скудным жалованьем... Конечно, я добьюсь этих средств, но кто поручится за будущее? Пойду далее: у меня здесь много знатной и богатой родни, но от нее я всегда держался далеко и скорее на правах хорошего знакомого, чем равного, так как никогда ни в чем родне не обязывался и ничего у нее не просил. У меня, как говорят, есть литературный талант, и я завел здесь литературные связи, но литературное поприще не для всякого благоприятно и выгодно, а я слишком горд, чтобы ходить на поклоны к литературным знаменитостям. Без этого литературная карьера не обеспечена. Следовательно, и здесь я не могу ручаться за будущее. Сказанного, считаю, довольно! Я хотел напомнить Вам, что, решаясь дать мне тот или иной ответ, Вы постарайтесь видеть во мне самого заурядного человека, хотя и не без хороших качеств, но я ничем не выделяющаяся личность из массы других заурядных людей. Если такому человеку Вы можете искренно и твердо ответить «да», то это будет залогом, что едва ли Вы ошибетесь в своих чувствах и выборе. Зная Ваш характер и силу воли, я уверен, что Вы сами, не прибегая к советам, разрешите эту задачу, которую предлагает Вам, в лице моем, сама жизнь! Не бойтесь отказать мне: я — мужчина, обладаю твердым характером и много уже перенес в жизни, а потому и этот ответ перенес бы безропотно и твердо. Чувствую, как много и вместе с тем как мало сказал я в этом письме из того, что наполняет в данную минуту мою душу! Ожидая от Вас того или другого ответа, я, как честный человек, сказал Вам о себе всю правду и могу обещать только одно: если мечты и сбудутся, свято и честно охранять Вас от всех житейских бурь, быть Вам и другом, и покровителем и постараться, чтобы

Вы во мне как в человеке никогда не ошиблись. Остальное — все в руках Божьих, и грешно было бы смело заглядывать в будущее и придавать большое значение своей скромной личности! Долгом своим считаю уведомить Вас, что пишу о сделанном предложении и Вашему брату, и П. И. Лего. Призываю Божие благословение на Вас, чтобы он поддержал Вас в эту минуту и не дал бы Вам сделать опрометчивого шага в жизни.
Уважающий Вас,

преданный Ал. Жиркевич

С. Петербург, 23 Марта 1888 г.

Дорогая Екатерина Константиновна! Сегодняшний день делается благодаря Вашему письму счастливейшим днем моей жизни. Правда, письмо Петра Ивановича, полученное мной одновременно с Вашим, дорогим и незабвенным письмом, немного затуманило тот светлый горизонт, который сразу передо мною открылся. Но теперь, когда я услышал от Вас заветное «люблю», целый мир не страшен мне, с целым миром я готов бороться, чтобы только Вы были счастливы, чтобы дождаться той минуты, когда между нами никого, кроме Бога, не будет. Письмо Петра Ивановича звучит даже враждебно, и это, конечно, устраняет всякие мои письменные с ним объяснения. Грустно, тяжело мне, желающему любить всех тех, кого Вы любите, встречать с первого же шага эту непонятную враждебность!! Но даю Вам слово, что всегда буду уважать Петра Ивановича и помнить, что и он Вас любит, и он желает Вам счастья, но только по-своему. Кто из нас прав — решит время. После Вашего письма у меня сразу выросли какие-то мощные крылья, прибавилось сил и бодрости, так что даже окружающие меня в Лазарете офицеры заметили во мне перемену: я объявил им о своем счастье, конечно, не назвав Вашу фамилию. Вообще, до приезда моего в Вильну, с Вашего разрешения я хочу объявить об этом событии в моей жизни только самым близким мне лицам, то есть отцу, матери, брату и сестре. Но не поручусь, что не разболтаю это и другим: у счастья язык очень болтлив, да и зачем молчать?! Я и без того слишком 4 года молчал, таился, даже лгал, как будто любя Вас честно и глубоко совершал преступление! В июне, когда, даст Бог, окончу Академию и приеду в Вильну, мы обо всем переговорим, все окончательно выясним и, быть может, рассеем и те немногие тучки, которые собрались над нами!

Здоровье мое поправляется, и я уже выезжаю в теплые дни гулять, а теперь я уверен, что пойду быстрыми шагами к выздоровлению. Доктора советуют отложить экзамен хоть до осени, но я и не могу, и не хочу: это значило бы заставить меня еще мучиться, еще ждать, еще Вас не видеть!!.

Вы упоминаете о холодности Ваших писем?.. Прежде она волновала меня, теперь же я сумею найти там и теплые строчки, поверьте.

Получил ли хороший, благородный Андрей Константинович мое письмо? Как хочу я сойтись с ним и приобрести его любовь и доверие! Кончаю письмо, по обыкновению не написав всего, что хо-

тел. Благодарю же еще раз за уверенность во мне, за ту твердость, с которой идете ко мне навстречу! Нет, я не ошибся в Вас, я Вас не идеализирую, я знал, с кем соединяю свою судьбу с этого знаменательного дня!

Вся жизнь моя теперь будет направлена на то, чтобы Вы никогда не раскаялись в своем шаге! Будьте счастливы. Уважающий и любящий Вас

Ал. Жиркевич

Дорогой нашей Варваре Ивановне свой привет, так же как и другу моему Клеопатре Александровне. Пишите, если можно, хоть раз в неделю и хоть парочку слов. Боже, как я счастлив и как я даже поглупел от счастья, от новизны положения!!

Вильно, 26 Марта 1888 г.

Дорогой мой Александр Владимирович!

Получив письмо Ваше с уведомлением, что Вы посвятили Вашу Мать и прочих членов Вашей семьи в нашу тайну, я решила написать Вашей Маме от себя по этому поводу; сегодня же узнаю от Клеопатры Александровны, что Вы собирались просить Вашу Маму написать мне; но я сгорела бы от стыда, если бы она, а не я, сделала первый шаг, чтобы завязать добрые отношения. Итак, напишу ей первая — и посылаю Вам свое письмо для прочтения, припишите адрес и отошлите его по назначению. Жаль мне бедной Вашей сестренки: вот кому будет тоже немного грустно первое время после Вашего сообщения о нашем взаимном соглашении. Вы мне говорили когда-то, что она мечтает о том, как она будет у Вас хозяйкою по окончании института. Да оно и понятно: я тоже ревновала бы немного Андрюшу, если бы он женился прежде, чем я бы вышла замуж. Надеюсь, впрочем, что мне не придется столкнуться на первых же шагах с таким холодным приемом в Вашей семье, каким встретил Вас Петр Иванович. Мне было бы еще тяжелее, чем Вам, потому что не Вы, собственно, входите в мою семью, а я в Вашу.

Бедный Вы мой, я ведь знаю, какое письмо написал Вам Дядя! Я читала его, но, конечно, не могла ничего сделать, чтобы оно было изменено,— добилась лишь того, чтобы оно не было послано прежде моего ответа на Ваше предложение. Петр Иванович сказал Андрюше, что он решил более не говорить со мной по этому поводу, а я поняла это как предупреждение, чтобы не начинать этого разговора. Но все же мне надо будет задать этот вопрос не раз еще: его не обойдешь. Ужасно горько было бы мне, если бы Дядя отказался быть моим посаженым отцом: это было бы жестоко с его стороны! Он мне сказал, что, во всяком случае, мои с ним отношения не изменяются и что я в его расположении сомневаться не могу; что ежели бы у него была дочь, он не любил бы ее более меня: не может быть, чтоб после брака он отказал моей просьбе!

Вы спрашиваете, получил ли Андрюша Ваше письмо? До отъезда из Риги — нет, но вернувшись туда (он уехал вчера), вероятно, нашел его у себя. Очень буду рада, если Вы благополучно кончите Академию до лета, но боюсь, чтобы брак не повлиял дурно на Ваше здоровье,

и опасаюсь, что после Вашей болезни Вы не в состоянии выдержать экзамены так хорошо, как бы следовало. Помоги Вам Бог во всем! Затем у меня есть еще одна просьба к Вам, исполнением которой Вы бы меня очень порадовали. Чтобы Вам теперь приобщиться Св. Тайн. Я верю, что после этого физические и душевные силы Ваши окрепнут. Когда мы говели на первой неделе, я не раз говорила себе, что мне радостно было бы знать, что я приобщалась в один день, может быть, в одну минуту с Вами; но тогда не имела права просить Вас сделать что-нибудь для меня, теперь же прошу Вас, не откажите мне! Вы были больны: Вам и без говения, без стояния в церкви можно приобщиться. Хотела бы тоже просить Вас принять от меня образок, который ношу уже десятый год: я его очень люблю, но для Вас мне не жаль с ним расстаться. Ежели Вы обещаете мне носить его, то я пришлю его, но, пожалуйста, не вздумайте меня теперь отговаривать. Ведь у меня есть уже один Ваш подарок «Последние произведения графа Толстого». Мне ужасно совестно было хранить эту книгу у себя, но теперь это неловкое ощущение устранилось. Напишите, когда Ваши экзамены начнутся? Вы не сказали мне ничего о Вашем сочинении? Буду писать Вам как можно чаще.

Любящая Вас Е. Снитко

P. S. Я сегодня говорила Тете, что мне все кажется, что никогда между женихом и невестой не существовало таких особенно хороших отношений, как между нами, хотя тут же вспоминаются мне слова княгини-матери к Кити в «Анне Карениной»: «А ты думаешь, что Вы с Костей выдумали что-то новое?»

8 Апреля 1888 г.

Дорогая моя
Екатерина Константиновна!

Я только что отправил к Вам мое последнее письмо, как получил и Ваше заказное письмо и посылку. Увидя Ваш почерк на конверте, я успокоился о Вашем здоровье, а то Бог знает, что уже бродило в моей голове. Спасибо и за заветный образок и за прекрасную карточку: образок я уже ношу, благословясь, а портрет лежит возле моей кровати, так как рамки для него я еще не успел купить. И Вы, и Тетя вышли на карточке очень хорошо, особенно Вы, так что, обвиняя фотографа в несходстве, Вы немного против него согрешили... Не бойтесь, ради Бога, о моем здоровье: опасности для него большой нет, а по вечерам я совсем не занимаюсь, чем и сохраняю свое зрение. Но память действительно изменяет мне, хотя все доктора говорят, что это лишь временно, а потом я опять стану как все смертные. Заниматься мне, конечно, трудно; да что же давалось мне в жизни без труда, без борьбы? К этому я привык и умею всегда усладить труд надеждой, а теперь эта райская птичка часто своими песнями услаждает тоску моей лазаретной тюремной жизни.

Вы задали мне несколько вопросов: спешу на них хоть вкратце ответить. С Петром Ивановичем я еще сам не знаю как сойдусь и познакомлюсь ближе. Во всяком случае, даю Вам слово,

что ради Вашего спокойствия и счастья, принесу все жертвы, сделаю все, чтобы он узнал меня ближе, и если не достигну его любви, то, быть может, заслужу уважения. Моя глупая, конфузливая натура принесла уже мне много страданий, и мне бывает тяжело, когда встречаюсь с человеком, меня не любящим. Но и тут я решил сделать все уступки, все, что вы мне посоветуете, как знающая ближе П. И., чтобы размолвка наша с ним не приняла серьезных размеров. Избегать же его, сердиться на него я не буду, считая такую борьбу в данном случае нечестной и мне несвойственной. Вот все, что пока могу сказать по этому вопросу: дальнейшее будет продиктовано временем и нашим с Вами личным свиданием.

Едва ли мне придется командовать ротою, если окончу Академию. Спасибо Вам за готовность делить со мной и радости, и горе: я в Вас давно уже заметил задатки человека, с которым могу и говорить, и поступать откровенно и без боязни испугать, заставить колебаться. Я твердо хочу жить для Вас, для Вашего благополучия и постараюсь избавить Вас от нужды и от той заурядной обстановки, которая окружает армейских офицеров. Ну а если судьба станет и тут делать сюрпризы, что же, Вы, я уверен, настолько мужественны и любите меня, что взглянете ей смело в глаза и не упрекнете меня в недостатке к Вам жалости?!

Весной приеду в Вильну и хоть первые годы хотел бы жить в Вильне, и в этом наши желания сходятся!

Могли ли Вы сомневаться, что я ни одной минуты не воображал нашего семейного очага без Варвары Ивановны, которая не погрелась бы у него на старости жизни и в свою очередь не пригрела бы нас своим горячим, любящим сердцем?! Рисуя картины нашей семейной жизни, я всюду вижу и дорогую Тетю, которую люблю, как сын и друг. Итак, этот вопрос мы с Вами решили окончательно. О подробностях нашей свадьбы поговорим лично, но венчаться будем там, где Вы желаете. Кстати, генерал Максимов, который давно уже предназначен в посаженые отцы с моей стороны, узнав через моего брата о моей женитьбе, просит меня спросить Вас, разрешите ли Вы сделать ему теперь Вам визит? Уведомьте меня на сей предмет откровенно, и если находите это неприятным или неудачным для себя, то я вежливо отклоню желание Максимова. Дописался до конца, и благоразумие приказывает положить перо. Спасибо же за присланные дорогие моему сердцу подарки!

Храни Вас Бог. Любящий Вас А. Ж.

Клеопатру Александровну по обыкновению я забыл поздравить! Душевно об этом сожалею. Буду писать и Вам, и ей, и Тете после 12-го. Тогда же напишу и Вам громадное письмо. В минуты отдыха думаю о Вас. Все офицеры Лазарета удивляются перемене, которая во мне произошла.

Помолитесь за меня 12-го числа. Прошу о том же Тетю.

10 Апреля 1888 г.

Дорогой мой Александр Владимирович! Какой счастливый день был для меня вчерашний! Как часто со мной бывает,

когда что-нибудь особенно хорошее должно днем случиться, мне с самого утра было так светло и радостно на душе. Вернувшись домой с английского урока, я нашла письмо от Вашей дорогой Мамы, такое доброе, теплое, хорошее письмо, что меня так и потянуло к ней, и я просто жажду узнать ее! Затем, после обеда пришло Ваше письмо от 8-го Апреля. Радостно мне и вместе с тем совестно, что я как бы вызываю Вас на письма отвечать перед самым экзаменом. Когда Вы получите это письмо, этот страшный день будет уже прожит и, Бог даст, благополучно прожит. Не хочу более останавливаться на вопросе об экзамене, перейду лучше к другим.

Ваша добрая Мама просит меня прислать мою карточку: не знаю, заказать ли такую, как я Вам теперь послала, или сниматься еще раз в маленьком формате? Больших карточек мы сделали только шесть. Ваша Мама высказывает также желание вступить со мной в постоянную переписку, что для меня, конечно, будет большой радостью. Я навсегда сохраню ее письма и, когда Вы приедете, покажу Вам это дорогое незабвенное письмо, которое я вчера от нее получила. Я читаю его и перечитываю, и каждый раз оно меня приводит в восторг. У нас завяжется переписка, и вот будем по косточкам разбирать Вас, мой хороший, и бранить наперерыв.

Очень буду рада познакомиться с Вашим братом; боюсь только, что для него будет немного трудно пересилить себя и идти к нам: он, кажется, такой нелюдим. Я очень хочу его узнать, как и всю семью Вашу, и каждый неизвестный мне офицер Оренбургского полка представляется мне Вашим братом, и я стараюсь отыскать в нем какое-нибудь сходство с Вами, но до сих пор напрасно. Что же касается генерала Максимова, признаюсь Вам, мне бы приятнее было, если бы он был у нас с визитом при Вас, если бы Вы его к нам привели; но так как он в данном случае поступает очень любезно и деликатно и, вообще, считает себя Вашим другом, я думаю, неловко будет отклонить делаемую им для Вас любезность, тем более что до осени откладывать этот визит будет слишком долго, а весной мы, может быть, увидимся лишь в деревне. Итак, мы будем ждать Максимова. Он, вероятно, будет у нас один: напишите должна ли я в ответ на эту любезность быть с Тетей к Madame Максимовой? Благодарю Вас от всего сердца за Вашу любовь к Тете и за то, что Вы не разлучаете меня с ней! Вы меня так обрадовали и успокоили решением этого вопроса! О моих взглядах на отношения, которые должны установиться между Вами и П. И., напишу в следующий раз.

Ваша всем сердцем Е. С.

Я не совсем рада, что Вы оставляете уже Лазарет, кто за Вами дома присмотрит после тифов, говорят, нужно соблюдать осторожность в течение целого года.

Как здоровье Вашей сестры?

13 Апреля 1888 г., Петербург

Дорогая моя
Екатерина Константиновна!

Пишу Вам еще совсем разбитым и нравственно, и физически выдержанным

вчера экзаменом. Он прошел удачно, хотя и не блестящим образом, как я привык сдавать обыкновенно экзамены по главным предметам; но грешно было бы требовать от Господа чудес, а блестящий ответ при моем теперешнем состоянии был бы чудом! Я рад, что $^1/_4$ часть экзаменов свалилась с плеч, и хотя осталось 3 экзамена и письменная работа, да я надеюсь все преодолеть и, как средневековый рыцарь, принести к Вашим ногам академический значок и, быть может, обеспеченную будущность. Мне поставили 10 баллов, более чего и не требуется по 1-му разряду. Признаюсь Вам, что занятия вновь разбили мои силы, и одно время я лелеял мысль — отложить хоть 3 экзамена до осени, бросить все и приехать к Вам — отдыхать и лечиться. Обо мне было сделано представление, где при прекрасной аттестации Академия просила не лишать меня чина, если буду держать экзамены осенью (что бывает по одному из драконовских законов Академии), но высшее начальство решило, что мне полезно рисковать здоровьем, то есть, иными словами, отказало в такой серьезной просьбе. Бог с ними и с этой канцелярщиной, вечно преграждающей с начальническим сердцем доступ вопросов жизни и правды! Не пугайтесь этих строк и примите их как знак моего полного к Вам доверия: я и матери не писал бы так откровенно о своем здоровье, как пишу Вам, зная, что с Вами нечего секретничать — Вы человек с характером и силой воли!

Боюсь за свои силы, но надеюсь остановиться во время, когда почувствую, что этого требует благоразумие. Тогда отложу остальные экзамены на осень и откажусь от чина. Конечно, последнее, то есть чин, для меня важен; но отложив экзамены на осень, я не лишусь 1-го разряда. Вот какой сумбур и неопределенность в моей бедной головушке!

Я тревожился тем, что Вы уже долго не получаете от моей Мамы письма. Желал бы, чтобы Вы ее пока узнали хоть по письмам и оценили ее золотое сердце. Если жизнь меня не очень жалует теперь, зато подарила мне такую мать и дарит мне Вас: с такими друзьями щелчки жизни не страшны!.. У Вас начинается с Мамой переписка? В добрый час!.. Только не верьте всему хорошему, что будет писать Вам обо мне Мама, и не составьте с ее слов мнение обо мне! Я всегда был Маменьким любимцем, а потому говорить обо мне беспристрастно она не может и всегда ставит меня на пьедестал, не желая верить, что я — простой смертный, которому не пристало мечтать о пьедесталах. Кроме того, довольно долго я живу вдали от матери, наши жизни, а следовательно, взгляды, разошлись, и мы понимаем друг друга лишь сердцем.

Мама в восторге от Вашего письма и отец мой тоже. Мама собирается вести с Вами деятельную переписку, и это меня радует. Брат мой теперь в деревне и, как вернется, будет у Вас. Он — прекрасный, честный и умный человек, но действительно нелюдим и нигде не бывает, так что Вы на него и не претендуйте, если, кроме 2—3 раз, Вы его не увидите в это время. С братом я очень дружен и люблю, но хотя вижу в нем большие недочеты, которые другой назвал бы оригинальностью. Замкнутый характер брата мешает нам сойтись близко,

а дружба наша принадлежит к числу тех, когда взаимная помощь делается естественно, сама собой, не говорится лишних слов, и все понимается во взаимных отношениях с полуслова. Брат Вам должен понравиться: все, кто с ним первый раз встречался, выносят это впечатление.

Из Ваших писем я вижу, что Вы в Июне уезжаете в Карльсберг. Не можете ли Вы сообщить хоть приблизительно, в каких числах это будет? Мне хотелось бы хоть на 3 дня приехать в Вильну перед выпуском (между экзаменами и представлением Государю будет промежуток недели в две). Получив от Вас сведения, я соображу, как все это устроить. Во всяком случае, окончив Академию, я имею право взять 28-месячный отпуск на более продолжительное время. Тогда прямо приеду к Вам, чтобы восстановить в деревне свои силы.

С Вашего позволения я пишу Максимову (его зовут Иван Иванович), что Вы разрешили ему сделать визит. Полагаю, что до визита самой Максимовой к Вам Вам и Тете не следует делать первый шаг, то есть познакомиться с M-me Максимовой, а за Вас отдам визит или я, когда приеду, или Андрюша, когда приедет. Впрочем, Вы сами хорошо знаете все светские приличия, а говорить и советовать заранее — значит наверняка ошибиться. Максимов, как Вы верно выразились, «считает» меня своим другом, и я к нему расположен, так как пользуюсь его неизменной симпатией уже 6 лет; характерами же и взглядами на жизнь мы с ним совершенно расходимся.

Сегодня первый день, когда я не сижу за книгами и могу думать о Вас без головных болей, без тревожных взглядов на раскрытые книги. Меня все тревожит мысль: достаточно ли хорошо свидетельствуют мои письма о тех чувствах, которые питаю я к Вам в моей душе! Вот уже два месяца, как я живу в каком-то невообразимом хаосе, выбитый из обычной колеи, окруженный неразрешимыми и разрешимыми вопросами, опасениями, сомнениями, неприятностями!! Ваша любовь ко мне озаряет эту тему, но как узник, отвыкший от света и изнуренной борьбой и лишениями, я могу только молча благодарить существо, пролившее этот свет в мою душевную темницу, оставляя все выражения моей благодарности до полного освобождения! Итак, не истолкуйте дурно мои нескладные, нечастые и грустные письма: занятия и болезнь отнимают у меня радости жизни, и бывают минуты, когда перо валится из рук. Чтобы не утомлять себя, я почти прекратил переписку и даже не читаю газет; к вам же не могу не писать — это значило бы лишить себя той нравственной бодрости, которая не покидает меня!

Сестре моей лучше, я к ней еду сегодня в Институт и хочу подарить букетик живых цветов, которые она так любит. Пишу и Тете, и Клеопатре Александровне. Я дал себе два дня отдыха, а там опять сажусь <…>

Любящий Вас А. Ж.

Вильно, 24 Апреля 1888 г.

Сегодня получила я письмо Ваше, дорогой мой и хороший Александр Владимирович, и положительно не знаю, что мне делать. Умолять ли Вас, как в последнем

письме, Вами еще, кажется, не полученном, отложить все до осени или положиться на благоразумие Ваше?

В последнем письме Вы пишите: «На что больному даже генеральский чин?», а сегодня говорите: «Неужели остановлюсь в нескольких шагах от цели из-за возможности какой-либо беды с моим здоровьем?» Боюсь страшно, чтобы труд Ваш не убил в Вас здоровье навсегда! Ваш значок был бы куплен тогда слишком дорогой ценою, и, кроме омерзения и отвращения, ничего бы не внушал мне. Подумайте над этим хорошенько и не заставьте меня упрекать себя всю жизнь в том, что не настояла на Вашем прежнем решении. Что мы будем делать без здоровья!? Итак, взвесьте хорошенько силы Ваши, но ежели их довольно, то, конечно, приятнее покончить весной экзаменные треволнения, и да будет Милость Божия с Вами! Простите, Дорогой мой, что письмо это не поспело к праздникам: масса писем в ответ на полученные поздравления, приготовления к Пасхе, службы Страстной недели, все это помешало написать Вам, да к тому же я все ждала от Вас разъяснения недоразумения насчет Ваших экзаменов. Иван Владимирович (с которым мы уже познакомились и о знакомстве с которым сейчас Вам расскажу) заподозрил, что Вы написали мне о Вашем решении отложить экзамены до осени, только чтобы не беспокоить меня, не заставлять волноваться. Это меня несколько огорчило после Ваших уверений, что пишите мне вполне откровенно, откровеннее, чем Маме. Вчера же, до заутрени стала писать Вам, но так устала от всей предпраздничной суеты, что улеглась спать, и в церковь отправилась еще сонная. Вам нечего было просить меня молиться за Вас и думать о Вас при первых возгласах «Христос Воскресе!». Я и так была бы мыслью с Вами и с моим бедным Андрюшей! Существует поверие, что желание, которое выскажешь, когда в первый раз услышишь в церкви «Христос Воскресе», непременно сбудется. Я, вообще, не суеверна, но мне хочется верить в эту примету, и я молилась о благословении для нас с Вами и всех тех, кого мы любим.

А теперь скажу Вам про Вашего брата, что он мне действительно понравился, как Вы предполагали, и мне кажется, что мы уже с ним познакомились. Он был у нас на следующий день после визита Максимова и был так мил, что пришел затем к нам вечером и принес по моей просьбе 3 карточки Вашей сестры. На одной из них она очень похожа на Леню Вирпотину. Иван Владимирович обещал, что будет заходить к нам вечером запросто, и мы, конечно, употребим все усилия, чтобы посещения эти не были для него тягостны. С отцом Вашим и сестрой мне не пришлось встретиться: они приехали сюда в Страстной четверг, и Иван Владимирович предполагал, что мы поздно вернемся из церкви, отговорил их быть у нас. Отец Ваш, говорят, будет здесь в этом месяце или будущем, но сестру Вашу мне так и не удастся видеть. Это мне очень, очень прискорбно: я очень желала с ней познакомиться. Во вторник уезжаем в Гродно, где пробудем до Воскресенья. Не смею ждать от Вас письма на этой неделе перед экзаменом, но если бы Вам нужно было написать мне, пишите по следующему адресу: Гродно. Дом благотворительного общества Е., превосходи-

тельству Елизавете Павловне Савицкой. С передачей Е. К. Снитко.

Так как я ждала Вас до окончания экзаменов, думая, что Вы не будете держать теперь, то перестала скрывать нашу помолвку, и Тетя объявила теперь всем об этом. Думаю, что ничего против этого не имеете. Об этом знают уже и Ваши знакомые Чагины. Не бойтесь поставить меня в неловкое положение Вашим приездом в Карльсберг: П. И. и С. Т. никогда не приезжают на более продолжительный срок так четыре, пять дней, много если приедут на неделю. Что П. И. с Вами объясняться не будет — за это я готова ручаться. Мне кажется, он боится объяснений, которые могут поставить его в необходимость мотивировать чем-нибудь свое непонятное поведение, а он не простит тому, кто поставит его в глупое положение. Почему сын генерала Костогорова пользовался четырехмесячным отпуском, когда кончил Артиллерийскую Академию? Я думала, что это законом установленный срок.

Напишу Вам из Гродно. Не бойтесь чтобы кто-нибудь меня вырвал у Вас: я сама не дамся. Не бойтесь также, чтобы кто-нибудь мог поселить недомолвки между нами.

Не забывайте любящую Вас

Е. Снитко

Вы познакомились с воспоминаниями о моей бабушке Екатерине Алексеевне Жиркевич (Снитко), а теперь предлагаю читателю отрывок из воспоминаний моего деда Александра Владимировича Жиркевича о своей бабушке.

Александр Жиркевич

Бабушку свою я помню с самых ранних лет. Ее приезд довольно живо рисуется в моем воображении. Еще накануне мне сказали, что бабушка приедет. Поэтому я набрал к ее приезду букет полевых цветов и поставил его на стол в комнате, для нее предназначенной. Вечером, не дождавшись бабушки, я уснул. Помню хорошо, меня тогда интересовал вопрос, что такое моя «бабушка»? Меня разбудила нежным поцелуем сама бабушка, которая была еще очень моложава на вид. Последнее обстоятельство сильно огорчило меня, так как о всех бабушках я составил себе понятие как о старушках в чепцах и очках. По этой причине, да еще оттого, что меня потревожили во сне, я раскапризничался, разревелся и стал сквозь слезы утверждать, что это «бабушка не форменная», чем и вызвал общий смех. Бабушка привезла мне гостинцев — каких-то пряников, которые трудно было укусить, так они были тверды. С бабушкой я скоро сошелся, так как никто не баловал меня так, как она. Всякие сласти, игрушки, пирожки — все это законным и незаконным путем попадало мне в руки. Сказки рассказывать она была мастерица; но больше любила рассказывать о жизни святых, причем показывала и картинки, обыкновенно прикладываемые к подобным изделиям бойкого пера московских писателей-самоучек, под фирмою «Манухин и К°». Особенно меня интересовала история Иосифа Прекрасного, и именно потому, что я чувствовал, что бабушка в ней не все рассказывала. Бабушка была мастерица

Саша и Ваня Жиркевич с бабушкой М. И. Астафьевой, 1860-е гг.

и гадать, а потому я сделался скоро ее тайным адептом. <...>

Я очень поздно перестал играть в куклы. Причиною этому был мой болезненный рост, который постоянно отдавал меня в руки женщин и совсем было обабил меня. Лет 12-ти я шил куклы и сам выкраивал им платья. Подарок в виде какого-нибудь шелкового лоскутка был для меня в то время самым интересным и дорогим. Отличительною чертою, всегда верно указывавшей время наступления моей болезни в детстве, было враждебное отношение, и к кому же? — к бабушке, которая для меня была готова отдать свою жизнь. Когда я бывал болен, бабушка изгонялась из моей комнаты. Для нее я всегда лежал с закрытыми глазами и не отвечал на ее вопросы, чем очень мучил бедную старуху. Такие враждебные отношения, вероятно, развились вследствие того, что бабушка всегда надо мною ахала, охала и причитала, что при моей нервной раздражительности приводило меня в злость. Если бабушке приходилось оставаться со мною и давать лекарства, то это было настоящим мучением. Начинался обыкновенно торг за каждую ложку микстуры. Мною назначалась цена, за которую я готов бы принимать лекарство, и я ни копейки не спускал с этой цены. Особенно дорого запрашивал за касторку, которую ненавидел и цена за которую доходила до 20 коп. за ложку. Обыкновенно я ставил вопрос о приеме лекарства прямо и без всяких околичностей: «Цена такая-то, иначе не приму!» — и бабушка давала мне все, что я хотел, тем более что доктора запретили меня тревожить. Я вообще очень часто хворал и очень серьезными болезнями, так что несколько раз за мою жизнь отчаивались. Для матери мои болезни обходились дороже всего. Целые ночи напролет просиживала она у моего изголовья, не раздеваясь и не смыкая глаз. Бывало ночью чуть пошевелишься, и уже встревоженный взор мамы встречается с моим. Во время таких болезней я обыкновенно грабил бабушку безмилосердно. Как теперь помню, у нее было дорогое старинного покроя голубое шелковое платье. Я захворал воспалением легких и когда стал выздоравливать, то почему-то захотел для своей куклы на платье получить рукав от заветного платья бабушки. Без этого рукава она не смела и на глаза мне показаться. И что же? В конце концов бабушка отдала мне этот рукав, испортив все платье. Иногда мне приходили дикие фантазии, вроде того чтобы бабушка танцевала передо мной и т. п., и бабушка — женщина уже пожилых лет — исполняла все мои глупые требования и просьбы.

А. В. Уханов

«Крепка твоя вера, Анна!»

Мальчишкой на чердаке бабушкиного дома я нашел старую прялку. «Не трожь! Не ковыряй рану! — неожиданно разволновалась бабушка.— Не было мне в жизни счастья! Не спрашивай ничего!» Тогда я спросил у мамы и услышал в ответ трогательную историю. Моя бабушка Анна Васильевна (1872 г. р.) была родом из крестьянской семьи, жившей в деревне Суково Весьегонского уезда Тверской губернии. Оставшись сиротой в четырнадцать лет, она вынуждена была жить в доме своего старшего брата Сергея. Приходилось трудиться наравне со взрослыми. Долгими зимними вечерами парни и девки «собирались на беседы». Вот и Аннушка придет в избу, сядет в уголке со своей прялкой и робко поглядывает, что происходит вокруг. Однажды «на беседе» парни разыгрались, стали бороться и сломали случайно ее прялку. Заплакала Аннушка: «Все-то меня обижают! Некому за меня, сироту, заступиться!» «Не плачь,— сказал ей один из парней.— Я починю твою прялку». И он действительно починил: скрепил ее надломленный ствол блестящим латунным кольцом. И был в этом, вероятно, какой-то намек на другое колечко, обручальное. Молодые люди познакомились и приглянулись друг другу. Но Сергей и слышать не хотел о таком женихе для сестры: небогатый и к тому же из многодетной семьи. Не решилась Аннушка пойти против старшего брата. Выслушав эту историю, я был поражен: неужели до сих пор, под пеплом прожитых лет, теплится в сердце моей бабушки эта первая и, может быть, единственная любовь? Я поинтересовался у мамы и у тети, что они знают о том парне, виделась ли с ним бабушка после замужеств, каков он был собой. Оказалось, их последняя встреча произошла в 25-м году, когда бабушка повезла сдавать лен на соседний заготпункт, где он работал приемщиком. Бабушку он узнал и принял у нее лен по высшему сорту. Маме же он показался некрасивым, низкорослым и «каким-то губастым». Мой дедушка Кирилл тоже не отличался высоким ростом, зато был всегда аккуратен, подтянут и имел благородные черты лица. К тому же он хорошо пел.

Кирилл вернулся со своей сверхсрочной солдатской службы, когда Анна уже стала считаться девицей на выданье.

© А. В. Уханов, 2008

Ничего еще о ней не зная, легко и беззаботно обходил он со своей гармошкой все соседние деревни, где девицы и парни «собирались на беседы». Раз возвращался он домой поздней зимней ночью. Полная луна, снежное поле… И вдруг дед заметил, что за ним черной тенью крадется волк. Дед остановился — волк тоже остановился, дед заиграл на гармошке — волк присел и завыл, а потом бросился догонять гармониста. Пришлось снова остановиться и исполнить какую-то задушевную мелодию, на которую волк откликнулся с неподдельной грустью в голосе. Так и дошли они до самой деревни. Собаки встретили их дружным лаем, серый солист потрусил себе восвояси, а гармонист сыграл ему еще напоследок. Кирилл не очень испугался: волчок-то был свой, здешний. Местные волки — это совсем не то, что седые гривастые волки-оборотни, которые темными морозными ночами появлялись неизвестно откуда и подходили к самым избам. Тогда собаки прятались, не смея тявкнуть, а люди принимались молиться.

Однажды Кирилл со своим товарищем пошли за девять верст в Суково проведать тамошних красных девиц. В избе, освещенной по-новому керосиновой лампой, шла развеселая беседа, а в сторонке, в углу Кирилл заметил незнакомую темноволосую девушку, которая ловко и сосредоточенно плела кружево. Она одна казалась печальной среди общего веселья, шуток и смеха. Девушка очень приглянулась парню, но заговорить с ней он не решился. Узнал только, что она сирота и живет в семье старшего брата.

Приближался второй в том году свадебный сезон. Как-то на улице деревенская юродивая схватила Анну, пригнула ее и застучала кулаком по спине: «Ой, да не на заговение, ой, да не на филипповки…» Это было верным указанием на близкую свадьбу. И верно: неожиданно издалека приехали сваты и вошли к Сергею с традиционным присловьем: «У вас товар, у нас купец!» Купец оказался завидным: единственный сын в богатом доме. Сваты и словом не обмолвились про приданое — сами предложили деньги невесте на наряды, на подарки, все свадебные расходы брали на себя. Сергей долго уговаривал Анну, убеждал, что она может стать в доме полновластной хозяйкой. Нехотя она согласилась. А на смотринах жених предстал настоящим добрым молодцем — высокий, видный, богато одетый. Был назначен день свадьбы.

Кирилл между тем снова собрался в Суково, когда узнал, что понравившаяся ему девушка уже просватана. Ему ничего не оставалось делать, как досадовать на себя за свою нерешительность. Кирилл забросил свою гармошку и стал грустить. Но однажды прибежал его товарищ и сообщил, что свадьба у Родионовых расстроилась и, стало быть, еще не все потеряно. Произошло же следующее. К свадьбе было почти все готово, оставалось только кое-что докупить в Весьегонске. За покупками поехали на двух санях: впереди — Сергей со сватом, позади — Анна с женихом. Их молодая лошадка притомилась в пути и немного отстала от передних саней. Жених схватил кнут и стал ее яростно нахлестывать. Анна запротестовала:

«Не бей лошадь: она у нас молодая, мы ее не бьем!» — «Плевать, что молодая! — усмехался жених.— Я и тебя, молодую, вот как поженимся, буду бить!» — «Дайка мне вожжи»,— скомандовала Анна и сильным толчком в бок выкинула жениха из саней в снег. Передние заметили неладное, повернули. Услышав от Анны, что произошло, Сергей пересел к сестре в сани со словами: «Так вот они как! Да ну их к черту! Поехали домой!»

Свадьбу отменили. Но теперь надо было вернуть деньги, потраченные на невестины наряды и на ее сундук с приданым. Всего пятьдесят пять рублей! «Что делать? Где найти такую сумму?» — терзался Сергей, когда Кирилл пришел просить у него руки Анны. «Деньги будут»,— твердо сказал гармонист. Свой небольшой капитал он скопил за время службы из тех гривенничков, которые еженедельно выдавались солдату на табак. Откладывал он также и разные наградные, в том числе за отличную стрельбу. «В таком случае,— сказал Сергей,— иди к Анне и сам с ней договаривайся». Но Анна сказала как отрезала: «Не пойду в дом Поздиралы».

Поздирала — таким прозвищем местные жители наградили отца Кирилла, Сергея Ефремовича. Дед Сергей, не брезгуя, выполнял довольно грязную работу, которая в Индии была бы уделом неприкасаемых: он сдирал шкуры с павших лошадей и зарезанных жеребят. Этим он обеспечивал пищей своих горячо любимых многочисленных собак, а от продажи шкур имел небольшой доход. Любопытно, что дом Поздиралы Анна заприметила еще в детстве. Эта старая мрачная изба на окраине деревни Григорково, на пригорке у самого леса, представлялась Аннушке жилищем каких-то разбойников или даже волчьим логовом. «Ни за что не пойду в дом Поздиралы!» — отвечала она на все уговоры. Кириллу пришлось пообещать, что после свадьбы они уедут жить в Питер, и тогда Анна в конце концов дала себя уговорить. Кирилл пошел к Сергею и выложил ему одиннадцать новеньких золотых пятирублевиков. Они ударили по рукам. Когда же Анна узнала про эти деньги, ее возмущению не было предела. «Как! Меня продали за пятьдесят рублей!?» — повторяла она. О своей горькой обиде Анна Васильевна помнила всю жизнь. С горечью рассказывала бабушка Аня об этих пятидесяти пяти рублях и мне.

Венчание состоялось в церкви при селе Титовском, в полуверсте от Григоркова. Свадьбу справили в Сукове. После нее, как и положено, Анна вместе со своими сундуками переехала в «дом Поздиралы». Родители Кирилла, Сергей Ефремович и Екатерина Семеновна, встретили невестку хорошо. Они одобрили выбор сына: дочь старосты и хорошая работница. Правда, Анна не собиралась надолго оставаться в деревне. Кирилл, как и обещал, отправился в Питер на поиски работы.

Тогда отслужившим солдатам на выбор предлагались три «карьеры»: в жандармы, в пожарные, в почтальоны. Кирилл выбрал «карьеру» почтальона. Месяца через два он прислал в деревню денег и известил письмом, что его взяли с испытательным сроком и что пока он живет в «холостяцкой», на казенной квартире.

Анна уже стала подумывать о будущей жизни в городе, однако ее надежды и планы чуть было не рухнули. Из Сукова прибежала ее подружка и сообщила, что мать отвергнутого Анной жениха собирается мстить. Люди слышали, как она говорила, что дерзкая девка скоро получит от острия смертельный удар. А сказывали, что старуха эта — ведьма и что богатство ее семьи нажито нечисто, «обжинками». Обжинками называли некую тайную колдовскую практику, о которой добрые люди предпочитали помалкивать. Собственно, никто и не ведал сути этого колдовства. Знали только, что темными ночами голая девка, с серпом, обегает чужие поля и, сжав там и тут колосья, ограничивает площадь, с которой часть урожая сама собой должна перейти в амбары колдуна. Непросто помешать такому хищению, непросто подстеречь ведьму. Ничем ее не взять, только серебряной пулей или на худой конец пулей, сделанной из пуговицы с гербом.

Ранней весной вся деревня вышла на большой заливной луг чистить покос после прошедшего паводка. Мужики и бабы собирали и жгли нанесенный плавник, вырубали кусты. Анна сгребала сор, как вдруг из кучи зашипела и метнулась на нее большая змея. К счастью, сосед изловчился, ударил змею косой, подцепил ее и высоко поднял над землей, чтобы все подивились на эту извивающуюся гадину. Когда он бросил ее в костер, раздался какой-то зловещий свист или крик. Змеиные кольца свились в клубок, распавшийся на горячие угли. «Ой, не к добру! Не к добру! — крестясь, заговорили бабы.— Где это слыхано, чтобы змея кричала! Не к добру это, Анна!»

Анна и сама знала, что быть несчастью. И вот наступила пора сенокоса. Анна умела и любила косить. Раз всей семьей косили они в Ольшине, на лесных полянах. Тут и настигла Анну беда: она сильно порезалась косой. Хлынула кровь, и никакие «тугие повязки» не могли ее остановить. Анна слабела и теряла сознание. Тогда родственники положили ее на телегу и погнали в Весьегонск, где земский врач по всем правилам военно-полевой хирургии зашил рану.

Ни у кого не оставалось сомнений в насланной порче, в колдовском воздействии. Местная ворожея отказалась тягаться с коварной ведьмой, лишь посоветовала Анне уехать куда-нибудь подальше. Поэтому родственники Кирилла не стали задерживать невестку, когда она собралась к мужу в Петербург. Вероятно, первое время она одна снимала какой-то угол, пока Кирилл жил в «холостяцкой». Всю жизнь бабушка бережно хранила тарелочку с изображением синей сливы, потемневшую, всю в мелких трещинках, на которой ее муж, мой будущий дед, первый раз принес ей обед из петербургского трактира. Вскоре Анна Васильевна поступила нянькой в семью одного врача немецкого происхождения, жившего в доме на Васильевском острове. Квартира была большая, штат прислуги состоял из четырех человек. Анна прошла медицинский осмотр, ей сделали надлежащие прививки, прежде чем она была допущена к годовалой хорошенькой девочке.

Обязанности у няни были необременительны: находиться постоянно при ре-

бенке, кормить, гулять, купать, выносить девочку к матери и укладывать ее спать. Обращались с Анной вежливо, пища ей шла с господского стола. По воскресеньям вся семья отправлялась обедать в ресторан, принадлежавший отцу хозяйки. Там Анна чинно сидела с девочкой на коленях и незаметно для всех наблюдала столичную публику, ее наряды и нравы. А нравы в Питере были прелюбопытные! Анне Васильевне, к примеру, казалось очень забавным, когда по ночам ее хозяин в халате, в очках и со свечой выходил охотиться на тараканов. Однако немало дельных и полезных вещей узнала она, живя в семье врача. Именно этот период времени бабушка считала лучшим в своей непростой жизни.

Тем временем кончился для Кирилла испытательный срок, начальство официально признало, что он достоин стать рядовым почтальоном в городе Санкт-Петербурге. Ему и его семье отвели комнату в казенной квартире с отоплением, освещением и ежегодным ремонтом за казенный счет. Жалованье почтальона в 30 рублей считалось хорошим даже для Питера. Распрощавшись со своими бывшими хозяевами, Анна переехала к мужу. Первым делом купили ей хорошее пальто и высокие ботинки на пуговках. Непривычным было для нее городское платье и белье. Да и удобствам городской жизни она перестала удивляться не сразу: каждое утро на кухню являлся дворник с большой вязанкой дров, после приходила чухонка и наливала молоком и сливками кувшины и кувшинчики, только не забудь их выставить, а из булочной приносили горячий хлеб и булки. А какие фрукты, конфеты и шоколад продавались в лавке прямо в их доме! Дом был огромный, занимавший целый квартал между Старо-Невским, 2-ой Рождественской и Дегтярной! А какие сыры и колбасы были здесь же, в молочной у Грубера! Анна договорилась стирать, подкрахмаливать и гладить для них белые халаты, за что ей задешево отдавали колбасные обрезки и «бой» яиц. Однако яичнице с колбасой Кирюша предпочитал гречневую кашу и постные щи со снетками. А уж во время поста в Питере рыбы было, какой только хочешь: и лещи, и судаки, и сиги, и треска, про которую поговаривали, что продается она без голов, потому что головы-то у нее не рыбьи, а человечьи. Однако самым любимым лакомством для Анны была свежая корюшка, по приходу которой на нерест Питер узнавал о начале весны.

Соседки по квартире, такие же почтальонские жены, приняли Анну в свою бабью компанию, научили пить кофе — напиток совершенно неизвестный в Весьегонском уезде. Ее брали с собой к Скоропослушнице, на Щукинский рынок, в Гостиный двор. Вспомнив буквы алфавита, Анна сама научилась разбирать вывески, а потом уже, с помощью Кирюши, читать заголовки в иллюстрированных журналах, когда он приходил на обед, еще не опорожнив свою тяжелую сумку. По редким большим праздникам молодые ходили в гости к родственникам и к преуспевшим землякам, в числе которых были троюродный брат Кирилла, владелец трактира для извозчиков «Щи, Каша, Горох», и Яков Тимофеевич, сосед из Титовского, рабо-

тавший мастером на Путиловском заводе. Менее преуспевшие земляки, «фабричные», в этот круг общения не входили, но приезжавшая в Питер молодая родня нередко находила поддержку у дяденьки Кирилла и тетки Анны. Постепенно Соколовы превращались в горожан. Они обзавелись кое-какой мебелью, купили швейную машинку фирмы «Зингер» — предмет нового увлечения и особой гордости Анны Васильевны. Еще она ходила зимою на курсы медицинских сестер и акушерок, организованные почтовым ведомством для жен почтальонов, и могла теперь давать медицинские советы соседкам.

На втором году совместной жизни у супругов Соколовых родился первенец, которого назвали Петром. Анна Васильевна по-женски расцвела, заметно поправилась. В доме и в близлежащих лавках ее уже звали мадам Соколовой. Кирилл был ласковым, заботливым отцом и мужем. Правда, изредка возвращался домой навеселе в выходные дни после встречи с товарищами-почтальонами. Однако к работе он относился ответственно, и был у начальства на хорошем счету. Носил Кирилл письма и бандероли в одну квартиру на шестой этаж, на 10-й Рождественской, молодому человеку, вроде как студенту. Раз пришел с письмом, позвонил — открыли, а там засада, полиция. Все разбросано, перевернуто, на студенте лица нет. Кирилла отпустили, а в 24-м почтовом отделении популярно объяснили, что этот молодой человек — социалист, против царя, значит.

В Питере становилось неспокойно, шли разговоры о забастовках на заводах, но Кирилл был далек от этих бунтарских настроений. Да и к тому же в семье случилось большое горе: умер, заболев оспой, их четырехлетний веселый и добрый Петенька. Глядя на мертвое лицо мальчика, Анна вдруг вспомнила свой старый сон. Несколько месяцев спустя после замужества ей снилось, что налетели черные птицы и исклевали лица ее детей. Что это за птицы? Откуда они? А брат Сергей рассказывал, что ее бывший жених снова, уже во второй раз, овдовел, а его мать-ведьма жива еще и своих козней не оставила. Может быть, именно тогда у Анны появилось желание научиться противодействовать тайной силе, отвечать ударом на удар. Мне неизвестно, когда, от кого и в каком объеме эти знания были ей получены, но, несомненно, она о чем-то «ведала», что крайне редко проглядывало в суровой властности ее взгляда.

Рождение сына Александра в том же 1896 году, через несколько месяцев после смерти Пети, не сгладило горя родителей, но переключило их на новые заботы. Было решено копить деньги на свой собственный дом в деревне Григорково.

В 1898 году у супругов Соколовых родился еще один сын, названный Михаилом, а в 1900 году — дочь Александра. Но на семью обрушился новый страшный удар, эпидемия дифтерии, которая унесла жизнь двухлетнего Миши. То утро Анна Васильевна вспоминала как самое страшное в ее жизни. Кирилл, выполняя как солдат свой долг, ушел разносить письма, открытки, газеты, неустанно переходя от одной квартиры к другой, преодолевая крутые петер-

бургские лестницы. Анна осталась одна с детьми. Надрываясь, плакала грудная Сашенька, на столе лежал мертвый Миша и задыхался, синея, Шура. Всеми силами души молилась Божьей Матери Анна и вспомнила, как когда-то ее бывший хозяин-врач говорил об интубации. Она взяла куриное перо, смочила его глицерином с несколькими каплями йода и, зажав голову сына между колен, прорвала пером у него в дыхательном горлышке дифтеритную пленку, накрутила ее на перо и потом сожгла. Так она спасла своего Шуру. Дочь Сашенька, к счастью, не заболела дифтерией, но через год ей суждено было умереть от скарлатины. Как ни велико было горе Анны и Кирилла, но нужно было возвращаться к жизни.

В 1902 году для строительства дома в деревне деньги были накоплены. Анна Васильевна поехала в Григорково и нашла подрядчика, который за сто рублей взялся поставить на месте старой избы новый типовой домик на три окошка по фасаду, с крыльцом, сенями, горницей и с небольшим скотным двором под той же крышей. Конец избе Поздиралы! Вместо нее для Сергея Ефремовича (Екатерина Семеновна к тому времени уже умерла) срубили рядом с домом небольшую избушку на два окошка. Подрядчик не обманул Анну: бревна на дом он поставил смолистые, боровой сосны, половицы наслал широкие, крышу покрыл ровной еловой дранкой, снаружи и дом и крыльцо обил выструганными дощечками, а окна украсил кружевными наличниками. Прекрасная получилась то ли дачка, то ли крестьянская изба. В огороде были посажены малина, крыжовник, слива и пара яблонь.

Летом 1903 года Анна Васильевна, тридцатилетняя жена почтальона Кирилла Сергеевича Соколова, вынашивала своего пятого ребенка. Утром 8 июля, собираясь в лавку, она открыла дверь из своей квартиры на лестницу, да так и обмерла: за стеклом полуоткрытого окна, на высоте их четвертого этажа, на узком карнизе стоял ее Шурка. Сдержав крик, она отступила назад, и тут же у нее начались родовые схватки. Соседки послали за акушеркой, которая незамедлительно явилась, поскрипывая своим медицинским чемоданчиком. Шура рассказывал потом во дворе, что именно в этом чемоданчике ему принесли сестренку: он сам слышал, как она там пищала. Девочка родилась недоношенная, слабенькая. Не надеясь, что она выживет, ее поспешили окрестить, назвав в честь равноапостольной княгини Ольги, чью память отмечала тогда православная церковь. Но с нее, с моей мамы, и началось возрождение семьи Соколовых: и она сама, и ее два младших брата и сестра — все выросли, стали взрослыми и в свою очередь вырастили детей и внуков.

Русско-японская война не оставила большого следа в памяти Анны. Кровавое воскресенье прошло рядом, отозвавшись грозным эхом. Не будучи сама свидетельницей этих событий, бабушка Анна рассказывала мне с чьих-то слов, что вот-де фабричные наелись в воскресенье пирогов и пошли орать: «Хлеба! Хлеба!» Когда объявили всеобщую забастовку почты и телеграфа, 24-е почтовое отделение, где работал Кирилл,

было закрыто. Почтальоны болтались без дела, собирались кучками, толковали о каких-то требованиях. Всем заправляли агитаторы. Они составляли списки забастовщиков и выдавали деньги — по три рубля в день на человека. И вот среди этих агитаторов оказался младший брат Анны Васильевны — Михаил. Несколько лет назад он приехал из Сукова в Питер, и Кирилл пытался пристроить его в почтальоны. Но Михаил не выдержал испытательный срок, получил отказ и куда-то исчез, выбрав впоследствии «карьеру» агитатора. Кириллу было интересно послушать, о чем там вещают, но Анна его не пускала. Она опасалась, что начальство всех любопытных «возьмет на заметку». Она заставила мужа лечь в постель и даже тряпку положила ему на голову в виде компресса. Вдруг к ним в комнату ворвался разъяренный Михаил. Он кричал, что не даст своему шурину отлеживаться, когда решаются судьбы демократии, грозил облить его кислотой. Насилу Анна вытолкала своего брата: «Иди-иди! Не видишь: заболел мой муж. И не надо нам твоих трех рублей!» Лет через пятьдесят после этих событий я спрашивал бабушку Аню, откуда же брались эти деньги, кто раздавал такие щедрые пособия забастовщикам 1905 года и зачем. По словам бабушки, эти деньги давала сама царица-мать! Мария Феодоровна, дескать, устраивала забастовки, чтобы показать царствующей императрице Алисе, что ее советы мужу, царю-батюшке Николаю, к добру не ведут! Еще много чего любопытного рассказывала мне бабушка о вражде этих царственных особ и о прочих тайнах двора, но я, к сожалению, все позабыл. Помню, шла речь о покушениях на Николая II, о ванне, наполненной кислотой, которая должна была растворить его без остатка, о чудесном спасении с помощью верного адъютанта или столь же верной собаки.

Лето 1906 года, проведенное в Григоркове, запомнилось Анне Васильевне одним мистическим событием или явлением: над деревней пролетел ангел. Это случилось в июне, незадолго до рождения ее сына Павлика. Она сидела на скамеечке перед своим домом и вдруг увидела в небе белые развевающиеся одежды и промелькнувшее золото кудрей. Ангел, подумала Анна Васильевна, должно быть, спешил на освящение храма в новоустроенном женском монастыре, что «На камне». Там, в еловом лесу, над ручейком, на огромном гранитном валуне остался вдавленный женский следок, не иначе как самой Богородицы. Туда-то по дороге мимо Григоркова, от самого Весьегонска, сменяя друг друга, крестьяне окрестных деревень, с помощью длинных веревок, тянули большой колокол. После освящения звон этого колокола разносился вокруг на 12 верст и особенно хорошо был слышен по утрам, когда на некошеных лугах еще лежала роса.

Следующего ребенка, дочку Нюрочку, Анна Васильевна рожала в Питере, кажется, даже в родильном доме. Но обязательно на лето со всеми своими детьми она приезжала в Григорково. В деревне Анна Васильевна любила печь пироги и ватрушки. Лучший кусок пирога был предназначен свекру, деду Сергею. Весь седой, худой и высокий,

он появлялся на пороге: «Слава те Господи, Нюша приехала!»

В деревне Анна Васильевна почти ни с кем не дружила, пожалуй, только с соседом Семеном, умным работящим мужиком, обремененным большим семейством. Вечно озабоченный, как накормить всех детей, он шутил: «А что, Анна, дать им брус мыла да посыпать его сахаром, ведь съедят!» Никто, правда, в деревне не голодал, а вот чай и сахар были для многих роскошью. Зная это, Анна Васильевна, завидев на улице знакомую бабушку-бобылку, всегда приветливо приглашала ее зайти. И та заходила, чтобы выпить «цашецку цайку — сердецко обзец».

Лето кончалось — семья снова возвращалась в Питер. Вместе с детьми росло и ее благосостояние. Почтовое начальство, зная благонадежность, честность и аккуратность Кирилла Соколова, поручило ему вместо писем и газет разносить денежные переводы, в связи с этим повысило его оклад до пятидесяти рублей. Новая работа считалась доходной и в то же время опасной. На «денежного» почтальона нередко нападали, поэтому Кирилл набивал свою сумку какими-нибудь бумажками и говорил товарищам, что он носит разные извещения и телеграммы. Но была и другая опасность: многие получатели денег на радостях подносили почтальону рюмочку вместо почти узаконенных двугривенных или полтинников. Кирилл, имея наследственное предрасположение к спиртному, от рюмочки не отказывался. Частенько он возвращался навеселе. Детям приносил игрушки и детские книжки: про какую-то обезьяну с розовым букетом, про то, как «Бобик Жучку взял под ручку и пошли они плясать, а Барбосик, старый песик, стал на скрипочке играть» (забавно, что этот немудреный стишок остался в памяти не только моей бабушки Ани, но и Анны Андреевны Ахматовой).

И вот однажды накануне Пасхи Кирилл явился домой без сумки и с разбитым лицом. Он лег ничком на кровать и беззвучно зарыдал. Бабушка стала отпаивать его крепким чаем, старалась успокоить. Она не ругала и не упрекала своего Кирюшу. Он рассказал, что в конце тяжелого предпасхального рабочего дня принес деньги знакомому отставному генералу, и тот налил старому солдату целый стакан крепчайшего ямайского рому. Это и сгубило испостившегося усталого почтальона. Сначала отказали ноги, потом сознание. Как он добрался до дому — одному Богу известно. Днем зашли товарищи и сказали, что его пустую сумку принесли в отделение. К счастью, генерал был последним в ряду адресатов, и денег потеряно не было. Кирилл не хотел вставать, считая себя навек опозоренным. С большим трудом и уговорами Анна подняла его все же на ноги, дала умыться, вычистила его форменную одежду и чуть ли не за руку повела к почтовому начальству. Там Кирилл произнес сочиненную Анной покаянную речь: «Ваше превосходительство! Была большая буря, мой корабль налетел на скалы...» Начальство оказалось в высшей степени снисходительным. Кирилла Соколова не уволили, не выкинули из казенной квартиры (это было бы катастрофой), его перевели на прежнюю должность и отправили в отпуск, впер-

А. В. и К. С. Соколовы с детьми, 1910

вые за все время работы. Первый раз Кирилл вместе со всей семьей приехал в родную деревню и после долгой разлуки встретился с отцом и братом. После отпуска семья снова вернулась в Петербург. Шура оканчивал городское училище, и надо было позаботиться о его будущем. Знакомые советовали определить его в пожарные, полагая, что при своей смелости и находчивости он может стать лихим брандмейстером. Однако для вступления в пожарную команду нужно было сделать большой денежный взнос. Еще больший взнос требовался для вступления в артель, ведавшую перевозкой грузов и обслуживанием пассажиров на вокзалах. Да и не о такой карьере для своего старшего сына мечтали Кирилл и Анна. Ему, высоконькому и стройному, очень пошел бы офицерский мундир… Кирилл с одобрения Анны начал поиски своего бывшего ротного командира Воротникова и выяснил, что теперь он командует 88-м Петровским пехотным полком. Но вспомнит ли он своего старого солдата, отличного стрелка и участника межполковых соревнований по стрельбе? Письмо господину полковнику было послано, был получен ответ в лучших традициях доброго старого времени: «Кирилла Соколов! За Богом молитва, за царем служба не пропадают. Присылай своего сына в полк». Петровский полк квартировал тогда неподалеку от Питера, в Грузино, в старых Аракчеевских казармах.

Перед отъездом в полк Шуре купили хромовые сапожки и сшили прекрасный костюм, похожий на офицерский мундир. В Грузино спрашивали, не из дворян ли он? И Шурка, которому было тогда неполных семнадцать лет, таинственно намекал, что в его жилах течет голубая кровь. Как потом вспоминала его жена Елизавета Ивановна, в то время курсистка, дочь местного спичечного фабриканта, был он тогда всего лишь хорошеньким юным мальчиком, мечтавшим об офицерских погонах. Но с офицерскими погонами ему пришлось подождать, поскольку экзамен он провалил. Шура остался в полку на положении вольноопределяющегося.

Наступила весна 1914 года. Снова Анна с детьми поехала к себе в деревню, снова зацвела сирень перед окошками их домика, снова на лесных полянах появились душистые белые цветы ночной фиалки. Кажется, никогда еще в лугах не было так много цветов. А в самую

жаркую пору сенокоса ударил гром — война с германцем! Объявили мобилизацию, по дороге к Весьегонску потянулись подводы с новобранцами. В Григоркове варили пиво, на проводах обнимались и пели. В памяти осталось: «Прощайте елочки да сосенки, весь титовский приход! Прощайте девоньки холосеньки: везут на пароход!»

В Питере война проявлялась в каком-то общем возбуждении, в ожидании победы и перемен. Приехал попрощаться Шура. Он решил, что теперь незачем готовиться к экзаменам в кадетский корпус, если офицером легче и быстрее можно стать на фронте. Только бы война не кончилась слишком быстро! Родители благословили его, мать надела ему на шею освященный крестик. Он уехал и как в воду канул: ни письма, ни весточки. Лишь в конце января им сообщили, что Александр Соколов ранен и лежит в госпитале, здесь же, в Петербурге. Ранен он был нетяжело. Довольно скоро его выписали домой на поправку. Его привезли вместе с костылями и шинелью, на которой красовались офицерские погоны прапорщика. Соседи и товарищи со всего двора валом повалили к Соколовым повидаться с героем. Гордая за сына, Анна оберегала его покой. Видно, немало горького хватил он на войне: Александр часто кричал во сне, был нервным, раздражительным, иногда просил водки. Выпив вместе с отцом, он начинал сумбурно рассказывать, как был убит его товарищ, пытался петь: «А прапорщик юный со взводом пехоты пытается знамя полка отстоять. Отбился от всей он своей полуроты, но нет, он не будет назад отступать!» Успокоительно действовали на него стихи, которые читал ему школьный товарищ, на войну не попавший и работавший где-то в конторе. Анна сидела с ними и слушала. Много прекрасных стихов запомнила она и могла потом читать их наизусть, но вот модного тогда Бальмонта не оценила.

Александр уехал весной, когда Анна с детьми уже собиралась в деревню. Утешая ее, Кирилл говорил, что Шура едет не на фронт, а на переформирование, и что там, глядишь, и война кончится. Но война не кончалась. В конце лета Кирилл написал Анне в Григорково, что в городе все дорожает и чтобы они пока не приезжали. Анна и подумать не могла, что останется в деревне навсегда. Не теряя времени, она начала готовиться к зиме и к деревенскому житью: заготовляла сено, дрова, купила несколько мер картошки, посеяла озимую рожь. Переселение в деревню неожиданно открыло перед ее дочкой Олей, окончившей начальную школу, возможность продолжить обучение. В Весьегонске была хорошая земская гимназия, куда брали девочек всех сословий для подготовки сельских учительниц, однако учение было платным. Анна узнала о льготах для семей фронтовиков и попросила Александра прислать справку, что сестра Ольга находится на его иждивении. Как раз перед этим Александр написал, что он снова в госпитале, что награжден Георгиевским крестом и произведен в поручики. Справка была получена, Анна отвезла Олю в Весьегонск, записала в подготовительный класс и устроила на квартиру.

На Покров умер дед Сергей. После него остались избушка, две овцы и конь Серко, который, кажется, больше всех горевал по своему хозяину. Постепенно налаживались отношения Анны с деревенскими жителями, которые поначалу относились к питерке с недоверием и иронией. Весною ей выделили гряду в коллективном капустнике. В сенокос она уже вместе со всеми косила на большом лугу. Бабы ночевали в сенном сарае одни, смеху и шуткам не было конца. С ними Анна ненадолго забывала о своих хозяйственных заботах, но тревога о Шуре никогда не оставляла ее.

С недоумением и недоверием встретили крестьяне весть об отречении Николая. Анна Васильевна усматривала в этом какую-то интригу, какой-то хитрый ход. В октябре 1917 года в Григоркове совсем нежданно объявился Шура, ныне штабс-капитан Александр Кириллович Соколов, возмужавший, огрубевший и беспокойно-напряженный. Он приехал вместе со своим ординарцем-хохлом Нечипоренко, и при них было много всякого оружия, включая австрийский ручной пулемет. Отмывшись в баньке и выспавшись под материнским кровом, Александр решил пройтись по улице. «Ты погоны-то сбрось, ваше благородие! А то мы поможем!» — приветствовали его бывшие товарищи — недавние окопники. «А ну, суньтесь! — выхватил он гранату-лимонку.— Я за погоны кровью заплатил, не вам их снимать!» Между тем Нечипоренко принялся обхаживать местных девушек и уговорил-таки одну из них уехать вместе с ним на Украину. Вскоре вслед за ординарцем уехал и Александр. Он исчез незаметно, оставив матери на сохранение свой Георгиевский крест и погоны. Анна хранила их тридцать лет, а пулемет и прочее оружие утопила в болоте.

Три года от Александра Кирилловича не было никаких вестей, мать уже не чаяла увидеть его живым, как вдруг он приехал, да еще с молодой женой и целым ящиком спичек. То-то было радости! Тем более что в деревне спички, так же как соль, мыло и керосин, были большим дефицитом. Оказалось, что Александр служит теперь в Красной армии, обучает солдат в том же самом Грузине, где когда-то начинал свою военную карьеру. Воспользовавшись приездом дорогих гостей, Анна, как мать красного командира, испросила и получила дополнительный пай земли: на Александра и на его жену-белоручку. Вообще же после знаменитого декрета «Земля — крестьянам» всю землю в деревне делили еще по старинному обычаю — полосами, отдельно в каждом поле, но теперь в расчет брали не только мужиков, но и баб. Революция уравняла в правах женщин с мужчинами, что Анна Васильевна считала огромным достижением и заслугой советской власти. Второй заслугой, по мнению Анны, было освобождение земли от помещиков-паразитов, а также уничтожение классовых различий. Третья величайшая заслуга — это широкий доступ крестьян и рабочих к образованию и науке.

Новая власть в лице комбедов (комитет бедноты) все больше вмешивалась в сельскохозяйственное производство, в изъятие и распределение продуктов труда. Бытовала в то время частушка: «Хорошо тому живется, кто записан в

бедноту! Хлеб на печку подается, как ленивому коту».

Усиливалось давление на религию и церковь. Молодой настоятель титовского храма снял свою рясу, остригся, да и уехал. Священник-старик, занявший это место, стал предметом насмешек, впрочем, довольно беззлобных: «Как-то в праздник поп ходил да святой водой кропил. И за этот водосвят с мужиков он брал оклад. А оклад был не велик: лишь овса-то четверик. Только поп-то наш Иван: он напился сильно пьян. И весь собранный овес злоумышленник унес». Это вклад Анны Васильевны Соколовой в деревенскую самодеятельность. Но подобный традиционный крестьянский юмор превратился в глумление и кощунство, когда явилось и взялось за дело «Общество воинствующих безбожников». Скрепя сердце Анна сожгла в печке свои старые намоленные иконы, чтобы ее шустрый сынок Павлушка не утащил их безбожникам на поругание. Кирилл Сергеевич был потрясен, когда узнал об этом из письма.

Монастырь «На камне» закрыли, колокол сбросили, монашек разогнали и устроили коммуну — все общее! Она вскоре распалась, когда один коммунар убил другого за свое испачканное пальто. Позже в монастырских стенах была машинно-тракторная станция, а теперь там одни развалины.

Соколовы окрестьянились: они пахали, сеяли, косили, теребили лен, жали и молотили, дружно, в четыре цепа, выстукивая ритм на подмерзшем току. Благодаря строгости, настойчивости и хозяйственной хватке Анны Васильевны все у них ладилось, все делалось вовремя. Не было случая, чтобы у них сено подмокло или рассада на грядах засохла. Если было нужно, поднимались рано, ни свет ни заря, и работали до темноты. Одного лишь правила Анна всегда придерживалась неукоснительно — давать своим работничкам двухчасовой отдых в обед. Требовали ухода и корма породистая корова, лошадь, гуси. Заботами Анны были построены сарай и рига для сушки снопов, приобретен самогонный аппарат — вещь нужная в условиях тогдашнего запрета на алкоголь.

За все эти годы Анна побывала в Питере только один раз, когда, бросив хозяйство на Ольгу и Павла, приезжала ухаживать за тяжело болевшим Кирюшей. Чужими и непривлекательными показались ей их опустевшая запущенная квартира и обезлюдевший город. Она уезжала в деревню без сожаления, а Кирилл, как солдат на посту, остался на своей работе, хоть порой он ничего не получал за нее, кроме скудного пайка. Зато к пятилетию Октябрьской революции Кирилл Сергеевич Соколов был награжден медалью «Герой Труда» и получил отпуск. Часть пути до родной деревни ему пришлось пройти пешком, с мешком за плечами, в котором он нес себе домой иконы из чьей-то пустовавшей брошенной квартиры.

Дети взрослели. Павел поступил в весьегонскую трудовую школу второй ступени (бывшую гимназию). Он еще в деревне сам собрал детекторный приемник, повесил антенну на самую высокую березу и решил для себя, что будет инженером или физиком. Ольга окончила гимназию первой ученицей, получила из комитета справку о своей

политической благонадежности и собиралась в Питере поступить в какой-нибудь институт. Анна сшила дочери жакеточку из домотканой холстины и переделала для нее свою единственную шерстяную юбку. Нагрузив Олю корзиной с бельем и припасами, она отвезла дочь на пароход.

Потом и младшая сестра Нюра также окончила школу, поступила на учительские курсы, уехала учительствовать и вскоре вышла замуж. Анна Васильевна осталась со своим последним сыном — Леней. Он ее не утешал. Наследственность ли подвела, сама ли она не досмотрела: нельзя было мальчишке поручать самогонный аппарат! Так или иначе, Алексей учиться не захотел. Пускай, решила Анна, остается в деревне и крестьянствует. Все для этого есть. Но не пришлось — призвали Алексея Соколова в армию.

Наступил, по определению Сталина, год Великого перелома. Судили-рядили начальники в Весьегонске и в Иван-Погосте, кого бы им раскулачить в деревне Григоркове, кого выслать. Как назло кулаков там не было — одни середняки. Решили Плешановых. Заголосили бабы, засуетились мужики, как стали их вытряхивать из избы. «Что нам брать? Что брать?» — растерянно вопрошала старуха-хозяйка. Был ответ: «Берите все». И потащили родимые, вчерашние свободные пахари и сеятели, свои горшки, ухваты, кадки, скамейки на приготовленные телеги. Все это, конечно, было брошено в Весьегонске, когда «кулаков» посадили в вагоны и повезли в Казахстан.

Была провозглашена ускоренная и сплошная коллективизация. Начальники, партийные работники, всяческие уполномоченные и просто местные активисты — все они на собраниях убеждали и принуждали крестьян обобществлять инвентарь и скот, объединяться в колхозы. К Анне забежала племянница из Сукова: «Милая крестненька, радость-то какая! Всю-то у нас скотину со двора увели! Замучилась я совсем воду таскать да сено носить!» «Дура ты, Дунька! Вспомнишь еще не раз свою коровушку!» — только и сказала тетка Анна. Сама Анна Васильевна числилась женой служащего и имела право в колхоз не вступать, но на это не посмотрели. Бригадир Андрей Григорьев каждое утро приходил стучать в окна, матюгался и орал: «Ты когда, питерская сука, в колхоз взойдешь!?» Анна сидела тихо, на люди не показывалась. Она ждала известия от Александра Кирилловича, которому уже описала свое положение. Наконец Александр сообщил, что его в отношении матери твердо обнадежили. Выждав еще немного, чтобы сигнал из центра заведомо дошел до весьегонских палестин, Анна вдруг явилась на собрание, вышла перед односельчанами и поклонилась им в пояс. Она сказала, что уже стара, работать ей не под силу и что она все отдает в колхоз. Ее больше не принуждали и даже оставили ей корову. Еще в колхоз у нее не взяли выездной тарантас, должно быть за ненадобностью. Он долго стоял в сенном сарае, и мы, дети, играя, любили в него залезать.

Кирилл Сергеевич Соколов, уже перешагнув пенсионный возраст, распрощался, наконец, со своим почтовым отделением, с Песками, со всеми Рож-

дественскими (т. е. Советскими) улицами, со всем великим городом и уехал в деревню на покой. Как и всем тогда, пенсию ему назначили копеечную, едва хватило бы на пару бутылочек с белой головкой. Но при корове и огороде да с переводами от детей, хоть и редкими, они с бабушкой могли прожить безбедно. Дед Кирилл летом заготовлял дровишки, косил сено, ходил по грибы. Болея «куриной слепотой», он всегда должен был быть дома засветло. Зимой они читали: дедушка — Библию, Жития Святых, бабушка — все больше романы: «Графа Монте-Кристо», «Камо грядеши», «Княжну Тараканову», а также «Повести Белкина» и Лескова. Из глубин памяти всплывает сцена: в избе сумерки, в окне красный закат. Дедушка и бабушка ужинают: хлебают что-то деревянными ложками из одной миски. «Аннушка, я посолю со своего краю?» Бабушка не возражает. В небе за избами и огородами красные полосы заката. Надежды стариков на возвращение Алексея не оправдались. Он, окончив в армии курсы шоферов, остался в городе возить районного начальника. Вместе с этим начальником его и забрали в 1937 году. Алексей Кириллович Соколов погиб в лагерях, о чем бабушка узнала лишь много позже, только в конце пятидесятых. Немало за эти годы наслушалась она всяких небылиц от гадалок и ворожей, то терзаясь сомнениями, то ободряясь надеждой.

Почти каждое лето меня с сестрой Леной привозили к бабушке и дедушке в Григорково. Мы рвали цветы, играли с деревенскими ребятами, ходили с ними купаться на речку, собирали чернику и землянику. Бабушка стремилась ограничить наше общение воспитанными в строгости внуками и внучками деда Семена, наверное, затем, чтобы я, не дай бог, не набрался неприличных слов и выражений. К розгам она прибегала очень редко. Иногда бабушка брала нас с собой в лес. Почему-то запомнилось, как однажды, серым облачным днем на исходе лета, мы пошли с бабушкой наломать веников. «Какой холодный ветер! — сказала она.— А ведь он с юго-запада, значит, от Италии». Я был поражен тем, что Италия, которую я знал на глобусе, была реально за этими березками и склонами, пусть даже очень далеко. Очевидно, у бабушки Анны было свойственное всем путешественникам чувство Земли, хоть путешествовать ей и не пришлось. Ездить и путешествовать выпало на долю ее детям и внукам.

Когда к нам в деревню приезжали родители, да еще проездом с Кавказа заглядывал дядя Павел, наступали настоящие праздники. Дядя Паля занимался альпинизмом и со своими товарищами-физиками совершал восхождения, о чем интересно, увлеченно рассказывал. Однако, сознаюсь, меня больше интересовало сгущенное молоко, которое он тогда привозил. Не могло быть ничего вкуснее его и слаще, пожалуй, оно было слаще деревенского меда. Кстати, о меде и о пчелах. Почему-то только с пчелами у бабушки Ани ничего не получалось, хотя всякое другое дело у нее спорилось. Возможно, пчел отпугивали ее «тайные знания», которые однажды были продемонстрированы всей деревне. Соколовых обокрали, когда зимой Анна Васильевна ездила в

Ленинград, а Кирилл Сергеевич в ее отсутствие ходил по гостям. Вернувшись, хозяйка обнаружила, что в горнице нет нового тулупа, а под футляром уже не стоит ее любимая швейная зингеровская машинка. Страшно разгневанная, Анна заявила во всеуслышанье, что у вора рука отсохнет. И что же? Вскоре у их односельчанина вскочил на шее чирей, а при его операции в Весьегонске пьяный хирург перерезал ему нерв, так что правая рука оказалась парализованной. Жена пострадавшего от его имени просила прощения у Анны, обещала вернуть стоимость украденного, но тщетно. Случай этот, не более чем простое совпадение, не прибавил всеобщей любви к Анне Васильевне, но, кажется, поддержал ее авторитет у цыган. Следуя своим вековечным маршрутом, их табор проходил мимо Григоркова, и старый цыган Василий зашел к Анне как к своей доброй знакомой. Когда-то давно Анна, опытная повитуха, помогла разродиться его жене, как помогала многим бабам в соседних деревнях.

Надо сказать, что дед Кирилл не одобрял всяких гаданий, ворожбы и знахарства. Он отказался лечиться сомнительными средствами, когда стал всерьез недомогать. Содержать корову стало тяжело, пришлось заменить ее козой. Дедушке становилось все хуже. Весьегонский врач поставил диагноз: сужение пищевода, понимай, рак. А причиной была привычка пить очень горячий, почти кипящий чай, да и водочка. К осени Кирилл Сергеевич почти перестал есть и очень ослаб. Тем не менее он нашел в себе силы, чтобы сходить на кладбище и выбрать для себя место. 23 сентября 1940 года Кирилл Сергеевич Соколов тихо скончался. Похоронен он был на некотором удалении от алтаря титовской церкви, в которой был крещен семьдесят пять лет назад. Анна Васильевна пережила своего мужа на двадцать лет.

Спустя три месяца Анна Васильевна, поручив козу и кота соседке, отправилась в Ленинград. Она ехала с тайной надеждой, что ее дочь и зять предложат ей остаться с ними навсегда. В подарок она везла полотняные гардины на окна, плетеные кружевные подзоры к кроватям, а также сухие грибы, соленые рыжики и клюкву. С нами, детьми, бабушка была тихой и ласковой. Она почти не выходила из дома, что-то шила или чинила белье. Когда мы с Леной приходили из школы, она занималась с нами, лепила из пластилина лошадок, рассказывала кое-что из священной истории. Однако холод в квартире и весь наш быт ее не очень вдохновляли. «Твой папа инженер,— говорила она мне,— а рубашки у него рваные. И на обед у вас все больше протертый суп из брюквы. Да разве инженеры в царское-то время так жили?!» Я узнал, что инженеры при царе жили хорошо, да и вся жизнь тогда была хорошей, было много разных игрушек и всевозможных колбас. В общем, мне дореволюционное время стало казаться разноцветной сказкой с теремками и петушками, похожей на иллюстрацию к «Коньку-Горбунку».

Бабушка уехала разочарованной, а дома ее встретил кот, который страшно обрадовался возвращению хозяйки. Он терся об ее ноги, мурлыкал у нее на

коленях, заглядывал в глаза и тут же получил целую плошку козьего молока, а также заверения в том, что им вдвоем больше никто не нужен, разве что коза Марта. Огород бабушке тоже показался почти ненужным: ей одной, то есть вдвоем с котом, довольно пары гряд да десятка кустов картошки. Это была роковая, непоправимая ошибка, но ведь Анна Васильевна и помыслить не могла о том, какие тяжкие испытания вскоре выпадут на ее долю.

В середине июня в Григорково неожиданно приехала Анна Кирилловна со своими дочерьми: восьми, семи и полутора лет. Она сказала матери, что разошлась с мужем, который связался с другой женщиной. Анна Васильевна, к чести своей, не злорадствовала, не завела обычную в таких случаях песню, что она, мол, говорила и предупреждала, не стала расспрашивать или выражать сочувствие. Ее зять Вася и в самом деле был любимцем и любителем женщин, но эта связь была лишь инсценировкой, что стало известно только через много-много лет.

Василий Матвеевич Соловьев был первым партийным секретарем в пограничном районе Псковской области. По своему положению он знал, что война с немцами неизбежна и близка, но, ответственный за множества людей, он не мог и не имел права спасать только собственную семью. Помогла ему сплетня о романе с директрисой маслозавода. Рискуя получить партийное наказание за аморалку, он принялся демонстративно, так сказать, подливать масла в огонь и преуспел. Охваченная ревностью, его Нюра пригрозила забрать детей и уехать к матери, а он не удерживал. И вот теперь, накануне войны, семья Соловьевых была в относительной безопасности, за сотни километров от границы. Они успели вовремя: свой багаж Анна Кирилловна получала уже после начала войны.

Война все перемешала, перекрутила, привела в движение массы людей: прощались мобилизованные, покатили военные составы, хлынули беженцы, началась эвакуация. В июле мы с мамой оказались у бабушки в деревне, выскользнули из каменного мешка, каким был, по выражению ее профессора, Ленинград. Знакомый адмирал втиснул нас в эшелон, уходивший на восток, а на узловой станции мы пересели на весьегонский поезд. Вскоре после нас в Григорково, не знаю, какими уж путями и судьбами, явилась мамина подруга тетя Люся со своими детьми Ирой и Женей, а в августе на своей подводе в Григорково добрались соседи Соловьевых из Пушкинских гор. Они передохнули, дали отдохнуть коняге и продолжили свой путь на восток.

Война, захватив половину Калининской (Тверской) области, приближалась к ее северо-восточной окраине. Железная дорога была перерезана, поезда не ходили. Мы с мамой, тетей Люсей, Ирой и Женей выбирались по Рыбинскому морю на пароходике, переполненном заключенными из местного лагеря.

Проводив нас, бабушка Анна Васильевна осталась с малолетними внучками в преддверии пустопорожней осени. «Навязались вы на мою шею»,— говорила она дочери, а той оставалось только

молчать. Сказать было нечего: на мизерную зарплату учительницы в деревне уже ничего не купишь, хлеба по списку выдают всего одну буханку, помощи от Василия Матвеевича ждать не приходится: с началом войны он пропал. И запасов в доме почти не было. Семье грозил голод.

«Как выжить?» — спрашивала себя Анна Васильевна, а ее малолетние внучки, как ни в чем не бывало, играли и веселились. Бабушкин кот поначалу позволял им таскать себя, но, когда его вздумали запрячь в тележку, он взбесился, стал метаться по избе и вдруг сиганул в окно, пробив стекло. С той поры он совсем озверел: прыгнув с полки, вцепился когтями в затылок соседскому мужику, когда тот зашел к ним в дом, гремел посудой по ночам, громким мяуканьем требовал молока. Однажды бабушка застала его подбирающимся к кринке, и он не испугался, а нагло посмотрел желтыми глазищами и не спеша удалился. С тех пор сметану и творог стали прятать под гнет. Не помогло. Кот добрался, груз скинул и все сожрал. «Ах, ты разбойник!» — бабушка пыталась его схватить, но до крови оцарапал ей руку. «Ну погоди же, фашист!» — решила отомстить ему бабушка и приготовила петлю-удавку. Дня через два, действуя внезапно, она захлестнула ворюгу. «Фашист» был подвешен под полатями, и началась экзекуция. «Бабушка, не бей нашего котика»,— ревели девочки, а она стегала и стегала его розгой. «Ты злая, нехорошая! Я тебя ненавижу!» — кричала средняя внучка, но Анна уже не могла остановиться. Лишь когда кот перестал дергаться, она выбросила его вместе с веревкой за крыльцо: «Кошки живучи, отлежится». Но кот не отлежался.

Жестокость бабушки совершила переворот в детском сознании. Розги теперь были всегда на виду (как у римских ликторов), и это придавало убедительность бабушкиным приказам и распоряжениям: «Ты куда, рыжий конь, полетела? Вернись, подмети пол! Ты что там прячешься, седая мышь? Иди, нажни травы!» и т. д. В конце недели каждая внучка, кроме маленькой Леленьки, получала, что заслужила, причем в ожидании праведного суда девочки должны были стоять со своими штанишками в руках. Тем не менее приходится признать, что дисциплина, установленная таким образом, содействовала выполнению совершенно неотложной хозяйственной задачи — заготовке на зиму веников для козы и козленка.

Анна Кирилловна по хозяйству успевала мало. После уроков в школе она обычно спешила на партсобрания или же выполняла партийные поручения: агитировала, уговаривала, разъясняла и информировала о положении на фронте. А вести с фронтов приходили нерадостные: был сдан Киев и блокирован Ленинград. Анна Васильевна тяжело переживала за судьбу родного города. К тому же в Ленинграде оставались жена и сын Александра Кирилловича. Сам полковник Соколов, строивший укрепления на границе и вдруг захваченный ураганом войны, нескоро смог написать матери, предоставив ей горевать и молиться за себя. Анна не могла вообразить немецких оккупантов на проспектах и набережных ее Питера.

«Это невозможно! Невозможно!» — стучало у нее в висках. И вот однажды Анна Васильевна пошла по деревенской улице, возглашая, что Ленинград немцам не взять. Ей было видение: на облаке стоит Петр Великий с саблей в руке, на него ползут и ползут огромные крысы, а он их рубит и рубит! Этот сон с небольшими вариациями она рассказывала всем, кто заходил к ним домой, и прибавляла: «Нет, не взять немцам Питер, царь Петр не даст: он его строил, он его защитит!»

Наступила холодная и голодная зима. Долгими темными вечерами, дожидаясь Анну Кирилловну, бабушка рассказывала девочкам про Робинзона Крузо, пела песни им про мальчика-сиротку, про курочку-сестричку и братца-петушка и т. д. Однажды тетя Нюра очень задерживалась, было тревожно. Вдруг бабушка вскочила на ноги: «Молитесь за маму! Все молитесь!» Девочки, все три, бросились на колени перед иконами и заревели. Долго они молились, а когда Анна Кирилловна пришла, то рассказала, что за ней почти от самой Кесьмы шли волки, а впереди по дорожке катился какой-то светящийся шарик. Катился, катился и у самой деревни рассыпался.

В ту зиму волки, как в давние времена, стали появляться у Григоркова. Каждую ночь старшей внучке мерещилось, что серые подходят все ближе, ближе, вот уже грызут угол их домика, и у нее начиналась истерика. Несомненно, что среди главных причин психоза было постоянное недоедание. От него страдала вся семья: у маленькой Лели задерживалось развитие, обозначились признаки рахита, всех донимали чирьи, бабушка Анна похудела, сгорбилась и стала седеть. Тем не менее она предельно скупо расходовала продовольствие. Она не поддавалась на уговоры дочери сварить детям каши, когда из колхоза выделяли несколько килограммов ячменя или ржи. С картофельных клубней, сколько бы их ни удавалось выменять, непременно срезались и сберегались верхушки. Редким, нечаянным лакомством бывал «колоб» — твердый, спрессованный, как древесно-стружечная плита, остаток после отжима масла из льняных семян. Иногда, как последний резерв, бабушка брала ложечку соли и обменивала ее на куриное яичко.

Едва сошел снег, дети набросились на зеленые лакомства: березовые почки, хвощ, щавель, молодые еловые шишки и мягкие сосновые «свечки». Теперь каждый день на обед были крапивные щи и даже лепешки, поскольку Анне Кирилловне удалось очень удачно обменять свой велосипед на три пуда муки. Лопатами и лопатками, с невероятными усилиями, была вскопана вся усадьба. Ее засеяли рожью и ячменем, семенами разных овощей, в том числе сахарной свеклы, засадили картофельными верхушками, а также бобами и горохом. Летом внучки вместе с соседом Толькой Семеновым пасли своих коз в лесу. Уходили рано, на весь день, лакомились черникой, а в полдень где-нибудь в тени съедали лепешку, запивая молоком из бутылки, а крошки перепадали птицам и белкам. Вторая военная зима не была уже такой голодной. Главное, была своя картошка, а пареная сахарная свекла вполне заменяла конфеты для тех, кто забыл вкус настоящих сладостей. А тут

А. В. Соколова с дочерью Нюрой и внуками, 1944

еще Василий Матвеевич дал знать о себе и вместе с письмом прислал свой офицерский аттестат — документ на получение семьей его жалованья.

Известие о победе под Сталинградом радостью наполнило сердца, но не отогрело землю и не растопило снег. Стояли морозы, снова волки подходили к Григоркову, снова на старшую внучку нахлынули ночные страхи, но теперь этот ужас получил мистическую окраску. Анна Васильевна была уверена, что только обряд крещения мог спасти девочку. Церковь в Титовском еще была закрыта, но старик-священник уже вернулся из мест заключения и высылки. Бабушка с ним договорилась, позвала в восприемницы соседку Марью, и таинство крещения сразу трех отроковиц было совершено на дому, втайне от партийной Анны Кирилловны.

Десятью годами раньше, также бабушкиным попеченьем, здесь же в деревне, в церковной сторожке были окрещены я и сестренка Лена. Говорят, я очень плакал. Болтушка Лена, когда приехали родители, выдала бабушку: «Вон в том домике нам ставили крестики на ручки и ножки!» — но отец лишь поблагодарил Анну Васильевну.

В 1943 году колхозу удалось несколько увеличить запашку и отчасти восполнить ущерб, случившийся из-за отсутствия тракторов. Председателю Тихону подфартило получить из какой-то воинской части несколько раненых и покалеченных лошадей, а пахать за тяжелые плуги встали ребята-подростки. В титовской церкви при большом стечении баб и стариков начались богослужения. Молитвы за Сталина и православное воинство, как и введение в

армии погон, наводили Анну Васильевну на мысль о возможно близком восстановлении монархии в лице Сталина. В принципе она не возражала бы против такого твердого царя, но всякая власть как источник налогов и притеснений была ей по-крестьянски несимпатична. Большую неожиданную радость Анне Васильевне принесло письмо от ее любимого, не раз оплаканного Шуры. Полковник Соколов писал, что он жив, даже не ранен и бьет врага. На вложенной фотографии был уже изрядно постаревший и потасканный, но бравый еще служака, в пышных гвардейских усах и с двумя орденами Красного Знамени.

В газетах, в сообщениях с фронта теперь мелькали названия взятых нами иностранных городов, деревенские школьники искали на карте Европы Бухарест и Будапешт. Было ясно, что враг отступает, прогибается, но война все длилась и не кончалась. Наконец этот долгожданный день наступил. Председатель колхоза Тихон распорядился, чтобы в каждый дом было выдано зерно и чтобы все варили пиво. Через несколько дней пиво было готово, его слили в большие посудины, и начался праздник Победы. Все собрались у председателя. Пили пиво, пели, поминали и тех, на кого пришли похоронки, и тех, кто пропал без вести. Бабушка и тетя Нюра сидели среди почетных гостей за столом, а наши три сестренки вместе с другими ребятами наблюдали за происходящим с полатей.

Праздник прошел, оставив у всех в душе след радости и торжества. Пахота, сев, огородные работы продолжались как обычно, сменяя друг друга. Возвращались солдаты. Сестренки Соловьевы и Анна Кирилловна с нетерпением ждали своего папку и дорогого Васю, а он все не ехал. Приехал Василий Матвеевич уже в сорок шестом, в конце лета. В Григоркове он долго не задержался и вскоре забрал свою семью в райцентр, где получил какую-то должность в районной администрации.

Осталась Анна Васильевна одна-одинешенька. Мы с мамой проведали ее на зимних каникулах. Бабушка отдыхала. Даже тропинка к ее домику не была расчищена. В доме было чисто, тепло и уютно: и самовар шумел, запевая, и молоденькая черная кошечка мурлыкала и ластилась. По случаю Рождества было сварено пиво из свеклы. Мы, следуя обычаю, пекли из теста «коровок» (фигурки телят и ягнят). Всю деревню укрывал чистый снег, на ночном небе мерцали звезды, и, казалось, не хватало только пения ангелов.

Весной Анну Васильевну постигло большое горе: умер ее Шура, Александр Кириллович Соколов. Как потерянная ходила Анна Васильевна по деревне с телеграммой в руке и рассказывала старикам о своей беде: «Это мне бы надо помереть, а не ему!» Она недоумевала, почему врачи не спасли такого человека, почему ее Шуре вместо легкого, разрушенного туберкулезной каверной, не пришили новое, хоть бы от барана. «Мне бы помереть, а ему бы жить да жить»,— повторяла она. Туберкулез Александр Кириллович получил в лагере, куда попал после того, как вышел из окружения, или в штрафбате в Сталинграде. Из-за болезни ему не пришлось,

А. В. Соколова на могиле мужа, 1949

как хотелось, войти с войсками в Европу. Свой последний подвиг полковник Соколов совершил незадолго до смерти, пройдя на параде с саблей наголо во главе своих курсантов.

Анне Васильевне ничего не досталось из большой военной пенсии сына. Его пенсию получила вдова, а про свекровь она даже не вспомнила. Анна Васильевна была этим весьма обижена, но не стала требовать себе какую-то часть пенсии, понимая, что после ее смерти снохе эту долю уже не вернут. Анна Васильевна полагалась на помощь своих дочерей и последнего сына, Павла Кирилловича, и не обманулась.

На летние каникулы я опять приехал к бабушке в Григорково, да так и ездил к ней каждый год, пока у меня, уже студента, не начались производственные практики. Всякий раз с поезда я тащил тяжелый чемодан, в котором чего только не было: чай, конфеты, печенье, колбаса, копченая сельдь и т. д. Мы стремились поделиться с бабушкой тем устроенным в Ленинграде послевоенным изобилием, которое на десяток лет превратило любимый город в какой-то оазис в нашей полуголодной стране. Бабушка с достоинством принимала дары и сразу же определяла меня на работу. Моим делом из года в год стало заготовлять ей на зиму дрова, сама же Анна Васильевна занималась заготовкой сена для своей старой и теперь уже единственной козы Хлойки. Пригласив в гости лесника Никиту и хорошенько угостив его, Анна Васильевна получала разрешение косить на опушках и лесных полянках, а я спиливать и убирать сухостой. К сожалению, бабушка не научила меня косить: боялась, что я могу сломать ее единственную косу.

Обычно утром, после завтрака с неизменным яичком всмятку, я брал топор и пилу-ножовку и отправлялся в наш ближайший лес. Там надо было высмотреть засыхающую сосенку, желательно не толще пятнадцати сантиметров, спилить ее, разрезать на ровные поленья, расколоть каждое пополам и сложить их клеткой для просушки на каком-нибудь старом пне. До обеда я успевал разделать два-три дерева. Пообедав и отдохнув два часа, я снова шел в лес, теперь уже с веревкой, чтобы носить подсохшие дрова домой. Сходишь шесть раз, и дневная норма выполнена. Иногда бабушка выходила ко мне во двор посмотреть, правильно ли я складываю

поленницу и одинаковой ли длины поленья (допуск давался один сантиметр). После ужина мы сумерничали: бабушка рассказывала что-нибудь или же мы беседовали на разные темы. «Эх, Андрюша! — говаривала она.— Ученый соврет — ему и поверят, а мы с тобой хоть и правду скажем, нас и слушать не будут!» Освободившись от тяжкого груза забот о целой семье, Анна Васильевна проявила интерес ко внешней политике, к тому, как она освещалась в газете, причем у нее нередко бывали и серьезные нарекания: «Вот пишут, что на этой ассамблее выступил китаец, так и написали бы, что он сказал. Не пишут! Небось коммунистов ругал» (это про чанкайшиста). А уж вранье местных собкоров относительно высоких удоев прямо-таки выводило бабушку из себя: «Так бы и плюнула им в лживую рожу! И вовсе не работала тогда Дунька на скотном дворе!» Не меньшее возмущение у Анны Васильевны вызывали некоторые постановления и законы, особенно закон о налоге за бездетность. Бабушка находила его просто безнравственным, как бы обязывающим незамужних девок рожать. Впрочем, в послевоенные годы в деревне матерей-одиночек строго не осуждали, тем более что для молодой колхозницы родить ребенка было единственным верным способом не попасть на лесозаготовки, почти столь же тяжелые, как лагерь.

Я уходил спать в горницу, когда совсем темнело, спал крепко и видел вещие сны: про пустыни и горы, про Афганистан и про большие корабли в океане. Бабушке часто не спалось, ей все виделись какие-то рожи или идущие по дороге люди, толпы понурых мужчин и женщин, идущих куда-то без конца и края.

Проснувшись утром, я любил смотреть, как бабушка месит в квашенке тесто для хлебов, а под сводом русской печки пылает огонь.

По воскресеньям мы ходили в церковь. Бабушка, принаряженная в белую кофту и коричневую шерстяную юбку, вела меня в обход черепанской деревни, некошеным сыроватым логом, по тропинке среди ромашек, колокольчиков и горицвета. В церкви за открытыми окнами на старых березах щебетали птицы. После церкви, позавтракав и испив чаю со сладким пирогом, я мог идти на речку удить рыбешек. Бывало, по праздникам на чай приглашался старик-священник со своим дьячком. «И все-то наш поп Иван знает, везде-то он был! — говорила с усмешкой бабушка.— Спроси его: как там, батюшка, в раю? И он тебе скажет, что был и что фрукты хорошие». Но услышав от того же священника одобрительное: «Крепка твоя вера, Анна!» — бабушка гордилась и радовалась, как школьница, получившая пятерку.

Вообще, бабушке, когда она бывала в хорошем настроении, нравилось удивить собеседника каким-нибудь парадоксом, острым словцом или поразить эрудицией, не свойственной деревенской жительнице. Возможно, этим она подсознательно хотела оградить себя от засасывания вязкой деревенской средой, но все равно к ней понемногу возвращалось исконное «окание», в ее речи появлялось все больше деревен-

ских словечек и выражений. В глазах деревенских баб, всяких Волганих и Пузырих, она из горожанки Анны Соколовой все больше превращалась в свою деревенскую Соколену. Однако ей не хотелось теряться в массе, хотелось сказать, например, заезжему корреспонденту, что она пережила уже шестерых царей (если считать царями Ленина и Сталина и еще, кажется, Керенского, которого уж никак царем не назовешь). Ленин для бабушки, как и для многих, был «добрым царем», давшим крестьянам землю, а Сталин — «грозным царем», победителем немца. Дословно помню вполне искреннюю приписку в бабушкином письме от какого-то марта 1953 года: «А еще мы горюем по нашему дорогому Сталину, ну да и этот [имелся в виду Маленков.— *А. У.*] будет не хуже». Но наследники Сталина, по мнению Анны Васильевны, в целом крестьянских надежд не оправдали. При Хрущеве церкви стали исподволь закрывать, начались дерганья и приказания-указания относительно каких-то торфоперегнойных горшочков и кукурузы. Новые налоги и всяческие притеснения придавливали крестьян, чтобы заставить их больше работать в колхозах и не тянуться к своему хозяйству, но тщетно: как только дали паспорта, из деревень начался отток в города, а также на целину, где поначалу еще разрешалось держать скот. Сама Анна Васильевна чувствовала приближение каких-то фатальных перемен, пыталась передать это тревожное предчувствие и мне, указывая на зарастающие коровьи тропки в лесу, на ненаезженные проселочные дороги, на первые, тогда еще редкие, заброшенные избы, но я не верил и был преисполнен молодым оптимизмом.

Всякий раз, когда в конце августа я уезжал в Питер, бабушка выходила за околицу, чтобы проводить меня. «Прощай, Андрюша! Уж, наверное, в последний раз!» — крестила она меня и обнимала. Желтая песчаная дорога была пустынна, как на картине, и высокие ели стеною стояли по ее сторонам. Теперь вдоль той же дороги кусты да канавы, а по разбитому асфальту то и дело проносятся тяжело нагруженные лесовозы.

Когда я уезжал в свою первую экспедицию, бабушка, кажется, спросила, есть ли у меня девушка. «Поди-кось, нашел какую ни на есть на своей беседе? А нет — так пока и нешто!» Зимой я снова приехал в Григорково: кататься на лыжах. Тогда я заблудился в «лесах и полях» и чуть было не проскочил свою деревню. Бабушка молилась за меня как в старые «добрые» волчьи времена. Очень уютным казался мне этот занесенный снегом домик, куда так и не удосужились провести электричество. Миром и спокойствием веяло от бабушкиных рассказов у самовара. На следующий год Анну Васильевну тетя Нюра увезла жить к себе в райцентр, а дом в Григоркове был продан соседке Нинке, матери-одиночке.

Анне Васильевне не понравилось у дочери, хотя ей и отвели отдельную комнатку, освободили от хозяйственных забот. Она написала своему сыну, Павлу Кирилловичу, в Красноярск. В ожидании ответа бабушка строила планы и рассказывала всем, как будет жить в Сибири у своего Павлика. Ответ пришел

неутешительный: Павел прислал денег и написал, что принять у себя мать не может, потому что сам живет в доме тестя, и что ей лучше оставаться у дочери. Бабушка приуныла. Ее утешали, как могли. Василий Матвеевич, муж Нюры, долго беседовал с ней как с капризным ребенком, и бабушка наконец-таки оценила его выдержку и доброту. Раз поздней осенью, возвращаясь с юга, я решил заехать повидать заболевшую бабушку. Меня она узнала, вспомнила, как переживала, когда я заблудился, катаясь на лыжах. Напоследок она в первый и последний раз за всю жизнь обратилась ко мне с просьбой: попросила достать ей новые рукавички. Каюсь! Я не выполнил эту просьбу, легкомысленно пренебрег ею и забыл. Бабушка поправилась и о рукавичках больше не вспоминала.

Умерла она 4 ноября 1960 года в городе Красный Холм Тверской области и была похоронена там же, на городском кладбище. Однажды бабушка сказала мне, что она — та самая старая пустая и «тисклявая» картошина, которая дает начало целому гнезду молодых, белых и розовых, клубней. Они вырастают, а старую картошину отбрасывает лопата огородника. Так или иначе, мы несем в себе не только гены своих предков, но и память о них самих, может быть, для того, чтобы они воскресли.

С. Адалян

Моя незаменимая Балик

Мое первое детское воспоминание: пестрое бабушкино платье в сиреневых тонах и белые туфли с множеством дырочек — бабушка ведет меня на прогулку. Я поднимаю голову и вижу ее волнистые белоснежные волосы. Мы идем по длинной аллее. Лето... Мне едва исполнилось два года. Мою бабушку, мамину маму, звали Арфо Аветисовна Петросян. Когда я была маленькой, она обращалась ко мне со словами «балик джан», что по-армянски означает «дорогое дитя». В ответ я говорила ей: «Ты сама Балик». С тех пор так ее и стали звать в нашей семье: Балик.

Бабушка работала в Институте мировой литературы главным редактором серии «Эпос народов СССР». С детства я была окружена не только картинами, холстами и красками, поскольку мои родители — художники, но и книгами. Я рано научилась читать, и Балик дарила мне много книг. Самые увлекательные спешила прочитать бабушке вслух. До сих пор удивляюсь, как у нее хватало терпения с удовольствием слушать меня вечерами после работы. В своем книжном шкафу Балик выделила мне отдельную полку, на которую я с гордостью ставила подаренные мне книжки. Она не любила, когда ее беспокоили во время работы над рукописями, но для меня бабушкина комната была открыта всегда. Более того, она разрешала мне когда угодно играть в этой комнате на пианино. Но самым большим удовольствием было сидеть за ее письменным столом и рисовать что-то перьевыми ручками. На столе всегда громоздились горы писем со всего Советского Союза, которые мы бережно храним, открытки с трогательными поздравлениями, книги, присланные, чтобы Балик написала на них рецензию.

На ковре я любила сооружать домик из подушек и читать. Нередко после работы бабушка брала меня с собой «подышать свежим воздухом». Особенно мне нравилось гулять зимними вечерами. Было поздно и темно. На улице ни души. «Шарить дворы» — так Балик называла наши вечерние прогулки. «Что вы тут делаете?» — грозно спрашивала какая-нибудь дворничиха. Ее суровый вид не пугал нас, и мы очень радовались, когда отыскивали какой-нибудь новый симпатичный дворик.

© С. Р. Адалян, 2008

Наш дом всегда был полон бабушкиных гостей, в основном авторов и сотрудников института. Порой они располагались во всех комнатах и что-то срочно печатали. Я с детства знала, что в нашей «необъятной родине» живут якуты, калмыки, киргизы и что издание их народного эпоса — это очень важное дело. Но в то же время с нетерпением ждала, когда все гости разойдутся, чтобы вовлечь бабушку в свою игру. Если они задерживались, я устраивала чаепитие. Было забавно смотреть на взрослых, когда они с аппетитом ели нарезанные Баликом бутерброды с ветчиной и запивали их чаем из моего игрушечного фарфорового сервиза.

Бабушка внимательно выслушивала придуманные мной истории, героями которых были любимые игрушки. Помню, во втором классе нам задали сочинить сказку. Балик бережно хранила продукт моего детского творчества, благодаря чему я имею возможность воспроизвести этот «шедевр». Начинался он так:

«Однажды прекрасным утром девочка Наташа, проснувшись, увидела, что на месте, где обычно сидели, стояли, отдыхали игрушки, пусто. Наташа очень удивилась, потом подумала: “Наверно, ночью здесь побывали воры. Это они утащили мои игрушки!”

И вот в милиции раздался звонок:

— Алло, это говорит девочка Наташа.— У меня случилась странная история, пропали мои игрушки: пухленькая кукла Настя, проказник зайчик Тюпа, озорник косолапый Мишка. Как мне быть?

Дежурный милиционер ответил:

А. А. Петросян, 1948

— Не волнуйся, мы все выясним, воров разыщем.

Через час раздался звонок из милиции:

— Говорит дежурный, воры не обнаружены, но в городе орудуют какие-то ожившие и бежавшие из дома игрушки.

— Как в сказке? — удивилась Наташа.

— Вот именно,— ответил дежурный,— сказка только начинается.

Тем временем в дверь ресторана № 1 постучала кукла Настя.

— Отворите,— сказала она,— я пришла варить гуляш.

— А разве ты повариха? —спросили ее.

— Конечно, я во сне прошла весь курс поварского искусства.

Служитель ресторана растерянно забормотал:

— Ну что же, тогда, пожалуйста, как раз наша повариха тетя Даша сегодня заболела, и мы остались без гуляша.

Через полчаса посетителям ресторана подали обугленные куски мяса»... Далее рассказывалось о приключениях зайчика и мишки. Финал моей сказки, как мне казалось, был впечатляющим: «Как игрушки научились говорить? С этим вопросом все обратились к известному кукольнику Сергею Образцову. Но ответа пока нет».

Каково же было возмущение моей бабушки, когда я получила за сочинение «двойку». Учительница сказала, что это вовсе не сказка, а сказочная история. Сказка должна была начинаться словами «жили-были». Балик написала учительнице письмо, в котором говорилось, что Институт мировой литературы еще сам не имеет четкого мнения, что является сказкой, а что нет, и поэтому нельзя быть столь категоричной в оценке детского творчества. Но бабушкины призывы никак не подействовали на учительницу, и «двойка» осталась в журнале.

Сама же бабушка была прирожденным педагогом. Она снисходительно относилась к моим подростковым «выпадам». После несправедливых и обидных слов, сказанных мной в ее адрес, не затевала в ответ ссору, а давала время на то, чтобы я оценила свой неблаговидный поступок. Спустя полчаса Балик говорила мне «Давай выпьем чаю», не обсуждая потом ни мое поведение, ни предмет спора. Правда, бабушка нередко делала замечания по поводу моей «независимой» манеры одеваться. Как художник я могу сказать сейчас: у нее был безупречный вкус. Балик любила простую элегантную одежду, часто ходила в брюках и на удивление аккуратно носила обувь. «Имей в виду, все гениальное просто, не надо увлекаться оборочками»,— говорила она. Не приводили ее в восторг и мои студенческие наряды. Студентки Суриковского института, среди которых была и я, в начале восьмидесятых щеголяли в изделиях, сшитых из мешковины. Одежда из холщевой ткани имела, по мнению бабушки, небрежный вид. Балик любила аккуратность во всем. Однажды, находясь на каникулах далеко от Москвы, я получила от бабушки ответ на свое письмо: «Есть у меня более серьезная претензия: это твой почерк. Дело не в том, что не все буквы вычерчены четко. Общее впечатление от твоего почерка удручает. Я не думала, что у моей внучки будет такой почерк: отражающий некоторое наплевательское отношение к “мелочам жизни”. Но у жизни нет мелочей. Поправь свой почерк, а то ты им (почерком своим) можешь ввести людей в заблуждение: дело в том, что ты все же не такая, как оповещает твой почерк,— ты лучше. Ты моя незаменимая!»

Незаменимой оказалась для меня и моя Балик. Как часто я вспоминаю ее слова: «Ты знаешь, не у всех детей есть такая бабушка, как я».

Арфо Петросян родилась в Нагорном Карабахе, в городе Шуше в 1909 году. У нее было 11 братьев и сестер. Жители Шуши вынуждены были бежать из города, спасаясь от мусаватистов. Среди

Арфо, 1928

беженцев была и 9-летняя Арфо. Путь из Шуши в Баку оказался нелегким: приходилось передвигаться ночью, соблюдая все меры предосторожности. Однажды утром кто-то из стариков, взглянув на Арфо, заметил: «Смотрите, у этой девочки появилась седая прядь!» Впереди ее ждали еще большие испытания. Вся семья Арфо по дороге заболела тифом. Какая-то деревенская старушка научила Арфо варить целебные травы, и девочка спасла своих родных.

Арфо находила общий язык едва ли не со всеми. Став комсомолкой, она убеждала женщин из горных сел снять чадру и пойти учиться. И многие, глядя на бесстрашную девушку, лихо скачущую на лошади, следовали ее советам. У любимой лошади на лбу была белая звездочка, подобно седой пряди в волосах ее хозяйки. Даже бандиты, орудовавшие в горах, не решались переходить дорогу отчаянной наезднице. «Девушка с белой прядью особенная, она спустилась с небес, мы боялись ее обидеть»,— признавались они впоследствии, когда были пойманы «защитниками правопорядка».

Романтически настроенная, Арфо писала стихи, полные веры в счастливое будущее коммунизма. За отличную учебу она была направлена в Москву, в Институт журналистики. Этой награды был удостоен и ее муж, Сурен Акопян, мой дедушка, который погиб на войне, уйдя добровольцем на фронт. Арфо не уставала учиться: Институт красной профессуры, работа в Академии наук, защита диссертации и, наконец, ИМЛИ (Институт мировой литературы и искусства), где она создала и возглавила отдел, издававший эпос народов СССР. Она не любила поговорки «своя рубашка ближе к телу», поэтому не форсировала издание армянского эпоса. «Давид Сасунский» — последняя книга, над которой она работала.

Мариетта Шагинян была ее близким другом. С ней она познакомилась в Свердловске в 1943 году, в эвакуации. Во время войны волосы Арфо окончательно поседели и стали белоснежными. Замечательный портрет Арфо написал Мартирос Сарьян, который всегда навещал ее, бывая в Москве. Люди, окружавшие Арфо, ценили ее принципиальность, умение отстаивать свою точку зрения и бесстрашие. «Смелого пуля боится»,— часто говорила Арфо.

С дочерью Наирой, 1948

Свидетельств о ее смелости сохранилось немало. Когда в 30-е годы в Степанакерте арестовали ее старшего брата, Арфо сначала написала письмо в ЦК, а потом добилась приема, где выступила со свойственным ей красноречием и убедила «судей» в невиновности брата. Не испытывая ни малейшего страха, бабушка могла поздней электричкой отправиться на дачу. Она много работала, но перед сном непременно выходила на прогулку в любую погоду. Балик всегда говорила: «Берегите голову, все здоровье человека в голове». В последние годы она любила уединиться на даче. «Дорогая крошка! — писала мне бабушка.— Все хорошо, но работу свою никак не кончу. Здесь часто шумят дожди, а я это люблю. Солнце мешает работать, куда-то зовет. Я не очень довольна своими делами: время летит космической скоростью, а дела еле скрипят на телеге. Отстаю от сроков, которые я лелеяла. Поэтому нервничаю! Я бы очень хотела, чтобы вы там окрепли. Не разрешай папе работать и маме тоже. Мне надоел их побитый, золотушный, малокровный вид, пусть как следует окисляются кислородом. И ты тоже. Передай всем большой привет.

Отдыхайте как следует. Целую Балик».

На даче вместе с бабушкой обитал наш кот Тигрик. Балик недоумевала, каким образом он чувствовал ее появление на станции. Он бежал ей навстречу, оглашая окрестности громким мяуканьем. За это Тигрик удостаивался чести нахо-

диться возле письменного стола, за которым работала бабушка. Об обеденном перерыве Тигрик напоминал беспокойным мяуканьем. Как-то раз Балик с укоризной сказала ему: «Ты все кушать просишь, а в доме мышей полно». Тигрик обиженно удалился, но вскоре вернулся, бросив посредине комнаты задушенную крысу. О проделках Тигрика бабушка рассказывала с присущим ей юмором. Тигрик не отходил от бабушки и тогда, когда она сажала цветы, разведение которых на дачной песчаной почве требовало титанических усилий. Но она не сдавалась. «Знаешь, крошка,— однажды сказала мне Балик,— скоро может случиться так, что вдруг мы проснемся в другой стране… Учи французский язык. Когда-нибудь поедешь в Париж». Как бы мне хотелось с Балик посидеть за столиком в парижском кафе и сказать ей по-французски: «Tu est ma chêre irremplacable!» (Ты моя незаменимая!)

Н. С. Рытова

«Одна надежда мне светила…»

Мой муж, физик Владимир Григорьевич Шавров, сохранил от своего отца, заведующего кафедрой электротехники, автоматики и телемеханики в одном из филиалов Московского инженерно-физического института (МИФИ) Григория Константиновича Шаврова (1903—1989), старую общую тетрадочку в черной клеенчатой обложке — бабушкин дневник. Этот дневник вела более ста лет назад, с 1894 по 1898 год, мать Григория Константиновича Татьяна Петровна Шаврова (урожденная Нечаева, 1872—1956), когда учительствовала в церковно-приходской школе сибирского села Алтат, где жила со своими родителями.

Искренние записки молодой женщины о заботах и переживаниях, об укладе жизни, отношениях в семье, ее размышления о своей работе, ее собственное отношение к быту и нравам провинциального села настолько захватили меня, что захотелось сделать их чтение более доступным для других членов семьи и, может быть, не только для них.

Текст дневника представлен в первоначальном виде, безо всяких изменений, лишь в некоторых местах вставлена отсутствующая пунктуация. Записки дополнены фотографиями, сделанными в те же годы и хранившимися в двух альбомах Татьяны Петровны.

По воспоминаниям моего мужа о рассказах его бабушки, по надписям на старых фотографиях, старым письмам,

Анастасия Беляева с бабушкой и родителями, ок. 1854

© Н. С. Рытова, 2008

воспоминаниям других родных, с помощью Интернета, а также в результате архивных поисков в Красноярске Елизаветы Александровны Суриковой — правнучки старшей сестры Татьяны Петровны Александры (в дневнике — Саши) удалось частично восстановить происхождение семьи Нечаевых.

Родители Татьяны Петровны родились в центральной России и принадлежали к духовному сословию. Ее отец, Петр Яковлевич Нечаев (1830—1909), был священником, окончившим Калужскую духовную семинарию. Мать, Анастасия Яковлевна, родилась в 1837 году в селе Опочня Тарусского уезда Калужской губернии в семье приходского пономаря Якова Антоновича Беляева и его жены Параскевы Семеновны. Младший брат Анастасии, Николай Яковлевич Беляев (1843—1894), окончив Казанскую духовную академию и получив степень магистра, а затем доктора богословия, стал профессором этой академии по кафедре истории и разбора западных вероисповеданий и опубликовал ряд значительных печатных трудов по этим вопросам.

Венчание родителей Татьяны Петровны состоялось в селе Опочня 9 мая 1855 года, когда 24-летний жених еще был студентом семинарии, а невеста — молоденькой 17-летней девушкой. Сразу после венчания молодая семья отправилась через всю Россию в далекую Сибирь. Мы не знаем обстоятельств их отъезда. Возможно, это был их собственный выбор, а может быть, как говорили в наше время, «уехали по распределению», но все дети Петра и Анастасии родились уже в Сибири.

П. Я. и А. Я. Нечаевы

У Петра и Анастасии было пятеро детей: четыре дочери — Анна (Анюта,1862—1932), Мария (Маша, 1863—1905), Александра (Саша, 1868? —?), Татьяна (Таня, 1872—1956) и сын Иннокентий (Кеша, 1875—1937).

Вызывает удивление, что первый ребенок, о котором мы знаем, дочь Анна, родилась у молодой пары только через 7 лет после венчания. При этом за последующие 13 лет в семье появилось еще четверо детей. Может быть, старшие дети умирали? Намек на это есть в тексте дневника, где Татьяна Петровна цитирует слова из письма Маши, что она (Маша) «очень похожа на брата Гавриила душой и телом».

Петр Нечаев, отдавая замуж своих четырех дочерей, не очень считался с их собственным мнением. Анюту 18 лет выдали за 40-летнего преподавателя

Красноярской семинарии, вдовца, Фавста Герасимовича Тарасова, уже имевшего четверых собственных детей. О замужестве Александры рассказывает ее сын, Константин Матвеевич Тыжнов, в своем письме к сестре, Клавдии Матвеевне: «Отец [Матвей Порфирьевич Тыжнов.— *Н. Р.*], окончив семинарию, должен был получить сан священника. Но для этого необходимо жениться. Девушки, “с которой...”, как теперь говорят, не было. Бурса это не позволяла. Начальство напирало, грозило отнять диплом. Положение — хоть стой, хоть падай. Кто-то подсказал, что у соседнего священника Петра Нечаева на руках четыре дочери: Александра, Анна, Мария, Татьяна. Александра Петровна стала нашей матерью. О любви, знакомстве, планах на будущее здесь не было речи. Существовал железный закон: поживут — слюбятся. Какая еще там любовь: выдумка лишняя, мешающая жить. В общем, сошлись люди очень разные по темпераменту, складу. Отец Петр был типичный выходец из России, сам он, его жена да и моя мать часто вспоминали отдельные моменты долгой езды по степи в телеге, переполненной ребятишками и домашним скарбом, со стоянками в степи, ночевками.

Так в мою жизнь вошел новый дед по женской линии с бабушкой, а с сестрами матушки, моими тетками, жизнь моя надолго переплелась».

Татьяна Петровна, младшая дочь, шестнадцатилетней девочкой стала женой Петра Лихачева, молодого священника, и в 17 лет уже родила дочку Нюрочку. Судя по дневнику, замужество было не очень счастливым, а окончилось трагически — муж сошел с ума и умер.

Саша и Таня Нечаевы, ок. 1883

Дневник охватывает период 1894—1898 годы, когда Татьяна Петровна, уже овдовев и окончив в Красноярске епархиальную учительскую школу, возвращается жить в родительский дом, в село Алтат Назаровского уезда (в 25 км от г. Ачинска) и работает там учительницей в церковно-приходской школе.

Дошедшие до нас записи обрываются новой трагедией в жизни Татьяны Петровны — смертью ее восьмилетней дочурки Нюрочки. Душераздирающий, пронзительно правдивый рассказ о смерти ребенка просто потрясает.

Во второй брак, с Константином Алексеевичем Шавровым, служащим акцизного ведомства, получившим в Томском университете фармацевтическое обра-

Регент хора П. Я. Нечаев (в центре) и певчие села Березовского. Татьяна Нечаева (2-й ряд, слева), 15 января 1886 г.

зование (но тоже сыном священника), Татьяна Петровна вступила года через три. Судя по дневнику о характере, о складе личности и взглядах, это был уже ее собственный выбор.

Татьяна Петровна рано потеряла и своего второго мужа. Он умер от крупозного воспаления легких в 1918 году в возрасте 47 лет. Она одна вырастила в Томске Гришу, дала ему возможность получить высшее образование, сдавая комнату научным работникам и студентам, кормя их домашними обедами. Умерла она в 1956 году, окруженная внуками, которые и не подозревали, что их сдержанная, строгая бабушка, читавшая им книжки и игравшая с ними в шахматы, была когда-то порывистой, своенравной, горячей девчонкой, отчаянной плясуньей, любительницей поиграть на гитаре и поскакать на лошади. Судьба остальных детей и внуков Петра и Анастасии — это уже отдельная тема, выходящая за рамки моего краткого предисловия. Скажу лишь, что все их внуки были достойными людьми. Все они получили образование, стали врачами, педагогами, юристами, научными работниками. Сталинская мясорубка не обошла стороной и эту семью. В 1937 году

были расстреляны Иннокентий Петрович Нечаев и его сын Агафангел (Агафон) Иннокентьевич (1906), а в 1942 году погиб в застенках сын Анны Петровны — юрист Антонин Фавстович Тарасов. Но это все было гораздо позже.

А сейчас перед нами дневник...

Тетрадь 1-я Татьяны Лихачевой, учительницы Алтатской церковно-приходской школы, 22 лет от роду, 12 октября 1894 года

14 октября, среда, 1894 года

Предшествовавшие дни были полны событиями и новыми впечатлениями, радостными и горестными для меня, так что я немного нервами расстроилась: 5 октября я получила из Алтата письмо

Факсимильная копия страницы дневника

о болезни мамаши; известие это меня крайне потрясло, потому что я готовилась к экзамену, а тут пишут: «Приезжай скорее». Я не знала, что мне делать, ехать ли — все бросить или докончить экзамены. Но, немного одумавшись и пораздумав, решила кончить начатое, положившись во всем на Бога. 8 октября я выдержала экзамен: этот день был полон тревоги; с экзамена я пришла уж в 3 часа сильно утомленная, к тому же и обрадовалась, что выдержала, но отдыхать было некогда, нужно было искать попутчика. Но, к счастью моему, попутчица мне нашлась скоро. Этот день я ужасно утомилась, это без влияния или даром для меня не прошло.

9-го в 14 часов я выехала из Красноярска со страхом и надеждой за мамашу. Домой приехала я 11 октября. В Ачинске встретилась с братом. Мамашу я застала плохой, но она уже начала выздоравливать. Дома все ходят какие-то жалкие, растерянные, везде беспорядок.

Утром просыпаюсь и вижу, что в доме расхаживают Саша с Машей и Кеша; я сначала подумала, что вижу во сне, но потом уверилась в действительности. Четыре дня, которые жили гости, я ходила как в тумане от хлопот и беспорядка в доме, и голова сильно болела, а как уехали гости, еще хуже стало: кругом тихо, только стоны мамы. На душе пустота и уныние — после всего бывшего шума и вдруг наступило затишье. Но оно наступило ненадолго: назавтра я отправилась в школу.

Школа наша крайне неприглядная, в караулке, которая занимает всего какую-нибудь квадратную сажень, уче-

ников же пришло 30 человек. Хотя я и ужасалась от всего виденного в школе, но все-таки рада ей: она меня спасет от скуки и уныния. Теперь вот хоть знаю, что есть живое дело, буду работать, а работы на первое время очень много в неустроенной школе, да и неопытна я еще в этом деле, и это тоже прибавит работы и забот.

16 октября, вторник, 1894 года
Решила ехать в Назарову исповедаться и послать бумагу в Енисейское Епархиальное женское училище, иначе бумаги о моем определении долго не придут. Священник назаровский о. Николай мне очень понравился: умный, развитой и веселый, радушный. Там пришлось ночевать, хоть и не входило в расчеты. Время провели в игре в мушку и в разговорах. Утром о. Николай предложил посмотреть их школу (школа-то министерская). Учитель, конечно, недоволен крестьянами, что столов нет и то, и другое, а я подумала: «А у нас-то в 30 раз хуже»,— даже стыдно стало за свою школу. В общем, мне их школа очень понравилась, только, конечно, не было времени познакомиться с их способом преподавания, потому что мы торопились домой с Кешей.

22 октября, суббота, 1894 года
Ах, какое горестное событие: пришло известие, что наш Государь Император Александр Александрович III скончался; сегодня служили о нем панихиду. Мне очень-очень жаль Государя. И опять пустота какая-то, чувствуется одиночество, хочется плакать, когда вспомнишь Государя. Каким-то будет новый Государь, такой же ли умный и добрый, а этот был мудрый, как говорят. Я помню, как помер Государь Александр II, мне было в то время лет 10.

23 октября, воскресенье, 1894 года
Сегодня приводили народ к присяге новому Государю Николаю Александровичу II и наследнику Георгию Александровичу. Я не была в церкви, но присяжный лист подписала, как учительница.
Мамаша все еще хворает, поправляется плохо. После обедни был в гостях у нас волостной старшина и некоторые крестьяне нашего села. Папаша раздражительный, как и всегда, а к Рождеству, наверное, еще хуже будет. Я не знаю, какую я роль исполняю в доме моего отца. Тяжело на душе.

25 октября, вторник, 1894 года
Сегодня, как и всегда, день прошел однообразно; все, как по заведенной машине. Что-то писем долго нет из Красноярска; от Тарасовых было одно, но от Мити не было; не знаю, какие причины тому, хотя я уже ему три письма писала; неужели и тут придется разочароваться? Подожду почту, что-то скажет? Где же искать удовлетворения? Жизнь так скоро идет, и еще год пройдет даром, хоть принесу, да это пока неизвестно, принесу или нет, пользу, а сама-то уж верно потеряю для себя этот год. Жизнь в Алтате плохо влияет на меня: я становлюсь одичалой, тупею, не хочется говорить и развиваться. А анализ: в результате получается застой. Приезжая в город, где могу быть в

М. В. Красножженова и Т. П. Лихачева

обществе, я становлюсь нелюдимой, и хотелось бы быть там и что-то давать, да не можешь приноровиться к людям. Нет, лучше бросить все, забыть. Завтра первый раз буду одна заниматься в школе. Скоро ли хоть письма придут, еще два дня ждать.

3 ноября

Право, нет времени писать каждый [день], хоть бы и хотелось: то школа, то хозяйство, а тут и Нюрочка больна. Я не могу выносить ее мученья, уж бы скорее то или другое. За что она так страдает? А писем все еще нет и бумаги из совета тоже; что они там застряли, хоть бы строчку. Уж я напишу Мите, поблагодарю за «частые» письма, противный, и Манька [Мария Васильевна Красножженова, подруга Татьяны Петровны по Красноярску. Работала в Красноярске учительницей.— *Н. Р.*] тоже.

Хорошо пробирает Меньшиков интеллигенцию, так и надо, я, право, очень рада, да она ведь каменная, пожалуй, да что, пожалуй — правда, не проймешь, только на языке, а не на деле; только медовые речи и то из приличия. Дни тянутся ужасно однообразно, потому кажется, скоро, погоди, будет к Рождеству казаться, что один день прожила, и в то же время так долго, что не сказать (т. е. не определить). Мне кажется, я не способна быть учительницей, а иногда наоборот. Только одно хорошо знаю, что подготовки нет хорошей и опытности тоже. Несмотря на то что немного времени прошло с поступления, а уже были между учениками события, что уж и сказать не знаю как. Хорошо бы, да что ж поделаешь, когда преследует судьба на каждом шагу. Нюра кричит, поминутно пьет и восьмой день, кроме воды и лимонаду, ничего в рот не берет. Краше в гроб кладут. До завтра, может быть...

5 ноября

О, Матерь Божия, спаси мне Нюрочку! Сегодня снег целый день, и на душе тоже снег идет хлопьями. В окно смотрю: там смутно, неприглядно; на душе пустота, я сижу, в голове тупая боль.

Нюрочка лежит посреди кровати, глаза у нее то закрываются, то раскрываются, блуждающие, как будто она смотрит и ничего не видит или не понимает ничего; кашель все усиливается; губы обгорели, так что мясо клочьями запекшееся. Страшно на нее смотреть, уж очень похудела.

Сумерки все больше надвигаются; я сижу, как-то бесцельно смотрю кругом; у меня мелькает мысль, почему я не могу молиться за Нюру, как раньше в Белом Яру простаивать часы и горячо молиться о выздоровлении, и не плачу, а теперь какая-то тупость. Ведь знаю я, что потом, если, Боже, сохрани, она умрет, я с отчаяния и раскаяния не знаю, что сделаю над собой, и все-таки я сейчас похожа на бревно, мне хочется спать только или сидеть истуканом. Что же это, право, со мной? Не могу побороть, стряхнуть это нехорошее состояние, а нужно бы. О, Боже мой, как она мечется, кричит; а то затихнет, так тогда все головкой вертит и ногой шевелит все правой. Я начинаю раздражаться, смотря на эту ногу. Завтра двенадцатый день, что-то будет...

9 ноября 1894 года

Нюре, как будто, немного лучше. Бедная, как она исхудала, ужас! Вот уж четвертый день завтра в школе пять занятий по случаю Михайлова дня. Ребят не загонишь в школу, волей-неволей приходится праздновать. Вчера и сегодня я читала «Старый грех» в «Неделе» и ничего хорошего не нашла в этом романе. Да и читать-то не хотела раньше, если б Кеша не расхвалил так его. Впрочем, личность «Лео» мне нравится, а содержание романа — нет, вывод какой-то бесцветный. В гости я еще никуда не ходила, хочу сходить к Кате Строителевой, а больше некуда, ну и поздно, пора спать. Хорошо, прощайте все.

20 ноября

Ну уж прости, дневник, долго не заглядывала. Вчера я получила это письмо, встревожившее меня. Да и как не встревожиться, я, право, не знаю, что мне делать. И хорош, и пригож, да не... ну да, есть недостатки. Что я буду делать? Если я решусь, то будет ли так, как я думаю, если ж не будет, то какой ужас, какое отчаяние...

Вторник, 22 ноября

Я все еще думаю и не могу ничего придумать; все жду чего-то. Ах, Боже мой, да что же я могу выдумать, положусь во всем на Божию волю, что будет, то и будь. Во-первых, как расстанусь со всеми ребятами. Все эти сопливые, грязные ребятишки в то же время такие милые. Глазенки их, карие, голубые, серые, черные, так и смотрят тебе в глаза, так и говорят: «Говори нам, учи нас, мы готовы тебя слушать и учиться». Какими сиротами они смотрят, как отойдешь от них. Неужели бросить их? Нет, не могу.

Но и потом что? Молодость, сила, здоровье уходят и в конце одиночество, страшный холод от него, а на судьбу и счастье надеяться тихо. Что же делать! Что делать! Если б не было Нюры, тогда б другое дело, а ведь и об ней надо заботиться. Ох, плохо! Голова не хочет работать, соображать, а дальше еще соображенья, но... о них и говорить не могу, даже страшно.

15 января 18...

С...

Многоуважаемый А. Т.

Первым долгом считаю довести до вашего сведения, что я не могла в свое время

Алтатская церковно-приходская школа, где работала Татьяна Петровна

ответить на ваши письма, потому что они были получены 31 декабря, когда меня не было дома, а я уже их получила 13 января по приезде домой, поэтому не обвиняйте меня за долгое молчание. Я все три письма получила от вас в одно время, т. е. 13 января. Прошу вас, А. Т., выслушать меня снисходительно. Боже мой, что я вам напишу! Что напишу! Скверное мое теперь положение: я должна дорого платиться за свою ошибку. А. Т., пощадите меня ради Бога: виновна и спору нет, но зачем добивать, и я отлично понимаю и сознаю свою вину; если б я считала бы себя вполне правой, то и поступала бы иначе, сознаю, и хотела бы исправить, но даю вам честное слово, право, не могу. Да как бы вам яснее представить и объяснить: против вас, А. Т., я ничего не имею и не могу иметь, знаю ваши хорошие качества, но я боюсь той предстоящей жизни. Ведь вы хоть немного знаете меня: чем раньше я интересовалась, оно уже отошло на второй план, да ведь за себя-то не так страшно, но вы, да что будет с обоими, раз начнется во мне равнодушие и неудовлетворенность окружающей жизнью, то и на вас сие отзовется. А. Т., поверьте мне хоть раз, что я говорю искренно, нисколько не оправдывая себя.

Я теперь ясно понимаю, что мой главный недостаток — непостоянство: что интересует меня сегодня, а завтра уж нет того. Мне стыдно признаваться в этом недостатке, но решила говорить правду, так уж буду держать слово. Но верно я еще не определила, это ли причина всех моих зол.

Жизнь, которой я жила, теперь меня не удовлетворила бы, а требовать чего-нибудь от вас я не могу. Я и так, не сознавая, поступила как эгоистка. Скажу вам прямо: живется мне не очень-то хорошо в своей родной семье, и в тяжелые минуты я готова дать вам согласие, но пройдет немного, я одумаюсь, и тогда еще хуже: стыд душит меня за мой эгоизм, стыдно мне и горько за мой душевный порыв. Хоть и стараюсь обдумать все и решить правильно, да самой мне трудно за собой уследить. Спрашивала я у Саши о вашем подпольном образе действий, потому что было странно и еще потому что чуть не написала: «Приезжайте», да и этот вопрос тоже значит, что приезжайте — я согласна, а было это в тяжелую для меня минуту: первое, расстроилась, кругом все больные, а главное, семейные неприятности (да больно я расстраиваюсь от совместной жизни с моими родными, Саша напрасно винит школу). Так вот при каких обстоятельствах я так написала, но теперь я расплачиваюсь за то угрызениями совести за свой эгоизм и малоду-

шие. Из этого можно видеть, какие у меня грязные мысли бывают, я ловлю себя на этом. Тяжелее всего мне, что у меня могут быть подобные мысли. Мне надо себя перевоспитывать, избавиться от грязи, которая ко мне прилипает. Теперь вы поймете, почему я боюсь решительного шага. Когда мне тяжело, я могу только помнить себя, наоборот — думаю о вас. Боюсь расстроить, отравить ваше существование своим непостоянством или своей натурой, которой, как ребенку, все подавай новые игрушки, а раз вышло между нами недоразумение, так оно, пожалуй, и дальше пойдет. Я так думаю теперь, что нехорошо поступила, дав согласие, но за теперешнее свое решение я себя не виню и даже думаю, что поступаю по совести, одумавшись хоть поздно. Не упрекайте меня, А. Т., в том, что вас забыла, да как я вас могу забыть, ну скажите? Вы стоите у меня перед глазами как грозный призрак, и поступок мой из памяти не выходит. Он меня мучит, не дает сил забыться, постоянно напоминая о горе, причиненном вам. И только одно утешение, что я правильно рассуждаю и поступаю, а вы еще говорите, что забыла. Тем более не могу забыть, что я, кажется, еще никому и никогда не причиняла подобного горя, как вам. Если б вы меня теперь узнали, то, пожалуй, и не узнали бы, я теперь больше молчу, особенно последнее время. Характер чем дальше, тем более изменяется, злюсь на каждый пустяк, что не всем же приятно слушать. Ну и сдерживать себя трудно, отзывается плохо долгая сдержанность, а именно, я все больше и больше замыкаюсь в себе, а приятна вам будет этакая жизнь, да она способна самый прекрасный характер испортить! Я гадкая, знаю, но что от моего сознания? Хоть и сознаю я свои недостатки, а остаюсь при одном сознании, говорят, что и сознание много значит, да что мне от него, зачем мне оно, если нет энергии на исправление. А. Т., хотите, я выйду, я согласна, но что выйдет? Будете ли вы счастливы, не будете ли вы проклинать жизнь, не будете ли меня винить? Найдете ли вы тот мир, о котором думаете? Берете ли всю, слышите, всю ответственность на себя? Так вот, как по-моему, я правильно поступаю, но если по-вашему не так, то чтобы искупить свою вину и доказать справедливость моих слов, «я согласна», но ведь такое доказательство дорого будет вам стоить, едва ли стоит жертвовать собой для этого.

19 января 1895 года, четверг

У нас в Алтате начинают понемногу жениться и замуж выходить, даже поторапливаются: мясоед ведь нынче короток. Вот и Ефим Самсонович, один из зажиточных крестьян, с которым мы водим, как говорится, хлеб-соль, тоже задает пир горой. Женил сына, и теперь будет, пожалуй, кутерьма на неделю у них. Мамаша с Иннокентием тоже участвуют тут. Сегодня звали к себе гостей.

М ... е

Ясный сокол мой!
Ты прости-прощай,
Никогда теперь
Мне не жить с тобой.
Разлюби меня,
Позабудь, дружок.

Ах, хотелось бы
Мне про все забыть.
Уж не буду я
Слушать речь твою.
Не кляни меня,
Позабудь скорей.
Говорить со мной
(Уж не надо мне
Ничего тогда),
Все бы слушала —
Не наслушалась.
А теперь же мне
Не бывать с тобой.
Мне придется век
Скоротать с другим
(Ясный сокол мой)
Дорогой сокол,
То ведь все равно
Я иссохну, друг,
Не дождавшися.
Не могу всегда
Угождать-смиряться *(тут нужно другое слово)*
Нет во мне того
Нрава тихого

Наерундила; тоже стихоплет корявый, без знаков отличий и препинаний

А вот и другие свадьбы <...> . Алексей Прохорович, этот маленький всклокоченный человек, женит своего Митрия. Алексей Прохорович постоянно жалуется на свои недостатки, которых вовсе нет, постоянно он в горе и заботе от своих недостатков, а в сущности, скупой — и только. Но в то же время не хочет в грязь лицом ударить, вот, думаю, трудно бороться ему. Суетится, мечется, а толку ни на волос.

30 января 1895 года

Все начинаю, да не кончаю. Читаю житие святой Павлы. Очень нравится! Хорошо бы быть там, в Иерусалиме и других святых местах. Хорошо так себя чувствовать, как св. Павла. Нехорошо, трудно жить постоянно под таким давлением — гнетом, как-то уходишь весь в себя, каждое слово нужно строго обдумать и взвесить. Чувствуется между всеми какая-то рознь и неприязнь, каждый другими недоволен, и каждый из нас, в сущности,— эгоист, по крайней мере, я так понимаю. Конец когда же будет? А конец тот или другой, может быть, уж недалеко. Вот скоро и пост Великий, и начнутся еще однообразнее унылее дни противу предыдущих. Я всегда в подобное время хандрю и злюсь, раздражаюсь сильно. Зачем же люди говорят одно, а думают другое? В сущности, я не боюсь физического труда, если б была возможность иметь дружескую опору и поддержку, не в ручном труде, конечно. Вот работала бы, а потом и поговорить и почитать вместе и получить ответы на свои вопросы, а то ведь такой человек, хоть, спору нет, хорош и стремится к хорошему, не может еще решать и давать мне ответы, его еще нужно развить до своего хотя бы уровня, да и этого для меня очень мало. У меня тоже только стремления одни и больше ничего, вот это-то и худо, не у кого будет учиться. Мне бы хотелось иметь мужа — учителя. Где счастье, одному Богу известно, его и просить надо. Я чувствую потребность к жизни, если же жить так, как предоставляется, то скоро отупею, только по временам будет грусть глодать от неудовлетворенности и пустоты.

<...>

Вот, наконец, наступила широкая Масленица. И ребята мои рассуждают: скоро ли конец ученью, сколько дней еще учиться? Этот вопрос их занимает сильно, но я почему-то не сочла нужным их обрадовать, объяснив им всю суть, что тут нет никакого праздника, а, напротив, нужно приготавливаться к посту. Почему же я не сказала им, что все-таки распущу? Уж несмотря на эту важную причину, ну да уж так везде заведено, но не потому. Я как бы хотела им досадить, а себе этим доставить удовольствие. Происходит так по очень простой причине, я сама не люблю Масленицу с ее катаньями и гуляньями и вижу в ней одно неистовство рода человеческого. Знаешь, что, сколько ни дури, все равно не избежишь Великого поста. И среди шумного веселья я никогда не забудусь в Масленицу, все помню, что сейчас Великий пост, который так сильно противоположен ей во всем. При подобном воспоминании нехорошо, просто скверно станет на душе. Но, несмотря на такое состояние, я принимаю участие во всех увеселениях. А еще мучит совесть, знаешь, что с наступлением поста нужно проверить свою совесть, а за год много накопляется и стыдно ужасно, страшно даже станет, как вспомню, что пред священником нужно все высказать, всю душу раскрыть. Я знаю, что если б мне не было стыдно, то и облегчения я не чувствовала бы, мертво выходило бы. И я люблю ужасно молитву Ефрема Сирина. Сколько чувства в ней, как много сказано в малых словах, кажется, вся душа кающегося грешника выливается в этих словах, по крайней мере, я так думаю. Особенно грустное, давящее впечатление производит унылый благовест в Великий пост, как бы в это время живых где-то хоронят в подземелье. Иные же спокойно себя чувствуют, хорошо, конечно, думаю я, совесть у них чистая, не стыдно и на исповедь идти. А теперь же блины, блины! Будут во всю ивановскую. Вора поймали с сахаром 8 голов. И Земжинский попал, нашли у него на гумне в мякине.

<...>

Кого мы видим часто, того Царь видит редко, а Бог никогда. *Загадка*

5 марта 1895 года

Немного же я продержалась: опять начинается сон непробудный, из которого мне всегда очень трудно бывает выйти, а как бывает гадкое скверное состояние, я всегда боюсь подобного состояния, тогда всякое дело противно, и я положительно через силу могу себя принудить чем-нибудь заниматься, является сонливость, полнейшая апатия ко всему. Нет, положительно, подобная жизнь, подобное состояние мне не под силу. И что же предпринять, за что взяться? Нужно еще подождать.

Недавно умерла женщина от родов. Понятно, бабушки собрались и как умели, так и мучили бедную женщину, даже, говорят, руку ребенку оторвали; понятно, тут не воскреснешь. Я мучилась сознанием своего бессилия помочь хоть чем-нибудь. Нужно еще подождать. Боже, укажи мне, на что решиться. Господи, укажи мне путь мой! О, как все гадко, скверно! Даже к школе я охладе-

ла; просто трудно заниматься, хоть бы скорее кончить. Хоть убей, не могу написать писем, а надо бы ответить. Бежать бы куда-нибудь, бежать! И хотелось бы писать каждый день, да совершенно нечего, дни за днями идут так однообразно, что один от другого не отличишь, разве по числам и названиям дня. Нет сил, я чувствую, бороться с тем равнодушием ко всему хорошему в нашем народе. Скажут, нехорошо это: капля камень точит. Да я это хорошо понимаю, но в то же время сознаю и другое, я лучше больше постараюсь развить хорошие чувства в учениках, меня радует, что со временем перевоспитается весь народ, не будет этой закоснелости, только вот что плохо, что иной развитой и понимающий человек гораздо безнравственнее самого плохого мужика. Не случилось бы того же, тогда лучше пусть он пребывает в черном теле, как говорится: в нем и теперь много хороших качеств, но хотелось бы верить в будущее хорошее. Если б умела, то многое бы написала, что чувствую и думаю, что меня интересует, тяготит, но, как было сказано выше, я не умею изложить своих чувств на бумаге.

1895 год
14 сентября, вечер

Спустя пять месяцев.

Вскоре после тифа; захворала я им в последние числа июня.

Ну, батеньки, объелась; и аппетит у меня после тифа такой, что я не рада, потому что только и на уме: как бы поесть. Нечего сказать, часто заглядываю в свой дневник, да и теперь пишу от нечего делать, почему-то не хочется. Я подучила девочек Любу, Олю и Клашу [племянниц.— *Н. Р.*] обмануть Кешу, что была Домна Павловна [возможно, невеста Кеши.— *Н. Р.*], и спрашивала его. Кеша поверил, но когда узнал правду, то сам стал нас обманывать (меня, конечно, поддразнивать), так что сегодня и правду сказал, а я не поверила. А сказал он, будто бы Д. Д. Никитский в тифе болен; я хоть не верю, а у самой заныло сердце и верить боюсь, а тут папаша подтверждает Кешины слова; все это насказал солдат, который с неделю как пришел из службы и говорил, что Митя при нем еще поступил и захворал. (Фамилия солдата: Хорунжий.)

Среда, 10 октября 1895 года

Предыдущее все я писала с большой ленью, да вообще я не специалист по этой части.

Вчера получила письмо от Анюты, в котором она сообщает, что была у Мити. Митя говорит, точно пьяный, волнуется еще при посещении посторонних, оброс бородой. Это еще ничего, что оброс, а я вот плешивая совсем, самое время сходить в фотографию и изобразить из себя Василису Прекрасную с лысиной, освещающей всю комнату. Девочки набивают моими волосами подушки и перины для кукол. Без Кеши мне скучно стало, да что! Я скоро сойду с ума: так противно, и школу брошу, стану торговать — самое благородное занятие!

По милости моей и год пропал.

Не то чтобы мне было, нет, не могу, все еще голова болит. А впрочем, наплевать.

Вот сознаю же я свою тупость, неспособность учить, а все-таки продолжаю.

Не будь папы, я бы отказалась, а кроме того, и занятий подходящих нет; служить же для того, чтоб получать деньги...
Ничего нет, лучше бросить...

21 октября 1895 года, суббота

Хочу писать о серьезном, а у самой только и на уме, что три ля-ля да три ля-ля, и в то же время грустно, а много же во мне пустоты, несмотря на воображаемый... Пока была возможность измениться к лучшему, у меня не было желания, когда же явилось сознание всей бесцельности подобной жизни, то стало уже поздно, потому поздно, что нет сил подняться, слишком я уже втянулась в нашу жизнь, привыкла к ней. Понимаю и сознаю, что могла бы жить иначе, но желание мое так и остается желанием, только еще хуже от сознания, да кой черт мне еще надо, ведь достигла я, чего хотела (конечно, сама бы я и думать не посмела: сильно боялась, а, спасибо, [люди] добрые указали исход). Можно подумать, что нехорошо большего требовать, но, признаюсь, я не только не требую большего, но и все это готова бросить, отказаться. Почему? Я уже сказала, в чем дело, да и то, что я эгоистка, все о себе, а уж тут плохо, вся эта привычка к старой спокойной, но беспорядочной жизни портит, да еще с отвращением смотрю на то, где хоть капелька есть казенщины да аккуратности. Удовольствий хочу, веселья, фи, какая гадость, просто брошу перо, изорву тетрадь и сама заплачу, а кто виноват? Замуровала сама себя, нет не сама, а обстоятельства, да я и не раскаиваюсь, только нет мне-то того, к чему тянет. Если б мне предложили сейчас бросить все, а жить, ничего не делая, а только развлекаться, или вообще предоставили бы много удовольствий, я бы не согласилась. Ведь кто в чем их находит.

Да и теперь-то тоже крайность. Если б был тут Митя, он бы мне разъяснил, а сама же я объясняю тем, что я привила себе с детства известные понятия, от которых не могу освободиться, несмотря на все мое желание. А иногда, да очень даже часто, встречаю такие сопротивления всем моим хорошим побуждениям, что и не могу им сопротивляться, и знаю, сколько ни борись, а победы не будет на моей стороне. Если я люблю, то не считаю безнравственным желание видеть его, слышать — вообще стараться быть близкой ему, нахожу все естественно, а вот это-то и осуждают и строго запрещают, даже проклинают и коверкают жизнь. Но вот другой явился, хотя и ненавистный тебе, но другие почему-либо видят счастье для тебя иметь его близким себе. И тогда уж ты обязана целовать его, дарить ему свои ласки и на виду, при всех, а если в душе его ненавидишь, до этого и дела нет никому: «Ведь ты обязана по закону поступать так нечестно, а на твое душевное состояние нам наплевать». Да еще утверждают, что для тебя желают счастья. Да и не поймут, что все это гадко и скверно, а я тоже не пойму их и не увижу хорошего. Пусть я даже соглашусь с Вами, господа законники, нравственные люди, что нехорошо и по-моему, но по-вашему в тысячу раз гаже — все человеческое достоинство уничтожается, человек обращается в бессловесное животное, потому что противиться по закону не имеет права.

Да животное счастливее в этом отношении: его против воли могут запрячь в какую-нибудь работу, но против воли не заставят полюбить. Я испытала и говорю и считаю себя вправе говорить.

А вот я тогда забыла сказать Мите, что хотела испытать, как можно по своей воле испытать любовь; мне нравилось, хоть и ошибалась я в своем чувстве, что никто не обязывает меня, не заставляет питать какое-либо влечение. Хочу я, так скажу ему хорошее слово, а не захочу, не будет желания, и никто не заставит. А чуть коснулось до законных прав на меня, и вот все улетело, я уж не могу по обязанности отвечать взаимностью. Конечно, если б я действительно имела расположение к нему, тогда подобная обязанность была бы приятна, но, повторяю, меня только завлекала свобода действий. Может показаться смешным — говорить о том, что всем, конечно, известно, но и я скажу, что, не испытавши, можно так судить, а вот испытаешь, да тогда и я послушаю. Теперь же при одном воспоминании вся возмущаюсь.

Недавно, кажется с неделю тому назад, умер ученик нашей школы, учившийся в прошлую зиму. Чувашонок, как его все школьники называли, был очень умный и серьезный мальчик. Учился он хорошо, прилежно. Со времени поступления не пропустил, кажется, ни одного дня, хотя здесь и вообще редко пропускают уроки. Умершего звали Сергей Васильев. Бывало, придет его мать в школу подтопить нам, так как у нас всю зиму было прохладно, и начнет по-нашему говорить, да еще старается пошутить и рассмешить, а и без того у нее смешно выходит. Сейчас же наш чуваш рассердится на мать, взглянет на меня и начнет по-своему, по-чувашски, останавливать, чтоб не говорила и уходила, что можно понять было из жестов.

Мать его — добродушная чувашка, и мы все, и я в том числе, были рады бы поболтать с ней, да и болтали, если приходила в перемену, только вот он почему-то всегда был недоволен ее приходам. Я вполне уверена, что Васильев явился бы в числе первых, если бы не хворал уже в то время. И вот этот серьезный умный мальчик умер, право, очень жаль. Уж одним тем, что он чуваш, он мне понравился, а чуваши все мне симпатичны: кротки, честны, ласковы. Такие, как Васильев наш, видно, и Богу нужны.

<...>

18 ноября

Вчера мне пришлось внезапно бросить письмо свое в дневнике.

Каждый почти день решаю бесповоротно бросить школу. А особенно когда ученики меня раздражат, что бывает почти каждый день, и, может быть, другой на моем месте и не раздражался бы так. Но к вечеру моя решимость исчезает, думаю, что бросить недолго, а потом что? Я бы с удовольствием поехала в Назаро́ву, если б не надоело ухаживание... Хочется развлечься, но как вспомню про самого, то и желание пропадает.

Течение дня не описываю, потому что один уж очень походит на другой, погода и та не балует нас разнообразием, все стоит тепло, и только вот два дня силь-

ный ветер, да и тот очень теплый, так что весь снег съело.

Сегодня, впрочем, было происшествие с одной ученицей, причиной тому был также ветер. Она — хорошая девочка, пошла утром в школу. Дорогой ее сильный порыв ветра уронил. В это время букварь выпал из рук, и ветер подхватил книжку и унес. Сколько она ни гналась за ней, не смогла достать. Приходит в школу и, что называется, воет на всю комнату, и на мой вопрос: «Что с тобой? О чем плачешь?» — только и смогла выговорить: «Ветер книжку унес». Насилу ее успокоила, дав ей новую книгу, но все-таки она в перемену опять плакала. Потом уже ей в школу принесли букварь, в котором только корки были целы, а листочка только три или четыре, да и то какие-то жалкие клочки.

<...> Как прихожу, то вскоре после обеда ложусь и непременно засыпаю тотчас. К чаю встану с тяжелой головой. Вечер опять злюсь на своих племянниц: приходится в одной комнате с ними сидеть, а они учат уроки, слушать же их для меня пытка, а особенно надоедает Клавдия своим «плен, сено, стрел и т. д.». Вот и все так.

Не буду писать, по какому случаю предстоит ехать в Назаро́ву, а только для памяти напишу, что 21 ноября надо ехать.

6 декабря

По правде сказать, мне уже надоели заезжие гости: только хлопочи и угощай, а интереса и удовольствия ни на волос от них. Например, пришла Прасковья Федотовна, и я должна была выносить целый вечер, как она изображала из себя важную особу. Вся неделя эта выдалась такая.

Заезжала два раза скрипачевская матушка. Мамаши что-то еще нету, и сегодня получили письмо из Чебаков: Саша все еще жалуется на Машу. Что такое у них вышло? Слава Богу, папашина посылка нашлась: он, когда ехал 30-го числа на съезд в Ачинск, потерял 16 руб. денег, рясу и письма, в том числе и мои два, одно Мите, другое Анюте. Понятно, я очень огорчилась, да и боялась, они, т. е. письма, не попали бы в дурные руки, но не суждено ей было потеряться, ее нашел мужик и привез папе, папа дал ему за это 8 рублей, теперь я спокойна за письма.

Мамаша все ругалась, что я курю, а папаша взял да и купил мне в подарок портсигар. Теперь я скажу ей: «Когда сам папаша благословил меня портсигаром, то уж чего же еще».

22 января 1896 г.

Со мной случилось нечто необыкновенное: получила письмо от Ильи Ивановича Рыжова. Но почему же именно мне, а не кому другому, более близко знакомому. Неужели ему опротивели так все назаровские, признаюсь, меня немного удивляет, но, впрочем, особенно тут нечего и удивляться, это и из письма Ильи Ивановича можно видеть. Может, в Назаро́вой и есть знакомые, которым он бы и написал, но другие мешают. А впрочем, что я за судья такой и мне ли рассуждать о том и делать различные предположения. Я и вправду, кажется, начинаю проникаться здешними взглядами — нелепыми и дикими, и это меня даже пугает, нужно внимательнее быть

к себе, чтобы не прилипла наша грязь, а впрочем, я почему-то не боюсь и знаю, пока я не опошлюсь, ничто не привьется дурное. Но чтоб стать пошлою, нужно для меня очень много. Всеми этими хорошими побуждениями и стремлением к борьбе за свои лучшие убеждения я обязана своему отцу, который и сейчас для меня живой пример, и, не будь его, во мне, может быть, заглохло бы все. Очень хорошо, если и решилась, кажется, расхвалить себя, то только в своем дневнике, ну стыд мне, если кто нечаянно прочтет, как я тут превозношу до небес свои добродетели. Ну, конечно! Что я тут расхвалилась в необыкновенных качествах, которые только я воображаю в себе. Уж и это одно очень скверно, глупость, больше ничего.

Алтат, 1896 год
5 августа
Боже! Уж больше полгода прошло с тех пор, что я писала, а в сущности, и еще более: хоть и писала после, но уже не аккуратно, все как-то урывками.

1896 год
5 октября, суббота
Завтра в школе молебен. Ученье началось 3-го. Из III отделения явилось меньше половины — всего четверо и новых очень много, кажется, трое. Только II отделение почти все, но как печально и досадно, что все, что учили прошлой зимой, забыто; в особенности малыши, те, что побольше, еще кое-что помнят. Вот теперь и приходится все снова повторять — время терять, которого и на новое-то не хватает.

Сегодня навели новичков, да все маленьких, много семилетних. Плохо с маленькими: ни за что не кончить программы в 3 года. Если б начинали 10 и 11 лет учиться, тогда бы можно успеть, а у маленьких и внимания не хватает, и как неразвитые — весь лексикон у них состоит из 5 слов... С большими дело идет успешнее. Не знаю, право, как я справлюсь, и теперь все это меня очень заботит, а главное, нынче хотелось бы к экзамену, даже обязательно нужно, а они все забыли. Труд просто непосильный — заниматься сразу с тремя отделениями. Нужно, как говорится, навостриться, а у кого мало практики и знаний, запутается, подобно мне. От всех забот и неудач я злюсь на весь свет, не то, что злюсь, а и сама не знаю что. Недаром О. М. весной говорил, как я к ним приехала, что у меня появилась в лице анемия. Я о анемии не знаю, но думаю, никакой мысли в моей физиономии не стало; не знаю и того, принято ли такое выражение, ну да все равно. Всего досаднее то, что еще в прошлом году можно бы представить хоть одного к экзамену, но и того в П. отобрали. Домой придешь, так ни за что не хочется приниматься и чувствуешь себя как будто не на своем месте. Как будто я ненадолго на квартире, а потом. У нас хорошая старушка-сторож: метет полы, стирает с досок, которых в классе две, топит печи и т. д. Я с ней душу отвожу иногда. Хочу и по вечерам с ней сидеть в школе, где теперь устроила себе свою комнату: поставила стол, табурет, две скамьи для сиденья. И я их поставила в ряд, чтобы прилечь, как угорю, или так [голова] разболится, что часто случается, а также и угорать

приходилось. Ожидаем гостей: Петра Кузьмича, которого я ненавижу, и Кешу, а может быть, и Саша скоро приедет: Клашу привезет опять учиться.

17 ноября

Господи, что это случилось. Я даже понять не в состоянии, а главное, после того приема и чувства-то мои к этому человеку вовсе не такие, чтобы давать слово. Да в том-то и дело, что я теперь сама себя узнаю, свои дурные стороны. Ах, вот еще, на что я способна. Господи, какая я низкая: хотела отомстить тем, чтоб дать человеку опять надежду, и с тем, чтобы посмеяться, отомстить новым отказом, когда он уверится, что это не обман. Так ведь это низко, гадко, да этим нахала не проучишь, и только себе это, верно, я нажила неприятность: он не успел уехать, и давай по всему ачинскому округу хвалиться; да это еще ничего, а поездка моя в Чебаки еще хуже доказывает мою трусость: я испугалась, что он едет в Томск, где его адрес я не знаю, а то я хотела в Чебаки следом письмо послать. Как все гадко, скверно, и все от моего легкомыслия: нельзя так серьезно шутить и играть серьезным. Положим, я достигла цели, но это мне дорого стоит. Во-первых, я теперь мучаюсь, как я гадко поступила, пусть он навязчив и дурной человек, но это только указывает то, что и я, мстя ему, равняю себя с ним. И какой бы он ни был, а мне непростительно так поступать, нельзя быть такой легкомысленной и школьничать так, а ведь я не подумала тогда о последствиях, могло и так случиться, что я принуждена бы была сдержать слово. Да еще ведь он может по делу

П. К. Палеев
с женой Марией Петровной (Машей)

счесть, что я все это серьезно, и признаться стыдно, да ведь и действительно, кто его знает, шутка ли это была с моей стороны. Это я только сама так думаю, что против своей воли я так поступила гадко, потому что зла была, и потом, да черт знает еще почему, только одно знаю, что я его с момента его приезда к нам в день маминого Ангела от всей души презираю. Мне стыдно самой себя, я и себя презираю, да, Господи, я просто не постигаю, как могло все это случиться, и, чтобы больше не мучить себя, я не стану вспоминать и писать.

23 декабря 1896 года, понедельник

Чтобы не думать, не горевать так буду писать каждый вечер, потому что свободного времени больше вечером.

Вот у меня с писарем И. Мих. какая-то размолвка, которой, впрочем, я причин не знаю. Но легко видеть то, что он что-то дуется, и так как он слишком самолюбив и мстителен, то и немудрено. Недели две тому назад вдруг просит, чтоб устроить елку для учеников, и сам вызвался собирать на елку по подписке, обещал набрать рублей 25. Я не хотела и не думала устраивать елку нынешний год, но, видя, что он так горячо принимается, тем более что сам изъявил желание участвовать в этом деле, я, конечно, согласилась. Да и нехорошо было отказываться. Потом, как надул губки, чего терпеть не могу, лучше прямо сказать, что сердит, нашел отговорку, что потерял подписной лист, послал записочку мне в школу и предлагает попросить кого-нибудь другого принять участие. По своему обыкновению, я рассердилась больше за то, что его никто не просил браться, а если некогда, так раньше должен был сообразить, да больше-то, я знаю, что это «некогда» — одна отговорка. «Милостивый Государь И. Мих.! — писала я ему.— Вы мне премного обязаны тем, что потеряли подписной лист для елки, а другого я составлять не намерена, а тем более просить кого-нибудь участвовать. Т. Лихачева».

С тех пор Бурлев у нас еще не бывал...

Утром я сходила в школу. I отделению показала Ъ и Ь зн[аки] и распустила, но придется, однако, до 28 января заниматься: навязали обязанности счетчика [за участие в переписи населения Татьяна Петровна была награждена медалью.— *Н. Р.*].

Недавно на уроке арифметики в III отделении я спросила у Андрея Слепцова, как называются еще числа, данные для умножения, то есть множимое и множитель. Мне никто на вопрос не ответил. Тогда я им напомнила, что произведение не изменится, хоть и переменять места множимого и множителя, и из-за этой-то особенности их еще иначе называют. Тут Андрей Слепцов, подумав, говорит: «Переворотами». Мне кажется, он был по-своему прав, называя сомножители переворотами. А то еще много и нецензурных слов услышишь от некоторых, в особенности Патюкова. Когда он поступил, я не знала, что с ним делать, до того у него вкоренилась привычка ругаться гадкими словами. Я больше старалась его уговаривать добром и доказывать при всяком удобном случае, как скверно, нехорошо ругаться. Он мальчик способный и умный, понял это и старается, т. е. воздерживается, но уж привычка ругаться вкоренилась сильно, так что он еще иногда забывается, да вот недавно, но об этом я писать не буду.

<...>

Вот удивляюсь глухим ученикам, как они учатся и учатся хорошо, только с ними много не порассуждаешь. Их у меня два, один уж теперь не учится. Задача всегда решена, да и вообще, что ни спроси, он все знает и ответит, только уж никогда не объяснит, почему это так, может, потому, что для них тяжело много говорить. Им никто не подсказывает, они как-то сами ухитряются хорошо учиться, конечно, не очень хорошо-то, что объяснить не умеют. Первый писал худо, а этот лучше всех пишет в I отделении, почерк, кажется, будет хоро-

ший. Всех бы мне их хотелось на память себе описать, но... да я и напишу.
<...>
Завтра мне много работы. Пожалуй, благочинный еще приедет. Вот носит его! Любуюсь на подарок Мити — Лермонтова.

25 декабря 1896 года, среда
Ну как я буду писать о чем-либо постороннем, когда даже думать-то о том не могу?
Сегодня, например, я получила нечаянный интерес и столь неожиданный, что и одуматься-то не могу. Нет, так мне и надо, да еще и мало: не води знакомства с подлецами.
Еще только сегодня я узнала, что Бурлев хотел меня выгнать со своего вечера, но, слава Богу, он не посмел, но я одного этого намерения не могу вынести. Я ему ни за что руки не подам и прямо плюну в рожу или назову подлецом. Этого нельзя пропускать так, а то, пожалуй, подашь и другим повод к тому же.
Как-то в начале сентября мы ходили по сакмалу гулять компанией: я, Бурлев, Калинин, Вера Павловна, Любовь Павловна Андреева. Когда шли назад, то начали швырять друг в друга прутьями. Вера и Любовь отстали, то есть швырянья в них прекратили, а меня еще все продолжали атаковать. Я обозлилась и начала швырять в них чем попало. Потом уж говорю им: «Не стоит позволять себе шуток с мужиками». И тем дело кончилось. Я этим словам не придавала оскорбительного смысла, хоть, сознаю, что они вышли резки и при других обстоятельствах очень хорошо могли задеть за живое. Назвала я их мужиками в том смысле, в смысле их физической силы, что я, как женщина, с мужчиной не справлюсь, а тем более с двумя, и мне же больше достанется, но я в том опрометчиво поступила, что сразу этого не объяснила. Конечно, как сама не думала оскорбить, и последствий не предполагала. А именно то и вышло, чего я не предполагала: Бурлев понял мои слова в буквальном смысле, т. е. что я их назвала мужиками. Он сразу и виду не подал, вместо того чтобы объясниться, а затаил злобу на меня, вскоре же, кажется, дня через два, приглашает к себе в гости с тем, чтобы танцевать.
Я, ничего не зная, иду к нему с Кешей и Машей. Но начинаю замечать что-то странное. Калинин говорит мне и не один раз: «Я Вас жалею, Т. П., и удивляюсь, зачем Вы здесь, Вас хотят оскорбить»,— а писарь пьет, не переставая, водку, чего с ним никогда не случалось. Меня все это крайне удивило, хоть и не знаю ничего, а все-таки собираюсь уходить, да и неловко уходить ни с того ни с сего. Прощаюсь, начинаю одеваться, а Бурлев удерживает и другие, и довели до того, что я опять остаюсь, недоумевая, в чем дело. Немного погодя, Кеша вызывает меня в другую комнату, говоря, что Бурлев просит меня на несколько слов. Прихожу, Бурлев начинает объясняться, что, дескать, так и так, Вы меня оскорбили. Тут я объяснила ему, в каком смысле я сказала это, он убедился моим словам и извинился передо мной. И вот сегодня узнаю, что он с тем намерением меня приглашает и вечер устраивает, чтобы выгнать меня... И это все за то, что я снизошла до них, что от меня, кроме добра, ничего не ви-

дели, что старалась и их как бы поднять до себя. Да мало, нужно было ведь предполагать, что они на самом деле мужики, да еще низкой пробы, а я об этом-то и забыла, а может быть, это оттого происходило, да так и есть на самом деле, что раньше мне не приходилось иметь сношений с кавалерами подобного сорта, потому я так доверчиво и хорошо относилась, не подозревая в них ничего дурного и считая их за порядочных людей.

Боже мой! Что же Митя ничего не пишет? Это мне хуже всего. Здоров ли? Неужели, о Боже! Нет, я не хочу верить, чтобы он оставил без ответа моих писем, неужели он не поймет меня? Неужели не видит, что я одного его люблю? Неужели я бы стала откровенно ему писать, если б не питала к нему уважения и считала бы его только выгодным женихом? Не могу я его обмануть и мирюсь даже с отказом с его стороны, только не это холодное молчание, которое выражает презрение и убивает окончательно меня. Я до того уже дошла, что подозреваю немного писаря во вскрытии моих писем, хотя ему нет надобности так поступать.

А просто увидела, какой он дурной человек и на что способен, ну и нахожу причины. Боже! Дай мне силы и терпения. Этот случай помог мне оценить Митю и еще больше любить его.

8 февраля 1897 года

Третьего дня получила от Мити два письма, а сегодня видела его во сне: будто мы с ним собираемся куда-то ехать по железной дороге. Поезд скоро отходит, и Митя надевает на ходу шинель, чтоб идти за билетом на вокзал, а идти до вокзала версты полторы, у меня же ничего не готово. Когда Митя ушел, то я начинаю ужасно торопиться зашивать какие-то два чемодана и все не могу зашить, досадую, что не могу, боюсь опоздать и на Митю сержусь, что не предупредил об отходе поезда да не помог мне приготовить чемодан. Ужасно волновалась, страшно было, что я могу остаться, а он уедет один. Наконец он вернулся и рассказывает, что ссорился с кем-то на вокзале, а пассажиры третьего класса сказали про него: «Если он вернется, то мы его наругаем». Говорит, сам смеется, а я довольна более тем, что он тут, а не тем, что удалось взять билеты, мне вовсе и ехать-то не хотелось, а только чтоб Митя тут был.

11 февраля 1897 года, вторник

Много есть чего написать.

Сегодня нечаянно против обыкновения приехал областной наблюдатель. У нас начался первый урок. Папа ушел с третьим отделением в другую комнату, чтобы мне не мешать заниматься и ему чтобы тоже не мешали. Я не видела, как он (наблюдатель) прошел, и занимаюсь себе, потом ребята пришли в класс и уселись, перешептываются, но это меня не удивило, думала, что это пришел мужик к папе, поэтому дала третьему отделению работу, а сама продолжаю заниматься. Но потом почему-то меня вдруг любопытство взяло, что папа не ушел из школы, а ребят отправил от себя. Пошла туда и вижу, сидит Смиренский, наклонившись, что-то пишет, волосы у него рассыпались, как грива, и лица не видно, да поэтому-то он меня и не видал, а я воспользовалась этим и ушла к

себе преспокойно, не поздоровавшись. Странно, я раньше боялась, когда узнавала, что придет наблюдатель, а тут нисколько, только неловко было, что у нас в школе грязновато. Со мной любезен, с ребятами строжился, что руки грязные да тетради вверх ногами пишут. Руки мыть я их уж снегом заставляла, но и это не помогает, просто беда с этой грязью.

Завтра пойду на свадебный вечер к Елизару Прохоровичу. Он женит сына Петра, берет невестку из Солгона. Венчать будут с певчими.

<...>

А вечер, вечер-то какой будет, с музыкой и не по-крестьянски, молодые будут присутствовать на вечере, а то ведь у них иное обыкновение. Я все хочу как-нибудь описать здешние свадебные обычаи и обряды, да боюсь, что ничего не выйдет: не знаю песен и так-то еще не все знаю.

16 июня, понедельник

Прескверный был вечер у Елизара на свадьбе. Грязь и теснота — вот что сильнее всего бросалось в глаза. Не хочу говорить, что так же было, как у Савелья на пирушке,— Григоровича. Молодые и поезд — все сидели за столом. Изба была полна народу, так что мы едва могли пробраться в следующую комнату, но какой вид имела эта вторая комната! Пустые бутылки по окнам, на кровати и по лавкам навалена одежда поезжан и других гостей, везде сор и беспорядок, тут и стол с самоваром, и чайная посуда — одним словом, эта комната никак не могла служить для гостей. Из толпы, которая наполняла первую комнату,

Ф. Г. Тарасов (муж Анны Петровны)

выступили две женщины и принялись величать бояр охрипшими голосами, а все песни выходили на один мотив. За это они получили от бояр и других гостей мелкую медную монету.

А все-таки я во все время этой свадебной гулянки принимала участие.

Вчера прогостила Вера день в Алтате, чему я очень рада была, хоть сходили гулять к Чулыму. А то и гулять не с кем. Мама и Петр Кузьмич уехали в Красноярск. Я бы, конечно, могла ехать с мамой, но главная причина: у Нюрочки глаза болят, да боюсь, что Фатюша [Ф. Г. Тарасов, муж Анны Петровны, преподавал греческий язык и латынь в духовной семинарии.— *Н. Р.*] еще выгонит, пожалуй, ведь он интеллигентный господин, а такие люди, когда справедливо негодуют и возмущается их благородная душа, способны и выгнать, не то мы, возмутительные, мы трусим и

не то что выгонять и противоречить боимся, да и не хочу доводить человека до подобной глупости, а унижаться, т. е. не противоречить, я не могу. А Анюта все-таки не пишет, догадываюсь, что это его настояние. Вчера мы проиграли в карты до 11 часов у Маши, поэтому пришлось ночевать там, а сегодня голова болит и скучно, противно. Начинают красить ограду, только ворота еще не готовы. Сильно заботит и озлобляет меня постановка школьного дела. Во сне часто вижу я эту школу. Противно и досадно. Так бы и разорвала эту тетрадь, изломала бы ручку и все, что ни попало. Ах, как все глупо, и больше всего я сама.

<...>

30 июня, понедельник

Нет мне радости,
плакать хочется.

Неужели в Алтате ничего нет краше и лучше сплетен. Хочешь сделать добро, но, положим, это еще не горе, что не хотят понять да не ценят стараний, это, думается, со многими бывает. Пусть высказывают недовольство, что в здешней школе не выучиваются, но я знаю, что не я тому виной и т. д. Мирюсь с этим, потому что не я одна, может быть, терплю подобные неудачи. Но сплетен не выношу. Я хочу жить и поступать, как хочу. Отчет никому давать не буду, не хочу подчиняться алтатским правилам и понятиям. Если у меня есть потребность развлечься, нахожу человека, с которым можно хоть поболтать, то для святош не пропущу случая удовлетворить себя хоть болтовней. Хотелось бы что-нибудь получше написать, вижу сама, что нехорошо всегда так думать и писать. Но что же поделаешь, когда нет здесь ничего лучше, все оглупели, отупели и тоже, конечно, иногда досадуешь, рвет тебя сожаление и досада, кажется, на части, а то найдет отупение, так уж ничего не чувствуешь и даже боишься уж людей, начинаю дичать окончательно.

Вчера папа именинник. Целый день накануне готовили, думали, что хоть кто-нибудь придет, а никого, а мне досадно. Думаю, и наплевать, когда готовится и нет никого, и, наоборот, своих угощала обедом — вышел на славу, все прекрасно удалось. После сели играть в винт и играли до одиннадцати часов. Сегодня, конечно, прибирала все. Не хочется писать. Вспомнила, что есть хочу, а взять негде, ну хоть печенье возьму, в голове все-таки шумит и звенит.

Ну вот и покушала. На дворе кто-то возится, воротами кто-то стукнул, прошел, а я боюсь, и маму будить не хочется. Да если б кто чужой, то хоть одна бы собака залаяла, а то молчат, а я все-таки трушу. Недавно на улице спала и напугалась: упала с крыши жердь — кони уронили,— а я думала, кто ходит. Сегодня на улице холодно и очень сыро после дождя, поэтому перебралась в комнату. До Петрова дня была такая жара и духота, что на дворе спать невыносимо жарко было. Анюта хочет к 10 июля приехать. Какой красивый лимон разросся, прелесть, листья какие громадные, ветви редкие и так красиво раскинулись во все стороны. Наконец, в зале пол выкрасили. До завтра.

П. Я. Нечаев, 1890-е гг.

А. Я. Нечаева, урожд. Беляева, 1890-е гг.

2 июля, среда, 9 часов вечера
И спала, спала весь день.
<...>
Не верится мне что-то тому, что мы с Митей сойдемся, хотя препятствий никаких сейчас пока не предвижу, а так просто думается. Да смешно еще как-то. Не могу себя представить без смеха его женой. А жить тоже будет плохо: он будет ворчать на меня, а мне будет смешно, или я буду злиться и капризничать, он же будет подсмеиваться, что и раньше устраивал. Хладнокровием и сдержанностью он сильнее всего будет мучить меня, а я его — своими порывами и горячностью. Отчего я сейчас мучаюсь? Кажется, ясно, что спокойствие и тишина более всего для меня мучительны. Не столько пишу, сколько старое перечитываю. А кто знает, может, и я буду более спокойна, когда буду довольна своим положением, хотя и будут порывы, но все-таки не так, уж не будет, я уверена, того исканья выхода из своего положения, а сейчас я вглядываюсь в замужних женщин и, право, становится досадно. Видно, что они очень довольны своим положением, ничего не ждут, ничем не интересуются, сидят, как лягушки, в своем болоте, разве когда выйдут на бережок поквакать — осудить разве кого да посплетничать. А мне противна подобная жизнь, это спокойствие и эгоизм, он высказывается во всем. Стану звать свою сестрицу гулять — нет, куда тебе, не хочет понять, что мне тошно уж просто, ну поневоле уж идешь с кавалером, хотя знаешь, что эти же счастливые существа начнут о тебе злословить, хотя сами отказали в этом удовольствии. А спутник-то, т. е. кавалер-то, все один и тот

же: вот и чешите свои языки, сколько кому угодно, да и, кстати, он плохо с женой живет, значит, что же еще надо, а никто не знает, что если б был один человек, то... все здешние аристократы получили бы немедленно отставку.
До завтра, может быть.

Кто, читая этот дневник, не поверит моим жалобам на скуку и неудовлетворенность, подумает, что я преувеличиваю, тот тяжко согрешит, лучше пусть бросит и не читает. Я, напротив, еще сдерживаюсь и стараюсь не писать да и не умею написать верно, что чувствую, переживаю, что тут одна сотая доля только. Если есть хоть малейшее развлечение, так я как утопающий за соломинку хватаюсь, стараясь хоть на минуту забыться, и иногда удается.
<...>

3 июля 1897 года, четверг,
9 ч. вечера
Что же мне теперь и остается — только писать дневник. Читать мне нечего, а со злости ничего не выписываю, да и не знаю, что выписать, хочу нарочно одуреть хорошенько. Сегодня мама, разбудив меня в 9 часов, предложила: «Не желаешь ли стирать белье?» Ну как откажешься от такого лестного предложения? Ну, конечно, стирала до 2 часов и на речку ездила белье синить. Часов с 4 играли в винт с Калининым и Григорием Николаевичем. Была Маша, я ей играла на гитаре. Спать не хочется, а писать нечего, читать тоже надоело, право, все писать-читать, читать-писать, а поговорить не с кем.
Хоть бы письма скорее дождаться. Долго ли я еще буду бороться? Неужели старики не понимают, что такая жизнь тяжела. Маме все только: работай, думает, что мне все лень. Да разве возможно так работать, что пользы в этой работе. А папа зимой удружил: «Если не можешь вдовство переносить, то иди замуж». Тоже, значит, понял, да видно из всего этого, что им непонятно мое положение. Им непонятно, что я каждый вечер с 9 часов от скуки, когда полягут все, не знаю, что делать, куда деваться, а есть чтение, то огонь туши, что напрасно жжешь. Погасишь этот несчастный огонь, хоть и не хочется спать, а почитать бы, и лежишь с открытыми глазами, чего только не придумаешь, а все ничего не могу выдумать. Теперь вот уж три дня сплю в зале, дверь затворена, и огонь могу жечь, сколько угодно.
Не знаю 2-е сегодня или 1-е, кажется, второе: второе, третье, четвертое.
«Хорошо было детинушке сыпать ласковы слова» — разучиваю на гитаре, а самоучителя все нет.
Никакого почерка, одна гадость.
Читаю: «Игры действительные и воображаемые».

6 июля, воскресенье
С утра болела голова. Проснувшись и посмотрев спросонок на часы, увидела, что уже 9 часов, и благовест слышу, думаю: к обедне, поторопилась встать, но, оказывается, было всего 5 часов и благовестили к утрене, только еще прилечь уж не пришлось.
Обидно, но едва простояла и, придя домой, не стала чай пить, легла. К 14 ч. приехал Кеша: у него украли лошадь, ездит,

разыскивает. Жаль и мне такую лошадь, настоящий огонь и рысь хорошая. Немного погодя, подъехал благочинный, только у нас не был, прямо в церковь, а затем к псаломщику, с папой идет раздор. Наконец-то получила жалованье 20 р.

Вчера работала целый день: мыла полы, прибирала в комнатах, чистила самовары. Может быть, оттого и хворала сегодня, хоть говорит мама: «Работай, так, может, здоровее будешь»,— а я чувствую совершенно наоборот.

Что-то реже стала получать письма от Мити. Хотела дождаться от него письма и потом уже отвечать, но мне не терпится, напишу.

7 июля, понедельник. Алтат

Не хочется и писать-то.

<…>

С сегодняшнего дня постараюсь не высказывать, что у меня на душе, то есть не в дневнике своем. Нет, дневник — это моя подруга, которая всегда с сочувствием меня выслушивает. А Мите не стоит надоедать, я вижу, ему надоело мое нытье, да он все равно и не поможет, так что же напрасно ему надоедать. Отчета в прожитой жизни никому не буду давать. Спасибо Наташе, хоть сочувствует и желает советом хоть помочь. Но, пожалуй, все напрасно. Я сплю, засыпаю.

Уж ты плачь ли, не плачь — слез никто не видит.

9 июля 1897 года. Алтат, 10 ч. вечера

Кто на море не бывал,
Тот и горя не видал
И досыта Богу не маливался.

Пришлось встать в 6 часов. Папа едет в Ачинск и уж у Палеевых, а у меня поручения туда. Мама забыла меня разбудить вовремя, пришлось торопиться, бежать туда, ну и то хорошо, хоть застала. Была поденщина сегодня в 10 человек: косили. Варили шоколад, только не совсем удачно. Дома были я, Нюра моя и Иванова, да еще днем пришла Фета и пробыла до вечера. Папа, Петр Кузьмич, Гордевна и Берниковы уехали сегодня в Ачинск. Мне хотелось ехать, но тяжело лошадям, если приедет Анюта, и тесно сидеть будет.

Сегодня сильно напугалась. Буду Мите писать, видно от него еще не скоро придет. А теперь его письма отличаются от прежних.

Не так рассудили старики!

<…>

7 ноября 1897 года

Вот и праздник завтра наш алтатский храмовый — Михаила Архистратига. Мама хочет завтра ехать в Скрипачи на ярмарку. Конечно, не за тем, чтоб продавать что-либо или покупать, а просто в гости к батюшке. Я так удивилась, что и меня мамаша звала с собой, но я, несмотря на такую честь, все-таки отказалась. Не хочется, неудобно Нюрочку и Олю без присмотра оставить.

Настроение мое? Мне все равно. Тревожусь, что от Мити нет долго письма, хотел вскоре послать подробное письмо и откровенное, но и до сих пор нет. Ни карточек, ни кофты, ни черта нет, просто досада.

<…>

К чему все это писать, и так нерадостно, да вспоминать еще минувшее горе и страдания, только... А как переживешь да вспомнишь, то кажется, что через это пережитое делаешься чище, лучше. Хорошая школа.

Есть у меня предчувствие, что мои мытарства не кончены и будут, пожалуй, продолжаться до конца моего существования, по пословице: одна беда и другую накличет.

13 декабря, Алтат, 1897 год

Часто слышишь, жалуются наши интеллигенты на скуку в деревне, да и сама я того же мнения была раньше, т. е. что в деревне, кроме скуки, ничего не сыщешь, теперь же думаю иначе. Правда, что в глуши трудно жить привыкшему к городской жизни, да притом еще слабому характером. Если будешь стараться, по возможности не для себя только, то забудешь скучать, только не совсем. Лучше б было, если б хоть один человек был, который мог разделять твои взгляды и понятия. Я только в этом чувствую недостаток. Например, я мечтаю, чтоб в нашей школе было две учительницы, другая была бы старшая, более знающая и опытная, могла бы руководить мною и помогать мне добрым советом. Я бы всей душой полюбила ее, старалась единодушно с ней действовать на пользу общего блага и не подумала бы скучать.

14 февраля 1898 года

Вчера я испытывала такое сильное чувство одиночества, какое испытываю очень редко.

До того было тяжело, до того невыносимо, что я, чтоб не выдать себя, легла поскорее, но, несмотря на страшную усталость и слабость, я долго не могла заснуть. Думала, что слезы облегчат меня, но вышло наоборот. И сегодня скверно, какая-то пустота, словно кто помер.

Неужели в жизни все так, неужели для того находишь, чтоб потерять. Нет, мне не себя больше жаль: я еще могу найти утешение, хоть сейчас тяжело и больно. Если б хоть мне понять, что это такое: ужас, ужас! Хотела вчера писать, да с отвращением вспомнила...

Купила вчера себе лошадь за 33 руб., рыжей масти. Буду кататься сейчас и летом верхом, только седло еще нужно купить.

Все проходит.

А все-таки уверена почему-то, хоть и не хочу этой веры, не нужна мне она, но, и помимо своего желания, я уверена, что когда-нибудь должна встретиться.

1898 год

Должно быть, в понедельник или во вторник, на Масленице, я видела сон: пришла в баню, разделась и вдруг вижу, что у меня на груди выросли две другие руки, маленькие, как у Нюрочки, такие же пальчики тоненькие, длинные и нежные — не все руки, а только кисти рук и сложены одна на другую. Как наяву ясно видела я этот сон, как стояла и с удивлением и страхом рассматривала подобное уродство.

1898 год, 11 апреля

Одна надежда мне светила,
и та надежда стала сном минувшим.

Сегодня решила писать то, что хочу до конца моей жизни помнить. Но ранее этого дня, хоть и намеревалась писать, но не могла собраться с силами. Теперь же я немного спокойнее чувствую себя. 1898 года, 22 февраля, воскресенье первой недели Великого поста, в 9 часов вечера Нюрочка, моя радость и утешение, ушла от нас в лучший мир, прожив 8 лет, 2 месяца, 21 день, 21 час. Господи, Ты мне послал горе, Ты же и утешение пошли. Всю последнюю неделю перед масленой был у Нюрочки жар по ночам, днем же она была совершенно здорова. Особенно памятен вечер один. Был Петр Кузьмич у нас, присел поиграть на гитаре и что-то грустное играл, но она упросила его сыграть, чтоб ей с Олей потанцевать, и сколько времени кружилась с Ольгой, так что Оля уже устала и вообще не захотела продолжать. Но моя девочка до того развеселилась, что и нас всех воодушевила и меня вызвала, и я сколько-то времени с ней плясала. И только, когда у дяди рука устала, так она унялась. Нас всех удивило ее сильное веселье, такого я в ней не замечала раньше, словно чувствовала, что последний раз. Не соглашалась с доводами дяди, что он еще завтра придет и опять будет играть. Всю Масленицу она была здорова или казалась здоровой, только последние дни стало заметно, но еще в пятницу я с ней съездила в Акатку и в Захарьинку, и она ничего была, только, приехав оттуда, сейчас же, не раздеваясь, поехали кататься. Я и не хотела ее взять, но она заплакала, и мамаша пожалела ее, и я взяла. Тут-то она, должно быть, и простыла совсем. Субботу и воскресенье я уже не брала ее

Нюрочка, 1891

кататься. В воскресенье вечером я поехала за ней к Маше, но она попросила оставить ее ночевать там. В понедельник ее привел работник Петр домой, но меня не было. Когда я пришла из школы, она лежала на бабушкиной кровати. Увидела меня, смеется и шепотом говорит мне: «Мама, у меня голосу нету»,— а сама улыбается. «Ну,— говорю,— вот пьяные бабы гуляют на Масленице, поют песни, да и потеряют голос, вот и ты, видно, подгуляла немножко да и потеряла голосок»,— а самой так что-то жаль, да и до этого все было что-то жаль: и поет она, играет, веселится, а я все с жалостью на нее смотрю. Я сразу предположила, что у нее коклюш, так как сделался кашель. Хоть и сухой был кашель, но стали ее поить салом с горячей водой, и явилось

сильное откашливание мокроты, но ходить не стала с понедельника вечера, все лежала, как бы дремала. Как мне жаль было ее, что приходится оставлять, уходить в школу, а тут еще поститься нужно было, так что из церкви в школу, а потом, немного погодя, опять в церковь. Но чтоб я что-либо серьезное предполагала... Если б Маша не посоветовала, то я бы, пожалуй, сама не догадалась обратиться к фельдшеру — до того меня школа, забота и пощенье отвлекло и как бы ослепило. С понедельника до пятницы она почти в одинаковом положении была. В пятницу после обедни я собралась в Назаро́ву исповедоваться и привезти фельдшера. Подошла к ней: «Прощай, Нюрочка! Жди, я скоро приеду». Она же ничего не сказала мне, только молча ответила на мой поцелуй. Приехав из Назаро́вой, я опять ушла к вечерне, а фельдшер обещался вслед за мной приехать. Часов в 8 приехал и фельдшер, выслушал, осмотрел, но ничего не сказал, и тут я не вразумилась. Боже, зачем я так ослепла в то время? Зачем я ничего не заметила? Он обещался ночевать и наутро опять побывать, а я, глупая, вот что подумала: что подействовали деньги, полученные им с винта, и заставили его быть внимательным, не вразумилась же тем, что он остается в Алтате ночевать из-за Нюрочки, значит, серьезно. А просто мне хотелось, чтоб он был как можно внимательнее к больной, так как я ему не слишком доверяла. Не то чтоб его знаниям не доверяла, а боялась, что он будет невнимателен к ней. Нюрочка пред тем заплакала, что вот фельдшер будет ее осматривать и даст ей горькое лекарство. И нужно было видеть выражение лица ее, чтоб увидеть, что она переживает в эту минуту. Я встала у комода, против кровати, а ее поставили на ножки, чтоб удобнее было выслушать грудь. Она во время выслушивания смотрела на меня, как бы просила у меня защиты, а я же отошла к комоду, чтоб не мешать фельдшеру и уступить место маме, но этого взгляда мне не забыть. Ночь она провела спокойно. В субботу, когда я пришла от обедни, фельдшер уж был у нас. Нюрочка была в одном положении: разговаривала, ела бруснику. Он долго пробыл у нас. Потом я поехала к Маше, куда и наш медик пришел. К вечерне я сходила. Вечером подали слабительный порошок, с него Нюрочку прослабило, и тут она в последний раз откашлялась. Легла с бабушкой, как и раньше. В воскресенье просто тяжело было мне оставить ее одну, чтоб идти в церковь, но мама стала посылать меня, и я пошла. А уж как пришла, так она меня до самой смерти не отпустила, если выйду за чем на минуту, то она сейчас же начинает звать: «Мама, мама, скорей! Ой, мамочка, скорей идите!» После обедни за папой приехали: в Захаринку к больному, и он уж стал собираться. Я стала говорить, что Нюрочку надо исповедать и приобщить. Мамаша же посоветовала дождаться, пока папа приедет из Захаринки. Но Нюрочка мне сказала: «Мама, мне тяжело сдыхать». Тут уж я попросила папу сначала исповедать ее. Приготовили подушку на диван в зале, и я перенесла ее туда и положила. Бедная моя девочка, как молилась, крестилась своей худенькой ручонкой, смотрела как на иконы!

После, как мы с папой стояли у ее гроба, он долго смотрел на нее и сказал, стараясь подражать ее голосу: «Птичек ловила, маму да бабушку не слушалась». Это она говорила на исповеди. После исповеди начались ее страдания. Не могла уж найти себе места, то на две подушки ляжет, то вовсе без подушки, то поперек кровати, то на бабушкину кровать, то в зало ее унеси: «Мама, опять положи меня на диван»,— то к дедушке на кровать, но туда уж ее не понесла, говоря, что, Нюрочка, тебе и там, милая, будет неудобно. Она мне ничего не сказала на это. То на руки.

Боже мой, чего бы я не дала, чтоб она так не мучилась. Часу в первом она выразила желание посидеть в теплой воде, а тут как раз подошла Маша и разбранилась, что не сейчас же исполняется ее желание. Стали готовить ванну, то да другое и прошло с час времени прежде, чем ее посадили в ванну, но она и полутора минут не сидела, ей стало в воде тяжело. Я ей стала мочить голову, но она замахала рукой, чтоб я не мочила голову: «Не надо мочить голову!» Но я уж замочила. Из ванны обернули в одеяло и так положили, чтоб пропотела. Но поту не было, а просила, чтоб ее раскрыли, что ей жарко, тяжело, но я боялась, так она ручкой машет под одеялом, чтоб хоть немножко избавиться от жара. Петр Кузьмич увидал и показывает мне, улыбается. Мне жаль было это видеть, и я раскрыла ее, переменила рубашечку, хотя и та, что на ней, была сухая. Все говорила: «Зачем намочили голову?» Даже от кровати до стола не отпускала меня чаю напиться. Взгляд ее как бы говорил: «Мама, ведь уж не-

Татьяна Петровна с дочкой Нюрочкой

долго нам с тобой видеться!» Господи! Как тяжело писать о всем этом. Чем ближе к вечеру, тем хуже становилось. Часа в 4 принесли от фельдшера мазь для груди и йод. Раньше терпеть не могла лекарств, а тут все сама просит: «Мама, мажь мне грудь! Мажь йодом горло! Ох, тяжело, захватывает, сдыхать тяжело!» Господи, нужно было все это видеть, чтобы понять ее мученье. Часов в 8 я начала просить маму, чтоб послали скорее лошадей в Назаро́ву за фельдшером, так как видела, что ей все тяжелее становится. Минут за пять до беспамятства ее я вышла в кухню, чтоб намочить горячей водой голову,— угорела еще с утра,— так она постановила бабушку: «Пошлите маму скорей, да пошлите же скорей!» Мамаша ей сказала: «Разве ме-

ня уж, Нюрочка, не любишь?» — «Нет, люблю,— а сама так и торопит: — Бабушка, Нюра, пошлите маму скорее». Я пришла, и она мне велела держать бок. Потом привязала к горлу ромашки и пить дала, опять я ее взяла на руки, но она сейчас же опять на подушку запросилась. Отвязали ромашку, и тут-то она в последний раз внятно три раза сказала: « Уж замучили вы меня совсем». Потом отвернулась к стене. Мамаша хоть и велела запрячь лошадей, но велела подождать у Петра Кузьмича, пока не пошлет сказать, ехать или нет, так как уже много видела подобного и решила: если хоть немного лучше будет, то послать, а иначе только к покойной привезет его. Еще несколько раз просила Нюрочка пить, но уж плохо выговаривала слово «пить», а потом я уж только догадывалась, чего она хочет. Несколько раз переложили ее, давали с чайной ложки воды, но уж она назад выливалась. Тут мною уж совершенно овладело отчаяние. Пошла я в зало, упала на колени пред иконами, заставила и Нюру с Олей молиться, просила и папу, и он пошел в кабинет, молился там. Со слезами в отчаянии молилась я, но в пословице говорится: вскоре Бога не умолишь. Только тут я сознала и поверила тому, чего не сознавала все время и не хотела верить. Приду, посмотрю на нее и опять еще сильнее начну молиться. Наконец, мама позвала меня, чтоб я ее перекрестила. Я ее три раза перекрестила и надела свой крест, так как вспомнила, что на ней креста нет. Потом подошел папа и благословил ее. Что всего тяжелее было, так это то, что мне казалось, она все чувствует и слышит, а это хуже беспамятства. Села я возле нее (боялась, что она умрет, когда я в зале буду), называла ее ласточкой, Нюрочкой, просила, чтоб на прощанье хоть что-нибудь мне сказала, но ничего не дождалась, только мучилось мое дитя, уж не до разговоров ей было. Так страшно дышала, рот сильно так раскроет и страшно и изо всех сил набирает воздух, и опять то же, и все реже начала дышать и меньше открывать рот, а то разинет рот, сколько только возможно, а тут начала все меньше и меньше. И наконец, в последний раз едва заметно вздохнула. Мне все хотелось ее переложить поудобнее, но мне уж не дали ее тревожить, говоря, что это, пожалуй, повредит ей, и она тогда будет долго и ужасно страдать. Да если б допустили меня до этого, т. е. позволили, то я бы схватила ее на руки и начала бы бегать с ней по комнатам. Бедная, пока она часовала, так сгорела восковая свеча, маленький огарочек остался, и я его спрятала. Обмыли. Какая она худенькая, тоненькая, беленькая стала. Все ничего надели: и рубашку нашли, и лифтик, и панталончики, и юбочку, а платьице пришлось надеть не новое, хотя оно и розовое и еще хорошее, но уж маловато ей стало, да и гладила его тут же. Было у ней красное кашемировое платье, да не посоветовали в красном положить. Понесли мою Нюрочку в зало на столы.

Каково мне было это видеть, не сумею объяснить. Я не хотела уходить оттуда: все боялась, что наутро у нее застынут губки и щечки, и я не узнаю своей девочки, все хотела нацеловаться, но не случилось того, что я предполагала. Тельце вовсе не застыло и даже весь тот

день, а лицо и все время было, как живое, и целовала ее, как живую, даже боялась, что она жива, и накануне похорон вечером прикладывала к губам и носу стакан. Вот тут-то папа и сказал мне ее грехи, ввиду того, что она не изменилась, а, напротив, лежала такая красивая, серьезная, что я живую ее такой не видела. Да разве на ней тяжкие грехи: «птичек ловила да маму и бабушку не слушалась». «А без спросу брала?» — « Нет».

Когда я вышла из зала после того, как Нюрочку положили на столы, тут-то меня и взял угар, думала, что и сама замучаюсь. Бабушка Лозовиха все горячей водой мне голову обливала, только тем и облегчала немного. Не помню, как уснула, но проснулась, еще темно было. Проснулась, мгновенно села на постели и со страхом начала соображать, что что-то ужасное случилось. Хоть и все до малейшей подробности помнила, что произошло с вечера, но как бы не могла сообразить, ужасно ли то, что случилось, как бы ум помутился у меня. Но, наконец, пришла в себя, и тут страшно заболело у меня внутри, как словно кто выпячивает у меня из груди сердце. Если б это физическая боль была, то ее сравнительно легко перенести, но тут такое невыразимое горе и страдание, что я начала стонать, потом кричать, всех разбудила, руки, как и вчера, онемели опять, потом явились уж слезы. Только и переставала немного тогда, как убирали стол и вокруг стола цветами Нюрочку. Какая милая лежит, не могла я определить все три дня выражение ее лица, оно мне казалось и строгим, и ласковым, и серьезным, и радостным. Веселое и в то же время серьезное лицо. Как выразить? Одно знаю, что всего тяжелее, когда подойду к ней, начну всматриваться и знаю, что это моя Нюрочка, которая недавно бегала тут, разговаривала со мной, всегда была веселая, ласковая, говорунья, все шутила недавно со мной, еще на Масленице подала мне бумажный кошелек из-под конфект, предлагая взять конфекту: «Мама, хотите конфект?» Я засунула руку в кошелек, а там нет ничего, а она стоит смеется и от смеха не может говорить. Почему такая серьезная, красивая? Начинаю называть ее: «Нюрочка, милая! Поговори со мной! Отчего молчишь?» Начинаю громче звать ее, трогать ей ручку, целовать, но все ответа нет. Тогда уж прямо кричу, сколько силы есть: «Нюрочка! Нюрочка!» Начинают руки неметь, и уводят меня от нее. «Нет, я не верю,— говорю им,— что она мертвая, ведь живая, да не хочет говорить со мной».

Утром ученикам сказала бабушка Лозовая, и они всей гурьбой прибежали к нам. Ох, как тяжело их всех видеть было без Нюрочки, этого я тоже не могла видеть, да и они все навзрыд плакали о ней. Я не могла смотреть на любимицу Нюрочки — девочку Сашу. И все три дня ребята все бегали и плакали. Третье отделение остались читать по переменке Псалтирь. Потом стал народ приходить и все знакомые. Днем ни на минуту не перемежался народ. Я сначала ничего, а потом негодовала, что не дают мне побыть наедине с Нюрочкой. Только вечерами удавалось мне это, да и то на минуточку только, а то все караулили и не допускали оставаться одной. Одну

старуху так выгнать хотела: заведет такие разговоры, что я прямо выносить не могла. Просила маму как-нибудь увести ее из зала, чтоб хоть не слышать ее. Петр Кузьмич ездил в Назарову, чтоб купить на обивку гроба и ботиночки да пригласить о. Николая на отпетие. Но ни того, ни другого не нашел, а о. Николай пообещался. Хорошо, что хоть здесь нашлось все, что нужно, а то я не знала, что и делать, так было жаль, жаль. Гроб был длиною два аршина. Обили его розовой материей. Накануне похорон положили Нюрочку в гроб, я почти не помню этого, нет, все помню, только что-то такое было, из-за чего увели меня из зала. Вечером опять в гроб положили цветов, на крышку положили восковое дерево, которое походило на плющ, прикололи к платью белый цветок ей. Эту ночь я сходила с ума или недалеко от того была. Пока Лозовая сидит у кровати и смотрит на меня, так я еще хоть и ложусь, и сажусь, и места не могу найти, но все-таки лучше, но, как отойдет, я опять начинаю дрожать, стонать и так далее. Предыдущие вечера то же самое было, хоть и в меньшей мере. Утром я старалась сильнее всмотреться в лицо Нюрочки, запомнить все черты лица. Обнимала гроб, целовала ее и страшно боялась, что скоро приедет о. Николай. Должно быть, в 10 или в 11 приехал он. Я в окно увидела, что он въезжает в ворота. Господи! Сейчас, сейчас скоро унесут навсегда мою радость, мою жизнь! Кричала во время литий, что не отдам, ни за что не отдам Нюрочку, она моя, угрожала как бы, но в душе сознавала, что сделают по-своему, и от этого еще хуже было. Держалась за гроб, не давала, но и меня крепко держали, уговаривали, просили. Хоть обидно, а отпевание прошло обыкновенно, как бывает, если смотреть со стороны, но я-то не забуду его никогда. Не забуду эту массу народа, словно все собрались провожать мою Нюрочку в дальнюю дорогу. Да не забуду пения: «На реках вавилонских тамо седохом и плакахом, внегда помянути нам Сиона... и ныне силы небесные с нами невидимо служат». Помню Катя надоедала со спиртом и водой. Помню, как солнышко светило ярко и весело с небес, как несли Нюрочку на кладбище, да я все боялась, что девушки уронят гроб. Петр Кузьмич в головах поддерживал гроб и говорил: «Ах, Буян Николаич, Буян Николаич!» — а мне плохо видно было из-за него Нюрочку, но на лошадь я не хотела садиться. Пережить все это я могла, только не высказать. Последний раз поцеловала свою девочку у края могилы, что же больше-то я могла сделать? Будь я хоть самый энергичный человек в мире, и то бы ничего не помогла вся энергия, но каково пережить это чувство беспомощности в таком страшном положении? Я бы рада вырвать была свою Нюрочку из гроба... <...>

1898 год, 14 апреля

Родительский день сегодня. Была у обедни, потом на кладбище. Возмущает и душу надрывает причитание женщин, чувствуешь, что не с радости этот плач, похожий на заунывное завывание осеннего ветра, но в то же время здесь и игры немного, а если искренно и от тяжкой печали, то боязно, что такой плач и сетование — грех, гневит Бога, а тем

Татьяна Петровна на могиле дочери

более если напоказ. Хоть не напоказ, а просто так принято, но пользы от такого причитанья ни себе, ни покойному, разве что похвалят, что так умеет хорошо причитать, да других разжалобить. А теперь ждем гостей. Вчера просватали Катю Елизарову. Мы с мамой были на просватанье, а сегодня придут к нам. За Катю радуюсь, хоть неровна годами с женихом, ему всего 20-й год, а ей уже 27. Но на вид они как будто одинаковы годами! Ровно чрез 10 лет после меня выходит Катя. Моя свадьба была в 1888 году 16 мая, а у нее не знаю когда. Господи! Я уже успела жизнь прожить, все испытать, овдоветь, дочь схоронить, а она еще только вступает в жизнь. Одно меня утешает за нее, что хоть и молод жених против нее, но, должно быть, не ветреник, скромный, основательный. Жаль было бы ее: она такая хорошая девушка, да и люблю ее как родную.

Как померла Нюрочка, так она более всех оказала сочувствия мне и искренно жалела Нюрочку, словно она ей родная была, да и немудрено, ведь мы с ней 10 лет дружим, и Нюрочку она любила как родную, да и трудно такую девочку не любить было, а Катю она в особенности уважала.

На этом заканчивается первая тетрадь, и обрываются записи Татьяны Петровны. Другие тетради, к сожалению, до нас не дошли.

Е. Утенкова-Тихонова

Чем измеряется любовь?

Родители должны беречь, растить и учить своих детей. И дети это отлично знают. Внуков они растить не должны. Вернее, могут, конечно, но не спросится с них особо за это. На то есть родители.

Родители и дети, по сути, одно поколение, спаянное и физически, и духовно, закрученное жизнью в одну круговерть событий, где сначала старшие отвечают за младших, а затем младшие за стариков.

У бабушек с внуками все иначе. Их встреча изначально короче. У бабушек главная часть жизни уже позади, у внуков еще впереди, поэтому встреча их — обоюдный подарок, роскошь, выпадающая не каждому.

Когда я родилась, моей бабушке, Елене Михайловне Замятиной, было уже 63 года. Описание ее жизни, предшествовавшей моему рождению (бабушка была почти ровесницей 20-го века), составило бы сюжет большого эпического романа, к написанию которого я не чувствую сейчас в себе ни права, ни сил. Тем более что и сама бабушка избегала ворошить прошлое: было, что было, не к чему вспоминать. С достоверностью я могу рассказать только о себе, вернее, о бабушке, но в моей «внучкиной» жизни.

Родилась Елена Михайловна Замятина в 1902 году в Москве, в дворянской семье.

Отец ее умер, когда бабушке было 9 лет. Семья осталась без кормильца, и, чтобы иметь право на бесплатное обучение в хорошей гимназии (что в Гороховом переулке), Лене надо было учиться на

© Е. Е. Утенкова-Тихонова, 2008

Елена Замятина, 1919

круглые «двенадцать». И она училась: уже тогда слово «надо» было для нее законом. Началась революция. Зимой 1918 года мать, Екатерина Замятина, кинувшись к сыну, белому офицеру, застигнутому событиями на юге, не вернулась домой, погибнув от тифа в дороге. Так в 16 лет бабушка осталась круглой сиротой, оказавшись одна в опустевшей квартире в Гарнеровском переулке. Квартиру, правда, новая власть сразу же начала уплотнять, в результате чего Лене пришлось переселиться в самую маленькую 9-метровую комнатку за кухней, бывшую комнату прислуги. В этой квартире в Гарнеровском переулке будет расти она своих детей, сына и дочь (мою маму). По этому же адресу принесут ей в 1944 году похоронку на мужа, Петра Степановича Филимонова. Здесь пройдет большая часть ее жизни, скрытая от меня завесой времени.

Правда, будут еще тяжелые годы эвакуации и будет, наконец, Таруса, город на берегу Оки, ставший для нее любимым местом на земле. Приедет Лена в Тарусу в 1923 году вместе с Валерией Ивановной Цветаевой* и группой учеников курсов «Искусства движения» (А. Дункан), неожиданно определив этим всю свою последующую жизнь: долгие годы она будет преподавать танцы и пластику и возвращаться в Тарусу каждое лето сначала с детьми, а потом и с внуками.

Она сумеет не только вырастить сына и дочь, но и закалить свой характер, организованность и бескомпромиссность которого так никто из нас и не унаследовал. Человек чести и долга, смысл своей жизни бабушка видела только в безоговорочном служении близким, и ни в чем другом. Поэтому появление внучки, еще одного человека, нуждающегося в ее любви и опеке, она, стосковавшаяся среди выросших детей, ждала с не меньшим нетерпением, чем мои родители. Меня и назвали в честь бабушки: никто бы не отважился тогда сделать иначе.

О том, как надо растить и воспитывать маленьких детей, бабушка имела непререкаемое суждение. Она вообще вся была непререкаемая, четкая и определенная, без лишних слов и деталей. Такой же была и ее внешность: высокая, крупная, выше всех на любых фотографиях, с благородными, но никак не миловидными, тоже крупными чертами лица, которые с фотографической точностью унаследовали ее сын, а потом и внук.

Раннее детство заполнено для меня золотым светом, как улица против солнца. Контуры деревьев, домов, людей скорее угадываешь, чем различаешь. Солнечный ли это свет или свет той любви, что дарили мне близкие, не знаю. Но детство для меня — это всегда Таруса, огромный таинственный мир, уходящий во все стороны света своими ломаными горизонтами. Это одно бесконечное лето, вмещающее в себя и сумрак оврага, и мелькание солнечных бликов под колесами велосипеда, и острый холодок скорого падения в груди,

* Сестра Марины Цветаевой по отцу, дочь Ивана Владимировича Цветаева от его первого брака с В. Д. Иловайской.

Курсы «Искусство движения». Класс В. И. Цветаевой.
В верхнем ряду 2-я слева Елена Замятина, 5-я справа В. И. Цветаева,
конец 1920-х гг.

Е. Замятина (слева), конец 1920-х гг.

Е. Замятина и ее класс, 1934

Новогодняя постановка, класс Е. Замятиной, 1943

Лена и бабушка, лето 1966

и стручок акации на ладони, взрывающийся тебе в лицо, и заросли «ваньки мокрого» у забора, на все лето спрятавшие укатившийся мячик. В то бесконечное количество подробностей, мгновенное узнавание которых сейчас, через 30 лет, дарит мне острое чувство вневременья, а может быть, вечности.

Эта загадка Целого, проявляющего себя в деталях, и ускользающего от тебя, как только начинаешь эти детали перечислять, является для меня одной из главных художественных проблем.

Так и теперь, воспоминания о бабушке рассыпаются передо мной на отдельные фрагменты жизни, камушки, большие и мелкие, драгоценные или не очень, сорвавшиеся с единой нити событий, нанизывающей день за днем.

Москва. Мне лет шесть. Я сижу у пианино на большом коричневом томе Пушкина, положенном на скрипучую вертящуюся табуретку, открученную до предела, и с тоской жму на черные и белые клавиши. Бабушка неотступно рядом. «Раз-два, раз-два»,— ведет она счет, резко ударяя пальцем о край инструмента. Играю я плохо, неточно, бабушка сердится и стучит еще громче... Раз-два, раз-два... Нижние соседи уже жалуются на эти ежедневные стуки, сопровождающие и без того надоевшие музыкальные повторы, но бабушка непреклонна, пьеса должна быть выучена, и избавления ни мне, ни соседям нет. Два раза в неделю ко мне приходит учитель, старый бабушкин аккомпаниатор и друг, Леонид Владимирович. Он никогда не стучит по пианино, терпеливо, в который раз, пытаясь правильно поставить мою руку. «Какие длинные музыкальные пальцы!» — говорит он, чтобы хоть что-нибудь придумать бабушке в утешение. Мне наплевать на пальцы, я ненавижу его Майкапара, со всеми этими «Сказочками» и «Пастушками» до глубины души.

«Раз-два, раз-два» каждое утро считает бабушка, но это уже не музыка, это гимнастика. Я лежу на полу, на узеньком коврике и из последних сил поднимаю ноги. Раз-два, раз-два. У меня обнаружен сколиоз (небольшое искривление позвоночника), и его надо вылечить с помощью физкультуры. А «надо» для бабушки, а значит, уже и для меня — закон.

Особенно обидно заниматься гимнастикой летом на даче, когда на улице солнце и вместе с ним в окна заглядывают твои друзья, робко спрашивающие уже не у тебя, а сразу у бабушки: «А Лена скоро выйдет?» «Скоро, скоро»,— как всегда отвечает им бабушка, но я знаю, что это «скоро» — совсем не скоро. Впереди еще каша, противное парное молоко, обязательно допитое до донышка, и английский: «The goat and the fox»,— наизусть.

А вот опять Москва, наша комната. Пол в ней и стол завалены лоскутами ткани.

В середине комнаты мама, молодая, тонкая, в желтом платье, наскоро скрепленном булавками. Рядом бабушка с куском мела в руке. Обеим не до меня: надо срочно определить, куда врезать карман, и вопрос этот, конечно, спорный.... Бабушка шьет. Сшить бабушка может абсолютно все. Старое, довоенное пальто и попорченная молью шапка превращаются в мою зимнюю куртку с меховой оторочкой по обшлагам. Потертая юбка, вывернувшись наизнанку,— в новые брючки, шелковая старинная шаль — в платье Золушки... «Стой спокойно, а то уколю!» — это уже мне, выросшей, бабушка пытается сшить первые в моей жизни джинсы, у всех есть, а в магазине не купишь. Образец, взятый у подруги на два дня, перед глазами, но бабушка вносит свои коррективы: «Не будешь же ты ходить в таком виде!» — и вот джинсы уже не джинсы, и я почти плачу.

Нитки, тесьмы, кружева и ленточки такие красивые и разные, закрученные в тугие клубки, хранятся у бабушки по цветам, в разных мешочках. А одиночные пуговицы — никчемные сиротки, в большой круглой железной коробке с вензелями, на которой написано через ять: «Нафталинъ. Аптекарскій магазинъ К. И. Феррейнъ». Когда я заболеваю, бабушка дает мне коробку в кровать поиграть. И я с наслаждением высыпаю ее содержимое на одеяло, как в первый раз радуясь и поражаясь хрустальному граненому яйцу с тонкой дырочкой посередине или двум (зеленой и красной) стеклянным колбочкам на серебряных булавках, подставках для орхидей с лифа моей прабабушки.

«А ты одевала их на балы?» — завороженно спрашиваю я. «А как же!» — не раздумывая отвечает мне бабушка, сразу переводя разговор в другую сторону.

Сама она одета всегда в одни и те же платья, простые, с маленькими воротничками, шившимися каждый год по одной и той же выкройке, совсем обветшалой и пожелтевшей. По торжественным случаям, когда мы идем в театр или в гости, платье на ней черное с тонким кружевным рисунком, а на обычный воротник наложен еще один, белый, тоже кружевной, сплетенный, наверно, сто лет назад. В его основание прикалывается брошка, старинная, с бирюзой. Эта брошка — единственная фамильная драгоценность, пронесенная бабушкой через все голодные военные годы. Есть, правда, еще тонкий золотой браслет с глазками-жемчужинками, память о прабабушке, но его я потеряю, без спросу, просто так, одев однажды на один из скучнейших школьных дней рождений, с унылым заседанием вокруг именинного торта, где-то в районе Медведкова.

Бальное платье, сшитое бабушкой, настоящее, с бархатными лентами, нижними юбками и кружевными штанишками у меня уже есть. В нем я должна читать стихи на домашнем празднике:

«Балкон раскрыт
И ветка белых роз
В окно мне дышит ароматом...»

— громко декламирую я, стоя посередине комнаты, любимого Блока. А любимый художник у бабушки Жуковский. У него тоже все балконы, террасы, но не замкнутые пространства, а распахнутые

В Тарусе, 1971

наружу, так что и нет уже этих террас, а есть листва, заглядывающая в окна, и солнце, разбивающее эти окна об пол солнечными квадратами.

В моей жизни тоже есть такая терраса в Тарусе, в цветаевском доме, в котором росла когда-то в голодные послевоенные годы моя мама, а теперь мы ходим туда просто в гости, пить на ней чай с Инной и Евгенией Ивановной Цветаевой (вдовой Андрея Цветаева*).

Терраса эта совсем не такая, как на картинах Жуковского, много меньше, но равно и лучше, потому что розы, а вернее, белый шиповник перевешивается через ее перила отовсюду, а за ним, в просвете берез, Ока, призывно поблескивающая серебряной рябью. В доме, после солнца террасы, темно, почти холодно и как-то особенно пахнет временем, как пахнут только очень старые книги и вещи, давно убранные на полати. И в этом сумраке смотрит на меня со стены комнаты молодая женщина за роялем, в голубом пышном платье, «обязательно бальном». Это Валерия Ивановна Цветаева, она давно умерла.

Сейчас, почти через тридцать лет, умерли уже и Евгения Ивановна, и ее дочь Инна и моя бабушка, и дом этот уже два года как сломан его новыми хозяевами, милейшими и интеллигентнейшими людьми, построившими на его месте

* Брат Марины Цветаевой по отцу, сын Ивана Владимировича Цветаева от первого брака с В. Д. Иловайской.

новую дачу, вполне соответствующую их положению и достатку.

Да и шиповника белого в Тарусе почти нигде не осталось, вместо него золотые шары гордыми победителями перевешиваются тебе навстречу из-за каждого второго забора.

Бабушка любит цветы, и золотые шары тоже любит. Но эта ее любовь сразу же превращается в очередное занятие для меня. «Смотри, какое чудо тебе Марья Филипповна передала!» — показательно бодрым голосом говорит она, возвращаясь от соседей с рассыпающимся во все стороны золотым букетом. «Надо их скорее нарисовать, пока не завяли!» — прибавляет она, заметив тоску в моих глазах (мы как раз договорились с ребятами играть в казаков-разбойников в овраге). Но в эти игры бабушка со мной не играет, от нее не спрячешься ни казаком, ни разбойником. И я вынуждена рисовать и золотые шары, и белую розу в стакане (совсем как у Врубеля, по словам папы), и малиновый пион, который, как назло, распустится завтра у кого-нибудь на огороде. Но постепенно тоска сменяется почти физическим удовольствием от блеска сырых мазков акварели на белой бумаге, и вот, отчасти благодаря бабушке, я — художник, и хотя давно уже не рисую золотых шаров в синей вазе, сама теперь мучаюсь при виде куста сирени или белого облака груши, распустившегося под окном. «Господи, разве Это можно нарисовать, но что-то ведь надо со всем этим делать!»

При полном презрении к устоям буржуазного быта («мещанка» было самым страшным ругательством в ее устах) главным украшением своей комнаты, в которой росла и я, бабушка видела рояль и картины на стенах. Последние должны были быть моими. «Ты будешь рисовать, а я тебе за это буду читать», — говорила мне бабушка, и выбора у меня уже не было. Я так и вижу ее засыпающей над описанием Аустерлицкого сражения в «Войне и мире». Выбора уже не было и у нее, русскую литературу я должна была знать без сокращений.

А вот мы бодро шагаем в библиотеку, маленькую московскую, на углу Измайловского бульвара, рядом с которой мы живем, или большую Тарусскую на горке за «портамойней». В библиотеках бабушку давно знают и всегда радостно встречают, вынося из запасников все новые и новые книги, почему-то недоступные другим посетителям. Диккенс, Гюго, Конан Дойл — все это уже давно прослушано мной и прочитано бабушкой. В Тарусе в библиотеку нам с подружкой разрешено бегать и одним: подклеивать ветхие книги. Это тоже придумка бабушки. Она выдает мне дома аккуратные полоски белой бумаги, которые мы потом с наслаждением подклеиваем к пушистым краям выскальзывающих из рук страниц. Старые книжки толще, мягче новых, почему-то теплее на ощупь и — неожиданное открытие — пахнут по-разному, в зависимости от автора.

Дома мы сами делаем альбомы. Бабушка нарезает серый картон, обложку обклеиваем бархатной бумагой, под ее цвет подбираем ленточку — это завязка. Альбомы называются «Что я видела» и разнятся по годам. Соответственно, каждая страница — отчет об увиден-

ном. Конечно, туда никак не попадают такие волнующие меня события, как пятнистый щенок, обнаруженный под лестницей в подъезде, или пачка дядиных сигарет, почему-то оказавшаяся докуренной у сестры в кармане, но музеи и выставки, на которых я была, должны быть все. Если мы посмотрели фильм, я обязана нарисовать иллюстрацию. Между поездкой в Абрамцево, портретом Царевны-лягушки и программками консерватории — обязательные программы-приглашения с домашних праздников. Они — необходимое условие — все рукотворные и непохожи одна на другую. Внутри все, как у настоящих. Артисты — я, мои сестры, дети друзей. Редко, но участвуют взрослые, например: «Буря мглою небо кроет... Исполняет Е. Утенков (мой отец), аккомпанирует Т. Филимонова (двоюрная сестра)». Бедный папа...

В доме, где растут дети, обязательно должны быть детские праздники — эту бабушкину аксиому усвоили мы все. Мама пишет сценарии, папа рисует декорации, бабушка шьет костюмы. У каждого детского вечера свое название, своя тема.

На маленьких тусклых фотографиях (папа печатает их сам, закрывшись в ванной) я то в костюме снегурочки, то куклы-коломбины, то шарманщика с настоящей шарманкой, склеенной из картонной коробки и разрисованной накануне. У шарманки даже есть ручка, настоящая, я кручу ее и пою, а сестра играет:

«По разным странам я бродил,
И мой сурок со мною...
И мой всегда, и мой везде,
И мой сурок со мною».

Сурка у меня, конечно, нет, но зато есть картонный попугай с магнитиком в клюве, он вытаскивает конвертики с пожеланиями гостям.

При всей «небогатости» жизни, после концерта или представления — обязательное угощение. На столе фирменные бабушкины пироги с вареньем, капустой и грибами (тарусскими), а около каждой чашечки мандарин, новогодняя диковина, кожура его раскрыта как цветок, в середине свечечка. Когда все рассядутся, свечки зажигают и надо играть: у кого дольше всех прогорит... На елке тоже свечи, всегда настоящие, в маленьких медных подсвечниках-прищепках, раскрашенных в разные цвета еще моей прабабушкой. От этих живых огоньков в комнате раздается треск и пахнет смолой и лесом. Елка тоже у нас всегда настоящая, иногда, если не удается найти хорошую, ее связывают из двух худеньких доходяг («одры» — называет их бабушка), и я, надевая звезду, замираю на стуле в испуге и удивлении: две верхушки (как сейчас две макушки у моего ребенка).

Бусы на елке тоже бабушкины, старинные, тяжелые стеклянные или плетеные из красных, серебряных и золотых нитей, их одевают в первую очередь. Часть игрушек обязательно должна быть самодельной. Мне не нравятся самодельные игрушки, разве их можно сравнить с блестящими большими шарами из магазина, в которых, если присмотреться, отражается вся комната, а ночью они тихо проворачиваются и поблескивают

в темноте. Но моего мнения никто и не спрашивает, просто дня за два до праздника к нам приглашаются сестры Вяжлинские, и мы целый вечер клеем бесполезные хлопушки (не стреляют) и гирлянды. Хорошую цветную бумагу не купишь, и в ход идут бабушкины запасы, обертки от чая, фольга от шоколада, картонки от тортов. Фантики от конфет бабушка тоже не выбрасывает, из них она делает петушков. Их уже целая армия: от совсем крошечных (фантики от ирисок) до огромных (шоколадки), хранятся они в особой коробке и выдаются мне только в качестве награды, например за выученное длинное стихотворение. Я расставляю петушков на ковре по росту, но сразу на душе становиться пусто и скучно, я совсем не Суворов, и любое правильное построение — конец игре.

Каждые зимние каникулы, нестерпимо холодные в нашем географическом поясе, бабушка вывозит меня на этюды в один из маленьких подмосковных городков. За 6 лет учебы в МСХШ мы объехали их почти все. Живем мы в маленьких двухэтажных гостиницах, с деревянными скрипучими лестницами в коридорах, почти всегда в одиночестве. На улицах этих городов дует пронизывающий осенне-весенний ветер, идет мокрый снег, бесконечно долго смеркается, и в сумерках, за всем этим снегом и дождем, встает величественное пространство земли и неба, открывающееся за поворотом реки близ Боровска, Можайска, Вереи или Волоколамска. Оно, это пространство, существует отдельно от меня, уже не являясь моим физическим продолжением, как поворот знакомой улицы в Тарусе. Его нельзя было обживать, перед ним можно было только предстоять.

Сама бабушка, совершив и без того мучительный для нее переезд из Москвы (при ходьбе очень болели колени) и обосновавшись с книгами в гостиничном номере, с неизменным кипятильником на столе, старалась уже никуда не выходить. Выходить должна была я и, возвращаясь, приносить рисунки. Рисовать я могла все что угодно, и эта свобода заставляла меня бесконечно блуждать по незнакомым окрестностям одиноким соглядатаем чужой жизни. Сама бабушка совсем не тяготилась своим вынужденным заточением. Сейчас мне кажется, что это было самым любимым ее временем. Все проблемы на время отступали, я была где-то рядом, а к быту у бабушки было отношение простое. У нас и дома никогда не было ничего лишнего. Помню, как в детстве я мечтала о мягком диване и креслах перед телевизором (телевизора у нас тоже не было), таком же, как у наших родственников. Пройдет время, и я куплю похожий диван на свои первые заработанные деньги, но не почувствую долгожданного счастья: он окажется таким большим и громоздким, что мы уже 20 лет спорим, куда и кому бы его поставить.

Конечно, не из одних праздников и путешествий состояла наша с бабушкой жизнь. Было в ней место и драме. Бабушкин характер вообще был полон противоречий. Жесткий, гордый и властный от природы, да еще прокаленный бедами и невзгодами, он имел одну слабину: огромную, страстную любовь к де-

тям. Поэтому все наше воспитание — мое, а прежде и мамино, состояло из смешения строгой безоговорочной дисциплины с мягкостью, доходящей порой до бессовестного баловства. Например, я никогда сама не стелила свою постель, до 20 лет не мыла посуду (упущение выше меры восполнено жизнью), не убирала комнаты, не собирала портфель. То же самое повторялось и на каком-то глубинном, эмоциональном уровне. Эта «слабина», эта огромная беззащитная любовь к нам мучила и саму бабушку, делая ее зависимой от нас и рождая бесконечные обиды.

Обижалась бабушка очень бурно и «нешуточно». Дверь в ее комнату с шумом захлопывалась, и в квартире повисала зловещая тишина. Но это было затишье перед грозою. Глубина бабушкиной обиды измерялась этими часами, а то и днями, проведенными за закрытой дверью. И чем дольше был этот период, тем громче и разрушительней ураган обвинений в наш адрес, следующий за ним. Никакие уговоры и слова покаяния не действовали, наша черствость, грубость и неблагодарность превышали любое прощение. Тут уж доставалось всем: и маленьким, и большим. «Гусар!» — возмущенно выкрикивала бабушка, видимо, самое страшное оскорбление, стремительно проносясь по коридору мимо папы, образца кротости и смирения нашей семьи. «Хабалка!» — это уже мне. Если градус обиды достигал предельной величины, бабушка демонстративно надевала ботики с самодельными вставками на носках (болели пальцы) и говорила, что уходит от нас из дома. Тут уж и я начинала рыдать от ужаса. Справедливости ради надо сказать, что я не помню, чтобы эта угроза хоть раз была исполнена в действительности. Как всегда после самых пугающих молний и раскатов грома неожиданно быстро выглядывает солнце и во всей природе разливается особое облегчение и благодать, так и бабушка вдруг резко сменяла гнев на милость, и баловство наше продолжалось с прежней силой.

Трудно дождаться большой благодарности от детей. Маленький ребенок уверен, что взрослые, как и весь окружающий мир, сотворены для него одного и вокруг него одного. Это отношение к родителям не меняется и с годами. Но когда человек маленький, он сам неотделимая частица и выражение этого окружающего его мира, поэтому наградой и благодарностью нам взрослым выше меры является его улыбка, удивление, смех, запах волос, сияние глаз. Но чем он старше, тем слабее сияние, реже улыбка, а прямой осознанной благодарности нет и в помине, вместо нее, наоборот, протест, желание отделиться, освободиться от докучной любви. Я не была исключением. Чего стоила моя «измена» и переход в юношеские годы в мир родителей и их друзей, с «их», а не нашими с бабушкой поездками, впечатлениями, разговорами. Там было легче, веселее, там с каждым годом моего взросления все больше стиралась грань, кто старше, кто моложе. Дистанция же между мной и бабушкой только росла. В то время как моя личная жизнь наполнялась все новыми и новыми событиями, у бабушки совсем отказывали ноги, не позволяя ей выходить за пределы квартиры, тускло зре-

ние, умирали последние близкие друзья. Да тут еще и тяжелая болезнь, приковавшая ее к инвалидной коляске и ставшая для нее настоящей мукой: смиряться, покоряться, полагаться на других, «быть кому-то обузой» бабушка не умела никогда. Она прожила очень долгую жизнь — 89 лет, почти треть которой она отдала своим внукам, двум девочкам и мальчику (моему младшему брату).

Чем измеряется любовь? У нее нет ни веса, ни объема. Но если измерять любовь в минутах, отданных другому человеку, то тогда мне досталось ее от бабушки больше всех. Благодарность не измеряется ничем. Словами? Но качество слов тоже не измеряемая величина, никак не связанная с их количеством. Когда дело касается жизни, уже не работают никакие уравнения и формулы. Бабушка знала это очень хорошо, но почему-то все равно собирала и хранила все наши нехитрые открытки и поздравления, написанные неуверенным детским почерком и часто повторяющие друг друга. И мне хотелось бы, чтобы эти мои воспоминания легли очередным листом нашего с бабушкой альбома или повисли самодельной хлопушкой среди золотых шаров, повешенных кем-то еще на дереве жизни.

Е. В. Лаврентьева

Мало учености — много эротики

На фотографии — чья-то прабабушка:
«Милочка», «кисочка», «душечка», «лапушка».
Шляпка с полями и бантиком губки.
В узких перчатках и в бархатной шубке.
Сумка с застежкой, блестящие ботики.
Мало учености — много эротики.

«Лена, запомни три вещи,— говорила мне двадцать лет назад коренная москвичка Мария Ильинична, заботливо направлявшая меня, провинциальную «тургеневскую девушку», на путь истины, когда я была студенткой и снимала у нее комнату.— Никогда мужу не штопай носки, регулярно покупай ему дорогой одеколон и раз в неделю меняй постельное белье». Мария Ильинична — ровесница моей бабушки. Только одна в 75 лет была воплощением житейской мудрости, а другая — неуемной любознательности.

— Леночка, прошу прощения за нескромный вопрос, а твой муж пристрастный?

— Бабуля, нормальный,— с улыбкой произносила я, зная наперед, что за моим ответом должно последовать какое-то неожиданное откровение.

— Дедушка тоже был нормальный: мы спали только на ночь и утром.

Уже несколько лет я коллекционирую воспоминания о бабушках благодарных внуков.

— Милочка, хорошая идея! — сказала бы свою коронную фразу почтенная Мария Ильинична, раскладывая на кухонном столе пасьянс.

Моя бабушка тоже любила обращение «милочка». Список старомодных слов в ее лексиконе был «не богат, но весьма примечателен»: *шифоньер, гардины, модистка, перманент, ридикюль, гардероб, капельмейстер*. От них веяло загадочной стариной и пахло нафталином, как от бабушкиных шляп. Мне нравилось заглядывать в громоздкий шкаф, где они хранились, с двумя скрипучими дверцами и зеркалом посредине. Нередко эти дверцы служили мне школьной доской, когда я воображала себя учительницей русского языка и литературы. Каждый раз, встав на цыпочки, я писала мелом друг под другом неизменные две строки: «число» и «классная работа». Белые разводы, оставленные на дверцах после очередного урока, не нарушали бабушкиного спокойствия. Зато мои парикмахерские затеи доставляли ей много хлопот: я просила ее принести то ножницы, то расческу, то дедушкин одеколон с резиновой грушей, не говоря уже о шпильках, заколках, гребешках и т. д. После долгих уговоров бабушка неохотно усаживалась перед зеркалом и разрешала подрезать ей концы волос на полсанти-

© Е. В. Лаврентьева, 2008

Бабушка (слева) с подругой, 1934

метра, а иногда позволяла даже сделать «прическу». В это время я обычно рассказывала ей всякие небылицы, в которые она верила по своему простодушию.

Убедить в чем-либо бабушку не составляло никакого труда. Мой старший брат Игорь разыгрывал ее на каждом шагу, а я называла это занятие «морочить бабушке голову».

— Бабуля, а ты знаешь, в тебя влюблен грек Абрам Андреевич. Он хочет на тебе жениться,— на ходу выдумывал мой братец.

— Ах, Игорек,— печально вздыхала бабушка.— Мне никто не заменит дедушку Ивана Михайловича Кривцова.

При этом она ни на йоту не сомневалась в существовании неизвестного ей грека Абрама Андреевича, которого не было и в помине, не задумывалась, откуда он взялся и почему грека зовут Абрам. Бабушка верила всему безоглядно.

А вымышленный грек был назван Абрамом совсем не случайно. Как истинная хохлушка бабушка во всех грехах обвиняла евреев. Но ее лучшая подруга Клара смотрела на это снисходительно, тем более что бабушка открыто признавала ее неоспоримые достоинства: она «бесподобно» фаршировала щуку и в молодости могла завоевать сердце любого мужчины.

От бабушки я знала, что у Клары никогда не было детей, что она пережила трех своих законных мужей, боялась быть заживо погребенной, что в Одессе у нее осталось много родственников.

— Красотой она никогда не блистала, но как женщина умела все! — со знанием дела говорила бабушка.

Я догадывалась о тайном смысле произнесенных слов, но в четырнадцать лет не хватало смелости спросить «про это». После смерти Клары бабушка загрустила и многим знакомым и даже родным стала приписывать еврейское происхождение. Не избежала этой участи и ее покойная свекровь.

— Ваня! — с торжествующим видом воскликнула однажды бабушка.— А ты знаешь, твоя мать была еврейка!

— Тебе лучше знать,— невозмутимо ответил дед, продолжая читать газету.

«Еврейский вопрос» не оставлял бабушку в покое. Она вдруг обнаружила, что у моего отца типичный еврейский нос, а у тещи моего брата самая настоящая еврейская походка. Никаких сомнений не вызывала у нее национальная принадлежность моей другой бабушки, польки, Софьи Ричардовны.

Когда я знакомила бабушку со своим очередным «ухаживателем», она с простодушной улыбкой спрашивала:

— Будьте любезны, я прошу прощения за нескромный вопрос: вы, случайно, не еврей?

Некоторые поклонники выглядели в этот момент весьма растерянными. Поэтому, прежде чем представить бабушке своего будущего мужа, я строго-настрого предупредила ее не интересоваться его происхождением. После первых приветственных фраз она спросила «московского гостя»:

— Будьте любезны, я прошу прощения за нескромный вопрос...

Моя реакция была незамедлительной. Я тихонько ущипнула бабушку за локоть. Она с испугом посмотрела на меня и через секунду выпалила:

— Славочка, Вы не знаете, почему я так много пью воды? Может быть, у меня сахарный «диабэт»?

Очки моего мужа внушали бабушке доверие, и она была очень горда, что ее любимая внучка вышла замуж за «ученого».

— Славочка, не занимайтесь так много, а то умрете, как профессор Сафронеев,— предупреждала его моя бабушка.

Профессор Сафронеев, муж бабушкиной тетки, был намного старше своей «дражайшей половины». Умер он в 89 лет, сидя за письменным столом. Больше о нем мне ничего не известно.

— Бабуля, а профессор Сафронеев чем занимался,— интересовалась я.

— Как чем? Он был профессор.

— А профессор в какой области,— продолжала пытать я бабушку,— математик, врач, естествоиспытатель?

— Милочка, ты что, не понимаешь? Он был профессор Сафронеев.

И это звучало гордо. Остальные вопросы были излишни. Его жена, родная сестра моей прабабки, переехала из Москвы под Киев, к себе на родину, когда ей было за восемьдесят. Я очень хорошо помню обеих старух: одна худенькая, сморщенная, другая круглолицая и толстушка, одна говорит по-русски, другая — по-украински. Такие разные, но их объединяет общее горе: у жены профессора Сафронеева пятнадцатилетний сын Сенечка погиб в последние дни войны, а у моей прабабушки (бабы Мани) любимый Колечка был немцами повешен на ее глазах. И та и другая дожили до глубокой старости и оставались до конца дней большими жизнелюбками.

Летом баба Маня гостила у нас. Когда на экраны вышел фильм «Война и мир», мама отправилась с ней в кино. Прабабушка в прямом смысле слова онемела от того впечатления, которое произвела на нее картина. На все вопросы о фильме она отвечала как загипнотизированная:

— Боже-Боже! И що воны йилы, и що воны пылы!

И все попытки родных вывести ее из этого состояния оказывались бесполезны.

— Бабушка, в фильме любовь-то была? — спрашивал ее кто-то.

Но бабе Мане было не до любви. Она то и дело повторяла:

— Боже-Боже! И що воны йилы, и що воны пылы!

Помню, с каким нетерпением я ждала окончания пятого класса, чтобы отправиться к моим прабабушкам на каникулы под Киев. В то лето у меня была особая миссия: я должна была убедить 80-летнюю бабу Маню и ее 86-летнюю сестру в том, что Бога нет. Я основательно продумала свои доказательства и сформулировала их сразу же в день приезда.

Во-первых, ну как он может сидеть на небе, когда небо — это воздушное пространство?!

Во-вторых, как в одну и ту же секунду он может следить за миллионом людей?!

В-третьих, если он такой добрый, почему люди умирают?!

Что было «в-четвертых», «в-пятых», «в-шестых»... догадаться нетрудно. Старушки сидели передо мной на диване и блаженно улыбались. Когда я закончила свое выступление, баба Маня поправила на голове платок и сказала своей сестре:

— Вот мы с тобой постимся и в церковь ходим, и молитвы читаем, и милостыню подаем... И ведь неизвестно, примет нас Господь в Царствие свое или нет. А явится к Нему какой-нибудь забулдыга, который жену бил, о детях не заботился, свечки Богу не ставил, упадет на колени и скажет: «Прости, Господи, все мои прегрешения!» — и Господь простит ему и в Царствие свое пустит. А нас — неизвестно.

Моя бабушка любила свою тетку, а о профессоре Сафронееве говорила, что он был скуп и прятал деньги от жены между страницами толстых книг. Интересно, принял его Господь в Царствие свое? Уверена, что бабушку этот вопрос нисколько не волновал. Она не призывала других раскаиваться в содеянных грехах и сама не боялась «гореть в адском пламени» за собственные прегрешения. Ей было известно о фронтовом романе своего мужа, моего деда, о том, что в Ленинграде у него живет сын, военный переводчик. Но бабушку эта история не слишком задевала за живое.

— Мало ли что было на войне. Там в любую минуту каждый мог погибнуть. Но вернулся он ко мне! — с видом победительницы говорила бабушка.

Быть женой полковника считала она почетной профессией.

— Бабуля, зачем ты надеваешь сто шерстяных кофт, когда на дворе тридцатиградусная жара? — недоумевала я.

— Вот еще. Будут говорить, что полковничиха похудела.

Дородность в ее понимании являлась признаком не только красоты, но и бла-

На избирательном участке, 1950

гополучия. Хохотушка, невысокого роста, с ямочками на щеках, бабушка всюду, где бы ни служил дед, единодушно избиралась председателем женсовета. Она была замечательной рассказчицей, и я не уставала слушать ее бесконечные истории.

— Когда дедушку перевели в Харьков, нам на первых порах выделили две комнаты в коммунальной квартире с вытянутым, как кишка, коридором. Третью занимал капитан, который мне очень симпатизировал. Как-то дедушку отправили в командировку, я осталась одна. Утром направляюсь в кухню, и вдруг из уборной мне навстречу со спущенными портками выскакивает капитан. Я испугалась, вбежала в комнату, навалилась всем телом на закрытую дверь и жду. А он через минуту жалобным голосом и говорит под дверью: «Оленька, простите, я не хотел вас оскорбить: мне сверху крыса на спину прыгнула. Я выскочил, даже брюки не успел надеть».

— Крыс, действительно, было много,— вздыхала бабушка.— Однажды в детском саду...

И далее следовала история о крысах, которые чуть не загрызли ребенка по вине воспитательницы. Я всегда удивлялась, как плавно переходила бабушка от одной темы к другой.

— Бабуля, а расскажи что-нибудь о войне,— просила ее я.

— Да что рассказывать. Я с двумя детьми жила у мамы, под Киевом. Когда Киев освободили от немцев, мы ходили

смотреть на стоявшие эшелоны с пленными. Один раз немец мне в лицо плюнул. Время было трудное, вот и приходилось продавать что-нибудь солдатам, едущим на фронт. Баба Маня ходит по перрону станции с корзиной и кричит: «Кому пирожки с яблоками и пустые? Кому пирожки с яблоками и пустые?» — а я прячу бутылки с самогоном в длинные рукава отцовского тулупа. Один раз меня поймали с поличным. «Веди,— говорят,— эту спекулянтку к начальнику поезда». Подводят меня, а я глазам своим не верю: начальник поезда — мой Ванечка. «Господи!» — закричала я да как всплеснула руками — бутылка из рукава выпала и разбилась. А он мне шепотом, как будто вчера расстались: «Ты что же меня позоришь, Ольга?!» Ну а потом слезы, объятия... Вот и повидались. Кто бы мог подумать, что такая встреча произойдет. Как в кино...

Во время войны вместе с бабушкой под Киевом жила ее свекровь.

— Бабуля, а тебе она нравилась? — спрашивала я.

— Царство ей небесное! Хорошая была, но гордая. Я ее в халате никогда не видела. Всегда к нам выходила причесанная, надушенная.

В отличие от своей свекрови, бабушка обожала халаты. Шила она их сама и непременно из «портьерной ткани». Фасон был всегда одинаков — запа́х и большая пуговица сбоку. Каждый новый отрез «припрятывался» от деда, хотя ему было совершенно безразлично, на что бабушка тратит деньги. Тем не менее в магазин «Ткани» она отправлялась, как на секретную операцию. Для остроты ощущений...

И. М. Кривцов (справа) с однополчанином, 8 мая 1945 г.

Хорошо помню запах бабушкиной квартиры, особенно запах нафталина в шкафу. Дополнительным средством от моли были каштаны, запас которых пополнялся каждую осень. В двух шагах от дома находился парк, куда мы каждый день с Иркой Коробовой бегали после школы. Увлекательнейшее занятие — собирать каштаны. Прямо на наших глазах они то тут, то там падали с деревьев и, стукнувшись о землю, выскакивали из своих скорлупок. В отличие от меня, Ирка серьезно подходила к выбору каштанов: она угадывала, какой каштан упал на землю два дня назад, день назад, час назад... Поднимала только «свеженькие», без одной царапинки, отполированные. Она долго рассматривала каждый каштан, прежде

чем положить его в свой мешочек. Предпочтение отдавалось экземплярам идеально круглой формы, неуклюже-пузатые тут же браковались и вручались мне. Я же собирала все, что попадалось на глаза. Все равно, думала я, через полгода в шкафу они станут такими же сморщенными, засохшими, как их предшественники. С полными мешками мы шли обратно: Ирка домой, я к бабушке. Спустя много лет мы вспоминали с ней наши осенние походы в парк. «А ты знаешь,— сказала она,— мне ведь эти каштаны были ни к чему, мама их выбрасывала».— «Зачем же ты их тогда отбирала?» — «Из любви к искусству».

Завернутые в фольгу и подвешенные на ниточке каштаны украшали у бабушки новогоднюю елку. Бабушка всегда наряжала елку сама. Кроме елочных игрушек и каштанов, на ней висели конфеты «Школьные», маленькие мандарины и вырезанные из бумажных салфеток снежинки. Из буфета бабушка доставала целлофановый прозрачный мешок с ватой, развязывала его и, отщипывая маленькие кусочки, бросала их на ветки. Никакого блестящего «дождика» бабушка не признавала. Но и без него украшенная елка слепила глаза и выглядела, как купчиха на ярмарке. Это повторялось из года в год. Белый «снежок» постепенно превратился в серую массу, но избавляться от него бабушка не спешила. Как-то перед Новым годом я принесла ей из аптеки рулон ваты, чтобы сменить старые «декорации». Бабушка поблагодарила меня, спрятала рулон в буфет с явным намерением воспользоваться им в ближайшее время. Каково же было мое удивление, когда я увидела на елке потемневший от времени «снег». Я выразила свое недоумение и услышала в ответ: «Милочка, не так легко расставаться с прошлым».

Ее рассказы о прошлом я слушала, всегда затаив дыхание. Особенно мне нравились «страшилки». Однажды в молодости, еще до замужества, она возвращалась из клуба домой в ужасную пургу. И вдруг увидела, что навстречу ей идет огромный белый кот на задних лапах, а в передних несет груду щепок. «Это был оборотень,— таинственным шепотом говорила она,— но как только я посмотрела ему в глаза, он исчез».

А сколько историй было рассказано о «заживо погребенных»! Правда, ни одной не припоминаю со счастливым концом. Несчастная жертва успевала или повернуться в гробу на бок, или поседеть, или расцарапать себе лицо, или прокричать, к ужасу кладбищенского сторожа. Не так давно в отделе редких книг бывшей «Ленинки» я обнаружила уникальное издание 1801 года: «Врачебные известия о преждевременном погребении мертвых, собранные Иоганном Георгом Давидом Еллизеном...» В нем, напротив, одни сплошные хеппиэнды. Я представила, как рассказываю бабушке следующую историю: «Некоторый молодой человек в Париже был влюблен в дочь одного богатого мещанина, которая взаимно любила его, но отец принужденно выдал ее замуж за другого. Вскоре потом с печали впала она в чахотную болезнь, скончалась и по тогдашнему обыкновению, по прошествии суток, погребена была. Прежний друг ее, по чрезвычайной любви своей,

В кругу друзей, 1952

не мог удержаться, чтоб не посмотреть на нее еще однажды; на сей конец, подкупил он могиляка открыть ему гроб. Сие случилось в ту же самую ночь, когда она погребена была; могиляк позволил молодому человеку взять мертвое тело и отнесть оное в соседственный дом; здесь он положил оное близ огня и старался посредством вина, трения, душистых веществ и тому подобного, паки оживить ее, в чем ему и удалось. Любимая им особа начала дышать и получила первобытную жизнь. После сего произошла в Парижском Парламенте известная всей Европе тяжба между вдовцом и сим молодым человеком; поелику последний не хотел уступить мужу оживленной им жены». Знаю наверняка, что бабушка потребовала бы вернуть ожившую героиню ее возлюбленному.

— Леночка, тебе есть кому улыбаться? — лукаво спрашивала меня бабушка и, не дождавшись ответа, с загадочной улыбкой произносила: — Я дедушке тоже не изменяла, но целоваться любила.

Она верила в любовные заговоры, сглаз и знала средства защиты против нечистой силы: если перебежал дорогу черный кот, можно ступать смело, держась за пуговицу; чтобы русалка не защекотала до смерти, нужно ей бросить расческу; достаточно посмотреть призраку в глаза — и он тотчас исчезнет. Однако бабушка давала и полезные практические советы.

Говорила бабушка: «Дитятко мое,
Быть должно красивым нижнее белье!
Отправляясь в гости, в «Хлебный»,
в ателье,
Быть необходимо в шелковом белье:

С сыном Владимиром, 1955

Упадешь случайно — отвезут в больницу.
Мало ли что может по пути случиться?!»
Вняв ее совету, я дошла до точки —
И хожу на рынок в шелковой сорочке.

Соседок бабушка постоянно снабжала кулинарными рецептами. Она замечательно готовила, а когда приезжал в гости из Киева ее любимый сын Вовочка, стол буквально ломился от яств. Она не знала, куда его посадить, чем накормить. И очень волновалась, когда Вовочка, уйдя на час-другой из дома, где-то задерживался.

— Может, с ним что-то случилось? — переживала бабушка.

И тут мой брат начинал демонстрировать всем домочадцам безграничные возможности «порочного» человеческого воображения, а бабушка простодушно верила каждому его слову.

— Может, и случилось,— отвечал Игорь.— Мясник мог дяде Вовочке отомстить.

— Какой мясник? — испуганно вскрикивала бабушка.

— Муж дяди-Вовочкиной любовницы.

— Какой любовницы? — у бабушки округлялись от ужаса глаза.

— Обычной. Все видели, как она подошла к нему на остановке, подняла его на руки и поцеловала.

— У нее же муж есть! Какое она имела право?! — возмущалась бабушка.

Тут появлялся Вовочка, на которого обрушивались невообразимые упреки и обвинения. Кое-как, всеобщими усилиями, удавалось успокоить бабушку и убедить ее, что ничего опасного не угрожает ее любимому сыну.

Избранницам своих внуков бабушка всегда давала «строгую оценку». «Очень

миловидная девушка, если бы не нос»,— говорила она о подруге моего брата. Подобные «языковые конструкции» из уст бабушки сыпались как из рога изобилия: «сильный мужчина, видный, но как мужчина никуда не годится»; «жена — уродина какая-то, повезло, что муж капельмейстер», «знающий врач, опытный, только заика», «учится хорошо, если не считать физкультуры», «ребеночек родился здоровый, только недоношенный».

Не помню, чтобы бабушка читала книги, но настоящим ее коньком были «Вечера на хуторе близ Диканьки». Когда-то в молодости она принимала участие в спектакле по произведениям Н. В. Гоголя. Бабуля так мастерски могла вплести в канву разговора какую-нибудь цитатку, что складывалось впечатление, что она знаток русской классической литературы. Эта способность, вероятно, досталась в наследство моему сыну.

Я готовила лекцию, посвященную жизни Александра I, и заучивала наизусть его письмо к Екатерине II, в котором были строки: «Дорогая бабушка!.. Люблю Вас как душу... Заочно целую Ваши ручки».

Мой трехлетний сын легко запомнил их и применил должным образом: в разговоре с моей мамой по телефону. Он слово в слово повторил письмо Александра I. Мама, разумеется, подумала, что все это относится к ней, и со слезами умиления в голосе сказала:

— Леночка, спасибо за внука.

Окно одной из комнат в бабушкиной квартире выходило на троллейбусную

Моя мама — студентка в костюме «от бабушки», 1953

остановку. Просыпаюсь летним утром и вдруг замечаю широкую полоску света над окном, почти на потолке, а на ее фоне движущиеся тени маленьких человечков. Вдоволь наглядевшись на них, я открываю шторы, и комната заливается солнечным светом. А бабушка в кухне уже колдует над вареньем...

Испаряется на блюдце
Обожаемая пенка.
И глаза твои смеются
Бирюзового оттенка.
И волнует все до слез:
Летний день, клубничный запах
И облезлый старый пес
У плиты на задних лапах...

Часть II

«ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО ТАКОЕ БАБУШКИ...»*

(по страницам опубликованных мемуаров)

* *Рахманинов С.* Воспоминания, записанные Оскаром фон Риземаном. М., 1992, с. 20.

*Е. П. Янькова**

Рассказы бабушки

Я родилась в селе Боброве, которое купила покойная бабушка, батюшкина мать, Евпраксия Васильевна, дочь историка Василия Никитича Татищева. В первом браке она была за дедушкой, Михаилом Андреевичем Римским-Корсаковым, и от него у нее было только двое детей: батюшка Петр Михайлович и тетушка княгиня Марья Михайловна Волконская. Вскоре овдовев, бабушка вышла замуж за Шепелева (кажется, Ивана Ивановича); детей у них не было, и они скоро разъехались <…>.

Бабушка Епраксия Васильевна была, говорят, очень крутого нрава и как знатная и большая барыня была в большом почете и не очень церемонилась с мелкими соседями, так что многие соседки не смели и войти к ней на парадное крыльцо, а все на девичье крыльцо ходили. <…>

Вот что мне еще рассказывала про бабушку Евпраксию Васильевну наша мамушка, Марья Ивановна, бывшая при бабушке сенною девушкой: «Генеральша была очень строга и строптива; бывало, как изволят на кого из нас прогневаться, тотчас и изволят снять с ножки башмачок и живо отшлепают. Как накажут, так и поклонишься в ножки и скажешь: "Простите, государыня, виновата, не гневайтесь". А она-то: "Ну, пошла, дура, вперед не делай". А коли кто не повинится, она и еще побьет… Уж настоящая была барыня: высоко себя держала, никто при ней и пикнуть не смей; только взглянет грозно, так тебя варом и обдаст… Подлинно барыня… Упокой ее Господи… Не то что нынешние господа».

Бабушка была в свое время очень хорошо воспитана и учена; она говорила хорошо по-немецки, это я слышала от батюшки Петра Михайловича. <…>

В 1733 году бабушка купила в семнадцати верстах от Калуги село Боброво и там постоянно живала большую часть года, а в Москве имела свой дом близ Остоженки, в приходе Илии Обыденного, и мы жили еще в этом доме, когда я шла замуж в 1793 году, и там венчалась. <…>

Бабушка была очень благочестива и богомольна и вообще к духовенству и монашеству расположена. Она заповедала своему сыну никогда не выходить из дома, не прочитав 26-го псалма, то есть: «Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся». Батюшка всегда это соблюдал. И точно, он имел всегда сильных врагов, и хотя они старались ему

---

* Янькова Елизавета Петровна, урожд. Римская-Корсакова (1768—1861). Автор «Рассказов» с воспоминаниями о знакомстве с семьей А. С. Пушкина.

повредить, но, однако, Господь помиловал и сохранил от погибели.

Бабушка всегда принимала монахов-сборщиков: бывало, позовет к себе, накормит, напоит, даст денег, велит отвести комнату, где переночевать, и отпустит каждого довольным ее приемом. Вот однажды говорят ей: приехал монах со сбором. Приказала позвать: «Откуда, отец?» — «Оттуда-то»,— называет монастырь.— «Садись, старец».

Велела изготовить, чем угостить его. Сидят, разговаривают. Монах и говорит ей: «Матушка, а я и сынка-то вашего, Петра Михайловича, знаю».— «Как так? Где ж ты его видел?» — «Там-то»,— и начинает бабушке подробно говорить о батюшке; и точно, по словам видно, что знает его. Бабушка еще пуще расположилась к монаху. Только вдруг, во время разговора, бежит человек и докладывает бабушке: Петр Михайлович приехал. Взвертелся монах: хочет уйти из комнаты, бабушка его уговаривает остаться, а между тем входит батюшка. Поздоровавшись с матерью, он взглянул на монаха. Тот ни жив ни мертв.

«Ты как здесь?» — крикнул ему батюшка. Тот в ноги: « Не погубите, виноват».

Бабушка смотрит, понять не может, что такое происходит. Батюшка и говорит ей: « Знаете ли, матушка, кого вы изволили принимать? Это беглый солдат из моей роты; его давно отыскивают». «Не погубите»,— повторяет тот.

Батюшка хотел, было, отправить его по этапу, но бабушка уговорила сына не срамить ее дома и не налагать руки на гостя, кто он ни на есть. Тот обещался явиться в полк сам от себя; не помню теперь, исполнил ли он обещание.

Бабушка хотя и не перестала принимать монахов-сборщиков, но с тех пор стала гораздо осторожнее, опасаясь, чтобы под видом настоящего монаха не принять какого-нибудь беглого, а батюшка, помня этот случай, всегда опасался сборщиков. <...>

Бабушка Евпраксия Васильевна была еще в живых, когда женился батюшка, и к матушке была она очень добра и взяла к себе на воспитание мою сестру (вторую дочь батюшкину), которую так же, как и меня, звали Елизаветой. У меня сохранилось письмо, писанное бабушкой к матушке по случаю моего рождения: она пишет, что поздравляет и что посылает ей с мужем пятьдесят рублев на родины и на именины. Бабушка Евпраксия Васильевна была слаба, хотя летами была еще совсем не стара: едва ли ей было и шестьдесят лет*.

<...>

В 1792 году скончалась бабушка, княгиня Анна Ивановна Щербатова. Она больше все жила в деревне, в селе Сяскове, тоже Калужской губернии. Это было ее собственное имение, приданое. Тетушка, графиня Александра Николаевна Толстая, жила с бабушкой. Муж ее, граф Степан Федорович, когда женился, был уже немолод и был бригадиром. У него всего состояния и было только: золоченая двухместная карета и пара пего-чалых лошадей, а тетушка так же, как и матушка, получила в приданое 1000 душ.

---

* *Янькова Е. П.* Рассказы бабушки. М.,1989, с. 9—21.

Бабушка-княгиня была очень мала ростом, ходила всегда в черном платье, как вдова, и на голове носила не чепец, а просто шелковый платок. Один только раз и случилось мне видеть бабушку во всем параде: она заехала к нам в Москве откуда-то с обеда свадебного или со свадьбы: на ней было платье с золотою сеткой и нарядный чепец с белыми лентами. Мы были еще все детьми, выбежали к ней навстречу и, увидев ее в необыкновенном наряде, стали прыгать пред ней и кричать: «Бабушка в чепце! Бабушка в чепце!»

Она прогневалась на нас за это:

— Ах вы, дуры девчонки! Что за диковинка, что я в чепце? Бабушка в чепце! А вы думали, что уж я и чепца надеть не умею... Вот я вам уши за это надеру... Пришел батюшка, она ему и жалуется на нас:

— Дуры-то твои выбежали ко мне и ну кричать: «Бабушка в чепце!» Знать, ты мало им уши дерешь, что они старших не почитают.

Батюшка стал успокаивать ее: «Матушка, не извольте на них гневаться, дети глупы, ничего еще не смыслят».

После, как бабушка уехала, уж и досталась же нам от батюшки гонка за это; тогда мне было едва ли больше пяти лет. Мы езжали к бабушке Щербатовой в деревню и после матушкиной кончины у нее долго гостили, да и прежде гащивали в Сяскове по нескольку дней. Случалось это почти всегда осенью, потому что приноравливали, чтобы попасть к бабушкиным именинам, сентября 9. Ей в честь и названа была младшая моя сестра Анной, а мне имя Елизаветы дано в честь Взимковой, которая чуть ли и не крестила батюшку. Бабушка вставала рано и кушала в полдень; ну, стало быть, и мы должны были вставать еще раньше, чтобы быть уже наготове, когда бабушка выйдет. Потом до обеда сидим, бывало, в гостиной пред нею навытяжку, молчим, ждем, что бабушка спросит у нас что-нибудь; когда спрашивает, встанешь и отвечаешь стоя и ждешь, чтоб она сказала опять: «Ну, садись». Это значит, что она больше с тобой разговаривать не будет. Бывало, и при батюшке, и при матушке никогда не смеешь сесть, пока кто-нибудь не скажет: «Что же ты стоишь, Елизавета, садись». Тогда только и сядешь.

После обеда бабушка отдыхала, а нам и скажет: «Ну, детушки, вам, чай, скучно со старухой, все сидите навытяжку; подите-ка, мои светы, в сад, позабавьтесь там, поищите, не найдется ли бранцев, а я сем-ка лягу отдохнуть».

Знаешь ли, что такое значит: бранцы? Это самые спелые орехи, которые остаются по недосмотру на кустах в то время, когда орехи берут. Потом они дозревают и с кустов падают на землю; это самые вкусные орехи, потому что дозреют.

В Сяскове в то время сад был пребольшой, цветников было мало, да и цветов тогда таких хороших, как теперь, не бывало: розаны махровые, шиповник, касатики, нарциссы, барская спесь, пионы, жонкили. Сады бывали все больше фруктовые: яблоки, груши, вишни, сливы, чернослив и почти везде ореховые аллеи. Теперь нет и таких сортов яблок, какие я в молодости едала; были у батюшки в Боброве: мордочка, небольшое длинное яблоко, кверху узкое,

точно как мордочка какого-нибудь зверька, и звонок — круглое, плоское, и когда совсем поспеет, то зернышки точно в гремушке гремят. Теперь этих сортов и не знают: когда брату Михаилу Петровичу досталось Боброво, как мне хотелось достать прививок с этих яблонь; искали — не нашли, говорят, померзли.

В Сяскове было тоже много яблонь и всяких ягод и предлинные ореховые аллеи: цело ли теперь все это? С тех пор прошло более семидесяти пяти лет!..

Бабушка Щербатова была очень богомольна, но вместе с тем и очень суеверна и имела множество примет, которым верила. По-тогдашнему это было не так странно, а теперь и вспомнить смешно, чего она боялась, моя голубушка! Так, например, ежели она увидит нитку на полу, всегда ее обойдет, потому что «Бог весть, кем положена эта нить, и не с умыслом ли каким?». Если круг на песке где-нибудь в саду от лейки или от ведра, никогда не перешагнет через него: «Нехорошо, лишаи будут». Под первое число каждого месяца ходила подслушивать у дверей девичьей и по тому, какое услышит слово, заключала — благополучен ли будет месяц или нет. Впрочем, девушки знали ее слабость и, когда заслышат, что княгиня шаркает ножками, перемигнутся и тотчас заведут такую речь, которую можно бы ей было истолковать к благополучию, а бабушка тотчас и войдет в девичью, чтобы захватить на слове.

— Что вы такое говорили? — скажет она.

Девушки притворяются, что, будто, и не слыхали, как она вошла, и нагородят ей всякого вздора и потом прибавят:

— Это, государыня княгиня, знать, к благополучию.

А ежели она услышит что-нибудь нескладное, плюнет и пойдет назад.

Иногда придет и скажет тетушке: «Алексашенька, вот что я слышала»,— и станет ей рассказывать, и потом вместе перетолковывают, значит ли это слово к благополучию или не к добру.

Она верила колдовству, глазу, оборотням, русалкам, лешим; думала, что можно испортить человека, и имела множество разных примет, которых я теперь и не упомню.

Зимой, когда запушит окна, рассматривала узоры и по фигурам тоже судила: к добру или не к добру.

Тетушка, графиня Толстая, которая до самой кончины ее все жила с нею вместе, много понабралась от нее примет и имела большие странности.

Очень понятно: живали в деревне, занятий не было, вот они сидят и придумывают себе всякую всячину*.

---

* *Янькова Е. П.* Рассказы бабушки. М.,1989, с. 31—33.

С. Н. Глинка*

Записки

Я был счастлив в ребячестве моем, меня любили. Особенно ласкала меня моя двоюродная бабка Лебедева, вдова родного брата моей родной бабки. Село ее Третьяково было только в 15 верстах от Суток. В каждый свой приезд она, мимо всех других братьев, дарила меня и лучшими игрушками, и лучшими гостинцами. Я не понимал тогда, что это было предпочтение, за которым так гоняются в свете, но всегда выбегал первый к ней навстречу и целовал ее руку, которой она меня так приголубливала. Лелеяло меня и сердце моей матери, но по нежной ее заботливости о старшем моем брате я видел, что оно ближе было к нему. Не понимал я тогда, что это была зависть, а мне было досадно. И в сердцах детей есть свои порывы, и у мысли их есть своя догадка.

Муж бабки, Петр Григорьевич Лебедев, при учреждении губернии избран был судьею в Духовщинском уезде. А это было тогда чередой почетною в новом мире управления, устроенного Екатериной II. Тогда шар дворянский обвивался каким-то блеском волшебным. Слышно было, что в Новгороде избран был в заседатели суда отставной генерал-майор. Он жаловался Екатерине, и она отвечала: «Я установила выборы, а шары дворянские не от меня зависят». Известно также, что в Московском уездном суде не отказался от должности заседателя камергер Ступишин, родной брат того Ступишина, который начальствовал в Пензенской губернии во время Пугачевского бунта. Тогда с таким же вниманием смотрели на судей, решителей жребия тяжущихся, с каким древние мореходы наблюдали светила небесные. Справедливость велит упомянуть, что тогда еще свято уважалась речь: «Он беден, да честен». У мужа бабки моей было небезбедное состояние, а к нему, по общей тогда молве, он прибавил только имя честного человека и беспристрастного судьи.

Бабка моя меня, своего любимца, выпросила погостить и пожить в селе ее. По отметке ее в святцах о моем туда приезде, я помню, что это было 1780 года, в исходе мая. День был прекрасный. Мы отправились около вечера, и мне казалось, что родное солнце шло вслед за нами. По рощам и кустарникам разливался голос соловьев. Мне был тогда пятый год, и это был первый мой выезд. Бабка моя, боясь меня обеспокоить, велела ехать шагом. Я блаженствовал и всем любовался. Мы приехали в сумерки. Уверенная, что я буду ее жильцом, она заранее велела все приготовить:

* Глинка Сергей Николаевич (1775—1847) — поэт, драматург, переводчик, журналист и цензор, издатель журнала «Русский вестник».

стол был накрыт, постель моя была поставлена подле ее кровати. Все меня ждали, но никто не суетился. В доме ее все как будто шло само собой; при ней были только две дочери, старее меня шестью и семью годами; три сына ее были в военной службе. Не слыхал я никакого окрика: ни на дворовых людей, ни на приказчиков. Каждый знал свое дело и исполнял его рачительно, оттого что не был развлечен никакими прихотями. Об этом рассуждаю теперь, а тогда чувствовал только одно наслаждение новой моей жизни.

Радостно было мое пробуждение: вереница дворовых мальчиков уже ожидала меня и бежала за мною в рощу, которая роскошно раскинулась на каких-то курганах. Рассказывали мне после, что тут была какая-то битва, в то время когда меч и копье размежевывали землю русскую; но в ребячестве моем я ничего себе не представлял и ничего не воображал. Набегавшись по курганам в роще, я побежал на луг, где уже был хоровод сенных девушек и две дочери моей бабки. В играх наших неравенство лет исчезало. Девушки пели песни, а мы кружились в хороводе. Меня величали, как будто какого-то победителя, а я просто был баловнем доброй помещицы села Третьякова. Не утерпела и она: сама явилась к нам на луг.

По праздникам в скромной одноколке мы с бабкой ездили по селу. Крестьяне в нарядных своих платьях стояли у изб; бабка моя подъезжала к каждой и заботливо спрашивала, все ли здоровы у них; где был больной, приказывала приходить к себе за сельским лекарством. Ее сердце, ее христианская любовь научили меня всех любить и всем желать добра. В разъездах своих по селу она с особенным вниманием обозревала амбары, где хранилась запасная жизнь крестьян. Село Третьяково недалеко от уездного города, и если приказчик недобросовестен, то перевоз туда хлеба ночью нетруден. Тут нужен зоркий глаз хозяйский. При ней отпускали чистую муку и дворовым, и крестьянам. «Избави, Боже, каждого человека от мякинного хлеба»,— говорила она. А чем питаются бедняки в голодный год, когда у богачей на пирах разливное море! Сытый — голодного не разумеет. Тайна этой науки в человеколюбивом попечении, и эту тайну вполне знала моя бабка.

И как лелеяла она мою душу! Близ церкви, между двух рощей, окруженное цветущими берегами большое озеро отражало в волнах своих и ясное солнце, и безмятежную луну. Однажды при ней и при мне закинули невод и вытащили множество крупной и мелкой рыбы. Торопливой рукой хватал я маленьких рыбок и пускал их в озеро. «Что это ты делаешь?» — спросила бабка моя. «Мне жаль этих рыбок,— отвечал я.— Они так сильно бьются, верно, очень боятся больших рыб». Она улыбнулась и приказала, чтобы и впредь мне давали на это свободу.

Я был временным полновластным владельцем и господином в поместье моем. Я говорю: в моем поместье, потому что все тогда так думали и все это повторяли. Целая кладовая со всеми банками различных варений, все сушеные ягоды и плоды, вся эта лакомая область была в моем распоряжении, и ребятишки, мои

сверстники или несколько постарее меня, были ежедневными застольниками моего пированья. Некому было мне поперечить, все покорствовали моим затеям; но я не употреблял во зло моего полномочия. В 1835 году был я в селе Третьякове, и две умные и добрые дочери моей бабки рассказывали мне, что им только та была беда, когда они, бывало, захотят работать или читать, а бабушка посылает их гулять или играть с Сережей. Отчего при этом рассказе не хочется отстать ни перу, ни сердцу? Что приковывает их к нему? Память о любви сердечной*.

*Ф. В. Булгарин***

Воспоминания

Недели через полторы мы отправились, в экипажах пана Струмилы, в Минск; но прежде заехали в Русиновичи, имение бабушки моего отца (т. е. родной сестры его деда), grand-tante, пани Онюховской. Эта почтенная дама представляла собой живой исторический памятник важнейших событий в крае в течение целого столетия и вместе с тем сохраняла остатки старопольских обычаев первой половины XVIII века. Такие люди редко встречаются, и я должен поговорить о ней. Бабушка отца моего родилась в 1697 году, следовательно, в это время ей было ровно сто лет. Скажу предварительно, что она умерла скоропостижно, от испуга, в 1812 году, т. е. ста пятнадцати лет от рождения, когда партия казаков внезапно и с шумом въехала ночью в ее двор. Она была необыкновенно высокого роста, держалась всегда прямо и носила шнуровку до последней минуты, и всю жизнь управляла сама хозяйством, вела переписку, не употребляя очков. Во всю жизнь свою она никогда не была до того больна, чтоб лежать в постели. Имея весьма порядочное состояние и будучи вдовой президента Гродского (т. е. уголовного) Суда, она занимала почетное место в обществе, но в течение почти сорока лет только однажды,

* *Глинка С. Н.* Записки. М., 2004, с. 25—27.

** Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859) — писатель, журналист, редактор «Северного архива» (1822—1825) и «Литературного вестника» (1823—1824), издатель (с Н. И. Гречем) «Северной пчелы» (1825—1859) и «Сына Отечества» (1825—1839), а также секретный цензор трагедии А. Пушкина «Борис Годунов».

и то по важному делу, выезжала из своей деревни, охотно принимая гостей и даже славясь радушием и гостеприимством.

В доме ее все устроено было на старинную ногу, и многие ездили к ней нарочно, чтоб насмотреться на старопольские обычаи, от которых она не отступала ни на волос. Она не переменяла никогда покроя своей одежды и одевалась так, как одевались польские дамы в начале XVIII века, т. е. в длинную белую кофту (в обыкновенные дни канифасную, а в праздники коленкоровую) до колен, с фалдами и с узкими рукавами. Корсаж состоял из шнуровки, с черными лентами накрест, как в швейцарском женском костюме. Белая верхняя исподница до колен была обшита фалдами и, между ними, одной широкой черной лентой. На голове носила она высокий чепец, перевязанный широкой черной лентой (в знак вдовства). Черные башмаки были с пряжками и высокими красными каблуками. Она всегда имела в руках высокую трость с золотым набалдашником, на котором вырезано было изображение Богоматери. При встрече с незнакомым человеком или при какой-нибудь опасности она крестилась и целовала это изображение. Взгляд ее был серьезный, голос громкий и несколько грубый. За ней, в роде вестового, ходила всегда любимая ее служанка, с ключами и с мешком, в котором были куски сахара, пряники, мелкие серебряные деньги для раздачи детям слуг и сиротам, воспитываемым в ее доме.

У нее был один только сын (давно уже скончавшийся), который известен был во всей провинции под именем *короля,* потому что мать не называла его иначе как *мой король* (moy krolu). Она баловала своего *короля* до такой степени, что он был гораздо счастливее настоящего Короля Станислава Августа, хотя и был предметом шуток и, так сказать, притчей во языцех в целой Литве. Мать обходилась с ним до старости как с малолетним. Природа дала ему и ум, и доброе сердце, и вообще он был любим всеми, кто знал его близко. Мать не дала ему никакого воспитания, опасаясь науками повредить здоровью, и он едва знал грамоте. Самоучкой и по слуху он играл на фортепиано, и даже весьма приятно, с чувством и выражением. За *королем* ухаживали беспрестанно несколько лакеев и молодых служанок и должны были забавлять его. Для него варили ежедневно более десятка кушаньев, в малых кастрюльках и горшочках, чтобы угодить его вкусу по внезапному желанию и требованию. Сама мать не употребляла никакого лекарства, но расстроила здоровье своего *короля,* подчивая его без нужды всякого рода медикаментами и держа почти круглый год взаперти, чтобы не подвергнуть простуде. Во всех делах женщина умная, она, от излишней и дурно постигнутой материнской нежности, была причиной и телесной слабости, и умственного закостенения единственного своего сына, и сделала его даже смешным. <…>

Прабабушка моя, пани Онюховская, одарена была удивительной, редкой, непостижимой памятью и помнила не только все происходившее в ее детстве и молодости, но даже и то, что произвело на нее сильное впечатление в течение всей жизни. Она была по двенадцатому году от рождения, когда Шведский Ко-

роль Карл XII проходил с войском из Сморгон в Борисове, в 1708 году.

Ровно через сто лет после этого события, когда я был у нее в 1807 году, она рассказывала мне про Карла XII, который несколько дней квартировал в доме ее родителей, как будто она видела его накануне. <...>

«Видала я также и соперника Карла, московского царя Петра,— примолвила прабабушка: — Это было в 1711 году, также в половине марта. В Слуцке стоял русский фельдмаршал Шереметев (прабабушка называла его Шеремет), и мы приехали со всем семейством в Слуцк, чтоб просить у него залоги, потому что его казаки и разные дикие народы, башкиры и калмыки, производили страшные грабежи. В это время разнеслась весть, что сам царь будет в Слуцке, вместе с женой своей, которую тогда впервые назвали царицей. <...>

Царь Петр, увидев меня, подошел ко мне, и, похвалив мой рост, спросил, сколько мне лет, а потом промолвил, что если я хочу идти замуж, то он доставит мне жениха по моему росту. Потом подозвал гренадерского офицера, такого же великана, как и он сам, и представил его мне. Понимая шутку, я отвечала, что, напротив, я хочу маленького мужа. "Чтоб держать в руках, не правда ли? — сказал царь, улыбаясь.— Ой, вы, польки!" С этим он оставил меня». <...>

Хотя Петру Великому и не удалось выдать замуж моей прабабушки за саженого гренадера, но в доме ее была настоящая гренадерская субординация. Она страстно любила вышивание по канве и в тамбуре и, будучи уже не в состоянии сама работать, находила наслаждение в руководстве работами и имела в доме своем род мануфактуры. Более двадцати крепостных девушек, с полдюжины сирот и воспитанниц и несколько бедных шляхтяночек ежедневно занимались вышиванием ковров и обоев. Все стены и все мебели в ее доме обиты были превосходнейшим шитьем, едва ли уступающим гобеленовым обоям. Этих ковров и обоев она никогда не продавала, но не только родным, а даже и значительным людям, не по их силе, а по ее выбору, и самому Королю Польскому посылала она в подарок свои изделия, которые высоко ценились знатоками. На выписывание рисунков она не жалела денег. На больших стенных коврах рисунки изображали битвы, охоту; фигуры были в натуральный рост. На старинной массивной мебели, над дверями, над окнами и даже на печах и на всей домашней посуде и утвари были вырезаны или нарисованы гербы нашей фамилии. В портретной зале была коллекция портретов наших предков с XVI века. Словом, это был в полном смысле дом исторический, и если Литва имела своего Вальтера Скотта, то Русиновичи и вотчиница этого имения непременно играли бы роли в историческом романе. <...>

В Польше, в прошлом веке, все родные в нисходящей линии должны были падать на колени перед старшими родными и целовать ноги родителей. У моей прабабушки, пани Онюховской, этот обычай велся до ее смерти. Когда мы приехали к ней, она сидела в больших креслах. Мои родители и сестра пали к ногам ее, заставив и меня сделать то же, и она протянула ногу, которую мы поцеловали. Потом она приказала нам встать

и дала обе руки для облобызания и уже после этой операции приподнялась с кресел, поцеловала всех нас в лицо, благословила и велела родителям моим сесть, а мне и сестре стать возле ее кресла.

Отец мой рассказал ей обо всем случившемся с нами, не забыв и того, что все вещи наши остались в руках наездников и что мы имеем только то, что на нас. Прабабушка не сказала в ответ ни слова, а только покачала головой.

Мы приехали утром. «Ступайте же в ваши комнаты и отдохните,— сказала прабабушка,— а я займусь хозяйством». Любимая ее девка отвела нас в назначенные нам комнаты, и тотчас явился повар, чтобы расспросить о любимых блюдах каждого из нас. Через час лакеи внесли к нам кипы. Тут был холст, батист, шелковые материи в кусках, кружева, платки, даже сукно. Не забыты были и ковры. По старопольскому обычаю, все это надлежало иметь в запасе в порядочном доме. При каждой покупке земных произведений у помещика, купец, по обычаю, должен был дарить хозяйке и, кроме того, на каждой ярмарке покупались новые товары, хотя без нужды, чтобы только купить что-нибудь, и оттого кладовые в домах были полны. По счастью, во время последней войны начальник войск русских, человек образованный, узнав, что моя прабабушка лично знала Петра Великого, нарочно ездил к ней и из уважения к памяти великого мужа, хотевшего сделать ее своей гренадершей, дал ей залог и охранительный лист, и дом ее остался неприкосновенным. Любимая служанка прабабушки объявила, что барыня просит нас принять все это на первый случай.

Мне ужасно хотелось побегать в саду, но отец мой сказал, что здесь нельзя гулять в саду без особого позволения хозяйки. Все находившиеся под крышей дома должны были сообразоваться с волей хозяйки; таков был старинный обычай! Пей, ешь, спи и прогуливайся не когда хочешь, а когда велят! Каждый был в своем доме властелином, а в чужом доме подданным. <...> Прожив несколько дней в Русиновичах, мы отправились в Минск. Перед отъездом повторились коленопреклонение, целование в ногу и в руки и благословение. Прабабушка дала моей матери кожаный мешочек со ста червонцами, завязанный и запечатанный; сестре подарила десять червонцев, а мне один червонец, на конфеты. Отца моего она только погладила по голове, и сказала: «Живи скромнее!» Когда мы уселись в коляску, отец ощупал под ногами мешок; он приподнял его: мешок был с рублями и с надписью: «500 рублей».

Мои родители не могли надивиться щедрости прабабушки: она весьма редко дарила деньгами родных, и подарок ее никогда не превышал ста злотых польских. Видя нас в несчастном положении, она отступила от своего правила. Фамильная гордость восторжествовала над всеми чувствами и правилами. Она даже не одобряла смирения отца моего, и сказала, что надлежало пустить пулю в лоб дерзкому, осмелившемуся беспокоить шляхтича в его доме! Таковы были польские женщины в старину. Они поджигали мужей и сыновей своих на битвы*.

---

* *Булгарин Ф. В.* Воспоминания. М., 2001, с. 64—77.

А. П. Керн*

Воспоминания. Дневники. Переписка

Это была замечательная женщина. Она происходила из фамилии Шишковых. Вышла замуж очень рано, когда еще играла в куклы, за Марка Федоровича Полторацкого. Ее выдали замуж, разумеется, без любви, по соображениям родителей...

...Она была красавица и, хотя не умела ни читать, ни писать, но была так умна и распорядительна, что, владея 4000 душ, многими заводами, фабриками и откупами, вела все хозяйственные дела сама без управляющего через старост. Этих старост она назначала из одной деревни в другую, отдаленную, где не было у них родни. Она была очень строга и часто даже жестока. Жила она в Тверской губернии, в селе Грузинах, в великолепном замке, построенном Растрелли. Он стоял на возвышении. Перед ним лужайка, речка, на ней островки. За ними печальные, выстроившиеся в одну линию каменные избы крестьян. Она всякую зиму лежала в постели и из подушек ее управляла всеми огромными делами, все же лето она была в поле и присматривала за работами. Она из алькова своей прекрасной спальни, с молельною, обитою зеленым сукном, перенесла свое ложе в большую гостиную, отделанную под розовый мрамор, и в этой ее резиденции я впервые увидела ее. Она меня чрезвычайно полюбила, угощала из своей бонбоньерки конфетами и беспрестанно заставляла болтать, что ее очень занимало. В этой комнате были две картины: Спаситель во весь рост и Екатерина II. Про первого она говорила, что он ей друг и винокур; а вторую так любила, что купила после ее смерти все рубахи и других уже не носила.

Бабушка заметила, что я всегда плакала, когда выдавали горничных девок замуж, дразнила меня часто тем, что обещала выдать замуж за одного из своих старост...

При ней жило много приживалок, и она любила забавляться их болтовнею, ссорами, сплетнями. Это все заменяло ей чтение. У нее бывали по преимуществу только те, которые имели с нею дела или надеялись получить от нее какие-либо выгоды, бывали соседи — общество весьма неинтересное, по большей части невежественное, ничего не читавшее, праздное, далекое еще от сознания, что труд обусловливает жизнь, дает ей полноту, смысл, что в нем только человек находит некоторое удовлетворение в своих стремлениях. Посетители бабушки скучны были, скука была неотъемлемою их принадлежностью, и они возили ее всюду с собою. Кормила их бабушка дурно. Обеды у нее были преневкусные.

* Керн Анна Петровна, урожд. Полторацкая (1800—1879), была предметом недолгого, но сильного чувства А. С. Пушкина, выраженного им в стихотворении «Я помню чудное мгновенье».

Сама же ела сластно за особым столом, сидя на постели. Редкости разные подавались ей в особых сосудах, из них и мне удавалось иногда лизнуть. С батюшкой она была очень холодна, с матерью моею ласкова, а со мною нежна до того, что беспрестанно давала мне горстями скомканные ассигнации…

Когда бывала она недовольна кем-нибудь из детей, то проклинала виновного и называла Пугачевым. Батюшка мой чаще всех подвергался ругательствам и проклятиям за свои промахи в делах…

В то время, когда она кричала отцу: вон!— она была так страшна, что я была в ужасе и заболела… В доме у нее никто не смел лечиться у докторов, а должен был прибегать к проживавшему у нее грубому венгерцу. Она не терпела докторов и безотчетно верила в невежественного шарлатана. Ко мне его привели, но я расплакалась, и его увели…

Такова была моя бабушка со стороны отца*.

А. О. Смирнова-Россет**

Дневник. Воспоминания

На станции Водяное, которая так значится на карте Новороссийского края, жила моя бабушка Екатерина Евсеевна Лорер <рожденная княжна Цицианова>. Она давно была вдова, определила сыновей на службу, а дочерей, кроме меньшой, Веры Ивановны, повыдала замуж, как она выражалась. Тогда эта деревушка называлась Грамаклеей, и речка, которая там протекает, тоже называлась Грамаклеей. За дворовым строением бил ключ, который бежал по кремням, там переезжали вброд, что случалось редко, если бабушка не едет к двоюродной сестре Елисавете Сергеевне Шклоревич или та не заедет в Грамаклею. Елисавета Сергеевна была сестра княгини Анны Сер<геевны> Кудашевой, но они были в ссоре, потому что Кудашева считала, что Шклоревич был не пара для княжны Баратовой. Но и бабушка, и Елисавета Сергеевна не ставили ни в грош кудашевское княжество и говорили, что столбовой дворя-

* *Керн А. П.* Воспоминания. Дневники. Переписка. М., 1989, с. 107.

** Смирнова Александра Осиповна, урожд. Россет (1809—1882),—фрейлина, была дружна со всем петербургским пушкинским кругом, оставила ценные записки о встречах с А. С. Пушкиным.

нин Шклоревич гораздо выше, как и прусский дворянин Лорер, а что в Грузии Кудашевы ездили у них на запятках.

Странно, что я вела самую кочующую жизнь, едва удавалось прожить два года на одном месте. Не могу себе представить, какие перемены произошли в этом краю, и сохранил ли он эту прелесть, которая мне так любезна. В самых красивых местах за границей мне всегда вспоминалась моя милая Грамаклея, и мне казалось, что всего лучше в этой бедной деревушке (там тогда было 150 душ на 5000 десятин земли).

Я уверена, что настроение души, склад ума, наклонности, еще не сложившиеся в привычки, зависят от первых детских впечатлений. Я никогда не любила сад или салон. Дитя любит более всего свободу, ему условное не нравится; как бы ни был убран сад, ребенка тянет за решетку, в поле, где природа сама убирает в вечно разнообразный наряд. <...>

В Грамаклее в 1816 году не имели понятия о том, что такое сад, и им обязана Грамаклея Ришелье. Он проезжал мимо и видел, что бабушка сидела à l'ombra della casa (в тени дома), как говорят в Италии, и сказал ей: «Катрин Евсеевна, зачем вы не сажал деревья?» — «Батюшка Дюк, где же мне их достать?» — «Я вам буду присылать из Одесса».

Через две недели пришли два воза корней, и Батист, садовник Дюка, их посадил вдоль речки Водяной. Они прекрасно прижились, и, говорят, что вышел в самом деле прекрасный сад. <...> Лицом к большой дороге стоит господский дом в один этаж, вымазанный желтой краской, а крыша железная, черная; перед домом палисадник, сложенный из булыжника; в нем росла заячья капуста (valériana), барская спесь, голубые и розовые повилики, очень душистые; рядом с домом был сарай, крытый в старновку. <...>

Старновка — солома, стриженная вгладь. На этот сарай вечером прилетали журавли. При самом захождении солнца самец поднимал одну из своих красных лапок и трещал несколько минут своим длинным, красным же носом. «Журавли Богу молятся,— говорили дети и люди,— пора ужинать». Против дома была станция (ее содержала бабушка), т. е. белая большая хата, также тщательно вымазанная. Речка, которая протекала вдоль сада, была темная, глубокая и катилась так медленно, что казалась недвижной среди тростника. В ней раз утонул человек — не было конца рассказам о нем: то видели круги на воде, когда он выплывал ночью при луне и зазывал запоздалых косарей и девок. Самое замечательное в Грамаклее, конечно, невозмущаемая тишина, которая в ней царствовала, особенно когда в деревушке замолкал лай собак, водворялась синяя бархатная ночь, звезды зажигались вдруг с незаметной быстротой. Все окна были открыты, воздух был теплый (tiède), неподвижный, везде безмолвие и лень, казалось, что и за пределами Грамаклеи точно то же, и всегда и везде то же. Когда подавали ужин, бабушка садилась за стол, набожно перекрестившись, возле нее шурин ее Карл Иванович, потом мы, ее внучата, с нашей доброй Амальей Ив<ановной>. Тетушка Вера Ив<ановна> всегда запаздывала и подвергалась не совсем благосклонным замечаниям бабушки о столичном воспитании в Москве у дедушки Дмитрия Евсеевича Цицианова. <...>

Тетушка Вера Ив<ановна> рисовала à la sepia копии с Мадонн Рафаэля и играла на фортепиано, которое бабушка называла *Porto Franco*. Эти два слова ничего не представляли ее понятиям. Сфера ее мышления ограничивалась очень простой сердечной молитвой, заботой по полевому и домашнему хозяйству и воспоминанием о знатных господах, которых она знала. Она говорила с особой важностью о какой-то старой Кочубейше, а кто она была, я не знаю. Бабушку как будто раздражало то, что выходило из круга ее обыденной жизни, она, кажется, была в полном смысле русский консерватор, враг чуждых приемов и обычаев. Она не любила иностранные языки, и, когда, бывало, Амалья Ив<ановна> засадит меня и братьев за немецкие слова, она говорила: «На что это детей мучить — вот я так век прожила без языков, и за немцем была замужем. Хороший человек был покойный ваш дед, все его уважали в Херсоне, и место имел хорошее, был вице-губернатором, но только наживаться не хотел. Раз к нему приехал *Щенсна-Потоцкий* и просил его заняться его процессом; покойник его кончил в два года, Потоцкий так был рад, что предложил ему 2000 душ, но он отказался от них: "Я исполнил свой долг, мне платит государь, а ежели вам угодно сделать мне что-нибудь приятное, у меня нет часов. В Херсоне они не нужны, но так как я выслужил себе право на пенсию, то хочу выйти в отставку и поселиться в имении жены; у нее был маленький капитал, она купила 5000 десятин земли при реке и при ключе и построила маленький домик, в деревне часы мне будут очень нужны". Потоцкий прислал ему золотые часы в 380 р., «а як он, голубчик, скончался, и закатилось мое солнце, я их остановила на том часе и поховала», т. е. спрятала. <...> Она говорила еще, что когда род Цициановых с царем Вахтангом приехал в Россию и поступил в подданство, то их отцу даны были на юге земли и 500 душ. Дмитрий Евсеевич был флигель-адъютантом Потемкина и женился на Варваре Егоровне Грузинской, за которой взял 8000 душ, дом, занимавший полквартала, потому что церковь Рождества в Кудрине была в их саду. Это мне после рассказывала тетушка Елисавета Дмитриевна. Старшая сестра бабушки получила землю под Балтой и была вдова Гангеблова. Другая была за Шмаковым, еще одна за Чепелевским, а последняя за грузином Бонгескулом. «И так я, душенька, осталась без состояния, но Господь помог, сыновья на службе, а дочерей пристроила — Катя замужем за Артемием Ефимовичем Вороновским и живет в Пондике, Лиза за Каховым и живет под Соколами в Каховке. А твоя маменька была замужем за Осипом Ив(ановичем) Россет. Умный, хороший был человек, а у Дюка правая <рука>, все его любили и уважали, ему дали имение под Одессой за Очаков, тоже в Бессарабии и в Крыму землю. Уж не знаю, куда они девались. Он, кажется, продал, построил дом в городе и завел хутор. А теперь, душенька, все пойдет даром, потому что твоя мать вышла замуж за полковника Арнольди». Такие разговоры мы слышали часто. И тут бабушка вздыхала и замолкала надолго. Потом, как бы опомнившись, начинала пересчитывать сыновей. «Вот Александр служил в уланах, все кампании делал, а теперь в отставке и женился

на Корсаковой, у нее большое имение там где-то под Петерб<ургом>, но она все по-французски, и теперь она в Италии, и все пишут, что лучше, чем у нас. А, по-моему, жили бы у себя в Гарнях, чего им там недостает? Николай теперь служит в Варшаве, он мот и балагур, а Митю я жду сюда. Женился он в Курске на княжне Волконской, племяннице безносого Прозоровского, который командует корпусом; оно бы хорошо, да имения нет никакого, совсем бедная девушка и воспитывалась в Екатерининском институте, и, верно, пустякам и все по-французски». У бабушки странным образом сливались понятия о настоящей аристократии и о чиновной знати. Однажды у нее остановился князь Федор Голицын и спрашивал ее о ее детях — она позвала Дмитрия Ив<ановича> и сказала: «Пересчитывай их». Он начал: «Сестра Екатерина за Вороновским».— «Не с того конца начал: сестра Надежда замужем за генералом Арнольди...» Голицын мне говорил, что она была такая оригиналка, что он нигде не проводил приятнее время, как у нее. И государь ее знал.

Утром рано Гашка мыла полы песком и мылом и два раза в неделю вощила всю мебель красного дерева, и так терла тряпкой столы, что в них можно было глядеться, но если чуть что не так, то бабушка Гашку била по щекам. <...>

Но я раз видела ужасную вещь в передней. Бабушка меня послала туда, я прибежала в ужасе и сказала ей, что в передней сидит мужик-козел и ноги у него в ящике, и слезно просила, чтобы его отослали в деревню. «Дурня, то мужик наказан, и ему надели рогатину, а ноги в стульях». Бабушка тотчас велела снять с него это ярмо и велела спрятать эти пытки в амбар. <...>

Иногда Амалья Ив<ановна> вступалась за воспитание и французский язык; как представительница западного образования она считала себя обязанной промолвить словечко в пользу этого воспитания. Но бабушка, всегда ласковая с ней, не обращала внимания и продолжала порицать все иностранное. Добрая старушка Амалья Ив<ановна> была идеал иностранок, которые тогда приезжали в Россию и за весьма дешевую цену передавали иногда скудные познания, но вознаграждали недостаток знаний примером истинных добродетелей, любви и преданности к детям и дому, который принимал их гостеприимно и радушно. Бабушка сидела всегда почти у порога своей конторы, так что она могла видеть les 4 coins cardinaux (четыре стороны) своего маленького царства. С утра одета в белый канифасовый капот и большую пелеринку, в белом чепце в очках, она вязала чулки, сидела в собственном деревянном кресле у столика, на котором стояла ее табакерка и носовой платок. Я сидела на деревянной скамейке у ее ног и была у нее на побегушках. Когда бабушка выезжала на так называемых поповских дрожках... <...> (Поповские дрожки — двухместная линейка, в них сидишь боком.) Тогда приказчик Роман ехал верхом на рыжей худой лошади, сам же он надевал долгополый синий сюртук домашнего изделия и чоботы. Когда бабушка брала меня с собой, я сидела с ней рядом без шляпки, без пелеринки. Амалию Ив<ановну> это приводило в ужас, и она кричала: «Ach, mein Gott, Sie bringt ein Sonnenstich» (Ах, Боже мой, у нее будет

солнечный удар). Но когда было слишком жарко, я подползала под фартук и возвращалась, припеченная солнцем и предовольная. Жизнь была незатейливая, слава Богу. Когда приезжали на почту важные господа, генералы или петербургская знать, их просили отужинать, даже переночевать в доме. Для капитанов и мелких помещиков была чистая комната на станции. Раз приехала прямо к дому какая-то графиня, такая бесцеремонность немного смутила бабушку, однако ее приняли; с графиней была девочка, у которой была большая кукла с серыми злыми глазами; мне казалось, что она на нас смотрела с презрением. Может быть, что серые злые глаза были не у куклы, но у столичной девочки.

Бабушка не имела знакомства по соседству, она терпеть не могла Кашперовых и Бредихиных и говорила: «Що воны думают, що я поиду к ним, гордятся, что у них по 500 душ!» К ней ездила ее внучатная племянница Марья Павловна Кулябка, рожденная Ворожейкина, и всегда с гостинцем. Но приезд Елисаветы Сергеевны Шклоревич был истинным праздником для всего дома. Улька, бедная девушка, которая жила в Грамаклее, объявляла нам, что мы можем делать, что хотим, потому что обе старушки в гостиной, куда подали варенье, дыни, арбузы и всякие сладости. Они друг другу говорили «вы» и все сплетничали насчет Кудашевых: «Представьте, Екатерина Евсеевна, что я сестру три года не видела, зачем мне ехать в Виску, она хвалится, что у нее 1000 душ».— «А я, Елисавета Сергеевна, всего раз была у нее, она все говорит, що в ней дом со столбами, а уж зато какая нечистота, везде пыль. Князь,— какой он князь, мы это знаем,— в зеленом бархатном халате и с собольим воротником. Одно у них хорошо — бублики да сырники. <…>

Зато в мене сосиски и сальные свечи лучше, и вся дворовая птица откормлена как нельзя лучше. Уж такой пасхи ни у кого нет, как у вас и у меня. А варенье у нее все на меду, и она без стыда им потчует. Яйцы у нее красные, а у нас писанки. <…>

Да, я могу похвастать своим вареньем; не забудьте сказать Роману, чтобы он в Николаеве купил 5 ф<унтов> сахару, я свой издержала для вашего варенья». <…>

Жизнь бабушки была вроде Пульхерии Ивановны и разнообразилась одними хозяйственными заботами. Иногда пересыпали из сита в сито мак и просо, кукурузу, иногда пересматривали белье из кладовой. Гашка, Марийка и Гапка выносили все на двор, выбивали, хлопали, переворачивали и опять вносили в кладовую. Старая Малашка, у которой указательный палец был как веретено, приходила с рапортом, что пуховики надо перепороть, вымыть и перечистить, что если дыни не посолить, то их бросить свиньям и пр., пр. Главный же момент был, когда Роман приходил с почты с деньгами, и его появлением заключался день. Бабушка запирала деньги, потом ужинали и расходились уже по спальням, где спали все мирным и сладким сном безупречной совести и хорошего здоровья*.

---

* *Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. М., 1989, с. 261—266, 279.

В. А. Соллогуб*

Воспоминания графа

«Несколько раз в течение лета она приглашалась к высочайшему столу, что всегда составляло чрезвычайное происшествие. Я говорю про свою бабушку Архарову. Заблаговременно она в эти дни наряжалась. Зеленый зонтик снимался с ее глаз и заменялся паричком с седыми буклями под кружевным чепцом с бантиками. Старушка, греха таить нечего, немного подрумянивалась, особенно под глазами, голубыми и весьма приятными. Нос ее был прямой и совершенно правильный. Лицо ее не перекрещивалось, не бороздилось морщинами, как зауряд бывает у людей лет преклонных. Оно было гладкое и свежее. В нем выражалось спокойствие, непоколебимость воли, совести, ничем не возмущаемой, и убеждений, ничем не тревожимых. От нее, так сказать, сияло приветливостью и добросердечием, и лишь изредка промелькивали по ее ласковым чертам мгновенные вспышки, свидетельствовавшие, что кровь в ней еще далеко не застыла и что она принимала действительное участие во всем, что около нее творилось. Изукрасив свой головной убор, она облекалась в шелковый, особой доброты халат или капот, к которому на левом плече пришпиливалась кокарда Екатерининского ордена. Через правое плечо перекидывалась старая желтоватая турецкая шаль, чуть ли не наследственная. Затем ей подавали золотую табакерку, в виде моськи, и костыль. Снарядившись ко двору, она шествовала по открытому коридору к карете...

Бабушка садилась в карету. Но, Боже мой, что за карета! Ее знал весь Петербург. Если я не ошибаюсь, она спаслась от московского пожара. Четыре клячи, в упряжи простоты первобытной, тащили ее с трудом. Форейтором сидел Федотка... Но Федотка давно уже сделался Федотом. Из ловкого мальчика он обратился в исполина и к тому же любил выпить. Но должность его при нем осталась навсегда, так как старые люди вообще перемен не любят. Кучер Абрам был более приличен, хотя весьма худ. Ливреи и армяки были сшиты на удачу из самого грубого сукна. На улицах, когда показывался бабушкин рыдван, прохожие останавливались с удивлением, или весело улыбались, или снимали шапки и набожно крестились, воображая, что едет прибывший из провинции архиерей. Впрочем, бабушка этим нисколько не смущалась. Как ее ни уговаривали, она не соглашалась увеличить ничтожного оброка, получаемого ею с крестьян. "Оброк назначен,— отговаривалась она,— по воле покойного Ивана Петровича. Я его не изменю. После меня делайте, как знаете. С меня довольно!

* Соллогуб Владимир Александрович (1813—1882) — граф, русский писатель.

А пустых затей я заводить не намерена!"
Вся жизнь незабвенной старушки заключалась в разумном согласовании ее доходов с природною щедростью. Долгов у нее не было, напротив того, у нее всегда в запасе хранились деньги. Бюджет соблюдался строго, согласно званию и чину, но в обрез, без всяких прихотей и непредвиденностей. Все оставшееся шло на подарки и добрые дела. Порядок в доме был изумительный благодаря уму, твердости и расчетливости хозяйки. Когда она говела, мы подслушивали ее исповедь. К ней приезжал престарелый отец Григорий, священник домовой церкви князя Александра Николаевича Голицына. Оба были глухи и говорили так громко, что из соседней комнаты все было слышно.
— Грешна я, батюшка,— каялась бабушка,— в том, что покушать люблю…
— И, матушка, ваше высокопревосходительство,— возражал духовник,— в наши-то годы оно и извинительно.
— Еще каюсь, батюшка,— продолжала грешница,— что я иногда сержусь на людей, да и выбраню их порядком.
— Да как же и не бранить-то их,— извинял снова отец Григорий,— они ведь неряхи, пьяницы, негодяи… Нельзя же потакать им в самом деле.
— В картишки люблю поиграть, батюшка.
— Лучше, чем злословить,— довершал отец Григорий.
Этим исповедь и кончалась. Других грехов у бабушки не было.
Но великая ее добродетель была в ней та, что она никого не умела ненавидеть и всех умела любить.
Когда, как я рассказывал выше, она ездила в Павловск на придворный обед, весь дом ожидал нетерпеливо ее возвращения. Наконец грузный рыдван вкатывался на двор. Старушка, несколько колыхаясь от утомления, шла, упираясь на костыль. Впереди выступал Дмитрий Степанович, но уже не суетливо, а важно и благоговейно. В каждой руке держал он тарелку, наложенную фруктами, конфектами, пирожками — все с царского стола. Когда во время обеда обносили десерт, старушка не церемонилась и при помощи соседей наполняла две тарелки лакомою добычею. Гоффурьер знал, для чего это делалось, и препровождал тарелки в пресловутый рыдван. Возвратившись домой, бабушка разоблачалась, надевала на глаза свой привычный зонтик, нарядный капот заменялся другим, более поношенным, но всегда шелковым, и садилась в свое широкое кресло, перед которым ставился стол с бронзовым колокольчиком. На этот раз к колокольчику приставлялись и привезенные тарелки. Начиналась раздача в порядке родовом и иерархическом. Мы получали плоды отборные, персики, абрикосы и фиги, и ели почтительно и жадно. И никто в доме не был забыт, так что и Аннушка кривая получала конфекту, и Тулем удостаивался кисточкою винограда, и даже карлик Василий Тимофеич откладывал чулок и взыскивался сахарным сухариком…
Павловск представлял, впрочем, для Архаровой некоторые неудобства. Во-первых, столовая была слишком мала. Широкому хлебосольству ставился по необходимости предел. Дача была просторная; боковые одноэтажные флигеля, в виде покоя, вмещали с одной стороны покои бабушки, с другой стороны семейство Александры Ивановны

Васильчиковой, нашей тетки. Поперек флигелей стояла большая теплица, но ее пришлось изменить на общую приемную, между двух комнат, и с надстройкою в виде мезонина. Числительность населения в доме была изумительная. Тут копошились штат архаровский и штат васильчиковский, и разные приезжие, и даже постоянные гости, особенно из молодых людей.

Я уже говорил, что Архарова своей родне и счет потеряла. Бывало, приедет из захолустья помещик и прямо к ней.

— Я к вам, матушка Катерина Александровна, с просьбой.

— Чем, батюшка, могу служить? Мы с тобой не чужие. Твой дед был внучатым моему покойному Ивану Петровичу по первой его жене. Стало быть, свои. Чем могу тебе угодить?

— А вот что, Катерина Александровна. Детки подросли. Воспитание в губернии сами знаете какое. Вот я столько наслышался о ваших милостях, что деток с собой привез, авось Бог поможет пристроить в казенное заведение.

— На казенный счет? — спрашивала бабушка.

— Конечно, хорошо бы. Урожаи стали уж очень плохи.

— Родня, точно родня, близкая родня,— шептала между тем бабушка.— Я и бабку твою помню, когда она была в девках. Они жили в Москве. Да скажи на милость, правду ли я слышала, что будто Петруше Толстому пожалована Андреевская лента? А вот еще вчера, кажется, он ползал по полу без штанишек. Что ж, похлопотать можно. А там ты уж не беспокойся. Да вот что... приезжай-ка завтра откушать. Не побрезгай моей кулебяки... да деток с собой привези. Мы и познакомимся.

И на другой день помещик приезжал с детками, и через несколько дней деток уже звали Сашей, Катей, Дуней и журили их, если они тыкали себе пальцы в нос, и похваливали их умницами, если они вели себя добропорядочно. Затем они рассовывались по разным воспитательным заведениям, и помещик уезжал восвояси, благодарный и твердо уверенный, что Архарова не морочила его пустыми словами и светскими любезностями, что она действительно будет наблюдать за его детьми.

Так и было. Мальчики обязывались к ней являться по воскресеньям и по праздничным дням и в вакантные времена, чтоб не дать им возможности избаловаться на свободе. Замечательно, что такая обязанность исполнялась аккуратно и многих спасла от возможных сумасбродств. Архарова относилась весьма серьезно к своим заботам добровольного попечительства.

И в Павловске они не забывались, но в Петербурге принимали еще большие размеры, и сплошь да рядом происходили визиты по учебным заведениям. Подъедет рыдван к кадетскому корпусу, и Ананий отправляется отыскивать начальство. "Доложите, что старуха Архарова сама приехала и просит пожаловать к ее карете". Начальник тотчас же является охотно и почтительно. Бабушка сажала его в карету и начинала расспросы. Это называла она — делать визиты. Речь шла, разумеется, о родственнике или родственниках, об их успехах в науках, об их поведении, об их здоровье, а затем призывались и родственники и в карету, и на дом...

Старуха не любила отпускать нас без обеда. Эти обеды мне хорошо памятны. За стол садились в пять часов, по старшинству. Кушанья подавались по преимуществу русские, нехитрые и жирные, но в изобилии. Кваса потреблялось много. Вино, из рук вон плохое, ставилось как редкость. За стол никто не садился, не перекрестившись. Блюда подавались от бабушки вперепрыжку, смотря по званию и возрасту. За десертом хозяйка сама наливала несколько рюмочек малаги или люнеля и потчевала ими гостей и тех из домашних, которых хотела отличить. Затем Дмитрий Степанович подавал костыль. Она подымалась, крестилась и кланялась на обе стороны, приговаривая неизменно: "Сыто, не сыто… а за обед почтите. Чем Бог послал". Не любила она, чтоб кто-нибудь уходил тот час после обеда. "Что это,— замечала она, несколько вспылив,— только и видели. Точно пообедал в трактире…" Но потом тотчас же смягчала свой выговор: "Ну, уже Бог тебя простит на сегодня. Да смотри не забудь в воскресенье. Потроха будут". После обеда она иногда каталась в придворной линейке, предоставленной в ее распоряжение, но большею частью на линейку сажали молодежь, а сама раскрывала гран-пасьянс, посадив подле себя на кресла злую моську, отличавшуюся висевшим от старости языком…

День бабушкин неизменно заключался игрою в карты. Недаром каялась она отцу духовному. Картишки она действительно любила, и на каждый вечер партия была обеспечена. Только партия летняя отличалась от партии зимней. Зимой избирались бостон, риверсы, ломбер, а впоследствии преферанс. Летом игра шла летняя, дачная, легкая: мушка, брелак, куда и нас допускали по пятачку за ставку, что нас сильно волновало.

В одиннадцать часов вечер кончался. Старушка шла в спальню, долго молилась перед киотом. Ее раздевали, и она засыпала сном ребенка.

В постели она оставалась долго. Утром диктовала письма своему секретарю Анне Николаевне и обыкновенно в них кое-что приписывала под титлами своей рукою. Потом она принимала доклады, сводила аккуратно счеты, выдавала из разных пакетов деньги, заказывала обед и, по приведении всего в порядок, одевалась, молилась и выходила в гостиную и в сад любоваться своими розами.

И день шел, как вчера и как должен был идти завтра. Являлись и труфиньон, и грибы, и визиты, и гости, и угощение, и брелак. В этой несколько затхлой старческой атмосфере все дышало чем-то сердечно-невозмутимым, убежденно спокойным. Жизнь казалась доживающим отрывком прошедших времен, прошедших нравов, испарявшейся идиллией быта патриархального, исчезавшего навсегда. Архарова ни в ком не заискивала, никого не ослепляла, жила, так сказать, в стороне от общественной жизни, а между тем пользовалась общим уважением, общим сочувствием. И старый, и малый, и богатый, и бедный, и сильный, и темный являлись к ней, и дом ее никогда не оставался без посетителей.

Особенно выдавались два дня в году: зимой в Петербурге, 24 ноября, в Екатеринин день, а летом в Павловске, 12 июля, в день рождения старушки… Тут, по недостатку помещения в комнатах, гости собирались в саду и толпились

по дорожкам, обсаженным розами разных цветов и оттенков. Вдруг в саду происходило смятение. К бабушке летел стрелой Дмитрий Степанович. Старушка, как будто пораженная событием, повторявшимся, впрочем, каждый год, поспешно подзывала к себе все свое семейство и направлялась целою группою к дверям сада, в то время как снаружи приближалась к ней другая группа. Впереди шествовала императрица Мария Федоровна, несколько дородная, но высокая, прямая, величественная, в шляпе с перьями, оттенявшими ее круглое и, несмотря на годы, свежее, румяное и красивое лицо. Царственная поступью, приветливая улыбкою, она, как мне казалось, сияла, хотя я не знал, что Россия была ей обязана колоссальными учреждениями воспитательных домов, ломбардов и женских институтов. Она держала за руку красивого мальчика в гусарской курточке, старшего сына великого князя Николая Павловича, поздравляла бабушку и ласково разговаривала с присутствующими. Бабушка была тронута до слез, благодарила за милость почтительно, даже благоговейно, но никогда не доходила до низкопоклонства и до забвения самодостоинства. Говорила она прямо, открыто, откровенно. Честь была для нее, конечно, великая, но совесть в ней была чистая, и бояться ей было нечего. Посещение продолжалось, разумеется, недолго. Императрице подносили букет наскоро сорванных лучших роз, и она удалялась, сопровождаемая собравшеюся толпою. На другой день бабушка ездила во дворец благодарить снова, но долго затем рассказывала поочередно всем своим гостям о чрезвычайном отличии, коего она удостоилась. “Этим я обязана,— заключала она,— памяти моего покойного Ивана Петровича”»*.

М. Г. Назимова **

Бабушка Разумовская

Моя бабушка, почти ребенком, вышла замуж за князя Александра Николаевича Голицына, который был только на три года старше ее. Голицын был внук знаменитого петровского фельдмаршала, князя Михаила Михайловича-старшего, и сын обер-гофмаршала Екатерины, князя Николая

* Воспоминания графа Владимира Александровича Соллогуба. СПб., 1887, с. 47—65.

** Назимова М. Г. (?—?), автор мемуаров о жизни столичного дворянства XIX века.

Михайловича. Этот Голицын, крайне богатый, владетель 24 000 душ, отличался самодурством, за которое в Москве его прозвали именем одной модной оперы того времени «Cosa-rasa». У нас на Руси, так же как и в Англии, отличаются самодурством, которое составляет своего рода роскошь между людьми крайне богатыми, но каждое сословие выражает его по-своему, сообразуясь со своими понятиями и развитием; в последние годы на этом поприще отличаются купеческие сынки, пользуясь свободой действий без конкуренции прожившихся вельмож. Про Голицына рассказывали легендарные вещи; утверждали, что он ежедневно отпускал своим кучерам шампанское; ассигнациями крупного достоинства зажигал трубки гостей, горстями бросал золото на улицу, чтобы извозчики толпились у его подъезда. Однажды, во время прогулки в лесу с женой, летом в имении, она, утомленная от прогулки и жары, присела на пень и выразила сожаление о невозможности получить стакан молока. Несколько дней спустя, князь предложил жене повторить прогулку в лес, и на том самом месте, где она пожелала молока, была выстроена маленькая ферма, и на этот раз она утолила свою жажду «запоздавшим стаканом молока», как извинился князь перед нею.

Сумасшедшая расточительность мужа приводила мою бабушку в отчаяние. Он подписывал векселя, в которых сумма не была проставлена буквами, а выставлена цифрами, и заимодавец мог легко приписать к означенной сумме по нулю, если его бессовестность имела границы, а не то так два и три нуля. Бабушка, предвидя неминуемое разорение, обратилась за помощью к только что вступившему на престол императору Александру I в 1801 году. Но государь отказал, и ничто не могло уже помешать Голицыну стремиться к окончательной гибели материального положения.

Между Голицыным и Разумовским было некоторое свойство; брат бабушки, а мой дедушка, князь Николай Григорьевич Вяземский, в то время гофмаршал, был женат на племяннице графа Льва Кирилловича, и в их доме граф часто встречался с княгиней Голицыной.

Граф Лев Кириллович Разумовский был пятый сын Кирилла Григорьевича, у которого было одиннадцать человек детей: шесть сыновей и пять дочерей. Лев родился в 1757 году. Кирилл Григорьевич стремился дать сыновьям хорошее образование, что при несметном его богатстве не представляло затруднений. Ежегодный его доход определяли в 600 000 рублей. Чтобы удалить детей из-под влияния матери, которая не сочувствовала стремлению к культуре, Кирилл Григорьевич нанял на Васильевском острове отдельный дом и поместил туда сыновей, окружив их тщательно избранными гувернерами и профессорами; затем продолжительное пребывание за границей Льва Кирилловича помогло сделать из него всесторонне образованного человека. Он любил книги, науки, художества, музыку, понимал и сочувствовал природе, и едва ли не у него первого в Москве был при доме зимний сад. Вся Москва стремилась на его праздники, где радушный хозяин принимал истинным

барином, в полном и настоящем значении этого слова, очаровывая всех своим добродушием и утонченной вежливостью. Его развитой ум не мог не понять высокого учения масонов и не отнестись отзывчиво к их законам; он сам сделался убежденный масон, был в переписке с Поздеевым, но это не мешало ему быть ревностным, глубоко верующим христианином. Все высокое, чистое и честное привлекало его: это была глубоко отзывчивая личность. В обществе он был милый говорун, несколько картавил, и его вечный насморк придавал его голосу какую-то особенную привлекательность. Он боялся сурового холода зимы и всегда ездил с большой меховой муфтой, которую он ловко и даже грациозно бросал в передней. При частых встречах с молодой княгиней Голицыной нежное сердце графа не устояло при виде ее миловидности и участливо прильнуло к ней, зная, что она несчастлива. Об этом романе вскоре заговорила вся Москва, и тогда, с обоюдного дружелюбного согласия, состоялся развод, который позволил графу жениться на княгине М. Г. Голицыной в 1802 году.

Развод в те блаженные времена считался чем-то языческим и чудовищным. Сильно возбужденное мнение большого света обеих столиц строго осуждало нарушавших закон, и все решили не принимать молодую чету. Но князь Голицын продолжал вести дружбу с графом Львом Кирилловичем, часто обедал у бывшей своей жены и нередко показывался с нею даже в театре. В семье графа этот брак тоже не пришелся по сердцу, но молодая графиня сумела снискать расположение семьи мужа, и даже цельный характер старика, Кирилла Григорьевича, не устоял перед веселой и красивой невесткой. Когда холодность, с которой графиня была встречена в семье, заменилась самыми родственными отношениями, тогда и общество стало заискивать расположение богатой графини, предвидя, что в ее доме будут даваться празднества, на которые все-таки жаль было бы не попасть. Графская чета отделала свой дом на Тверской (дом, в котором теперь помещается английский клуб) и подмосковный — Петровско-Разумовское, и общество охотно толпилось у них на пирах, задаваемых в Москве зимой и в Петровском — летом.

Но брак все-таки официально не был признан, и менее сговорчивые барыни, быть может, из зависти к чрезмерной роскоши туалетов графини, злобно, тайком делали намеки на не совсем правильное положение, но и этим толкам был положен конец во время посещения Москвы императором Александром Павловичем, в 1809 году. В этом помог граф Гудович, главнокомандующий Москвы, который взял на свою ответственность пригласить молодую графиню на бал, где должен был присутствовать государь. На этом балу император подошел к бабушке и громко сказал: «Графиня, позвольте пригласить вас на полонез?» С этой минуты графиня Марья Григорьевна неоспоримо вступила в права законной жены и графского достоинства.

Великолепное подмосковное было только что окончательно отделано, и Разумовские, было, принялись за пере-

стройку московского дома, где хотели повысить все потолки, уничтожив для этого целый этаж, как нагрянул 1812 год. Бабушка с мужем должны были бежать и решили укрыться в поместье Тамбовской губернии. Ехать в Малороссию, в великолепное имение Карловку, им показалось уже слишком далеко и утомительно.

Так как дом в Москве находился в полной переделке, то вся мебель и все драгоценности в виде картин, бронзы, были перенесены в погреб и большую кладовую. Стоянка французов близилась уже к концу, и, вероятно, все драгоценности уцелели бы, не будь предательства одного служащего при доме, оставленного для охранения его, и в несколько часов все было истреблено и разграблено французами, занимавшими дом. Петровско-Разумовское подверглось такому же хищению. Там, между прочим, была громадная библиотека, с любовью собранная графом в течение пятнадцати лет и оцененная библиотекарем, составлявшим каталог, в 400 тысяч рублей,— ни одной книги не сохранилось. В Петровском граф потерял даже то, что никакими деньгами восстановить нельзя было, а именно чудную оранжерею. В ней было до пятидесяти редких экземпляров лимонных и апельсинных деревьев. Оранжерею подожгли крестьяне с двух концов, уже после ухода француза, озлившись на садовника, который выговаривал им за их равнодушие и отсутствие желания поспешить на помощь, чтобы удалить следы беспорядков, совершенных французами. Французы, уходя, оставили от дома один остов — стены, а двери и окна были выломаны и уничтожены, а теперь еще свои крестьяне помогли остальное превратить в пепелище. Конечно, Петровское было снова восстановлено, центр богатств Льва Кирилловича не был тронут, так как находился в Малороссии.

Брак моей бабушки был из один самых счастливых. Быть может, покой графа и был отравлен мыслью, что он женился на «отпущеннице», но эта же самая мысль заставляла этого глубоко совестливого и доброго человека еще сильнее привязаться к любимой женщине и окружать ее таким утонченным вниманием, от которого бабушка чувствовала себя вполне счастливой. Так протекло шестнадцать лет самой светлой жизни, любви и полного согласия, но вот 21-го ноября 1818 года Льва Кирилловича не стало. Отчаяние бабушки было беспредельно. На основании действовавших еще в то время в Малороссии Литовского статута и Магдебургского права граф завещал все свои украинские местности жене в полную собственность. Но не так-то просто обошлось это дело для бабушки. Один из братьев покойного, Алексей Кириллович, завел процесс, в котором он оспаривал законность брака и вследствие того и право на наследие. Три года тянулся этот процесс, в течение которых моя бабушка, лишенная всяких средств, жила на Литейной, чуть не в подвальном этаже, в лишениях, которые для нее равнялись полной нищете. Этот дом на Литейной был мне как-то раз показан А. Ф. Фейхтнер. Процесс был выигран бабушкой после трех лет упорной тяжбы. Сильное горе от потери любимого суще-

ства, а также и страх неудачного исхода процесса пошатнули здоровье бабушки, и доктора посоветовали ей съездить за границу. Там новые впечатления, новая жизнь под другими условиями, благотворно подействовали на нее; но вероятнее всего, что счастливые особенности ее характера и натуры, столь восприимчивой ко всем веселящим проявлениям жизни, взяли свое. Она в глубине души хотя и осталась верна своему горю, но траур жизни и одеяний сменился более светлыми оттенками.

Новая жизнь за границей ее поглотила: Париж и Вена долго помнили ее радушный прием на блестящих празднествах, которыми она неустанно развлекала общество. Карлсбад даже посвятил ей памятник в благодарность за ее неутомимую инициативу в прогулках и веселых праздниках — она там была душой общества. По возвращении своем в Россию бабушка заняла в петербургском обществе подобающее ей положение; дом ее сделался одним из наиболее посещаемых. Вечера, обеды, рауты, зимой в городе, а летом на ее прелестной даче в Петергофе соединяли все общество. И не одно городское общество посещало ее праздники, но и царская фамилия была к ней благосклонно расположена. Император Николай Павлович и государыня Александра Федоровна в особенности были к ней милостивы и удостаивали ее празднества своим высоким присутствием. У меня хранится воспоминание того времени в виде картины, на которой изображен китайский бал, где все присутствовавшие были одеты в китайское платье. Многих можно узнать: великая княгиня Мария Николаевна рельефно выделяется на картине своей строгой красотой, а также и роскошью своего костюма; граф Григорий Строганов в виде тучного мандарина и, наконец, моя бабушка, с чудными жемчугами в виде шпилек в причудливой китайской прическе. Страсть бабушки к шумным увеселениям доходила до слабости, вся ее жизнь была вечно суетливое движение в кругу веселия и многолюдности; свет, общество были элементами, питавшими ее организм. Конечно, эта жажда развлечений не могла существовать без страсти к нарядам, и эта страсть была доведена до колоссальных размеров. Рассказывают, что, возвращаясь из Парижа в 1835 году, она привезла с собой самую «безделицу», как она говорила, тоалетов, и, проезжая через Вену, просила одного приятеля, служившего в Петербурге по таможенному ведомству, облегчить ей затруднение провоза тоалетов, представлявших на этот раз «безделицу» в триста платьев.

Но при столь поглощающем легкомыслии бабушка была ангельской доброты; просящему она не могла отказать, и были случаи, где она себя стесняла, чтобы заплатить долги кого-либо из племянников. Такая черта прекрасна в каждом, но в бабушке, которую считали только женщиной легкомысленной и поглощенной светскими соблазнами, такая черта много искупает и устанавливает факт, что она не была эгоистична. Она часто бывала в денежных затруднениях, и только близкие родственники могли бы указать причину, подсчитав итог ее милосердия и щедрости к ним. Дом свой в Москве она

подарила своему брату, моему дедушке, вечно нуждавшемуся в деньгах, а Карловку, в минуту гнева на моего отца, который считался в будущем ее единственным наследником, она продала великой княгине Елене Павловне за пожизненную пенсию.

С дорогой моей бабушкой мне пришлось провести только последние два с половиной года ее жизни, но я всегда с чувством благодарности к судьбе вспоминаю это время, и теперь — оканчивая сама свой жизненный путь, взглянув на прошлое, я могу сказать, что лучшего времени в моей жизни не было. Тут довольство жизнью не обусловливается роскошью, которой я пользовалась, но всецело зиждется в чувстве благодарности за безграничную любовь бабушки ко мне. К сожалению, я была слишком молода, чтобы вполне оценить ее, и только в течение жизни, столкнувшись с людьми бессердечными и даже жестокими, я умиленно вспоминала душевную теплоту моей дорогой бабушки. Мы были с ней тезки, в самом широком значении этого слова: я носила имя княжны Марии Григорьевны Вяземской, как и моя бабушка до своего замужества. Как это часто бывает с очень древними стариками, бабушка видела во мне возрождение своей юности и молодела душой, глядя на меня. Она обставила меня роскошно, у меня была своя горничная, своя карета и выездной лакей, целый маленький штат в моем распоряжении. С нашим переездом на дачу в Петергоф переехали и некоторые, составлявшие постоянную табельку моей бабушки. Гр. К. селилась всегда по возможности близко к нашей даче, и, говорят, из карточного выигрыша составляла себе серьезный годовой доход. Так утверждал князь Павел Павлович Гагарин, избегавший по возможности участвовать в партии бабушки, говоря, что играть с ней — это наверняка выигрывать, настолько бабушка играла плохо и рассеянно. Затем был г. Сутгоф и милейший Илларион Алексеевич Философов, составлявшие партию табельки, чтобы не лишать бабушку удовольствия, без которого она бы скучала вечером. Партия затягивалась поздно, и бабушка никогда не ложилась раньше двух-трех часов ночи. Вечером я разливала чай, но бабушка строго следила, чтобы в одиннадцать часов я отправлялась спать, так что в ужине я никогда не участвовала. Но, уходя к себе, я все-таки не ложилась, а читала до того времени, когда, бывало, услышу шаги бабушки, которая, проходя через мою комнату, тихонько кралась, ступая осторожно, не подозревая вместе с тем, что из полутемноты комнаты, освещенной мягким светом лампады, на нее смотрят смеющиеся глаза, совсем не сонные.

Жизнь на даче была почти та же городская жизнь: так же закладывали ландо в два часа, и так же делались визиты до пяти; за обедом почти всегда были гости, затем прогулка с гостями на музыку, где делались еще приглашения приехать после музыки на чашку чая, собиралось человек 15, и так ежедневно. При дачной жизни была только разница в легкости созывать к себе гостей, чего городская жизнь не представляла. Дача бабушки часто удостаивалась видеть в своих стенах царскую фамилию. В одно из посещений императора Николая

Павловича, когда он запросто завтракал у бабушки, он пожелал обойти весь дом и даже прошел крытой галереей в кухню. У бабушки в это время была кухаркой француженка м-me Francoise. Государь обратился к ней со словами: «Я хочу сделать вам комплимент, m-me Francoise, вы поистине искусная повариха». M-me Francoise, низко присев, ответила: «Я возлагаю свои руки к ногам вашего величества!» — и при этом к ногам императора она положила самый большой кухонный нож, который случайно держала в руках.

В другой раз мы сидели, как обыкновенно после завтрака, на террасе, когда спешно появившийся maître d'hôtel Angelo доложил: «Madame la comtesse, Sa Majeste l`Empereur»,— бабушка быстро пошла государю навстречу, приказав Angelo убрать ее маленькую болонку Barbiche, страшно злую и на всех кидающуюся собачку. Она при виде постороннего лица заливалась таким неистовым лаем, что долгое время перед ней всем приходилось молчать. Я последовала за бабушкой. Тут я в первый раз увидела нашего незабвенного монарха, императора Александра II, и наследника цесаревича Александра Александровича. Когда государь вошел и своей очаровательной улыбкой и ласковым взглядом приветствовал бабушку, мое юное сердце радостно забилось от сознания близости монарха. Я была ему представлена, и он вспомнил мою мать, с которой он много танцевал на придворных балах, когда еще был наследником, и милостиво стал спрашивать меня о ее здоровье и образе жизни. Мы сели на ту же террасу, и после непродолжительного разговора государь спросил, отчего он не видит Barbiche. Бабушка послала меня за ней. Это непокорное маленькое существо все время рычало, пока я его несла на руках, и старалось меня укусить; ярость собачки все усиливалась, и в ту минуту, когда я передавала ее наследнику, она хотела укусить мою руку, но хватила руку наследника, который желал удержать порыв ее гнева. Бабушка была в отчаянии и стала извиняться, мы же все от души смеялись, хотя острые зубы собачонки проникли до крови в руку наследника. Великий князь долго не мог забыть этот эпизод, и, когда впоследствии я удостаивалась танцевать с его высочеством, он шутя мне говорил: «А злая Барбишка не появится?»

В это лето давали танцевальные вечера в честь принцессы Евгении Максимильяновны: танцевали то у великой княгини Марии Николаевны в Собственном, то в Знаменском у великого князя Николая Николаевича. Но мы кроме танцевальных вечеров часто бывали в Собственном, так как бабушка была крестной матерью графини Елены Григорьевны Строгановой, удочеренной великой княгиней Марией Николаевной. Бабушка под предлогом летнего сезона и молодости принцессы, для которой давались вечера, нашла возможным и меня вывозить. В день танцевального вечера в Знаменском я за обедом спросила у бабушки, в какой карете мы поедем, в ее или в моей. Она отвечала мне, что в обеих, каждая из нас в своей. «Иначе ты меня помнешь»,— прибавила она. Эту предосторожность я вполне поняла, когда увидела бабушку,

одетую в тарлатановое платье с голубым поясом a l'enfant и такими же лентами на плечах; платье ее было совершенно одинаково с моим, и разница была только в цвете лент: у меня были ленты розового цвета, а у ней голубые. Эта тождественность была трогательна в своей наивности: две Марии Григорьевны и обе одинаково одетые,— разница была только в летах: старшей было 91 год, а младшей 15!

Я помню, что мне на этих танцевальных вечерах было страшно скучно; подруг у меня не было, ни с кем я не была связана воспоминаниями детства, все и вся были чужды для меня. И со мной не знали, как держать себя: по годам я была ребенок, и ребенок не веселый, которого блеск света мог бы забавлять; у меня, вероятно, был вид скучающий, нелюбезный, меня, вероятно, находили несимпатичной, а я просто предпочитала хорошую книгу светской бессодержательной болтовне и с усталостью в душе думала, когда-то я вернусь в свою комнатку. В постоянной светской сутолоке прошло все лето; наступили темные вечера дождливой осени, и мы переехали в город на Сергиевскую, в дом Сумарокова, принадлежащий теперь Боткиной. Тут продолжалась та же суетная жизнь, но только еще в более усиленной степени. Однако бабушка доставила мне занятия; у меня был учитель музыки Конри, учитель пения Ронкони и учитель итальянского языка. Музыкой я занималась с увлечением и как теперь вижу мою добрую, милую бабушку, сидящую около рояля. Она с улыбкой умиления слушала нехитростную песню, или canzonette, спетую моим, совсем еще детским голосом. Мне доставляло большое удовольствие петь, но еще сильнее было удовольствие видеть радость на старческом лице бабушки.

Приемный день бабушки был воскресенье, и в ее большой красной гостиной не хватало места для всех посещающих ее jour fix. Бабушка всегда сидела в самой глубине гостиной, под портретом императора Николая, написанным во весь рост, и была окружена людьми почтенного возраста и высокого положения в свете и служебном мире, а я заведовала чайным столом, стоявшим в центре гостиной, ближе к входу, и около меня группировалась молодежь. В последние годы своей жизни бабушка была глуха на ухо, и бывали дни, когда в особенности было трудно говорить с ней, и зрение ее тоже слабело, хотя она еще читала без очков. В одно из воскресений, когда гостиная по обыкновению была полна, входит молодой Алексей Философов, а к нему навстречу, встав с своего места, спешит бабушка. Поравнявшись с ним, она с серьезным видом ему громко говорит: «До свидания, м-сье». «Но я только что приехал, графиня»,— возражает на это Ф.; бабушка ему кланяется и снова повторяет: «Да, до свидания, м-сье». Ф. сконфуженно смотрит в мою сторону, и я лечу выручать его, объясняя бабушке, что Ф. только что приехал и вовсе не расположен уходить так стремительно.

Был еще другой случай с Философовым. Он и кн. Урусов, Jules, как его звали в свете, сидели одновременно около бабушки в одно из воскресений, и бабушка вела с ними очень участливый разговор, касаясь всяких интимных семейных во-

просов, и при этом все время обращалась к Философову, как бы к Урусову, и наоборот. Я старалась разъяснить ей ее ошибку, и на минуту она сознавала ее и сама смеялась, а затем стоило им <...>, ошибка повторялась снова.

На большие балы бабушка меня не брала и ограничивалась тем, что привозила мне несколько конфет, как это делают обыкновенно для ребят. Эти конфеты служат как бы соблазном для неопытной молодой души и олицетворяют сладость веселья, которое, как неистощимый бурный поток своим мириадом блестящих брызг, встречает каждого входящего с новыми силами в заколдованный круг большого света. Я всегда порицаю это появление сладостей с балов; мне кажется, что расположение ребенка к сказочному миру, как ему представляется свет, не следует поощрять этим способом, столь привлекательным для его возраста.

Прошла страшно однообразная зима с ее однообразными развлечениями в кругу все тех же лиц, с мелкими интересами личного свойства, столь чуждыми и далекими всех мировых вопросов, где нет мелкого эгоизма и где всякий приносит посильную помощь на пользу нашей меньшой братии. Тот, кто родился богатым, должен получить от природы особенное призвание к какой бы то ни было деятельности, чтобы не праздно жить на свете и не скучать от бездействия.

Настал день 1 апреля — день нашего Ангела, бабушки и мой. Утром, когда мы пили кофе, вошелъ Angelo с большой беленой корзиной, которую он, видимо, нес с трудом, и поставил ее передо мной. Она вся наполнена была свертками разных величин, перевязанными розовыми ленточками, и добрейшая бабушка с улыбкой сказала мне: «Это для тебя, Маша». Горячо поблагодарив ее, я принялась развертывать первый пакет, попавшийся мне под руку. Сняв несколько оберток бумаги, я действовала очень осторожно, предполагая, что вещь, столь тщательно завернутая, должна быть очень хрупка и драгоценна, но когда я дошла до минимальной величины пакетика, каково было мое удивление, когда я вынула из последней бумаги кусочек дерева — просто щепы, годной на подтопку. «Ах, бабушка, вы приготовили мне настоящее 1 апреля!» — засмеялась я и ревностно принялась за другой сверток. Но и другой содержал в покровах белой шелковистой бумаги только небольшой камешек. Я схватила третий сверток — тот же результат. Четвертый, пятый — все то же. По мере того как я опустошала корзину, мои движения делались все быстрее, в уверенности, что вот скоро попадется же мне под руку пакет с подарком. Но вот я беру последний сверток, он более тяжел, чем остальные. «Наконец! Да мне и следовало брать последний, как это я раньше не догадалась?» — пробегает у меня в мыслях, пока мои пальцы нервно работают над покровами, ревниво охраняющими тайну. Ну, вот и последняя бумага сорвана, и — камень остался у меня в руках, камень больше других. Я чуть не заплакала. Бабушка, нежно обняв, повела меня в свою комнату*.

---

* *Назимова М. Г.* Бабушка Разумовская // ИВ. 1899. № 3, с. 842—851.

Е. А. Сушкова*

Записки

От двух до шести лет я жила в Пензе с отцом и матерью; это были единственные розовые дни моего детства. <…>

С каким сладостным упоением и как часто переношусь я в Пензу, в наш крошечный, хорошенький, деревянный домик на Большой Московской улице, окруженный запущенным садом. Дом отделялся от улицы густым палисадником, где разрослись на просторе черемуха, сирень и шиповник; ветви их затемняли окна и скрывали улицу, что мне так же не нравилось, как и огород; я любила сидеть на окошке, смотреть на прохожих, следить за всеми происшествиями на улице, по которой в хорошую погоду тонули в песке, а в дурную вязли в грязи и пешеходы, и экипажи, хотя экипажи, в особенности кареты, были тогда редкостью в Пензе, и ни один, бывало, не проедет, не возбудив общего любопытства и различных предположений: как и зачем едут такие-то, почему не заехали туда-то и не случилось ли чего там-то?

Более всех экипажей производила фурор огромная желтая карета бабушки моей Екатерины Васильевны Кожиной (рожденной княжны Долгорукой), запряженная четвернею с двумя лакеями на запятках; один из них растворял с громом дверцы, с треском откидывал ступеньки, а другой раболепно расстилал коврик у подъезда под ноги ее бывшему сиятельству. Бабушка воспитывалась в Смольном монастыре и принадлежала, кажется, к числу воспитанниц первого выпуска; она очень гордилась своим воспитанием и своим происхождением; одним словом, она была вычурна, холодна, почти неприступна, и, хотя, навещая мою мать, она привозила мне карамельки и красные яблоки, я не очень ее любила: она никогда не ласкала меня,— а детей только и привязывает мягкость сердца, которую они предугадывают по чутью. Меня тоже часто возили к бабушке. Как теперь смотрю я на нее: она поздно вставала, почти перед самым обедом, чесалась и мылась в постели; вместо мыла употребляла мякиш черного хлеба; зато кожа у нее была удивительно нежна и тонка. В этой же постели кушала она чай. Живо помню и ее огромный чайный ящик, в котором она тщательно хранила чай, сахар, кофе и даже сухари, но какие это были вкусные сухари! Что за праздник бывало, когда она расщедрится и попотчует меня сухариком; мне кажется, она никогда никому их не предлагала — даже матери моей.

* Сушкова Екатерина Александровна, в замужестве Хвостова (1812—1868),— известная мемуаристка, одна из героинь лирики М. Ю. Лермонтова, автор воспоминаний о поэте.

[Анекдоты о скупости Е. В. Кожиной вошли в «Воспоминания» А. М. Фадеева, женатого на ее родной племяннице. «Екатерина Васильевна Кожина, воспитанница Смольного монастыря и бездетная вдова,— женщина умная, но несколько причудливая и неподатливая. Ее состояние было несравненно в лучшем положении, нежели у братьев и матери, но зато расчетливость ее, или даже скупость, составляя отличительную черту ее характера, служила источником многих курьезных анекдотов, вероятно, до сих пор памятных в Пензе. Раз в год, на свои именины, в Екатеринин день, она давала в Пензе бал, на котором не было других конфет, кроме как собранных ею в продолжение целого года на других балах, для чего и носила она всегда огромный ридикюль. На одном из таких ее балов красовался в числе угощения, на подносе с конфетами, большой сахарный рак, который тотчас же был узнан прежним его владельцем, князем Владимиром Сергеевичем Голицыным, так как был прислан ему с другими конфетами, выписанными из Москвы для его бала, за несколько месяцев перед тем. Голицын подошел к подносу, взял своего рака и с торжественным возгласом "Мое — ко мне!" опустил его к себе в карман. Эта проделка, хотя несколько сконфузила хозяйку, но ничуть ее не исправила». С гораздо более теплым чувством поминает Е. В. Кожину волочившийся за нею в дни своей молодости Ф. Ф. Вигель.]

Носила она почти всегда белый капот, кругленький батистовый чепчик с такими же завязками, из которых сооружался огромный бант напереди; домашнюю турецкую шаль с мелкими пальмами; в гостях желтую турецкую шаль с крупными пальмами. После обеда она усаживалась на канапе, подогнув под себя ноги, пододвигала старинный столик из разноцветного дерева, с медной решеткой кругом, округленный с боков и вырезанный полукругом напереди, и до самого чая раскладывала grand patience.

Иногда вечером угощала она нас доморощенными музыкантами и певцами; я очень помню одну из певиц — Аксюшу: как нравилась она мне, когда, жеманясь и поднимая глаза к потолку, беспрестанно поворачивала головой, точно фарфоровый мандарин; по моему понятию (конечно, тогдашнему), она с особенным чувством певала «Среди долины ровные», так что я, бывало, расплачусь, просто разревусь, и этим скандалом оканчивался домашний концерт.

По самым торжественным дням в семействе, в большом зале с колоннами и хорами, устраивались театры; актерами были те же певцы и певицы, музыканты тоже зачастую перебегали из оркестра на сцену, переменяя, по обстоятельствам, смычок на шпагу или на палку.

Покойный муж бабушки ввел в ее дом все эти полубоярские затеи, а бабушка, несмотря на свою скупость, продолжала начатое им, в память ли о нем или, скорее, для того, чтобы не совсем забыть его,— не знаю; а слыхала только, что бабушка с ним была очень несчастлива и была рада-радехонька, что избавилась от него. Да уж так ведется в свете — живому противоречат, а умри только, все выполнят по его желанию, всякого умершего готовы ввести в список святых.

[«Замужество ее уже не в молодых годах,— как отмечает в своих воспоминаниях А. М. Фадеев, близко знавший Е. В. Кожину,— произошло единственно из расчета, в котором она горько ошиблась.

Старый помещик Кожин слыл за богатого человека, жил роскошно, давал балы, пиры, держал свой оркестр музыки, домашний театр с труппою из крепостных людей, увеселял и удивлял губернскую публику своей широкой жизнью, которая ввела в заблуждение и нашу тетушку, составившую себе преувеличенное понятие о его состоянии. Вследствие этого заблуждения случился неожиданный результат: княжна Екатерина Васильевна Долгорукая пожелала присоединить богатства помещика Кожина к своему, хотя не особенному, но довольно кругленькому имуществу. Кожин же, расстроив совершенно свои дела, разоренный — чего никто не подозревал,— считая княжну Екатерину Васильевну скупой, богатой женщиной, гораздо богаче, нежели она была в действительности, желал ее состоянием поправить свое. Так они и поженились, со строжайшим условием с ее стороны жить на разных половинах и абсолютно в братских отношениях; это, в их пожилом возрасте, не могло, конечно, составить особенной жертвы, Кожин оказался почти без всяких средств, а супруга, разумеется, не дала ему ни копейки для поправления оных. Последовало обоюдное разочарование.

Но, как дама с характером и энергией, она не упала духом и немедленно приняла решительные меры: разогнала музыкантов и актеров, уничтожила всю роскошную обстановку его прежней жизни, прекратила безвозвратно все увеселительные проделки, прибрала к рукам все, что было возможно, и, главнейшим образом, его самого. Затем Кожин, недолго насладившись счастием супружеской жизни, поспешил оставить ее вдовой, о чем она нисколько не горевала. Много историй в этом роде рассказывали о Кожиной, что не мешало, однако, ей быть по-своему ласковой, приветливой, умной, вполне светской и очень приятной старушкой, хотя в отношении денег крайне неподатливой».]

В спальной у бабушки по стенам были развешаны портреты всех возможных князей Долгоруких и князей Ромодановских. Более всех памятны мне черты и одежды Кесаря Ромодановского и князя Якова Долгорукого в напудренных париках и бархатных кафтанах; да еще какой-то князь Долгорукий, бледный и худой, в монашеской одежде: вид его наводил на меня ужас, и я всегда старалась усесться спиной к нему. Бабушка любила толковать о своих предках, об их роскошном житье, об их славе, богатстве, о милостях к ним наших царей и императоров, так что эти рассказы мало-помалу вселили во мне такую живую страсть к ним или, лучше сказать, к их титулу и их знатности, что первое мое горе было то, зачем я не княжна; бабушку очень радовала моя благородная гордость — так величала она мою непростительную глупость*.

* *Сушкова Е. А.* Записки. М., 2004, с. 23—27.

*Е. И. Менгден**

Из дневника внучки

«В светлое Христово Воскресенье нас возили христосоваться с бабушкою Екатериною Алексеевною Бибиковой. Она всегда принимала нас ласково и дарила нам прекрасные яйца, но мы все-таки не любили к ней ездить: надо было сидеть чинно, не шуметь, и, когда после обеда посылали нас играть в другие комнаты, приходилось придумывать особенные игры, чтобы никакой звук не долетал из великолепных гостиных до спальни, где бабушка всегда сидела. Раз мы, забывшись, расшумелись с двоюродными братьями и сестрами; вдруг двери отворились, бабушка показалась на пороге; мы все онемели, каждый остался в своей позе, кто с поднятой рукой, кто с разинутым ртом. Бабушка холодно обвела нас взглядом, ничего не сказала и ушла, но мы более уже не шумели.

Бабушка родилась в 1768 году; она была смолоду одна из первых московских красавиц, но не принадлежала к так называемому высшему кругу общества. Она была Чебышева. За нее сваталось много женихов, она всем отказывала, и наконец отец ее, рассерженный разборчивостью балованной дочки, гневно сказал: "Уж не ждешь ли ты Бибикова?" Дед мой Гавриил Ильич Бибиков, брат известного полководца Екатерининских времен (Александра Ильича Бибикова), красавец собой, богатый, слыл первым женихом в городе. Екатерина Алексеевна Чебышева, небогатая девушка, не могла надеяться на такую блестящую партию; но красота — своего рода приданое, Бибиков влюбился в молодую красавицу и взял ее без приданого, как говорится, в одной рубашке... Бабушка была вне себя от радости выйти замуж за великосветского и знатного человека и легко вошла в роль знатной барыни. Одна из сестер дедушки была замужем за князем Кутузовым-Смоленским, другая за графом Остерманом-Толстым, третья за Кутузовым, кажется, адмиралом. Бабушка гордилась новым родством, богатством, именем и впоследствии, когда делала выговоры старшему сыну, всегда приговаривала: «Не забудь, что ты Бибиков».

Она и в старости сохранила тонкие черты, прекрасный профиль и величественный вид; она держала себя очень прямо и голову, слегка закинутую назад; носила высокие каблуки, как в первой молодости, но вовсе не занималась своим туалетом. Но все же при первом взгляде можно было признать в ней «la grande dame». Я ее помню все в том же темном шелковом капоте, волосы ее были небрежно зачесаны назад и без чепца.

* Менгден Елизавета Ивановна (1821—?) — помещица Тверской губернии. В своих воспоминаниях рассказывала о жизни поместного и столичного дворянства первой трети XIX века.

В молодости она любила наряжаться, считая это, вероятно, обязанностью своего высокого положения в свете. Матушка нам рассказывала, что она, старшая сестра ее и брат, Екатерина Гавриловна и Павел Гаврилович, всегда присутствовали при ее утреннем туалете, когда она причесывалась и пудрилась, сидя перед зеркалом, в розовой атласной кофте, обшитой богатыми кружевами. Бабушка слыла примерной матерью потому только, что не разъезжала беспрестанно по гостям, как другие женщины, и что старшие дети часто были при ней в гостиной; но младшие жили на антресолях с няньками и гувернантками и редко видели мать. В сущности, бабушка никем из детей не занималась и была тип старинной русской барыни со всею гордостью и всеми предрассудками своего века. Она ничего не читала, иногда рисовала или вышивала в пяльцах, но не кончала своей работы и отдавала начатые картины и шитье крепостным девушкам, которые обязаны были кончать работы своей госпожи. У дедушки была огромная дворня, дочерей и сыновей лакеев, дворецких, поваров отдавали на воспитание в пансионы, где их учили иностранным языкам, рисованию, музыке и танцам. Из них составляли труппу актеров и танцовщиц для домашнего театра и балета. Старик Иогель, которого вся Москва знала, был выписан дедушкой из Франции, чтобы устроить у него в Подмосковной балет. Дед мой был истый вельможа; он несколько лет был за границей, много читал, был умен, образован. Он занимался воспитанием трех старших детей, особенно моею матерью, Софией Гавриловной, и на ней, как на самой даровитой, более отразилось влияние отца. К несчастью, он умер в 1803 г., когда ей было только 15 лет, но при ней осталась умная француженка, эмигрантка, которая с успехом продолжала начатое дело. Матушка много читала, что не нравилось бабушке. Она ее не любила, называла вольтерианкой, но уважала, никогда не наказывала, тогда как любимых дочерей больно секла. Часто советовалась с матушкой и поручила ей воспитание младших детей… Дети ее все боялись; особенно дочерей она строго держала. Матушка, бывши еще в девушках, поехала по приказанию бабушки в магазины; возвращаясь домой, она встретила свою приятельницу Елизавету Евгеньевну К-у. Елизавета Евгеньевна ее остановила и говорит: “Я сейчас была у maman, она позволила тебе ехать со мною в театр, садись скорее со мной, а то опоздаем”. Обрадованная неожиданным удовольствием матушка пересела в карету подруги и поехала с ней… Но, Боже мой, какая гроза ожидала ее при возвращении домой.

“Кто позволил вам ехать в театр?” — спросила разгневанная бабушка. “Вы Лизе сказали, что позволяете мне ехать”.— “Да, я Лизе сказала, а не вам; могли бы потрудиться мать спросить, но вы Вольтера начитались, мать ни во что не ставите, своим умом живете”… И оскорбительные слова полились обильным потоком. Когда бабушка сердилась на дочерей, всегда говорила им “вы”.

Дочери без ее позволения не смели, даже в деревне, идти в сад, а когда получали это позволение, которое редко ре-

шались просить, должны были не иначе ходить по дорожкам как в сопровождении двух лакеев в ливреях. Понятно, что такая прогулка не привлекала молодых девушек и что такое воспитание оставило свои следы...

Бабушка редко выезжала, кажется, что в продолжение десяти лет, что я ее помню, она не более двух раз была у нас. Ее посещение было такое замечательное происшествие, что все в доме приходило в волнение, бросали уроки, какие бы ни были, и мы все четверо стояли за матушкиным креслом все время визита бабушки. А как она была хороша, принарядившись немножко; чепчик из белой блонды так шел к ее тонким, правильным чертам, улыбка ее была так приветлива, и вид так величав. Несмотря на большую семью, бабушка жила совершенно одна в собственном большом доме на Пречистенке. Все дочери были замужем, все сыновья женаты и разбрелись по России, одна матушка постоянно проводила зиму в Москве. Но все-таки родственников было так много, что по большим праздникам садилось за стол у бабушки человек двадцать и более. Я иногда видела у нее, в 30-х годах, ее дядю Петра Александровича Чебышева, дряхлого старика, замечательного тем, что занимался своею наружностью не менее Гастона Орлеанского; он каждый день завивал свои седые волосы, и так как тогда не были изобретены круглые щипцы, его можно было видеть каждое утро в папильотках. Вместо шлафрока он надевал белый женский пеньюар с розовыми бантами.

Кроме этого старика-дяди, к бабушке являлись разные старухи-приживалки, которых тогда в каждом доме было много. Она любила их рассказы и прибаутки; у нее часто бывала простая торговка, прозванная Петровна, которая играла роль шутихи, имела право садиться при бабушке, гадала на Псалтыре, раскрывая его на своей голове, толковала сны, врала всякий вздор и позволяла шутки не всегда приличные. Ей все прощалось. Петровна после смерти бабушки приносила к нам в дом свой товар, и матушка много у нее покупала; раз Петровна, не имея сдачи, осталась должна матушке гривенник. С тех пор она к нам более не показывалась. Кроме Псалтыря, я никакой книги у бабушки не видала. Оставшуюся библиотеку после дедушки она подарила моей матери. После обеда она всегда раскладывала пасьянсы.

С такой обстановкой не мудрено, что бабушке передавались на счет детей и внуков всякие нелепые сплетни, которые, доходя до матушки, ее сильно огорчали. Не стану о них говорить; они могли на мгновенье огорчить сердце матери, но время отымает у них всякое значение. Бабушка умерла холерою в 1834 году. Несмотря на многочисленную семью, никто из родных не был при ней, она скончалась на руках крепостных горничных. Никто из сыновей не пожелал оставить за собою ее дом, его продали почти задаром баронессе Розен. Лет пятнадцать после ее смерти я была в нем на балу у б-ссы Розен и не без волнения вошла в эти комнаты, где так часто бывала в детстве. Несколько гостиных остались, как были при бабушке; я забыла про картину Гамлета,

про страшную экономку, я вспомнила только, как бабушка меня ласкала, как она была величественно хороша, как я глупо боялась ее, и что-то вроде угрызения совести шевельнулось в душе моей…

На этом балу я в первый раз видела моего мужа, барона В. М. Менгдена»*.

Е. А. Сабанеева**

Воспоминания о былом. *Из семейной хроники*

Воспоминания о бабушке Екатерине Алексеевне связаны для меня с самыми дорогими воспоминаниями моего детства и, кроме того, с нравственным катехизисом, который указала мне матушка на пути жизни. С бабушкой нелегко было ладить при ее живом и вспыльчивом нраве, и матушке приходилось часто терпеть от нее незаслуженные упреки. Бабушка была мастерица делать сцены, а с батюшкой она умела ссориться и мириться по нескольку раз в день; милая моя дорогая мать была часто между двух огней и с великим терпением, тактом и кротостью мирила она обе стороны, проливая от себя такую струю света, которой никакой мрак не мог противиться. Привыкшая к мирному очагу своей родной семьи (матушка моя была урожденная княжна Оболенская), как пугалась она сначала волнениями той среды, в которую попала в доме супруга! Надо удивляться, с каким мужеством она боролась с враждебными ей нравственными стихиями и как успешно восторжествовала над ними. Бабушка впоследствии отвыкла от мысли, чтоб матушка могла чем-нибудь против нее провиниться или даже ошибиться, и отношения между этими двумя женщинами были полны такого доверия друг к другу, что обе слились в одну душу и действовали в одном смысле на пользу семьи и детей.

Екатерина Алексеевна Прончищева была строительницей нового храма в селе Богимове; он выстроен частью иждивением прадеда Алексея Ионовича, частью ее. Когда Богимовскую усадьбу перенесли на другой берег Мышинги, то испросили дозволения и церковь строить на противоложном берегу от старой

* Из дневника внучки // РС. 1913. № 1, с. 123—131.

** Сабанеева Екатерина Алексеевна (1829—1889) — помещица Московской и других губерний. Автор воспоминаний о жизни московского и провинциального дворянства.

деревянной церкви. Это стоило бабушке немало хлопот. Она с великим усердием занималась этим великим делом, очень удачно окончила его, посвятив на него несколько лет своей жизни. Новая Богимовская церковь была окончена в царствование Императора Николая I. Главный придел был во имя Успения Божией Матери; у нас этот день в семье было два праздника — храмовый и рождение моей матери 15-го августа.

Храм Богимовский был хорошей архитектуры; в нем было много соразмерности, окна тоже давали хорошее освещение, что в старинных сельских церквах редко встречалось; живопись была прекрасная; всем нравилась наша церковь, и соседи охотно ее посещали. Она стояла недалеко от нашей усадьбы, по дороге в бабушкино имение. От дому почти до самой церкви была широкая липовая аллея. Был Великий пост на исходе — кажется, Вербная неделя; бабушка прислала сказать, что будет к нам, ибо желает поговеть. Сейчас же приказано было приготовить для нее комнаты. Для нас, детей, ее пребывание в доме соединялось с вакацией, потому что матушка, которая сама давала нам уроки, при бабушке не имела времени нами заниматься. Я была старшая в семье, а мне было в то время лет семь.

Бабушку сопровождал всегда большой штат прислуги; ездила она в четырехместной карете в шесть лошадей с выносными, форейтором и двумя лакеями на запятках. В карете — масса подушек; кроме бабушки, сидели в ней: ее компаньонка, горничная Лена и две собачки, Мирза и Журик. И вот мы ожидаем бабушку. Как только ее экипаж покажется по дороге мимо церкви, так буфетчик Сергей Николаевич войдет в батюшкин кабинет, остановится в дверях и возвестит, что барыня к нам жалует,— мы к окнам. Карета въехала в ворота большого двора, и мы бежим встречать в переднюю нашу дорогую гостью. Дверь отворяется, входит бабушка, укутанная в шубу, в большом атласном капоре фиолетового цвета; ее ведут под руки, и Лена расстегивает на ходу ее шубу, а лакей принимает ее на свои руки; бабушка садится на диван, и с нее снимают теплые белые лохматые сапоги, осоюзенные белым сафьяном. Мы должны все время смирно стоять; затем бабушка проходит в батюшкин кабинет, где ее усаживают на диван. Мы, между тем, приняли от лакея ее двух собачек и несем их на руках за бабушкой, что составляет для нас большое удовольствие; но мы отнюдь не должны при этом забывать, что с бабушкой следует поздороваться, а этого никак нельзя сделать, пока она не снимет капора и бесчисленного множества платочков и косыночек, которые на нее накутаны. Мы стоим против нее и ожидаем. Наконец снят последний шарфик, и бабушка осталась в одних волосах. Тогда ей было лет под семьдесят, а в ее темно-русых косах, которые она носила, закладывая их по-детски вокруг головы, не было еще седых волос. Эти глянцевитые темные волосы гладко лежали над ее невысоким лбом и немного вились над висками. Говорили, что она была очень хороша в молодости, высока и стройна. Глаза ее были карие, очертание лица мягкое, черты тоже мягкие, нос породистый, прямой, без горбика, а ноздри имели способность раздуваться

под влиянием душевного волнения; выражение ее лица так часто менялось, и довольно полные губы раздувались в гневе, выражая так откровенно, что она сердится. Зато при улыбке углы ее рта подымались вверх особенно приятно, придавая ее лицу сдержанно-лукавое выражение. Игра ее лица производила на меня всегда глубокое впечатление: так вот и догадаешься, чего она хочет, и что ей нравится, и что ей не по нутру. Я заметила, что скрывать свои чувства она не умела, да, кажется, и не могла, оттого и была часто резка. Если ей приходилось принять une mine de circonstance, хотя бы, например, в гостиной, то выходило смешно. Подчиняться моде или этикету она никогда не могла: всегда утрировала оборки своих чепцов, цвета материй на платьях и вообще мало обращала внимания на впечатление, которое производила на других.

Но пора вернуться к моему повествованию. Итак, когда последний шарфик снят, то Лена уносит все атрибуты зимнего кутанья и подает бабушке чепец именно с преширокой оборкой и бридами из газовых лент. Когда он уже на голове у бабушки, мы чинно подходили к ней к руке. В это время показывается няня в дверях кабинета; она несет на серебряном подносе весь чайный прибор и ставит его на круглый стол против бабушки, которая после самого краткого путешествия любила кушать чай.

Бабушка Екатерина Алексеевна была большая рукодельница: из ее рук выходили замечательно изящные работы. Она много вышивала для нашего храма. Помню по серебряному глазету воздухи, которые обновили на храмовой наш праздник. По канве золотом она вышивала без очков до глубокой старости. По поводу вязанья шерстями я слышала от нее следующие воспоминания из ее молодости.

«Теперь,— говорила она,— берлинская и английская шерсть такая обыкновенная вещь,— ею хоть пруд пруди; в мое же время она была редкостью; ее употребляли только большие барыни. В высших сферах общества было доступно вышивать ковры; у нас же в деревне и понятия о том не имели. Я смолоду была охотница до работ, но шерсти купить и подумать не смела: батюшка так бы прогневался, если б я осмелилась заикнуться о покупки такого ценного товара. У нас везде все было домашнее: шерстяные чулки мы носили, конечно, из домашней шерсти, не говоря уже о белье — все из домашнего холста. И столовое белье то же самое. У нас-то все матушкины ярославские мужички привозили: это входило в их оброк. Но и в Богимове отлично пряли и ткали; мы с сестрами носили по будням платья из домашней холстинки, по воскресеньям только ситцевые. Я была меньшая из сестер, и мне первое белое канифасовое платье сшили, когда я была взрослой девицей лет 18. Так вот насчет шерсти я стала рассказывать. Гостила я одно время у Кашкиных в Прысках (из Оптиной пустыни к ним заезжала) и видела у их гувернантки прелестную подушку, вышитую берлинскою шерстью, узор-то я перерисовала, и канвы мне подарили, за малым дело оставалось: нет у меня шерсти. Как тут быть? Тогда добрые Кондыревы вошли в мое спасенье: у них были шленские ов-

цы, так они велели начесать шерсти из душек (это та шерсть, что на груди и под шеей у овец, так называется); эту шерсть вымыли и привезли мне. У нас Пелагея хорошо и ровно пряла,— и вышла мягкая, довольно хорошая шерсть, но белая вся, а узор без теней вышивать нельзя. Что же вы думали? — я сама покрасила шерсть, и вышло очень недурно, так что я вышила ковер. Когда-нибудь я вам его покажу».

Еще по поводу своей страсти к цветам бабушка рассказывала следующее. «Это была всегда такая оказия — моя страсть к цветам,— говорила она,— бывало, только в людях и полюбуешься ими, дома и подумать не смей посадить цветочков; ни смородины, ни малины у нас не было. Батюшка ничего такого терпеть не мог, называл все это пустяковиной. Разве что подсолнечник на огороде допускался; бузина где-то подле кухни разрослась — и ту велел вырубить. Когда, однако, после кончины брата батюшка заболел и все хозяйство перешло на мои руки, то и пришел ко мне раз приказчик, да и говорит: "Осмелюсь доложить вашей милости: под скотным двором местечко пустует, а земля хорошая,— не благоволите ли ее мне под огород пожаловать? Мы с женой сами ее обработаем, горошку да бобков насадим". Я подумала, подумала, да и позволила и велела то местечко плетнем забрать. Да и сама стала там садить: то смородины, то малинки; цветов развела, розы были, левкой, только души нет, бывало: боишься, как бы батюшка не сведал!»

Таким образом текла жизнь бабушки в родительском доме, всегда под страхом, всегда в тревоге между больною матерью и деспотом отцом. Поверят ли тоже, что она не только цветы сажала потихоньку от своего родителя, но и французскому языку втайне от него выучилась и говорила на этом языке не очень чисто, но поддерживать разговор могла. Много читала и много себя образовала. Екатерина Алексеевна была замечательная женщина по уму и способностям; характер же ее и душевные силы приобретали особое мужество в этой борьбе с дикими предрассудками и тяжелыми семейными драмами.

Прадед не допускал мысли о воспитании детей: в те времена чада должны были удерживаться в черном теле в доме родителей, и он за порок считал, чтобы русские дворянки, его дочери, учились иностранным языкам. «Мои дочери не пойдут в гувернантки,— говорил Алексей Ионович.— Они не бесприданницы: придет время, повезу их в Москву, найдутся женихи для них».

Вот как прадед возил дочерей в Москву, людей посмотреть и себя показать.

Это было в начале царствования Императора Павла Петровича. Было слышно, что двор будет в Москве, значит, будут празднества. Белокаменная всегда ликует, когда монарх почтит ее своим присутствием. Алексий Ионович нанял дом в Москве на три месяца и зимним путем поехал с двумя старшими дочерьми, Евдокией и Софьей, в столицу. Расчет был верный. Государь был в Москве, и едва успели сшить на Кузнецком мосту бальные платья для калужских барышень, девиц Прончищевых, как зимний сезон открылся балом, который монарх почтил своим

присутствием. Это был первый выезд девиц Прончищевых, но как далеки они были от мысли, что он будет и последний! Дня три спустя после этого бала Алексей Ионович приказал дочерям с вечера укладываться и собираться в дорогу. На утро подвезли под крыльцо просторный деревенский возок, и богимовский властелин увез дочерей восвояси.

Домашние удивились этому быстрому возвращению из столицы, соседи еще более; пошли разные толки, но прадед отмалчивался, и никто не узнал причины этой внезапной перемены в его предположениях. Наем дома в Москве так и остался бесплоден: видно, не всегда можно стремиться к своей цели беспрепятственно. Бабушка, которая рассказывала об этом моей матушке, объясняла это быстрое возвращение прадеда из столицы страхом его за старшую дочь, которая своей красотой обратила на себя внимание Государя, так что на другой день после бала было сделано из дворца осведомление о чине отца калужской красавицы.

«Батюшка,— говорила бабушка,— не желал фавора для сестры при дворе и скорее увез ее в деревню». Матушка моя видела эту тетку моего отца, когда она была уже не молода, но и тогда она еще сохраняла следы замечательной красоты. По возвращении из Москвы прадед, будто осердясь за неудачную поездку, поспешил найти дочерям женихов в деревне. Старшую, красавицу Евдокию, выдал замуж за князя Якова Алексеевича Несвицкого, человека богатого, но мало подходящего ей по летам: ей было 17, а супругу ее под семьдесят. Вторая дочь, Софья, была выдана за Арбузова. Алексей Ионович наградил дочерей хорошим приданым.

Чтобы лучше выяснить пред читателем характер бабушки Екатерины Алексеевны, считаю полезным дать ему понятие об ее друзьях. Она являлась до сих пор в своей семье перед его глазами как дочь деревенского сквайра, т. е. помещика 1770-х годов; посредством же ее друзей я надеюсь дать более обширное понятие об ее месте и значении в обществе.

Я живо помню прекрасный портрет у бабушки, которым она очень дорожила. Это был поясной портрет, писанный на полотне масляными красками в Италии. Лицо как живое, а соболь и пунцовый бархат кацавейки, накинутой на плечи старушки, которая на нем изображена, хочется погладить рукой — так мастерски они вышли на полотне под кистью художника. То не был портрет, напоминающий молодую пору жизни, но перед вашими глазами является умное лицо старушки с тем пытливым взором, который будто приглашает не горячиться, глядя на суеты мира сего; улыбка на устах, немного лукавая по-женски, и выражение этого лица возбуждают в вас желание познакомиться с той, которую вы видите тут на полотне. Оборка тюлевого чепца, бриды и бантик из газовых лент, вышивка гладью на батистовом белом шарфе, который пышно лежит вокруг шеи над большим собольим воротником кацавейки,— все эти детали превосходно исполнены; то был портрет Прасковьи Юрьевны Кологривовой (урожд. княжна Трубецкая).

Бабушка Екатерина Алексеевна часто езжала гостить в Жарки, калужское имение Кологривовых, в 12 верстах от

нашего Богимова. Между нею и Прасковьей Юрьевной велась давняя и тесная дружба. Прасковья Юрьевна Кологривова была в первом браке за князем Федором Сергеевичем Гагариным, который был убит во время Варшавского возмущения 1795 года. Княгиня Прасковья Юрьевна удивила в то время своим мужеством. Весть, что супруг ее убит, достигла до нее ночью; не медля ни минуты, княгиня, взяв с собой несколько солдат с фонарями, отправилась на место кровавой драмы и отыскала труп князя между убитыми. В эту минуту ее арестовали, и она так же, как и многие другие русские дамы в то время, находилась несколько дней под стражей и в заключении.

При жизни первого своего супруга, по положению и богатству, Прасковья Юрьевна принадлежала к высшему кругу Петербургского общества; в молодости она бывала при дворе Императрицы Екатерины и пользовалась там общим уважением. Она была хорошо образована, очень умна и держала себя всегда очень самостоятельно, не увлекаясь скептическим направлением, которое преобладало тогда в обществе. При дворе ее называли ханжой, не менее того уважали за благочестие и скромность. Про нее рассказывали следующее. Однажды (не могу утверждать, чтоб это было во дворце, однако, говорят, в присутствии Императрицы Екатерины) Потемкин сидел в обществе на вечере подле княгини Прасковьи Юрьевны, в разговоре с нею осмелился сказать молодой и прекрасной княгине Гагариной какую-то двусмысленность: недолго думая, княгиня подняла руку и дала ему очень громкую пощечину. Это тогда наделало много шуму при Дворе. После смерти первого супруга княгиня Гагарина осталась вдовою с большою семьей на руках и с крупным, но расстроенным состоянием; она тяжело переживала потерю мужа, желала уединения от мирских сует, но, имея много дочерей, должна была для них поддерживать светские и придворные связи. Тогда на пути ее жизни встретился человек, который принял в ней и ее делах большое участие: это был Петр Александрович Кологривов. Он помог распутать какой-то процесс по имению покойного князя Гагарина, затем, несколько лет спустя, сделался вторым супругом княгини Прасковьи Юрьевны, которая умела оценить его здравый ум и доброе сердце.

Старшие дочери ее были тогда уже замужем и неблагосклонно смотрели на отчима; несмотря на это, между стариками-супругами Кологривовыми была полная гармония. Они часто жили в их калужском имении — Жарках. Прасковья Юрьевна говорила, что там она отдыхает от столичного шума; Кологривовы в Жарках почти никого не принимали, кроме людей самых близких, из которых была и бабушка моя, Екатерина Алексеевна Прончищева.

Дружба Прасковьи Юрьевны имела большое значение для бабушки: она отдыхала там, в доме этой большой барыни (grande dame) от тяжелой жизни в доме отца. Нравы в доме Кологривовых были очищены от сора помещичьей безотрадной, будничной жизни в Богимове. Вместо расправы с крепостными, у Кологривовых она встречала заботу о

рабах, попечение о них. И эти лучи света очищали ее душу от предрассудков, среди которых она провела свое детство и юность, а уважение и дружба Прасковьи Юрьевны поддерживали ее мужество на пути ее самоотверженной жизни. Я помню, как любила бабушка рассказывать о благочестивой жизни у Кологривовых, о привычках, вкусах и мнениях Прасковьи Юрьевны. По возвращении из Жарок, бабушка привозила домой изящные канвовые узоры, выкройки, рецепты для варений, пирожных; это радовало ее и вносило движение в ее одинокую жизнь в старости; ранее же ей было еще более потребности в нравственной поддержке, которую она получала от дружбы с Кологривовой.

По рассказам бабушки, да и по семейным преданиям, ясно видно, что она несла ношу всех жизненных бремен в своей семье*.

Я. П. Полонский**

Дом-антик

Бабушка моя была урожденная Умская, одна из побочных дочерей графа Разумовского (какого, не знаю). Звали ее Александрой Богдановной (это не значит, что отец ее был Богдан). Одиннадцати или двенадцати лет вышла она замуж за Якова Осиповича Кафтырева, родного племянника генерал-аншефа Петра Олица, лифляндского помещика и рыцаря, в юности участвовавшего в чесменском бою и силача необыкновенного. О его силе рассказывали мне вещи невероятные: рассказывали, будто бы этот Олиц мало того что мог через кровлю сарая перебрасывать двухпудовые гири, мог, втыкая свои пальцы в дула солдатских ружей и вытянув руки, поднимать их и на отвесе горизонтально держать и даже качать их. Рассказывали, что никогда он не бывал болен и умер только потому, что, упавши с лошади, о камень разбил свою грудь. Деда своего я уже в живых не застал, но видел портрет его, в мундире с красными отворотами и с напудренной косой, с черным, должно

* *Сабанеева Е. А.* Воспоминания о былом. Из семейной хроники 1770—1838 гг. СПб., 1914, с. 41—52.

** Полонский Яков Петрович (1819—1898) — русский поэт, член-корреспондент Петербургской АН.

быть, тафтяным, подвязанным под нее мешочком. Слышал я, что в молодости он был у дяди своего адъютантом и играл на флейте (складную флейту его я видел в старой кладовой). Умер же он в чине действительного статского советника, состоя на службе советником или председателем какой-то рязанской палаты.

Дед мой и жена его были очень богаты, но разорил их процесс с племянником Федором Михайловичем Тургеневым по поводу села Хамбушева, принадлежавшего брату моей бабушки. Братец этот занял у сестры 100 000 с тем, чтобы завещать ей все свое состояние. Состояние это оттягал Тургенев, подсунувши Умскому другое, им самим составленное завещание, предварительно напоив его и подкупив его любовницу. Процесс этот длился около двадцати лет и кончился тем, что на сенатском докладе этого дела Александр I сделал надпись: «Кафтырев прав по совести, а Тургенев — по закону». Закон перетянул, и благосостояние Кафтыревых было значительно поколеблено. Род же Кафтыревых происходит от татарского мирзы, когда-то владетельного хана Кафы,— теперешней Феодосии. Вероятно, хан этот взят был в плен еще при царе Борисе, обжился в Москве, принял православие и записан в разрядной дворянской книге под фамилией Кафтырева.

У бабушки моей было восемнадцать человек детей, но большая часть из них умерла от оспы; не без следов на лице ускользнули от оспы и остались в живых: сыновья — Димитрий и Александр Яковлевичи — и пять дочерей: Вера, Анна, Наталья, Евлампия и Ольга. Из них две первых не были замужем, Наталья была замужем за отцом моим, Петром Григорьевичем Полонским, Евлампия — за Т. П. Плюсковым, Ольга — за Панкратьевым. У Натальи Яковлевны Полонской я был старшим сыном; через год родился брат мой Дмитрий, через два года брат Григорий, через три года Александр. Затем был еще Николай (умерший в младенчестве), затем Петр, Павел и дочь Александра. Кажется, довольно и этого, чтоб в кратких словах очертить мое происхождение и упомянуть о моих братьях, которые позднее будут играть немалую роль в моих воспоминаниях.

Когда всех нас привозили в дом бабушки, я шел с ней здороваться в ее спальную, которой она уже не покидала ни днем, ни ночью. Широкая двуспальная кровать старухи стояла в нише и была занавешена белыми занавесками, обшитыми бахромой, и, когда она не спала, обе занавески были откинуты, образуя над головой ее род палатки. Весь день перед столиком сидела она на кровати, опустив ноги на скамеечку. На ее столике помню я то старый часослов, то хлопушку от мух, то несколько блюдечек с мелкими камешками, по большей части находимыми в утином желудке. Все эти камешки бабушка моя любила сортировать по их величине и цвету и каждый сорт всыпала в особенный, ею надписываемый мешочек. Для чего она это делала? Мечтала ли она, что из этих камешков можно будет сделать мозаику или облепить стенки небольшого баульчика? Не знаю. Иногда для меня, ее любимого внука, на этом столике появлялась китайская штучка, которую я называл «чашечка в чашечку», и действительно, вся штука состояла в том, что

в одну чашку вкладывалась другая, в другую третья и так далее. Это была неподдельная и очень старинная китайская вещица. Таких китайских вещей у бабушки были целые сундуки. Они достались ей тоже от какого-то брата, состоявшего при посольстве в Китае. (Вообще при Екатерине II все Умские были в большом почете, все были богаты и на виду.) Иногда же совершенно другой сюрприз готовила нам эта бабушка: она нанизывала на нитки в разные цвета крашеный горох и эти длинные бусы дарила нам.

Однажды, получив такой подарок, я ушел в залу и стал кружиться; нитка с горохом вертелась кругом меня колесом, а я был точно ось пущенной в ход вертушки. Мне очень понравилось такое быстрое на одном месте кружение; меня стали останавливать — я не слушался; но бабушка меня не останавливала, она сказала только, что от такого кружения у меня мозги вытекут. Я испугался за свои мозги и присмирел, даже руками не раз щупал голову: нет ли трещины и целы ли мозги! Целый день меня тревожили слова бабушки: я им верил; ибо в те счастливые годы я всему верил, что бы ни сказали мне.

Деревянный дом моей бабушки (до ее кончины) в наше время показался бы чем-то вроде антика или чем-то вроде любопытной редкости (если бы такие дома можно было хранить за стеклом в музеях со всеми их обывателями или хоть с чучелами из этих обывателей). Не успела умереть бабушка, как уже все в этом доме изменилось, и дом потерял уже первобытный характер свой; и теперь (я видел его в 1881 году, в мой приезд в Рязань) он был снаружи почти такой же, но уже с пристройкой сеней, выходящих на улицу. Сада же, который увидал я с бывшего моста (теперь насыпанного вала, близ гимназии, по Воскресенской улице), я совсем не узнал, в таком он запущении. Там, где были высокие старые липы и куртины с яблонями, грушами и вишневыми деревьями, стояла какая-то изба посреди гряд с капустой; где были цветники и непролазные кусты малины — там, на веревках было белье развешано. Так все меняется и, к сожалению, не всегда к лучшему.

Постараюсь пером моим заменить музей и показать вам дом моей бабушки со всеми его жильцами и деталями.

Через деревянное крыльцо и небольшие, зимой холодные, а летом пыльные сени направо была дверь в переднюю. Эта передняя была полна лакеями. Тут был и Логин, с серьгою в ухе, бывший парикмахер, когда-то выучивший меня плести ягдташи, и Федька-сапожник, и высокий рябой Матвей, и камердинер дяди моего Павел. И эта передняя была отчасти их спальней, отчасти мастерской, так как все они более или менее были башмачники и сапожники. <...> Из передней шла дверь в небольшую залу. В этой зале вся семья и мы по праздникам обедали и ужинали. Обедали в час пополудни, ужинали в девять часов вечера. Пол в этой зале был некрашеный; потолок обит холстом, выкрашенным в белую краску; посредине висела люстра из хрусталиков, а пыльная холстина местами отставала от потолка и казалась неплотно прибитым и выпятившимся книзу парусом. Стены были

оклеены обоями, из-под которых, по местам, живописно выглядывали узоры старых обоев (что мне особенно нравилось). <...>

В гостиной на полу лежал тканый ковер с широкой каймой, на которой узор изображал каких-то белых гусей с приподнятыми крыльями вперемежку с желтыми лирами. Зеркальная рама в простенках между окошек, кресла, овальный стол перед диваном и самый диван — все было довольно массивно и из цельного красного дерева, одни только клавикорды не казались массивными. В одном углу стояли английские столовые часы с курантами или молоточками, которые каждый час перед боем ударяли в металлические чаши разной величины и звонко играли старинные менуэты; в другом углу была изразцовая печь с карнизом, на котором стояло два китайских, из белого фарфора, болванчика; под этими болванчиками ставили иногда курительные свечки (монашенки), и тогда от них очень хорошо пахло.

За гостиной шли двери с маленькою прорезной дырочкой, в которую из спальной можно было подглядывать, кто приехал и кто вошел в гостиную.

Спальная бабушки была постоянно сумрачна, так как два низких окна, выходивших на улицу, вечно были завешены спущенными гардинами, зато мягко было ступать: пол был обит войлоком и грубым зеленым сукном. Прямо против двери висели портреты моего деда и моей бабушки, еще далеко не такой старой, в тюлевом чепце, завязанном у подбородка лиловыми лентами, в турецкой шали и, если не ошибаюсь, с ридикюлем в руке. Тут было немало комодов и сундуков, прикрытых коврами; налево была кровать, помещавшаяся в нише с задней дверкою; с одной стороны этой ниши шел проход в девичью и темное пространство по другую сторону ниши, до самого потолка заваленное сундуками, сундучками, коробками, мешками и, если не ошибаюсь, запасными перинами. <...>. У прохода в девичью постоянно на полу или на низенькой скамеечке с чулком в руке сидела босая девчонка. В те времена такие девчонки у барынь играли роль электрического звонка, проведенного в кухню или людскую, их посылали звать кого нужно. Помню, незадолго до смерти бабушки, в этом проходе появилась новая, привезенная из деревни девочка Вера, красивая голубоглазая блондинка и с таким благородным, задумчивым личиком, что я, шести лет, уже был не совсем равнодушен к ней. (Она жила недолго и умерла в заутреню в первый день Пасхи.)

Из девичьей шла дверь в небольшие сени с лестницей на чердак, на заднее крыльцо и холодное зимой, насквозь промороженное господское отделение. В тех же сенях была постоянно запертая дверь в пристройку, где была кладовая. Девичья была что-то невероятное для нашего времени. Вся она была разделена на углы; почти что в каждом угле были образа и лампадки, сундуки, складные войлоки и подушки. <...> Ночью, проходя по этой девичьей, легко было наступить на кого-нибудь. Все спали на полу, на постланных войлоках. Войлок в то время играл такую же роль для дворовых, как теперь матрасы и перины, и старуха Агафья Константиновна —

высокая, строгая и богомольная, нянька моей матери, и наши няньки и лакеи — все спали на войлоках, разостланных если не на полу, то на ларе или на сундуке. Из девичьей налево шел коридор, из которого шли три двери: в комнату, к моим теткам, в кабинет, к моему дяде, и в залу, не считая двери в небольшой чуланчик, куда Константиновна ставила горшки свои и где лежали поломанные вещи очень старого происхождения. Тетки спали в кроватях под белыми занавесками, Константиновна на полу; со стен глядели портреты моего прадеда, моей прабабки и родного дяди моего, дяди Петра Олица. Кроме этого последнего портрета, писанного в 1772 году, который до сих пор в синей ленте, с тростью в руке, глядит на меня и, как кажется, глядит довольно доброжелательно, все остальные портреты сгорели в Рязани, в конце 70-х годов, в квартире двоюродных сестер моих Плюсковых. Так никогда уже больше не увижу я моих предков, которых глаза были так живо написаны, что в детстве они смущали меня, ибо следили за мной, куда бы я ни шел в их присутствии.

Но кабинет дяди Александра Яковлевича, часто по целым месяцам запертый в его отсутствие, был для меня самая знаменитейшая, самая поучительная комната. Когда я подрос и уже умел читать, я часто выпрашивал ключик от дверей этого кабинета, там выбирал себе любую книгу и читал, забравшись с ногами на диван. Весь этот кабинет был и музей и библиотека. <...>

В этом же кабинете помню я воздушное огниво и огниво в виде пистолета на ножках. Дядя мой постоянно курил трубку, носил при себе трут и кремень. Запах трута особенно мне памятен; теперешние спички пахнут фосфором и постоянно напоминают мне, что время огнива и трута также кануло в вечность, как и мое младенчество.

По ту сторону ворот тянулась изба с двумя крыльцами — там была кухня. Кушанья к столу носили через двор. Там жили дворецкий с женой, жена Логина с дочерьми, жена Павла с дочерьми, повар, кучер, форейтор, садовник, птичница и другие. Редко бывал я в этой избе; но все же бывал, и помню, как я пробирался там мимо перегородок и цветных занавесок. Сколько было всех дворовых у моей бабушки — не помню, но полагаю, что вместе с девчонками, пастухом и косцами, которые приходили из деревень, не менее шестидесяти человек. И все это надо было кормить и одевать... что все было... жалованья не получал никто, даже никто и не воображал себе, что можно получать какое-то жалованье!

Вот тот дом, где я в детстве проводил каждое воскресенье. <...> Накануне больших праздников весь дом с вечера наполнялся запахом ладана, везде у образов горели свечи и лампадки, а образов было так много, что на Страстной неделе в комнату теток вносили длинный стол, на котором и они сами, и их горничные снимали с образов серебряные ризы, мыли их и с помощью щеточек чистили их толченым мелом. Помню, какое это было продолжительное, хлопотливое и лично для меня приятное занятие.

Кроме дворовых, бывали в доме и приживалки. Помню одну старуху, которая помещалась как бы на полатях, в ка-

ком-то отверстии над дверью комнаты моих теток. <...> Смутно я помню эту старуху, сидящую наверху и расчесывающую свои волосы большим деревянным гребнем, каким лен расчесывают перед тем, как начинают прясть нитки. Помню, что она заваривала чай у себя в горшочке и пила его с медом.

<...> Бабушка моя получила свое воспитание, надо полагать, в конце царствования Елизаветы, то есть выучилась только читать и писать; у нее были целые тетради записанных ее рукою народных загадок. Почерк был старинный, крупный и наполовину славянскими буквами — так помню, буква «я» писалась так, как она печатается в Библии, на церковнославянском языке.

Барыня она была характерная и своеобразная,— старая барыня старого века. То беседовала она с нищими, которые в лохмотьях и босиком приходили к ней в спальную; она помогала им, иногда лечила их. Припоминаю, как лечила она одну слепую старуху; дала ей кусок сахару и оловянную тарелку (?) и велела ей тереть эту тарелку куском сахара, и когда на тарелке покажется порошок, смочить его водой и прикладывать к больным глазам. От простуды и от ушибов давала какую-то женевскую мазь домашнего приготовления. Но это благодушие вовсе не мешало ей ворчать и ругательски ругать свою посыльную девчонку, если она уйдет не вовремя или спутает нитки, или спустит спицу и не довяжет чулка. Кажется, она и на колени ее ставила... а впрочем, все это было так давно, что многого я не помню.

<...>

Вечерний чай пили мы после вечерен в пять часов пополудни (раньше, чем теперь мы садимся за обед). Когда, бывало, в гостиной, прозвонив менуэт свой, часы били десять, все говорили: «Ах, как поздно! Пора спать!» Едва ли даже и гости засиживались позднее десяти часов, так как оставаться ужинать в чужом доме не было в обыкновении. Только приживалки, заезжие родственники да холостяки бесприютные, сумевшие в доме стать на короткую ногу с хозяином, могли садиться за ужин.

Чай разливала Дарья, жена толстого и желтолицего дворецкого (самовар ставили на лежанку в комнате моих теток). Дарья же разливала и послеобеденный кофе. Она же была и кума моя (так как я еще в ребячестве крестил дочь ее). В качестве кумы, на Масленице в прощеный день, она приносила мне фунт изюму или фунт фиников. Она же иногда в зимние вечера рассказывала мне такие сказки, что я помирал со смеху, и, наконец, она же, когда я был уже гимназистом, зазывала меня в свой чулан и там поила меня кофеем, моим любимым в то время напитком.

Нечего говорить, что как в доме бабушки, так и у нас соблюдались все посты и что в Великий пост и на Страстной неделе мы не видали ничего скоромного. «Какое обширное поле горшков!» — воскликнул однажды какой-то тогдашний остряк, увидавши обеденный стол, заставленный постным кушаньем. Горшков у нас было немного, но все же то были горшки, а не суповая чаша, сковороды, а не блюда. Мы не замечали в то время, чтоб от постной пищи подводило у нас животы или портились желудки,

как это часто замечают теперешние постники… Но — что же мудреного! Во дни моего детства о подделках пищи никто не имел ни малейшего понятия. Химия еще не процветала, и у нас продавалось настоящее ореховое масло, настоящий мед, ничем не подмешанный, и квас был домашний, и колодезная вода была чиста, как кристалл. Святая неделя в доме бабушки проходила без всяких особенностей, только мы ездили к Кафтыревым чуть ли не ежедневно и вместе с детьми дворовых, в зале на разостланном ковре с лубка, согнутого в виде желоба, катали яйца; но Святки сильно пахли стариной. Тогда в этой же самой зале, по вечерам, при свете двух сальных свечей и одной масляной стенной лампы, собиралась вся женская прислуга (кроме старух) и хором голосила подблюдные песни. Бабушка, сидя на своей постели, надушив одеколоном руки, раскладывала пасьянс. Моя мать, ее сестры и кто-нибудь из гостей играли в бостон в гостиной, где на овальном столе стояло варенье, пастила, моченые яблоки, брусника и всякого рода сласти. Из залы я перебегал в гостиную, из гостиной в залу. От варенья — к святочным песням; каждая песня заканчивалась припевом:

Кому вынется, тому сбудется.
Сла-а-а-а-ва!!

При этом, соблюдая очередь, подносили и мне тарелку, завязанную салфеткой и звякающую от встряхиванья; я протягивал руку и вынимал из-под салфетки чьенибудь кольцо или ключик, чья была вещь, тому было и пророчество. И я нес эту вещь в гостиную или в спальную к бабушке и объявлял: вам вышло «Уж как звал кот кошурку в печурку спать» или вам вышло «Уж как шел кузнец из кузницы». Иногда выходило, что моя восьмидесятилетняя бабушка непременно должна будет выйти замуж, и это нисколько не казалось мне смешным или диким! О том, когда можно или не можно жениться или выходить замуж, я не имел никакого понятия, думал иногда, что и меня, мальчугана, могут женить — чего доброго!

Когда проходили Святки и зимние вечера начинались все еще с трех-четырех часов пополудни, не раз мне случалось в той же бабушкиной зале участвовать в хороводах, которые водили все собравшиеся туда дворовые. Иногда затевались воистину деревенские игры. Сколько раз, бывало, сидел я на полу вместе с Катьками, Машками и Николашками и вместе с ними тянул: «А мы просо сеяли, сеяли!» — а другой ряд сидящих перебивал нас: «А мы просо вытопчем, вытопчем!»

Все это я очень любил и едва ли не все эти народные песни знал наизусть; но не странно ли: когда в доме бабушки случались свадьбы, и в ушах моих раздавалось: «Виноград в саду растет» или иные песни, в которые, по обычаю, вплетали имена холостых людей или девиц — я затыкал уши, убегал и прятался. До того мне делалось противно и гадко, что я не знал, куда деваться!.. Чем это объяснить? Вдумываясь в такую странность, можно подыскать только одно объяснение: вероятно, я верил, что если эти и свои и чужие девки назло мне упоминают в своих песнях мое имя, то этим явно изобличают свое намерение женить меня (!!!). А я мечтал уже о пус-

тынножительстве, мечтал добиться святости и, быть может, в глубине души своей носил уже смутный облик того ангела, которому поверял я

И мысли, детскому доступные уму,
И сердцу детскому доступные желанья!

Вот каков тому шестьдесят лет назад был дом моей бабушки. От него веяло далекой стариной даже в то время. Каким бы антиком показался он в восьмидесятых годах нашего столетия, если бы каким-либо чудом можно было воссоздать его. Кто удостоил или удостоит прочтением первый том моего романа «Записки Сергея Чалыгина», тот заметит, как я много был обязан дому моей бабушки*.

А. В. Эвальд**

Воспоминания о бабушке

Описывая нашу квартиру, я упомянул, что одну из семи комнат занимала моя бабушка с отцовской стороны, Жозефина Иосифовна, или Осиповна, как ее некоторые называли. Это была замечательная старуха по своим оригинальным взглядам, обычаям и привычкам.

Одевалась она по той старинной моде, которой следовала, вероятно, в дни своей молодости, т. е. времен Павла I; по крайней мере, ее костюм близко подходил к тому, в котором обыкновенно изображают императрицу Марию Феодоровну. Дома она носила на голове чепчик, всегда белый, с кружевными гофрированными оборками. Под чепчик она подвязывала на висках пеньковые букли. Ее шею окаймлял широкий белый гофрированный воротник. Шляпу носила с высокой тульей и с широкими полями, в виде отверстия большого тромбона. Зимою на улицу надевала ватный салоп, непременно черный, атласный, а летом — накидку или пальто (не знаю, как это назвать) со многими воротниками. В руках всегда имела большой зонтик, служивший не столько для прикрытия от солнца или дождя, сколько ради опоры ее старческим но-

* *Полонский Я. П.* Сочинения в 2 т. М., 1986. Т. 2, с. 366—377.

** Эвальд Аркадий Васильевич (1836—1898) — писатель. Выпускник Николаевского инженерного училища. После отставки занимался литературным трудом. Печатался в «Отечественных записках», «Историческом вестнике», автор романов и повестей.

гам. Несмотря на этот странный костюм, она, при своем высоком росте, хорошем сложении и умении себя держать с большим достоинством, производила очень приятное впечатление, как красивая старуха. У меня висит до сих пор ее поясной портрет, писанный масляными красками художником Говениусом, на котором она изображена сидящею в своем вольтеровском кресле, с красной суконной обивкой, и, глядя иногда на этот портрет, я, без всякого родственного пристрастия, нахожу, что она была очень симпатичной и представительной старухой. Бабушка была родом венгерка и еще в молодости приехала с мужем в Россию. По-русски она говорила совершенно правильно и свободно, так же как по-французски и по-немецки, и вообще была хорошо образована. Она принадлежала к числу очень немногих женщин, у которых не существует никаких примет, предрассудков, суеверий и всякого тому подобного хлама. В этом отношении она далеко превосходила мою мать, Елизавету Алексеевну, урожденную Захарову, которая, несмотря на воспитание, полученное в Смольном монастыре, верила приметам, гадалкам и всяким другим чудесам. Они часто спорили по этому поводу между собою, причем бабушка никогда не выходила из себя, говорила спокойно, но и толково, а мать моя, обладавшая очень пылким темпераментом, горячилась, возвышала голос, перебивала и торопилась забрасывать не доказательствами, а только примерами. Впрочем, споры между ними часто возникали и по всяким другим поводам, иногда совершенно ничтожным, и я приписываю это главнейшим образом разности темпераментов обеих женщин: бабушка жила больше рассудком, а моя мать — сердцем; бабушка все делала спокойно, обдуманно, рассудительно, а моя мать всегда поступала быстро, по первому впечатлению, и упорно держалась его во что бы то ни стало.

Но, несмотря на эти споры, возникавшие по всякому поводу почти ежедневно, я не помню между ними ни одной ссоры. Они обе были очень добры, так сказать, отходчивы, не злопамятны и любили друг друга. Бабушка относилась к матери снисходительно, прощая ей некоторые недостатки, а мать питала к бабушке самую почтительную любовь и предупреждала все ее малейшие желания.

В течение всей своей жизни я не встречал человека более самостоятельного во всех своих убеждениях и действиях, как моя бабушка. Она делала только то, что сама признавала разумным или нужным, и решительно не обращала никакого внимания на то, что скажет свет. Так, например, она никогда и ни к кому из наших знакомых не ходила, делая исключение только для семейства одного доктора Пфейфера, о котором я должен поэтому сказать несколько слов. Сам доктор, Антон Антонович Пфейфер, был честный и добродушный старик, очень похож на портреты Крылова (разумеется, баснописца, а не драматурга), только гораздо красивее. Львиная грива серебряных волос на голове и черные, нависшие над глазами, брови, придавали его старческой наружности очень эффектный вид. Он был всегда нашим семейным доктором, избегал употребления лекарств вообще, допус-

кая только домашние средства, преимущественно наружные (горчичники, компрессы, натиранья и т. п.), и вообще был глубоко убежденный гигиенист, что в те времена было большою редкостью. Жена его была женщина очень умная и хорошо образованная, но отличалась чрезвычайно резкими манерами и звонким голосом. Я до сих пор как бы слышу, когда, приходя к нам, она еще в коридоре выкрикивала свое приветствие бабушке:

— Bonjour, grand`maman! Comment sa va?

А прислуга острила по этому случаю: «Кума сова пришла».

У них была одна дочь, Екатерина Антоновна, и три сына, из которых младший, Антон, был моим большим приятелем.

Все это семейство держало себя в Гатчине как-то особняком и, подобно моей бабушке, совершенно самостоятельно, не подчиняясь общепринятым обычаям. Довольно сказать, что Екатерина Антоновна, будучи замечательной красавицей, никогда не следовала текущим модам, одевалась всегда очень просто, не ездила по балам и не только сама не искала женихов, подобно всем другим барышням, но упорно отказывала всем претендентам на свою руку, хотя между ними были многие, в особенности из числа офицеров кирасирского полка, представлявшие во всех отношениях блестящие партии. Она так и осталась навсегда старой девой, но и под старость лет сохранила свою красоту, свежий розовый цвет лица, округленность форм, веселый характер и светлый ум. По смерти родителей она жила с своим братом Антоном, служившим в гусарах, и также старым холостяком.

Вот это-то семейство было единственным в Гатчине, которое моя бабушка удостаивала иногда своими посещениями, вероятно, вследствие сходства понятий и взглядов на жизнь и людей. Старик Пфейфер всегда подшучивал над бабушкой.

— Вы еще ходите? — спросит он, бывало, ее, когда она во время прогулки зайдет к ним посидеть.

— Как видите, хожу,— ответит бабушка.

— Ну, значит, я еще могу даже танцевать,— продолжает шутить старик.

— Полно хвастаться,— возразит бабушка,— ведь вы гораздо старше меня.

— Никогда не был старше, Жозефина Осиповна, Бог с вами! Я не могу даже умереть раньше вас. Спросите хоть жену. Недавно как-то мне сделалось очень скверно, жена испугалась, а я ей и говорю: не бойся ничего, Жозефина Осиповна еще жива, значит, и я не умру теперь.

Иногда Пфейфер скажет бабушке:

— Устал я жить; пора бы и на покой нам с вами.

— Да кто же вам мешает? Ложитесь и умирайте,— сердито ответит бабушка.

— Не могу, Жозефина Осиповна. Как же на том свете я один буду без вас? Как ни тяжело, а надо здесь подождать вас.

Когда оба старика уже не могли выходить и видеться, они постоянно осведомлялись друг о друге и пересылались поклонами. Шутливое желание Пфейфера сбылось: бабушка моя умерла раньше его. Но ее смерть скрывали от него и продолжали передавать ему поклоны от бабушки.

Другой приятель бабушки был, странно сказать, один сумасшедший, по фамилии Рейнбот. Этот несчастный жил на пенсии у одного часового мастера Винтера, вместе с другим сумасшедшим, Эйлером. Эйлер был мрачный и сердитый меланхолик, а Рейнбот — тихий и безвредный философ, иногда рассуждавший даже здраво. Видно было, что он получил хорошее образование и жил в порядочном обществе, так как даже в сумасшествии любил одеваться чисто и по возможности щегольски и сохранял очень изящные манеры. Странные отношения связывали этих двух несчастных: они постоянно ссорились и жаловались друг на друга всем, кого встречали, а между тем один без другого скучали и беспокоились. Эйлер относился к Рейнботу гордо и даже презрительно, а между тем ни за что не садился обедать, если при этом не было Рейнбота. Точно так же Рейнбот жаловался всем, что Эйлер злой и глупый старик, который даже кусается, а между тем, предполагая, что Эйлер стеклянный и при падении может разбиться, постоянно ходил за ним, чтобы в случае падения поддержать.

Этот-то Рейнбот каждый четверг неизменно приходил к бабушке пить кофе с сладкими тортами, которые очень любил. Бабушка с ним разговаривала как бы с человеком в здравом уме. Если, бывало, Рейнбот заврется и скажет что-нибудь несообразное, бабушка совершенно спокойно остановит его, направит или переменит предмет разговора. Наконец, третья приятельница бабушки была простая нищая, салопница Марфа, побиравшаяся по миру, небольшого роста, толстенькая старушонка, с мешком за плечами и с клюкою в руке. Как Рейнбот являлся к бабушке по четвергам, так эта нищая обязательно являлась по воскресеньям, тотчас по окончании обедни. Для нее подавался хороший завтрак и варился кофе. Сложив котомку и сняв верхнее платье в кухне, Марфа отправлялась в комнату бабушки и просиживала у нее, за завтраком и кофе, часа по два и по три. О чем они там беседовали, я не знаю, так как никогда не интересовался этим. При уходе Марфа получала три копейки, никогда не больше, не меньше.

Бабушка была католичка, так же как и отец мой. В Гатчине существует лютеранская кирка, но католического костела нет. Поэтому для католиков устроена была небольшая капелла в частном доме, в которой служба совершалась раз в две недели ксендзом или патером, приезжавшим для этого из Царского Села. В мое время постоянно приезжал доминиканец, патер Сикорский, худощавый, небольшого роста человек, довольно веселый и остроумный. Он всегда приезжал в дилижансе в субботу, вечером, и на ночлег останавливался у нас. Я любил его приезды; мне нравилась его одежда, вся из белого кашемира, и его остроумная, пересыпанная шутками и анекдотами, беседа.

Раз вечером, во время ужина, речь зашла об отношениях между поляками и русскими. Патер Сикорский, между прочим, рассказал, обращаясь прямо ко мне, что в школах западных губерний мальчики, русские и поляки, постоянно дразнят друг друга. Русские будто бы говорят: «Эх, вы, поляки! Варшаву проспали!» А поляки на это отвечают: «А вы,

русские, только на сонных и умеете нападать».

Мое детское патриотическое самолюбие было сильно задето этим неуместным рассказом. Я вспыхнул и чуть не заплакал от обиды. Отвечать Сикорскому чем-нибудь я не мог, так как еще не знал истории. Заметив мое волнение, бабушка строго сказала ему, не стесняясь моим присутствием:

— Вы приезжаете сюда, чтобы поддерживать и проповедовать христианскую любовь, а не для того, чтобы разжигать вражду. За подобные разговоры надо мальчиков розгами сечь, а не повторять их глупые слова.

Сикорский был очень сконфужен таким результатом своего рассказа и оправдывался тем, что он рассказал это только ради шутки.

Сколько я мог заметить, и бабушка, и отец мой были люди верующие, но совершенно не фанатики, и тем более не паписты. По крайней мере, я много раз слышал, как они, не стесняясь, критиковали и осуждали все те ненормальные явления, которыми папизм удивляет мир. Зная хорошо взгляды и характер бабушки, я уверен, что если бы она дожила до объявления папской непогрешимости, то с досады отреклась бы от католической религии.

Захотелось моей бабушке однажды увидать императрицу Александру Феодоровну. Не говоря никому о своем намерении, она нарядилась щеголеватее обыкновенного, то есть вместо пеньковых подвязала шелковые сырцовые букли, воздвигла на голову свою гигантскую шляпу с страусовым пером, накинула на плечи черную бархатную накидку, обшитую кружевами, и, вооружившись зонтом, который в развернутом виде мог прикрыть почти четырех человек, отправилась гулять в дворцовый сад.

Идет она по одной из аллей и встречает какого-то военного высокого роста, без эполет, в белой фуражке, около ног которого бежит собака. Когда они сошлись, бабушка остановила незнакомца.

— Извините, что я вас задержу,— обратилась она к нему по-французски.— Вы здешнего полка или придворный?

— А вам зачем это знать?

— Если бы вы были придворный,— ответила бабушка,— то я попросила бы вас научить меня, как и где можно увидеть императрицу?

— Да, я состою немножко при дворе,— ответил, улыбнувшись, военный,— и могу вам в этом помочь. Но позвольте прежде узнать, кто вы такая?

— Я Жозефина Эвальд; мой сын служит здесь в институте.

— А-а! Я знаю вашего сына очень хорошо. Пойдемте ко дворцу. Разве вы никогда не видали императрицу?

— Нет, никогда не случалось встречать ее.

— А императора вы видели?

— Только издали, когда он проезжал мимо нашего дома.

— Вы не желали бы его посмотреть?

— Нет,— ответила старуха просто,— я на него сердита. Военный взглянул с удивлением на бабушку.

— Сердиты?— переспросил он.— За что же?

— А за то, что он помогал австрийцам усмирять венгерцев.

— Какое же вам до этого дело?

— Как же мне нет дела, когда я сама венгерка! — ответила с гордостью бабушка.

— Вот как! Очень жаль, что император не знал этого раньше; может быть, он тогда посоветовался бы с вами, прежде чем начать эту кампанию,— заметил насмешливо военный.

— Он ничего бы не потерял от этого,— ответила бабушка.— Есть вещи, которые мы, женщины, понимаем лучше мужчин.

— Что же вы скажете насчет венгерской кампании?

— Теперь уже поздно об этом говорить,— сказала бабушка, махнув рукой.

— Ну, все-таки… Как вы думаете об этой войне?

— Я думаю,— начала бабушка,— что государь сделал ужасную ошибку, помогая австрийцам. Чрез это он нажил себе и России сильных врагов в венгерцах и не нажил друга в Австрии. Мы хорошо знаем австрийцев: это не такой народ, чтобы чувствовать благодарность за сделанное добро.

— Может быть, вы и правы, сударыня,— ответил военный серьезно,— но в политических делах никто и не рассчитывает на такие чувства, как любовь или благодарность. Если император решил поступить так, а не иначе, то, вероятно, имел на это другие, очень важные причины.

— Может быть… но только… все-таки, это была ошибка с его стороны,— упорно настаивала бабушка.

В это время они подошли ко дворцу. Военный провел бабушку на двор левого дворцового крыла, пригласил ее войти на подъезд и подождать немного в первой комнате, обещая доставить ей случай повидать императрицу, а сам прошел далее. Чрез несколько минут к бабушке подошел камер-лакей и пригласил ее следовать за ним к императрице.

— Как к императрице?— удивленно и испуганно спросила бабушка.

— Точно так, сударыня. Ее величество ожидают вас; потрудитесь поторопиться.

— Ах, Боже мой! Что же это такое?— заволновалась старуха.— Этот военный обещал мне только показать императрицу; я не думала у нее быть! Я и одета-то не так! Что мне делать теперь?

— А вы не знаете этого генерала, с которым вы изволили придти?— спросил камер-лакей.

— Да разве это был генерал?

— Это был государь император, сударыня.

С бабушкой чуть не сделался обморок. Немалого труда стоило камер-лакею успокоить ее. Он помог ей снять верхнее платье и шляпу и затем повел во внутренние покои. Совершенно смущенная старуха следовала за ним как приговоренная к смерти. Подойдя к двери одной комнаты, камер-лакей предупредил бабушку, что именно тут, налево, она увидит императрицу. Бабушка перекрестилась и вошла за ним.

Императрица Александра Феодоровна сидела в кресле у камина, а недалеко от нее стоял государь и, улыбаясь, смотрел на смущенную бабушку. Она направилась прямо к нему и, сложив руки, как бы для молитвы, хотела опуститься на колено; но государь, угадав ее намерение, удержал за руку и подвел к императрице.

— Простите, ваше величество,— бормотала бабушка.

— Ничего, ничего,— смеясь, отвечал император,— хоть вы и сердиты на меня, но я очень рад с вами познакомиться. Вот императрица, которую вы желали видеть.

Императрица протянула старухе руку (которую та поцеловала) и пригласила сесть на ближайшее кресло.

— Теперь вы можете поболтать на свободе, а мне надо уйти,— сказал государь, направляясь к дверям.— До свидания!

Бабушка осталась с императрицей и одной придворной дамой, вошедшей вскоре после ухода императора. Государыня расспрашивала ее о нашей семейной жизни, о городских жителях, угостила бабушку чаем и продержала ее у себя более часу времени. Когда эта оригинальная аудиенция кончилась, бабушка обратилась к императрице с просьбою исходатайствовать у государя прощение за ее неосторожные и резкие выражения.

— Да государь и не сердится на вас,— успокаивала ее императрица.— Он очень весело рассказывал мне, как вы сделали ему выговор за венгерскую кампанию.

— Я имела счастье видеть государя только издали и всегда в экипаже, оттого и не узнала его сегодня,— оправдывалась бабушка.— Притом и глаза мои от старости уже плохо видят.

— Да ничего, будьте спокойны,— говорила императрица.— Государь любит подобные встречи инкогнито. Поезжайте спокойно домой и поцелуйте от меня ваших внучат. Может быть, еще увидимся когда-нибудь.

Так они и расстались. Тот же камер-лакей проводил бабушку до подъезда, где уже стояла приготовленная для нее придворная коляска, в которой она и приехала домой, к немалому удивлению всех встречавших ее.

Понятно, что рассказ бабушки о ее приключении взволновал всех нас, а в особенности отца. Скоро весть об этом разнеслась по всему маленькому городишку, и нас осаждали с визитами, желая услышать от самой бабушки о том, как она пила чай у императрицы. Но старуха не льстилась на эти любопытные заискивания и по-прежнему никого к себе не принимала, кроме семейства Пфейфера, сумасшедшего Рейнбота и нищей Марфы.

Вечером, в тот же день, к нам заехал комендант Люце, обедавший за царским столом, и передал, что во время обеда государь со смехом рассказывал всем присутствовавшим, как старуха Эвальд сделала ему строгий выговор за венгерскую кампанию и предостерегала насчет неблагодарности австрийцев. При этом Люце, со слов государя, передал очень подробно его разговор с бабушкой.

Через несколько дней после этого государь приехал осмотреть институт. Встретив моего отца, он тотчас же спросил его:

— А рассказывала тебе твоя старуха-мать, как она гостила у жены?

— Рассказывала, ваше величество. Я позволю себе благодарить ваше величество за несказанное внимание ваше и государыни императрицы,— ответил отец.

— Осталась ли она довольна моей хозяйкой? — спросил снова государь.

— Бесконечно благодарна, государь, за милости ее величества.

— Очень рад. Она у тебя умная старуха, только об австрийцах судит по-венгерски. Кланяйся ей от меня и береги ее.

С тех пор, приезжая в Гатчину и посещая институт, император при встречах с моим отцом всякий раз спрашивал о здоровье старой венгерки, как он называл бабушку, и приказывал передавать ей поклоны от себя и императрицы*.

Д. В. Григорович**

Литературные воспоминания

В кругу русских писателей вряд ли много найдется таких, которым в детстве привелось встретить столько неблагоприятных условий для литературного поприща, сколько было их у меня. Во всяком случае, сомневаюсь, чтобы кому-нибудь из них с таким трудом, как мне, досталась русская грамота. Мать моя хотя и говорила по-русски, но была природная южная француженка; отец был малороссиянин; я лишился его, когда мне было пять лет. Воспитанием моим почти исключительно занималась бабушка (со стороны матери), шестидесятилетняя старуха, но замечательно сохранившаяся, умная, начитанная, вольтерьянка в душе, насквозь пропитанная понятиями, господствовавшими во Франции в конце прошлого столетия. События, которых она была свидетельницей в Париже во время террора, как бы закалили ее характер, отличавшийся вообще твердостью и энергией. Матушка благоговела перед нею, но вместе с тем боялась ее; она обращалась с бабушкой не как тридцатилетняя вдова и хозяйка дома, а подобострастно, с покорностью девочки-подростка. Когда бабушка была не в духе, матушка ходила на цыпочках, бережно, без шума затворяла дверь; случалось, на бабушку нападет стих веселости — она затягивала дребезжащим голосом арию из «Dame blanche» или куплет из давно слышанного водевиля,— матушка тотчас же к ней подсаживалась и начинала подтягивать.

Концерты эти не были, однако ж, продолжительны: как та, так и другая не

* Воспоминания А. В. Эвальда // ИВ. 1895. № 8, с. 316—323.

** Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1899/1900) — русский писатель, член-корреспондент Петербургской АН.

любили сидеть сложа руки. В хорошую погоду бабушка в зеленом абажуре над глазами, с заступом в руке проводила часть дня в палисаднике: копала грядки, сажала и пересаживала цветы, обрезывала лишние ветки; в дурную погоду ее неизменно можно было застать сидящую на одном и том же кресле подле окна, с вязаньем и длинными спицами между пальцами. Матушка неустанно суетилась по хозяйству, но, главным образом, занималась лечением больных. Известность ее как искусной лекарки не ограничивалась нашей деревней: больные приходили и приезжали чуть ли не со всех концов уезда. Наплыв больных сопровождался обыкновенно негодующими возгласами матушки: «Где мне взять столько лекарств?.. У меня нет времени!..» — и т. д.; но мало-помалу голос смягчался, уступая воркотне, слышалось: «Ну, покажи, что у тебя?..» — и кончалось миролюбиво советами, накладыванием пластырей и примочек. Кончалось часто тем, что больному вместе с лекарствами отпускался картофель, мешочек ржи, разное старое тряпье. Уступчивость и мягкость характера матери были необходимым противовесом строптивости и крутости бабушки.

Сфера, в которой протекли первые годы моего детства, не имела ничего общего с бытом соседей-помещиков того времени. Те, которые составляли в уезде аристократию и были богаты, отличались кичливостью и виделись только между собою; у других дом был открыт для званых и незваных, пировали круглый год, благо крестьяне, помимо других повинностей, обязаны были поставлять к барскому столу яйца, кур, баранов, грибы, ягоды и пр.; содержали охоту, многочисленную дворню, шутов-приживальщиков обоего пола, сочиняли праздники, пикники, играли в карты — словом, жили в свое удовольствие, не заботясь большею частью о том, что имение заложено и перезаложено в опекунском совете. Один из таких домов врезался мне в память. Матушка не любила выезжать, но раз сочла необходимым отправиться с визитом и взяла меня с собою. Дом помещика поразил меня своею громадностью; он был деревянный, в два этажа, с просторными выбеленными комнатами без всяких украшений. Обедало в этот день множество всякого люда; играл оркестр из крепостных. Внимание мое исключительно было посвящено маленькому низенькому столику в одном из углов залы; за этим столом сидели шут и шутовка в желтых халатах и колпаках, с нашитыми на них из красного сукна изображениями зверей. Шутовку звали Агашкой. Матушка предупреждала меня, что Агашку считают очень опасной, и приказала мне не подходить к ней; несколько раз поджигала она господский дом, была зверским образом наказана, но помещика она забавляла, и он не хотел с ней расстаться. Весь остаток дня меня занимала только Агашка; она свободно расхаживала по всем комнатам, размахивая руками и что-то бормоча; стоило ей показаться в дверях, как я замирал от страха и сломя голову бросался к матери. Помещик этот, Д. С. К[ротков], известен был во всем околотке своею неукротимою строгостью. Когда он выезжал на улицу деревни в сопровождении

крепостного Грызлова, своего экзекутора, или, вернее, домашнего палача, ребятишки стремглав ныряли в подворотни, бабы падали ничком, у мужиков озноб пробегал по телу. Его боялись все домашние, начиная с жены. Побеждая в себе робость, намолившись и накрестившись в образной, жена решалась иногда просить мужа отпустить ее в Москву для свидания с родственниками.

— Хорошо,— соглашался иногда Д. С.— Эй, позвать ко мне Грызлова!

— Грызлов,— говорил Д. С.,— Марья Федоровна в Москву собирается; нужны деньги… Проезжая по деревням, я видел много там этой мелкоты, шушеры накопилось,— распорядись!..

Это значило, что Грызлову поручалось объехать деревни Д. С., забрать по усмотрению лишних детей и девок, продать их, а деньги доставить помещику. Это происходило в самый разгар крепостного права, когда еще не вышло указа, дозволявшего продавать крепостных людей не иначе как целыми семействами.

Рассказы эти и все, что приходилось тогда слышать о жизни помещиков, производили на меня сильное впечатление. В нашем доме тени не было ничего подобного. Крестьяне наши были отпущены на оброк еще при жизни отца, полагавшего, вероятно, что женщине, да еще иностранке, не управиться с барщинным положением. Гости бывали у нас очень редко, да и очень близких соседей было немного; чаще других наезжали две старушки и одна пожилая девица, да и то когда уже больше некуда было деваться. Им скучно было беседовать — да и о чем? — с бабушкой, плохо понимавшей русский язык; не более интересно было сидеть и с матушкой, слушавшей всегда рассеянно, занятой каким-нибудь хозяйственным предметом, от которого ее отрывали, или выслушивать ее рассказы о том, как хорошо действует ревень на новорожденных младенцев, или о том, как на днях Гризетка — любимая кошка матушки — принесла шестерых котят, и представьте: у одного из них на лбу белая звездочка, точно нарисованная! Накушавшись чаю и варенья, соседки торопливо уезжали, думая, вероятно, на обратном пути: «Чудачки же, право, эти француженки!»

Невесело было и мне, одинокому мальчугану, в такой обстановке.

Пяти лет бабушка посадила меня за книжку. Книжка эта была французская азбука, присланная из Парижа подругой детства матери; азбука украшалась раскрашенными картинками, на которые я набросился с такою жадностью, что по целым дням не расставался с книжкой и украдкой уносил ее к себе в постель.

Читать выучился я скоро; с чистописанием шло гораздо хуже: меня по целым неделям заставляли выводить палочки между строками; пока каждая палочка не шла параллельно одна другой, меня ни за что не допускали к кривым линиям из убеждения, что преждевременная рисовка последних портит руку. Французы, несмотря на живость своего темперамента, ужасные педанты и рутинеры во всем, что касается воспитания и образования детей; раз приняты такие-то правила в учебниках и руководствах, боже упаси их нарушать, хотя бы они

явно противоречили природным наклонностям ребенка. Рутина преследовала меня во всем, даже в пище. Я терпеть не мог молоко — меня заставляли его пить под предлогом, что чай сушит грудь, кофе не принято давать детям и, кроме того, надо всегда стараться подавлять первые порывы воли, которые сначала ничего больше как капризы, причуды, но при потачке могут развиться в неукротимое своеволие. Меня насильно заставляли есть сырую морковь, в уверенности, что она очищает кровь, и т. д. Когда я от чего-нибудь упорно отказывался и начинал плакать, меня немедленно ставили в угол и для большего назидания надевали на голову бумажный колпак с большими ушами. Все это, конечно, делалось с благими намерениями. Матушка моя была добрейшая женщина, но, как я уже заметил, она находилась вполне под влиянием бабушки, не смела ей противоречить даже в тех случаях, когда внутренне была другого мнения. Благие эти намерения приводили, однако ж, к тому, что они с первых детских лет развивали во мне раздражительность и неприязненное чувство к бабушке.

После того как я стал довольно бегло читать, бабушка заставила меня учить глаголы: Etre и Avoir (быть и иметь). Немало слез было пролито, прежде чем я достиг в этом упражнении того, чего требовала моя строгая наставница; когда требовалось спрягать подряд от слов Je suis (Я есмь) до конца глагола, дело шло еще изрядно, но когда бабушка, закрыв книжку, неожиданно заставляла спрягать в разбивку ту или другую часть глагола, я заминался, путался, становился часто совсем в тупик и начинал учащенно моргать глазами. Бабушка молча направляла указательный палец на угол; я начинал плакать. «Si c'est comme cela (Если так),— говорила бабушка,— если ты не перестанешь, ты простоишь в углу до обеда, и тебя не пустят гулять». Больше всего доставалось мне за таблицу умножения, на французском языке, конечно. Помню очень хорошо, как бабушка, потеряв, наконец, терпение, сказала при мне матушке, что она весьма сожалеет, но кажется ей, что она произвела на свет совершенного идиота.

В известные часы, обыкновенно по вечерам, когда матушка и бабушка усаживались друг против друга за работой, меня сажали между ними на табурет, и происходило чтение. Иногда читала матушка, но больше, для практики, заставляли меня. Из тогдашних помню только два сочинения: собрание повестей Беркена «Berquin l'ami des enfants» и швейцарского Робинсона. Припоминаю также, как по поводу Беркена бабушка любила повторять историю о том, что после того, когда Беркен опасно захворал и ждали его кончины, толпа молодых девушек, его воспитанниц, собралась под его окном; одна из них заиграла на арфе, другие запели хором одну из песен, сочиненных наставником; Беркен при этом залился слезами, и слезы эти спасли ему жизнь. История эта не казалась мне тогда вовсе сентиментальной. Швейцарский Робинсон не только пришелся мне больше по сердцу, но увлек меня совершенно. Он первый

раз пробудил мое детское воображение, одушевил мое любопытство, вынес за пределы родительского дома и деревни.

До восьми лет в моих руках не было ни одной русской книги; русскому языку выучился я от дворовых, крестьян и больше от старого отцовского камердинера Николая; он любил меня, как будто я десять раз был его родным сыном, как будто отец мой, перед памятью которого он благоговел, завещал ему утешать меня, любить и ласкать. О нем можно сказать то же, что Филарет говорил о русском народе: *в нем свету мало, но теплоты много*. По целым часам караулил он, когда меня пустят гулять, брал на руки, водил по полям и рощам, рассказывал разные приключения и сказки. Не помню, конечно, его рассказов, помню только его ласковое, сердечное обращение; за весь холод и одиночество моей детской жизни я отогревался, только когда был с Николаем. Когда решено было везти меня в Москву и наступила минута расставанья с Николаем, я как исступленный с криком бросился ему на шею, истерически рыдал, кричал и так крепко обхватил его руками, что пришлось силой меня оторвать. Кому пришла мысль везти меня в Москву и отдать в гимназию, не знаю; мысль, по всей вероятности, внушена была бабушкой,— ее советы были законом для матери*.

П. И. Мельников (Андрей Печерский)**

Бабушкины россказни

Бабушка Прасковья Петровна Печерская кончила жизнь далеко за сотню годов от роду. На старости лет хватила старушка греха на душу — молодилась. Бывало, бабушке все восьмой десяток в доходе. Лет двадцать пять доходил — так и не дошел. Бабушка Прасковья Петровна на самом-то деле была мне прапрабабушкой, да мы все ее бабушкой звали. И это старушке нравилось. Спросишь, бывало: «В котором году родились вы, бабушка?»

«А вот уж года-то, mon coeur (душа моя), и не упомню,— ответит.— Да ты

* *Григорович Д. В.* Литературные воспоминания. М., 1961, с. 23—28.

** Мельников Павел Иванович (псевдоним Андрей Печерский, 1818—1883) — русский писатель, автор известного романа «В лесах, на горах».

считай: покойница матушка принесла меня в самый тот день, как на Охте попа жгли. Привозил того попа в Петербург князь Дундук, а князь Дундук в ту пору был еще некрещеный, а тот поп был у него самый набольший: по-нашему архиерей, по-ихнему, по-калмыцки, чурлама. Он в Петербурге возьми да и помри, а по калмыцкому закону мертвого попа надо жечь. Ну и сожгли. Весь Петербург тогда на Охту высыпал: всякому лестно было поглядеть, как попов жгут. И батюшка с матушкой, дай Бог им царство небесное, ездили. Матушку-то в народе и помяли: как приехала домой, так меня и принесла... Так-то, Андрюша!.. Ты знал ли, голубчик, что я недоносок?» — «Бабушка! да ведь этому больше ста лет». «Полно-ка ты,— заворчит бабушка,— молод еще надо мной смеяться!.. Сто лет!.. Эк что сморозил!.. Перекрести лоб-от, опомнись... Семьдесят восемь либо семьдесять семь — это может статься, а ты уж гляди-ка что махнул!.. Сто годов!.. Прошу покорно!..» И пойдет, бывало, ворчать бабушка, но ненадолго: добрая была старушка и меня очень любила. С малолетства был я ее баловнем. Меня, бывало, так и звали: бабушкин внучек да бабушкин внучек. И она очень это любила.

Глуха под старость стала и видела плохо, но память сохранила редкую. И, как часто бывает с людьми преклонных лет, хорошо помнила только время молодости. Как начнет, бывало, свои россказни про времена елизаветинские да екатерининские — все до подробности расскажет, а французского погрому не помнила, хоть и вывезли ее из Москвы за пять часов до вступления Наполеона, и она, крестясь и глухо рыдая, всю ночь проглядела из подмосковной на страшное зарево славного пожара.

— Как же это вы забыли, бабушка, как Наполеон-от в Москву приходил? — спросишь, бывало, ее.

— Нет, милый Андрюша, не припомню. Не припомню, родной... И долго жила на Москве, а такого не помню. Да кто он такой был? По прозвищу из чужестранцев, должно быть?

— Француз, бабушка.

— Француз!.. Нет, моя радость, такого не помню. И хвастать не хочу. Много ведь французов-то тогда на Москве проживало... Да он кто таков? Танцовщик аль гувернер, может статься?

— Император, бабушка.

— Император?! Как так император?.. Какой?

— Император французов, бабушка.

— Перестань, Андрей!.. Грех над бабушкой смеяться. Господь счастье отнимет... Смотри-ка, что вздумал. Нашел у французов императора!.. А еще учишься!.. Нехорошо... Императоров, mon coeur, во всем свете только двое — наш да еще римский; салтан турецкий тоже в ранге императора состоит, только не совсем, для того, что некрещеный. А у французов, mon coeur, король, roi de France et de Navarre (Король Франции и Наварры). Да... Как нынешнего-то зовут? Louis seize все еще царствует, аль дофин воцарился?

— Эх, бабушка, чего хватилась! Да теперь уж лет пятьдесят, как Людовику головку срубили.

— Жалею, очень жалею. Бесподобный был король и к нам всегда был располо-

жен. Mon cousin, князь Свиблов, при нашем резиденте в Париже находился и рассказывал про Louis seize очень много хорошего. «Il ne parle jamais de notre impératrice,— говаривал mon cousin,— que dans les termes du plus profond respect et de la plus haute estime» (Он всегда говорил о нашей императрице в выражениях глубокого почтения и уважения). Потому и жалею его. Только ведь он был такой миролюбивый; с кем же это он воевал? С гишпанским, полагаю.

— Ни с кем, бабушка, не воевал.

— Il est tue (он убит) — ты сказал.

— Tue-mo tue. Да не на войне, а на эшафоте.

— Послушай, Андрей! Ты, должно быть, мартинист… Нехорошо, милый, очень нехорошо! Уж ты с Лопухиным не знаешься ли?.. Смотри, mon coeur, не опечаливай бабушку: мало ль что может случиться! Долго ль к Шешковскому в лапы попасть?.. А у него, mon pigeonneau (голубчик), еще милость Божия, как только посекут — это еще ничего, примочил арникой и вся недолга,— а не ровен час… хуже бывает… Нет, Андрюша, береги ты себя и бабушку не огорчи!.. И об чужестранных королях всегда говори с уважением… И какие ведь ты, в самом деле, несодеянные вещи говоришь: и король-от на эшафоте, и французский-то император в Москву приезжал… Стыдно, mon coeur, беспримерно как стыдно… Постой… постой, Андрюша! Вспомнила, вспомнила… Ты перепутал, радость моя!.. Точно, был на Москве император, только не французский, а римский! Жозефом звали. Видала его, голубчик, видала… На бале у главнокомандующего видела, в Нескучном — у графа Алексея Григорьича Орлова, в Кускове — у Шереметева на празднике… Как теперь на него гляжу: черты такие тонкие, нежные. Только он сохранял самое строгое incognito и завсегда в трактирах да на постоялых дворах приставал. А когда у государыни в Царском Селе находился, проживал в бане. Над баней-то государыня трактирную вывеску велела повесить. Он и поверил, да так и прожил все время в бане и тем свое incognito сохранил… Графом Фалькенштейном прозывался, а ты и прозвище-то ему какое-то несообразное придумал… Наполеон! Что такое Наполеон?.. Таких святых и у католиков нет, не то что у нас, правоверных… Собачья кличка какая-то!.. Нехорошо, мой дружок!.. Будь умник, mon bijou (мое сокровище), таких слов не говори, особенно при чужих людях… осудят… Нехорошо… Да…

Много испытала в своей жизни покойница-бабушка. До замужества жила в Петербурге, а выходила замуж не очень стара: лет четырнадцати. Была при дворе Елизаветы Петровны и Екатерины Второй, жила в Москве во время чумной заразы, в Казани перед пугачевским разгромом, в Нижнем, в Архангельске, в Ярославле, в Киеве и опять по нескольку раз в Москве и Петербурге. Много видела, много слышала, больше того испытала… Что греха таить — смолоду бабушка пошаливала… Да какая ж молодая, светская женщина в тот век не пошаливала?.. Время было такое… А вот что странно: каждая женщина, в стары ли годы, в нынешнем ли веку, ежели смолоду пошаливает, под старость непременно в ханжество пустится, молебнами да постами молодые

грешки поправить бы... За бабушкой не водилось этого.

Печать восемнадцатого века неизгладимо сохранилась на ней до самой кончины... Бывало, с грустью, со слезами на тусклых очах глядит на свою иссохшую, желтую руку, вспоминая то время, когда напудренная молодежь любовалась ее прекрасной, пухленькой, белоснежной ручкой... Лет с пятидесяти в зеркало перестала смотреться... Страшно стало постаревшей красавице взглянуть на себя. Но никогда нимало не ханжила. Напротив, от нее от первой узнал я про Вольтерову le sermon des cinquante (пятнадцатую проповедь), про Фоблаза, про la guerre des dieux (войну богов).

Впрочем, в последние годы жизни своей бабушка каждый день до обмороков замаливалась. Сотни по полторы, по две земных поклонов по вечерам на сон грядущий клала... Разыгрывалось тогда в лотерею головинское именье, бабушка взяла три билета, и ей очень хотелось выиграть Воротынец. Об этом-то она и молилась, да так усердно, что каждый раз, бывало, ее без чувств в постель уложат... Лотерея была разыграна, бабушке вынулись пустые, но она верить тому не хотела и по-прежнему молилась до обмороков о богатом Воротынце, об его садах, пристанях, картинных галереях и других богатствах диковинного имения. Много воды утекло с тех пор, как пришлось мне бросить горсть сырого желтого песку на бархатный гроб нежно любившей меня старушки... Я был очень еще молод, когда, бывало, сидя у изразцовой лежанки, где любила греть свои косточки покойница-бабушка, слушал рассказы ее про старые годы. Не мог тогда оценить их: мимо ушей они пролетали, другие тотчас забывались.

Но теперь, когда стихли порывы легкомысленной молодости и седина начинает в бороде пробиваться, добрая бабушка, с ее сказаньями, воскресает в памяти, и люди восемнадцатого века встают передо мной как образы какой-то знакомой, хоть и не прожитой жизни. Блеск протекшей эпохи ослепительно бьет в глаза... Все так величаво, так пышно, широко и обаятельно...

Но этот блеск — случайный, внешний. Поднимая заповедную пышную завесу, за которую от пытливых взоров грядущих поколений хоронится восемнадцатый век, видишь душевную пустоту, царствующую над ветреным поколением, что, прыгая, танцуя, шутя и смеясь, с триолетом буриме на устах, врасплох застигнутое смертью, нежданно для него и негаданно вдруг очутилось в сырых и темных могилах... Когда оживают в памяти рассказы милой бабушки и восстают перед душевными очами образы давно почивших дедов, слышатся: и наглый крик временщиков, и таинственный лепет юродивых, и подобострастные речи блюдолизов, и голос вечно живущей правды из-под дурацких колпаков. Слышатся амурный шепот петиметров и метресс, громкие, сочные лобзанья дворовых красавиц, рев медведей, глухие удары арапника, вой собак и сладостные созвучья итальянской музыки. Чудятся баснословные праздники, ледяной дворец Анны Ивановны, маскарад на московских улицах, екатерининский карусель, потемкинский бал, плаванье по Волге с переводом Мармонтеля, блестящая поездка в Тавриду...

Все ликовало в тот век!.. И как было не ликовать? То был век богатырей, век, когда юная Россия поборола двух королей-полководцев, две первостепенные державы низвела на степень второклассных, а третью — поделила с соседями... Полтава, Берлин и Чесма, Миних в Турции, Суворов на Альпах, Орлов в Архипелаге и гениальный, неподражаемый, великолепный князь Тавриды, создающий новую Россию из ничего!.. Что за величавые образы, что за блеск, что за слава!

Но с этим блеском, с этой славой об руку идут высокомерное полуобразование, раболепство, слитое воедино с наглым чванством, корыстные заботы о кармане, наглая неправда и грубое презрение к простонародью...

Но мир вам, деды! Спите покойно до трубы архангельской, спите до дня оправдания!.. Не посмеемся над вашими могилами, как смеялись вы над своими бородатыми дедами!..*

Л. П. Шелгунова**

Воспоминания

Из Москвы я перенеслась на Васильевский остров в Петербург, в квартиру с бабушкой и прабабушкой Шелгуновой, которая вскоре и умерла. Прабабушка Ирина Дмитриевна Шелгунова была старуха довольно высокая, с морщинистым лицом. Она осталась в моей памяти в платье коричневого цвета. Слово «коричневый» никогда не употреблялось ни прабабушкой, ни бабушкой. Они определяли цвета всегда какой-нибудь вещью и говорили: кофейный, шоколадный, оливковый, серизовый, бирюзовый и т. п. На коричневое, или кофейное, платье с гладким лифом надевалась косынка шелковая или тюлевая, а на голову чепец с оборками и лентами. Чепцы прабабушки были значительно скромнее чепцов бабушки с густыми кружевными оборками вокруг лица. Чепцы эти шились дома, и я с наслаждением смотрела, как на бутылку, обшитую холстом, нашивались кружева и рюши, и затем бутылка эта мылась в умывальной чашке в густо набитом мыле. Мои

* *Мельников П. И.* (Андрей Печерский). Бабушкины россказни. М., 1989, с. 210—215.

** Шелгунова Людмила Петровна, урожд. Михаэлис (1832—1901), деятельница русского движения в 1860-х гг. Жена писателя Н. В. Шелгунова.

голые ручонки всегда участвовали в этом мытье. Вымытые на бутылке рюшь и кружева снимались и в полувысохшем виде гладились. Бесконечное количество рюша целой горой клалось на стол, и по вечерам бабушка делала из этого рюша оборки, называвшиеся фрезами, и такими-то фрезами обшивались ворота у платьев. Прабабушка ездила за пенсией на ту сторону сама. Она надевала свое кофейное платье, темный салоп с небольшим капюшончиком и черный стеганый капор, из-под которого кругом лица виднелась белая оборочка. Я не помню, чтобы она брала свой шелковый, табачного цвета, ридикюль, обыкновенно висевший на стуле у окна; но, одевшись, она выходила из комнаты, держа в руке сложенный носовой платок и в нем какую-то бумагу.

Возвращаясь однажды из казначейства, прабабушка увидала, что Исаакиевский мост, стоявший прежде между Исаакиевским собором и первым кадетским корпусом, хотят разводить. Остаться на той стороне, где, сколько мне помнится, даже не было близких знакомых, показалось прабабушке ужасным. Она почти бегом побежала по мосту, но половинки моста уже начали расходиться, и когда прабабушка прибежала на середину, то посреди моста было аршинное расстояние. Удержать старуху старались только криком. Не слушая никого, она прыгнула и, очутившись по другую сторону моста, то есть на своем родном Васильевском острове, остановилась, перекрестилась и пошла дальше. Все, кажется, прошло благополучно, но не совсем. В этот вечер никто за круглым столом не сидел, в комнату прабабушки носили что-то горячее, нас точно забыли, потому что побежали за священником. В такие минуты забытые дети обыкновенно чувствуют, что в доме что-то неладно; и мы трое — у меня было два старших брата,— прижавшись, сидели где-то в углу. Потом нас повели в комнату прабабушки, и там священник что-то читал, и мы крестились. Утром прабабушка лежала на столе.

Образ прабабушки соединяется в моем воспоминании с образами двух-трех кадет, которых я страшно боялась. Слова: «Позови Колю Шелгунова пить чай»,— приводили меня в трепет. Я не помню, вследствие чего кадет Шелгунов возбуждал во мне такой страх, но знаю только, что я его очень боялась.

Другой кадет морского училища, Кадьян, остался у меня в памяти, потому что он съел сразу сто домашних сухарей, только что испеченных. Сухари были поданы на стол, и когда бабушка, вышедшая за чем-то, вернулась, то на дне сухарницы она увидала только один сухарь и стала спрашивать, куда девались сухари? Бедный Кадьян страшно покраснел и молчал. Сцену эту прекратила моя мать, вероятно, догадавшаяся, в чем дело, и сказала: «Их съели, вот и все».

Похороны прабабушки я тоже помню, и в особенности помню, что на них из Смольного монастыря привезли мою тетку Анну Егоровну. Я глаз не спускала с бледной смолянки и с классной дамы, которая ни на шаг не отходила от нее. Капор и салоп смолянки и тогда представлялись мне каким-то уродством.

Смерть прабабушки Шелгуновой оставила в квартире одну лишнюю комнату, и в эту комнату переехала старинная знакомая бабушки Лизавета Ивановна

Шахова, фрейлина в отставке. Вставала эта фрейлина очень поздно, и в то время как горничная чесала ее перед большим зеркалом, я садилась рядом с ней на стул и, болтая ногами, жадно слушала рассказы размалеванной руины. Волос на голове у нее было уже очень мало, но, несмотря на то что Шахова была девица, она носила чепец из кружев и лент. Многочисленные же морщины свои она замазывала белилами, на которых выводила брови, и затем на щеки накладывала два розовых пятна, точь-в-точь как было у моей куклы. Рассказывала она мне о своей жизни во дворце, и дворец мне представлялся таинственным замком со страшным государем. При котором из государей Шахова была фрейлиной, я не знаю, потому что, рассказывая, она всегда говорила просто о государе. Главную роль играли большие коридоры, куда за ней выбегал государь, и «ах! ах! ах!» вздыхала она, закатывая глаза и затем томно потупляя их. Бабушка с презрением говорила: «Нашла, кому хвастаться! пятнадцатилетней девочке...»

Бабушка и муж ее, бригадир, настолько боялись дворцовой жизни, что не дали разрешения матери моей, получившей в Смольном первый шифр, поступить в фрейлины как любимице императрицы Марии Феодоровны.

После смерти прабабушки дочь ее, Аграфена Ивановна, мать нашей матери, взялась за воспитание моих братьев и меня. Аграфена Ивановна Афанасьева была вдовою полковника, командира артиллерийской бригады, которого она никогда иначе не называла как бригадиром. Бабушка была очень хороша собою и очень представительна. Она с утра одевалась в корсет и одевалась всегда очень мило. Строгое и нравственное воспитание было ее коньком. Старшую дочь свою она высекла за то, что та, будучи десяти лет, при нескольких офицерах громко выразила за обедом свое мнение о двух мухах. После этого происшествия из дому были изгнаны все животные мужского рода. Оставшись вдовою, бабушка получила казенное место в Александровском корпусе, где и воспитывался ее племянник Шелгунов. Первые мои уроки чтения у бабушки были ужасны. Несмотря на все мое прилежание и старание, грамота мне не давалась. Я не понимала, чего от меня хотели. Бабушка осталась мною очень недовольна и, связав розгу, положила ее на зеленое сукно ломберного стола, за которым я училась. «Не будешь понимать, так я высеку»,— сказала она.

После такого обещания я совсем поглупела и все думала о несправедливости бабушки, которая не ценит моего старания. Во время урока с розгой в комнату вошла моя мать.

Мать моя была очень умная женщина. В Перми знакомство с сосланными туда Герценом и Оболенским заставило ее много заниматься и читать, и она была действительно передовой женщиной, до семидесяти лет сохранившей свежесть взглядов и сочувствие всему молодому. Как-то Тургенев говорил мне, что он не понимает молодости, но уверен, что она права, так и мать моя не всегда понимала молодежь, но всегда оправдывала ее. Увидав розгу, лежавшую передо мною, мать моя тотчас же спросила, что это значит. Я слушала начавшийся между матерью и дочерью педагогический спор и поняла только последнюю фразу своей

матери: «Если не понимает, значит, учить стали слишком рано».

Я была отпущена бегать и, кроме того, слышала, как мать просила бабушку не сечь ее детей.

Должно быть, это говорилось только обо мне, потому что вскоре произошло у нас такое событие. Второй брат мой, мальчик лет восьми, все вертелся около бабушкиного комода и несколько раз взлезал на него, причем ложился животом на комод, и мне снизу видны были только его поднятые вверх ноги в белых чулках и башмаках. В этот день бабушка ждала к обеду гостей, и на комоде стояло большое блюдо с пирожным.

Вскоре мы узнали, зачем Саша лазил на комод. Предполагая, что если он съест одно целое пирожное, то преступление его сейчас же будет открыто, он распорядился гораздо благоразумнее и от каждого пирожного отгрыз по кусочку. Следствие было произведено; бабушка высказала приговор: высечь,— и бедного шалуна повели на расправу. Посреди комнаты была поставлена маленькая скамеечка, и на нее положили брата, спустив штанишки. Я в ужасе прижалась к стене и, по приказанию бабушки, смотрела на казнь преступника. Бабушка уже взяла розгу из рук крепостной девушки Домны, как вдруг явилась избавительница в лице отвратительной рыжей собачонки Бижутки. Увидав, что хозяйка ее занесла руку с розгами над мальчиком, который всегда с нею играл и ласкал ее, Бижутка с быстротой молнии прыгнула на преступника и, растянувшись на нем, с визгом приняла удар розгами. Бабушка своих детей не любила так, как она любила Бижутку. Руки у нее опустились. Она начала гнать собаку, но собака на нее огрызалась. Это страшно огорчило бабушку. В конце концов, собака таки отстояла Сашу, и экзекуция не совершилась. Это было мое последнее знакомство с розгами. С тех пор у нас в доме о розгах не говорили. Но бабушка до конца дней своих осталась верна своей системе воспитания и, приехав через много лет в Петербург и узнав, что я написала повесть, она вскричала: «Это в шестнадцать-то лет! Высечь ее надо, больше ничего!»

Должно быть, это на меня подействовало. Я повесть сожгла и бросила писать лет на пятнадцать — двадцать. Бабушка всего лучше сохранилась в моей памяти с своими рассказами в зимние вечера. Вечером, после чая, с круглого стола убиралась скатерть, и на диван с выпуклой спинкой красного дерева и с твердым сиденьем, обитым жесткой, колючей волосяной материей черного цвета, садилась бабушка, полная, свежая, румяная, в круглых очках с толстой оправой, и работала что-нибудь на руках — днем же она всегда вышивала в пяльцах. Перед нею ставилась сальная свеча в медном подсвечнике, а поодаль — другая сальная свеча в таком же подсвечнике и между свечами жестяной выкрашенный лоточек со щипцами, которыми снимали нагар со свечей. В гостиной же у нас стояли восковые свечи в серебряных подсвечниках. Там, впрочем, на преддиванном столе стояла даже лампа, высокая, как каланча. По одну сторону бабушки сидела всегда ее крепостная девка Домна, рябая и круглолицая. Волосы у нее гладко заплетались в две косы и завязывались кругом головы. Домну я всегда помню в голубом полоса-

том тиковом платье и с короткими рукавами в виде буф. Она была рукодельницей и сидела всегда за вышиваньем. По другую сторону сидела ходившая за нами, детьми, девушка Оленька, которая до смерти своей прожила в нашей семье. Оленька занималась починкою наших костюмов. Тут же сидела кухарка, тоже за работой, но личность кухарки совсем стерлась из моей памяти. Затем сидели мы трое. Себя я помню всегда в ситцевом платье с коротенькими рукавчиками в виде буф, с аспидной доской. На доске рисовался обыкновенно дом и труба, из которой идет дым. Дым делался пальцем, и с каждым новым рисунком он увеличивался, наконец, рисунок совершенно исчезал, и вся доска покрывалась сплошными белыми штрихами грифелем. На штрихи эти плевалось, и затем губкой, тряпкой, а иногда и пальцами выводились фантастические узоры, рельефно выделяющиеся по мере высыхания доски. Эти штуки можно было безнаказанно производить только тогда, когда бабушка с жаром рассказывала какой-нибудь эпизод из прошлого; но лишь только рассказ прекращался, то она окидывала стол глазами, смотря поверх очков, и меня тотчас же выводили из-за стола со словами «пачкунья!» и мыли. Для того чтобы пройти в другую комнату, со стола бралась свечка, так как все остальные комнаты стояли неосвещенными. Вымытая пачкунья возвращалась на свое место и снова принималась рисовать дом с трубой.

Гости принимались тут же, но кухарка при появлении гостей уходила, все же другие оставались на местах. В один из таких вечеров к нам пришел моряк Огильви, сделавший кругосветное плавание. Он целый вечер рассказывал о виденных им чудесах и, между прочим, о том, что в Рио-де-Жанейро флотских офицеров принимал бразильский император дон Педро, страдавший слоновою болезнью. Он рассказывал, что колени у него не сгибались, и, приняв их, он сел и, как деревянная кукла, вытянул ноги вперед. Далее мы уже ничего не слушали, а поочередно вышли в другую комнату, чтобы, раскачавшись, сесть и вытянуть ноги, как дон Педро.

Любимыми темами для рассказов бабушки были рассказы о проказах ее брата Васеньки, отца Николая Васильевича Шелгунова. Брат этот оставил по себе в семье целые легенды. Он был, как говорили, очень умен, написал какую-то книгу и сделал сам скрипку. Когда у него родился сын Николай, наш будущий известный писатель, он был так доволен, что пригласил оркестр музыкантов; те грянули туш и так перепугали родильницу, что та чуть было не умерла. Эти рассказы, конечно, не интересовали нас так, как представлявшаяся нам картина братца Васеньки, который купил себе гадкую, шершавую лошадь, велел протопить баню, вымыл лошадь в бане и сделал из нее прекрасного, блестящего коня, которого выучил ходить по лестнице и постоянно приводил к себе в комнату. У братца Васеньки была широкая натура, и после получки денег он тотчас же нанимал оркестр и сам им дирижировал.

Два других брата бабушки были моряками и уехали в Америку, где их кто-то видел много лет спустя. Как теперь зачастую приходится слышать фразу: «Вот когда я выиграю двести тысяч,

то сделаю то-то...» — так у нас в семье говорилось: «Вот когда из Америки получится наследство, и т. д.» И бабушка нередко, сидя на председательском месте, за круглым столом, вслух мечтала об американских миллионах.

Бабушка рассказывала очень много о наводнении, бывшем в 1824 году, и рассказывала с необыкновенным жаром. В эти вечера мне представлялось, что вдоль нашей Одиннадцатой линии бежит поток, по нему едут лодки, и братец Васенька спасает какого-то священника из окна, что было в действительности. До сих пор это наводнение представляется мне с такою ясностью, точно я сама его видела.

После смерти прабабушки ее рассказы о прошлом тоже стали появляться на сцену. Говорилось много об Отечественной войне, но, к сожалению, я совершенно забыла все подробности, вероятно, потому, что у меня в характере ничего не было воинственного. Но зато рассказы об императоре Павле заставляли мое детское воображение тотчас же переноситься в описываемую обстановку, и, играя в куклы, я заставляла их встречаться с императором Павлом, вылезать из экипажа и, несмотря ни на какую грязь, становиться на колени. «Как же, бабушка, платье-то,— любопытствовала я несколько дней спустя после рассказа,— ведь грязью платье выпачкается?»

Бабушка объяснила, что нарядные дамы могли становиться на колени на подножку кареты, то есть попросту приседать на подножку.

Тогда, да и во время моего детства, кареты были высокие, пузатые и из дверец отбрасывалась подножка, которая развертывалась, как лента, и образовывала ступени три-четыре*.

Л. Н. Толстой**

Мыльные пузыри

Самые ранние воспоминания мои о бабушке, до нашей поездки в Москву и жизни там, сводятся к трем сильным, связанным с нею впечатлениям. Первое — это то, как бабушка умывалась и каким-то особенным мылом пускала на руках удивительные пузыри, которые, мне казалось, только она одна

* *Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л.* Воспоминания. М., 1967. Т. 2, с. 8—15.

** Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — граф, великий русский писатель.

могла делать. Нас нарочно приводили к ней, вероятно, наше удивление и восхищение перед ее мыльными пузырями забавляло ее, чтобы видеть, как она умывалась. Помню: белая кофточка, юбка, белые старческие руки и огромные, поднимающиеся на них пузыри, и ее довольное, улыбающееся белое лицо. Второе воспоминание — это было то, как ее без лошади на руках вывезли камердинеры отца в желтом кабриолете с рессорами, в котором мы ездили кататься с Федором Ивановичем, в мелкий Заказ для сбора орехов, которых в этом году было особенно много. Помню чащу частого и густого орешника, вглубь которого, раздвигая и ломая ветки, Петруша и Матюша ввозили желтый кабриолет с бабушкой и как нагибали ей ветки с гроздями спелых, иногда высыпавшихся орехов, и как бабушка сама рвала их и клала в мешок, и как мы, где сами гнули ветки, где Федор Иванович удивлял нас своей силой, нагибая нам толстые орешины, а мы обирали со всех сторон и все-таки видели, что еще оставались не замеченные нами орехи, когда Федор Иванович пускал их и кусты, медленно цепляясь, расправлялись. Помню, как жарко было на полянках, как приятно прохладно в тени, как дышалось терпким запахом орехового листа, как щелкали со всех сторон разгрызаемые девушками, которые были с нами, орехи и как мы, не переставая, жевали свежие, полные, белые ядра. Мы собирали в карманы и подолы и несли в кабриолет, и бабушка принимала и хвалила нас. Как мы пришли домой, что было после, я ничего не помню, помню только, что бабушка, орешник, терпкий запах орехового листа, камердинеры, желтый кабриолет, солнце — соединились в одно радостное впечатление. Мне казалось, что, как мыльные пузыри могли быть только у бабушки, так и лес, и орехи, и солнце, и тень могли быть только при бабушке в желтом кабриолете, которую везут Петруша и Матюша.

Самое же сильное, связанное с бабушкой воспоминание — это ночь, проведенная в спальне бабушки, и Лев Степаныч. Лев Степаныч был слепой сказочник (он был уже стариком, когда я зазнал его), остаток старинного барства, барства деда.

Он был куплен только для того, чтобы рассказывать сказки, которые он, вследствие свойственной слепым необыкновенной памяти, мог слово в слово рассказывать после того, как их раза два прочитывали ему.

Он жил где-то в доме, и целый день его не было видно. Но по вечерам он приходил наверх, в спальню бабушки (спальня эта была в низенькой комнатке, в которую входить надо было по двум ступеням), и садился на низенький подоконник, куда ему приносили ужин с господского стола. Тут он дожидался бабушку, которая без стыда могла делать свой ночной туалет при слепом человеке. В тот день, когда был мой черед ночевать у бабушки, Лев Степанович с своими белыми глазами, в синем длинном сюртуке с буфами на плечах, сидел уже на подоконнике и ужинал. Не помню, как раздевалась бабушка, в этой комнате или в другой, и как меня уложили в постель, помню только ту минуту, когда свечу потушили, осталась одна лампадка перед золочеными иконами, бабушка, та самая удивительная бабушка, которая пускала необычайные

мыльные пузыри, вся белая, в белом и покрытая белым, в своем белом чепце, высоко лежала на подушках, и с подоконника послышался ровный, спокойный голос Льва Степаныча: «Продолжать прикажете?» — «Да, продолжайте». «Любезная сестрица, сказала она,— заговорил Лев Степанович своим тихим, ровным, старческим голосом,— расскажите нам одну из тех прелюбопытнейших сказок, которые вы так хорошо умеете рассказывать». «Охотно,— отвечала Шехерезада,— рассказала бы я замечательную историю принца Камаральзамана, если повелитель наш выразит на то свое согласие». Получив согласие султана, Шехерезада начала так: «У одного владетельного царя был единственный сын...»

И, очевидно, слово в слово по книге начал Лев Степаныч говорить историю Камаральзамана. Я не слушал, не понимал того, что он говорил, настолько я был поглощен таинственным видом бабушки, ее колеблющейся тенью на стене и видом старика с белыми глазами, которого я не видал теперь, но которого помнил неподвижно сидевшего на подоконнике и медленным голосом говорившего какие-то странные, мне казавшиеся торжественными слова, одиноко звучавшие среди полутемноты комнатки, освещенной дрожащим светом лампады.

Должно быть, я тотчас же заснул, потому что дальше ничего не помню, и только утром опять удивлялся и восхищался мыльными пузырями, которые, умываясь, делала на своих руках бабушка*.

*С. Ю. Витте***

Избранные воспоминания

Первоначальное воспитание и образование в детстве мы все, три мальчика, получили от нашей бабушки — Елены Павловны Фадеевой, урожденной Долгорукой. Елена Павловна была совершенно из ряда вон выходящая женщина по тому времени в смысле своего образования; она очень любила природу и весьма усердно занималась ботаникой. Будучи на Кавказе, она составила громадную коллекцию кавказской флоры с описанием всех растений и науч-

* *Толстой Л. Н.* Воспоминания // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. В 12 т. М., 1987. Т. 12, с. 448—450.

** Витте Сергей Юльевич (1849—1915) — граф, русский государственный деятель.

ным их определением. Вся эта коллекция и весь труд Елены Павловны были подарены наследниками ее в Новороссийский университет. Бабушка научила нас читать, писать и внедрила в нас основы религиозности и догматы нашей православной церкви. Я не помню ее иначе, как сидящей в кресле вследствие полученного ею паралича. Бабушка умерла, когда мне было лет 10—12. Мой дедушка Фадеев находился под ее нравственным обаянием, так что главою семейства была всегда Фадеева-Долгорукая. Дедушка женился на ней, будучи молодым чиновником; где он с нею познакомился — я не знаю, но знаю, что родители моей бабушки жили в Пензенской губернии; они были дворяне Пензенской губернии.

Когда они поженились, то отец бабушки — Павел Васильевич Долгорукий — благословил их древним крестом, который, по семейным преданиям, принадлежал Михаилу Черниговскому. Из истории известно, что Михаил Черниговский погиб, когда приехал к татарскому хану, который подходил с своею ордой к центру России — Москве. В орде было предложено Михаилу Черниговскому поклониться их идолам, от чего этот последний отказался, был там же казнен, вследствие чего и был провозглашен святым. По преданиям, идя на смерть, он отдал находившийся у него крест боярам, приказав им передать этот крест его детям. Таким образом, крест этот постепенно переходил от отца к сыну в поколениях, идущих от Михаила Черниговского, т. е. по старшей линии Долгоруких, и с окончанием этой линии Еленой Павловной перешел к ее сыну, генералу Фадееву; так как генерал Фадеев не был женат, то крест от него перешел к моей матери, а от матери к моей тетке Фадеевой. В последнюю бытность мою в Одессе, два года тому назад, тетка вручила этот крест мне, так как она уже стала стара. Крест этот находился у меня в доме; я его показывал здесь двум знатокам, с одной стороны, академику Кондакову, а с другой — директору Публичной библиотеки Кобеко. Оба они, признавая, что этот крест самого древнейшего происхождения и содержит в себе св. мощи, сомневаются в правильности сохранившегося в семействе князей Долгоруких предания относительно того, что этот крест был на Михаиле Черниговском до его казни, но, с другой стороны, они не решаются безусловно утверждать противное. <...>

Когда мы были на вакациях в Тифлисе, то в этот год (насколько я помню, это было в 1867 г.), в конце лета, переезжая из окрестностей Тифлиса (из Манглиса, местопребывания Эриванского полка) в Тифлис, умер мой старик дед Андрей Михайлович Фадеев; ему было тогда за 70 лет. На меня смерть его произвела большое впечатление, потому что я был любимцем моего деда и сам его безумно любил. Несколько лет до этого на моих глазах умерла моя бабушка Фадеева, урожденная княжна Долгорукая, также в очень преклонных летах. Последние годы она была в параличе, так что, когда она учила меня грамоте, ее приносили в кресле, так как она сама не могла двигаться, и я, чтобы учиться читать и писать, становился около нее (на коленях). Таким образом учила она меня и моих братьев*.

* *Витте С. Ю.* Избранные воспоминания. М., 1991, с. 16, 41.

Л. Ф. Достоевская*

Моя бабушка Мария-Анна

Мой дед по материнской линии, Григорий Иванович Сниткин, был по происхождению украинцем. Предки его принадлежали к семье казаков, живших на берегах Днепра в окрестностях Кременчуга. Фамилия их была Снитко. Когда Украина была присоединена к России, они обосновались в Петербурге и, чтобы доказать верность русской империи, изменили украинскую фамилию Снитко на русскую Сниткин. Они сделали это от чистого сердца, а не из низких побуждений и заискивания; для предков моей матери Украина навсегда осталась Малороссией, младшей сестрой Великой Руси, восхищавшейся ею до глубины души. И после переселения в Петербург мои предки остались верны своим украинским традициям. Тогда Украина находилась под влиянием католических священников, имевших славу лучших воспитателей молодых людей. По этой причине мой прадед Иван Сниткин, хотя был православным, отдал своего сына Григория в школу иезуитов, только что открытую в Петербурге, впоследствии, однако, закрытую по приказу русского правительства. Мой дед получил там отличное воспитание, какое всегда дают ксендзы, но на протяжении всей жизни ничего иезуитского в его поведении не было. Он был настоящим славянином: слабым, робким, добропорядочным, сентиментальным и романтичным. В молодости он пережил большую страстную любовь к знаменитой Асенковой, единственной исполнительнице ролей в классических трагедиях в России. Мой дед проводил все вечера в театре и знал наизусть ее монологи. Тогда дирекция императорских театров разрешала поклонникам актеров приветствовать их на сцене. Юношеская робкая и почтительная влюбленность моего деда очень нравилась Асенковой, и она выказывала ему свое благоволение разными способами. Так, она доверяла моему деду свою шаль и цветы, когда шла на сцену читать прекрасные стихи Расина или Корнеля; на его руку она опиралась, возвращаясь, дрожащая и обессиленная, в ложу, в то время как охваченные восторгом зрители бурно аплодировали обожаемой актрисе. Другие поклонники Асенковой ревновали моего деда к ней и требовали своей очереди на право нести ее шаль и сопровождать ее в ложу. «Нет! — сказала Асенкова ревнивцам.— Нет, это право принадлежит Григорию Ивановичу. Я так хорошо себя чувствую, опираясь на его руку!» Бедная Асенкова была очень хрупкой, очень болезненной; она

* Достоевская Любовь Федоровна (1869—1926) — дочь писателя Ф. М. Достоевского, автор воспоминаний об отце.

страдала чахоткой и умерла молодой. Отчаяние моего деда было необычайным; в течение многих лет у него не хватало мужества пойти в театр, который он так любил. Он никогда не забывал великую актрису и часто молился на ее могиле. Моя мать рассказывает, что однажды, когда она была еще совсем маленькая, ее отец взял с собой на кладбище ее, брата и старшую сестру, заставил их встать на колени перед надгробием Асенковой и сказал им: «Дети, молите Бога об упокоении души величайшей актрисы нашего столетия!»

Я была уверена, что эта страсть моего деда известна только нашей семье. Поэтому я была очень удивлена, когда нашла в одном историческом журнале упоминание об этом в статье старого театрала. Он утверждал, что страсть моего деда была не любовью молодого мужчины к красивой женщине, а восхищением талантом великой актрисы. По-видимому, подобная страсть — редкое явление в России, если она так надолго запомнилась старому хроникеру. Он приводит и подробность, мне не известную: через некоторое время после смерти Асенковой в ролях трагического репертуара предстала перед публикой одна из ее сестер. На ее дебют пришел и мой дед, не посещавший театр после смерти своего божества. Он внимательно слушал юную дебютантку, но ее игра ему не понравилась, и он снова исчез.

Мой дед был одним из тех людей, которые рано старятся. К тридцати пяти годам он потерял все свои волосы и большую часть зубов. Его лицо было изборождено морщинами, и он выглядел, как старик. Но в этом возрасте он женился при странных обстоятельствах.

Моя бабушка с материнской стороны, Мария-Анна Мильтопеус, была шведкой из Финляндии. Она утверждала, что ее предками были англичане, вынужденные покинуть в XVII веке свою страну из-за религиозных волнений. Они поселились в Швеции, женились на шведках и потом переселились в Финляндию, где приобрели поместье. Английская их фамилия была, должно быть, Мильтон или Мильтоп, так как окончание «ус» шведское. В Швеции был обычай добавлять к мужским именам людей науки — пасторов, писателей, ученых, врачей, профессоров — это окончание. Я не знаю, какая профессия была у моего прадеда Мильтопеуса; заслуги его перед соотечественниками столь велики, что они похоронили его в кафедральном соборе Або, финском Вестминстерском аббатстве, и над его могилой воздвигли мраморный памятник.

Моя бабушка очень рано потеряла своих родителей и воспитывалась у теток, не сделавших ее молодость счастливой. В молодости Мария-Анна была очень хороша, тип красоты ее был истинно норманнский. Высокая, стройная, с классически правильными чертами лица, с великолепным цветом лица, голубыми глазами, роскошными золотистыми волосами, она вызывала всеобщее восхищение. У Марии-Анны был чудный голос, и подруги называли ее «второй Христиной Нильсон». Это восхищение вскружило бабушке голову, и она решила стать певицей. Она отправилась в Петербург, где ее братья слу-

жили офицерами в гвардейском полку его величества, и сообщила им о своем плане. «Ты сошла с ума,— сказали ее напуганные братья.— Ты будешь виновата, если нас выгонят из полка! Товарищи не позволят нам остаться, если ты станешь актрисой». В России всегда придерживались довольно строгих правил в этом отношении; офицер должен был подать в отставку, если хотел жениться на актрисе. Вероятно, в те времена, когда моя бабушка была молода, русские офицеры не могли также иметь родственников на сцене. Мария-Анна должна была пожертвовать своим актерским честолюбием ради военной карьеры братьев. Она сделала это тем охотнее, что вскоре после прибытия в Петербург влюбилась в одного из их товарищей, молодого шведского офицера. Любящие обменялись клятвой в верности и собирались пожениться, когда началась война; офицер был отправлен на фронт и одним из первых убит. Мария-Анна была слишком горда, чтобы плакать, но ее сердце было разбито. Она продолжала жить у своих братьев, но больше не обращала никакого внимания на мужчин; по-видимому, они не существовали для нее больше. Ее невесток не очень устраивало присутствие в доме красивой девушки с властным характером, оспаривавшей у всех первенство. В те времена девушка из хорошей семьи не могла жить одна; она должна была жить или в доме супруга, или у родных. Следовательно, ей надо было выйти замуж, чтобы быть независимой. Ее невестки взялись за дело, устраивали вечера и приглашали молодых людей. Красивая шведка, поющая страстным голосом, имела большой успех. Мария-Анна получала много предложений, но все отклонила, «Мое сердце разбито,— сказала она родным.— Я никого не могу любить». Невестки рассердились, услышав эти слова, казавшиеся им бессмысленными, и попытались образумить свою эксцентричную родственницу. Однажды, когда ее принуждали согласиться на выгодный для нее брак, Мария-Анна раздраженно сказала: «Послушайте, Ваш протеже мне настолько противен, что, если уж я должна во что бы то ни стало выйти замуж, лучше я выйду за доброго старого Сниткина, он, по крайней мере, симпатичен мне». Мария-Анна обронила эти неосторожные слова, не придав им значения. Но ее невестки немедленно ухватились за них. Они направили преданных им подруг к моему деду, чтобы те очень деликатно упомянули о пылкой страсти, которую воспламенили в сердце девицы Мильтопеус его достоинства. Дед мой был очень удивлен. Конечно, он восхищался красавицей-шведкой и с удовольствием слушал оперные арии в ее исполнении, но мысль, что он может понравиться этой красивой девушке, никогда не приходила ему в голову. Она не обращала на него никакого внимания, рассеянно улыбалась, проходя мимо, и изредка перекидывалась с ним словом. Но если она действительно так его любила, то он охотно попросит ее руки.

Невестки Марии-Анны с ликующим видом передали ей предложение моего деда. Бедная девушка очень испугалась. «Но я не хочу выходить замуж за этого старого господина,— сказала она своим невесткам.— Я говорила о нем для срав-

нения, чтобы Вы поняли, до какой степени был мне противен другой претендент». Это объяснение запоздало. Родственники Марии-Анны сказали ей строго, что хорошо воспитанная молодая девушка никогда не должна произносить неосторожные слова; что можно, конечно, отказать человеку, делающему предложение, не зная, как оно будет принято; но отклонить предложение, спровоцированное самой, значит оскорбить достойного человека, не заслужившего, конечно, такой обиды; к тому же Марии-Анне уже двадцать семь лет, и она не может неизвестно до каких пор оставаться у своих братьев, и это самое время для нее задуматься, наконец, всерьез о своем будущем. Бабушка моя увидела, что невестки поймали ее в западню, и покорилась неизбежному. К счастью, «этот бедный, старый Сниткин» был ей симпатичен.

Брак этих двух мечтателей оказался довольно удачным. Дед мой никогда не забывал знаменитую Асенкову, бабушка постоянно думала о любимом женихе, бедном офицере-блондине, павшем на поле битвы; однако это не помешало им иметь нескольких детей. Их характеры дополняли друг друга; бабушка была властной женщиной, супруг ее робким; она приказывала, он повиновался. Однако дед всегда мог настоять на своем, когда речь шла о близких сердцу вещах. Он пожелал, чтобы его жена переменила религию, и объяснил ей, что дети не смогут быть хорошими христианами, если их родители исповедуют разные религии. Бабушка перешла в православие, но продолжала читать Евангелие по-шведски. Позднее, когда дети начали говорить, дедушка запретил жене учить их ее родному языку. «Мне скучно, когда вы говорите между собой по-шведски, а я не понимаю»,— сказал он. Это запрещение было очень неприятно моей бабушке, так никогда не научившейся правильно говорить по-русски. Всю жизнь она говорила по-русски на собственный, довольно причудливый лад, и ее друзья часто смеялись над ней. Если речь шла о чем-то важном, она предпочитала говорить с детьми по-немецки. После свадьбы дедушка и бабушка сняли сначала квартиру, как это обычно делалось в Петербурге. Этот образ жизни не нравился моей бабушке, привыкшей в Финляндии к более широкой жизни. Она попросила мужа приобрести земельный участок, продававшийся на берегу Невы, в отдаленном квартале, недалеко от Смольного монастыря. Она распорядилась построить там поместительный дом, окруженный большим садом. В самом центре Петербурга она жила, как на даче. У нее были свои цветы, фрукты, овощи. Бабушка не испытывала особой любви к украинской родне мужа и принимала их только по семейным праздникам. Все же шведки, приезжавшие в Петербург и так или иначе связанные с кем-нибудь из ее многочисленных родственников в Финляндии, бывали у нее, завтракали, обедали и даже иногда ночевали в просторном бабушкином доме, где было несколько комнат для гостей. Уезжая в Финляндию, шведские подруги оставляли на ее попечение своих детей, определенных в различные императорские институты, и сыновей, служивших офицерами в русских полках. В такие

праздники, как Рождество и Пасха, дом и сад дедушки и бабушки оглашались смехом и шведской болтовней маленьких институток, учеников кадетского корпуса, молоденьких робких офицеров, еще плохо говоривших по-русски и счастливых тем, что нашли в незнакомом Петербурге кусочек Финляндии. Как все женщины германского происхождения, бабушка очень мало заботилась о своем новом отечестве и думала только об интересах представителей ее собственного рода*.

С. М. Волконский **

«Тончайший дым воспоминаний»

Фалль, дивный Фалль под Ревелем на берегу моря. Под знаком Фалля прошел расцвет моей детской души, и на всю жизнь «Фалль», звук этого имени, остался символом всего прекрасного, чистого, свободного от реальной тяжести. Он живит меня бодрящей лаской морского воздуха, смолистым запахом соснового бора. Встают в памяти крепкие очертания нависших скал, в закатах пылающее море, зеленый мягкий мох во влажной тени хмурых елок и крепкий серый мох на сухом песке под красными соснами; бурливая, в глубоких берегах река, далеко расстилающиеся долины и холмы разделанного парка; огромные со скорченными ветвями каштаны, тонкие перистые лиственницы; журчащая вода и мшистый камень, в тиши подлесной приветливая черника, улыбчивая земляника; дорожки, вьющиеся, убегающие, каменными лестницами поднимающиеся, спускающиеся; беседки на горах, над бурливою рекой, над зелеными низинами смотрят на далекое синее море или на холмистую кудрявость лесную, из-за которой розовая башня поднимает свой сине-желтый флаг...

О, этот дом, в котором пахнет деревянною резьбой, сухими и живыми цветами! Приветливая готика, уютная нарядность; дивный вид с террасы, из каждого окна. И все: воздух, свет, запахи, портреты, книги, и тишина, и го-

---

* *Достоевская Л. Ф.* Достоевский в изображении своей дочери. СПб., 1992, с. 100—105.

** Волконский Сергей Михайлович (1880—1937) — князь, камергер, внук декабриста, директор императорских театров (1899—1901), один из выдающихся деятелей русской культуры, с 1921 года в эмиграции.

вор — все укутано немолчным шумом водопада…

Спальня моей бабушки выходила окном на водопад. Мебель готическая, белая с черным; ситец светлый с красными цветочками; портреты, вазочки, воспоминания. По всему Фаллю прошлое к вам прикасается, ласково окликает. Из спальни тут же выход в маленькую восьмиугольную башенную комнату — миниатюры, бюро с вензелем императрицы Марии Феодоровны, ее портрет пастелью, писанный в Версале, и чудный вид на внизу шумящую и пенящуюся реку, на дальний парк и сквозь просеку светящееся море. Море сияет далеко, река шумит глубоко, а окно высоко, и между ними воздух и пространство… <…>

Вечер, сумерки, ламп еще не зажигали. Бабушка на своем Эраре играет: грустно, протяжно, а все-таки как-то утешительно. Слушаю в блаженной полудреме; в левой руке жалоба как будто повторяется… Как-то раз она сказала, что это называется вальс, что это сочинил Шопен какой-то. Но тут я еще не знаю, что это, и сижу я не в гостиной, а в соседней, «колонной», комнате. В большие окна смотрит белый вечер северной весны. Что-то застылое в природе — туда не хочется. Как-то смирно там, за окном. Только самые верхние листочки на деревьях трепещут, темные против белого неба. Большой каштан, тяжелый, вырисовывается над обрывной пустотой; его посадила, говорят, старая тетка Захаржевская, тетка моей бабушки; она иногда гостит в Фалле, она такая же большая и тяжелая, как ее каштан; она курит особенные папироски из соломы: пахитоски называются; от нее хорошо пахнет… Там под обрывом растут те красные цветы метелкой, про которые мать рассказывала, что, когда она была маленькая, ей ее бабушка говорила, что, когда она была маленькая, ей одна древняя старушка говорила: «Всякий раз, что увидишь этот цветок, вспомни обо мне». И я всю жизнь, когда его видал, вспоминал и мою мать, и прабабку графиню Бенкендорф, которой никогда не видал, и древнюю старушку, которой имени не знаю. И еще на днях, в июне 1921 года, в садике одного дома на Сивцевом Вражке увидал я этот цветок и мыслью пролетел от нашего двадцатого столетия сквозь девятнадцатое в восемнадцатое, когда древняя старушка говорила маленькой моей прабабушке, чтобы помнила ее… <…>

И после этого — другой Фалль; Фалль моей бабушки Марии Александровны. Этот Фалль живет в тех близких верхних слоях сознания, где живет то, что мы видели, знали, любили, так любили, что только с жизнью вместе угаснет любовь и только с любовью вместе угаснет ее свежесть.

Бабушка была самое аристократическое существо, какое я в жизни знал. Тонкая, хрупкая. Вижу ее в белом гладком платье, с белой кисейной косынкой под соломенной шляпой, обстригает розаны или кусты. Оттуда любовь моя к деревьям и кустам. Она отлично знала названия, привычки растений. Сколько елок, сколько каштанов переслала она к нам в Павловку, в Тамбовскую губернию! Этих фалльских уроженцев мать моя называла латинским эпитетом Fallensis.

Сколько любви, ласкового ухода вокруг деревьев и цветов! Когда бабушка находила на дороге кучку сухого конского помета, она протыкала зонтиком и на конце зонтика несла драгоценное удобрение, чтобы сложить его в цветочную клумбу.

Она по-русски плохо говорила. Она принадлежала к тому поколению, которое воспитывалось по-французски, а русский язык воспринимало в девичьей. Так выходило, что, тончайший цвет аристократизма, бабушка, говоря по-русски, употребляла такие выражения, как «в эфтом» и «с эстим». Да, она была очень аристократична, и иногда это проявлялось с некоторою узостью в отношениях к людям: вопросы внешних форм действовали отчуждающе. Но это было в мелких, безразличных обстоятельствах жизни; в больших, важных случаях она подходила к людям с той душевной широтой, которая именно и есть высшее проявление истинного аристократизма. Чужое горе, чужая болезнь заставали ее как солдата на посту. Мой брат Григорий готовился в Морское училище, жил в приготовительном пансионе в Ораниенбауме; вдруг заболел воспалением легких, а пансион переезжал в Петербург — был конец лета. Родители были за границей, я и брат Петя были в гимназии. Бабушка приехала из Фалля, поселилась в маленькой одинокой дачке и выходила брата.

Однажды приехав в Фалль, где мы были уже раньше нее, она объявила, что с сегодняшнего дня будет говорить с нами не иначе как по-французски. О, как я благодарен ей за это столь напугавшее меня решение! Какая великая вещь знание языка; ведь мы не только обогащаем речь свою, мы обогащаем разум новыми понятиями, новыми соотношениями, новыми логическими категориями. Тут же мы начали с матерью читать французских стариков. Первая вещь была «Атали» Расина — мир красоты: и сами слова, и звуки этих слов, и мысли, и форма этих мыслей. Сознание формы вливалось в меня и от тех, с кем я жил, и от того места, где я жил, и от того, чем я жил. Прекрасная библиотека фалльская восходила к началу восемнадцатого столетия своими изданиями и чудными переплетами. Я стал брать книгу и уходить в лес. Так роднились красоты стиха с красотами природы; какая-нибудь сцена трагедии сливалась с солнечным лучом, между деревьев падавшим на зелень подлесного ковра. Я перечитал всего Расина, всего Корнеля, всего Мольера...

Когда мы с братом, выдержав вступительный экзамен в шестой класс гимназии, приехали в Фалль, у почтового моста при выезде из Кэзальского леса нас встретила триумфальная арка из сосновых ветвей. Бабушка, мать, братья, сестра, няня — словом, все ждали нас под аркой, над которой было натянуто белое полотно и на нем, как мы узнали впоследствии, по выбору маленького еще тогда брата Саши красовалась надпись, которою Павел I встретил Суворова после альпийского похода: «Достойным — достойное!» Младшие братья поднесли старшим по лавровому венку; бабушка подарила по выдвижному карандашу в золотой оправе.

Одно лето я прожил в «избе», что на той стороне реки над водопадом из-за лесу выглядывает. Мне были приятны и самостоятельность и красивое одиночество. Утренняя радость, утренний гам лесной и первый брызг лучей сквозь росистые ветви обдавали меня, когда по каменной лестнице спускался к цепному мосту, чтобы идти в большой дом. Смолисто-хвойная задумчивость обнимала меня, когда в вечернем сумраке по каменным ступеням поднимался к своему жилищу. Уезжая в восьмой класс, прощаясь с бабушкой, положил на стол ключ от «избы»:

— Могу им еще когда-нибудь воспользоваться?

— Пока я на этом свете, всякий раз, как пожелаешь.

Но это был последний раз. Следующее лето я провел в путешествии, в Фалле не был, а осенью она умерла. С 1868 года мы так распределяли: одно лето в Фалле, а два в Павловке, и из этих двух одно бабушка проводила с нами. В 1881 году в сентябре мать проводила ее до Вержболова; она поехала в Рим. В октябре мы получили известие, что она больна. Мы с матерью выехали. Я только поступил в университет; благодарен, что отец меня отпустил.

Мы застали бабушку в живых еще в течение двенадцати дней. При ней была прелестная ее старшая сестра, тетка Аппони. Бабушка умерла в страшных мучениях от закупорки кишок; но она выказала изумительное мужество и, хрупкое, нежное существо, учила нас умирать. Она скончалась 4 ноября в шесть часов вечера. Она жила в Palazetto Borghese, что против большого дворца Боргезе. Дочь ее сестры, графини Аппони, была за князем Боргезе; сестра ее жила здесь, здесь же поселилась и бабушка. Мы отвезли гроб на станцию и поставили в вагон; покрыли красным покровом, обложили пальмами; вагон запечатали. Печати сняли в Ревеле. Так, среди снега и мороза предстал под красным покровом и, обложенный римскими пальмами, проследовал в Фалль и стал в домовой церкви, в так называемом «церковном доме», гроб княгини Марии Александровны Волконской. Был мягкий зимний день. Гора была покрыта белым снегом и, белая, расстилалась книзу долина; черные из-под белых подушек глядели еловые ветви, в то время как зеленые пальмы ложились в могилу… Двадцать лет жизни изымались из реального существования и переходили в тончайший дым воспоминаний. И в то время как неумолимая земля заравнивала грань между настоящим и уходящим прошлым,— за белым саваном равнины я видел, поверх макушек внизу лежащего леса, как море сочеталось с небом…*

* Князь Сергей Волконский. М., 1992. Т. 2, с. 6, 8—9, 20—23.

*К. А. Коровин**

Мыс Доброй Надежды

У бабушки Екатерины Ивановны в доме было так хорошо. Комнаты в коврах, цветы у окон в корзинах, пузатые комоды из красного дерева, горки с фарфором, вазы золотые под стеклом с цветами. Так все красиво. Картины... Чашки внутри золотые. Вкусное варенье из китайских яблочек. Такой сад за зеленой загородкой. Там росли эти китайские яблочки. Дом снаружи зеленый со ставнями. Бабушка высокая, в кружевной накидке, в черном шелковом платье. Помню, как мои тети, Сушкины и Остаповы, красивые, в пышных кринолинах, и моя мать играли на больших золотых арфах. Было много гостей. Все другие, какие-то непохожие на этих студентов и на доктора Плосковицкого. Все нарядные гости. И за столом кушанья подавали слуги в перчатках, и шляпы у женщин были большие с нарядными лентами. И они отъезжали от подъезда в каретах. <...>

У бабушки мне очень нравилось. Там было совсем другое, другое настроение. Сама бабушка и гости были приветливы, когда говорили, смотрели в глаза друг другу, говорили тихо, не было этих резких споров,— у бабушки как-то соглашались. Так просто. А у нас в доме окружающие отца всегда как-то ни с чем не соглашались. Кричали: «не то», «ерунда», «яйца всмятку». Часто я слышал слово «черт»: «ну его к черту», «черт возьми, совсем». У бабушки никто не чертыхался. Потом у бабушки эта музыка, когда играли на арфах; тихо слушали; гости были нарядные, большие кринолины, волосы у женщин пышные, пахло духами. Ходили они, не стуча высокими сапогами; уезжая, со мной все прощались. За обедом у бабушки не было квасу, и не били рюмки с вином, не чавкали, не сидели, облокотись на стол локтями. Потом было чисто как-то, прибрано. Не валялись книги, газеты. Музыка арф так красива, и мне казалось, что эта музыка похожа на синее небо, на облака вечерние, которые ходили над садом, на ветви деревьев, которые спускались к забору, где к вечеру розовела заря, и там за этим садом, там далеко, где-то есть мыс Доброй Надежды. Я чувствовал у бабушки, что есть мыс Доброй Надежды. У нас не было этого чувства. Что-то было грубое, и мне казалось, что все кого-то бранили, что-то не так, кто-то виноват... Не было этого отрадного, далекого, прекрасно-го, которое там, которое придет, желанное, доброе. И когда я возвращался домой, мне было грустно. Придут студенты, будут кричать: «Какой Бог, где он Бог?» И какой-то студент ска-

* Коровин Константин Алексеевич (1861—1939) — русский живописец и театральный художник, с 1923 года в эмиграции.

© К. А. Коровин (наследники), 2008

жет: «Я не верю в Бога…» И глаза у него мутные, злые, тупые. И он груб. И я будто чужой. Я ничего. Никто не подойдет, не скажет мне: «Здравствуй». А у бабушки мне скажут, спросят: «Что ты учишь?» Покажут книжку с картинками. Когда рисовала мать, то я чувствовал себя около матери, как и у бабушки. И в картинках, которые рисовала мать, мне все казалось, что она рисует все это там, где мыс Доброй Надежды. Когда я остаюсь ночевать у бабушки, то бабушка велит мне в постели на коленях читать молитвы и молиться Богу, и после я уже ложусь спать. А дома мне ничего не говорят. Скажут: «Иди ложись спать» — и только. <…>

Вскоре я с матерью переехал к бабушке, Екатерине Ивановне Волковой. Мне очень нравилось у бабушки, а потом оттуда переехали мы на Долгоруковскую улицу, в особняк фабриканта Збука*.

М. В. Волошина**

История одной жизни

Бабушку — мать моей мамы — я с раннего детства глубоко почитала и любила. За все годы, пока ее знала,— она умерла, когда мне было уже двадцать восемь лет,— она почти не изменилась. После смерти мужа, которого я не застала в живых, она носила только черные платья зимой и белые — китайского шелка — летом. Покрой ее платьев оставался неизменным. Всегда широкая шаль на плечах и маленький чепчик, оставлявший ее красивый лоб открытым. Ее правильное благородное лицо с нежной розовой кожей до конца жизни не потеряло своей красоты, темные глаза смотрели умно и оживленно, осанка — хотя она не была высока ростом — величественна. Она вышла замуж шестнадцати лет, мужу было восемнадцать. Из двенадцати детей от этого брака в живых остались десять. Овдовев, она продолжала вести дело мужа и воспитывала детей. Ее отец — московский городской голова Михаил Леонтьевич Коро-

* Константин Коровин вспоминает… М., 1971, с. 53—55.

** Волошина Маргарита Васильевна, урожд. Сабашникова (1882—1973),— живописец, поэтесса, автор мемуаров, первая жена поэта Максимилиана Волошина, двоюродная племянница известных издателей Сабашниковых.

© М. В. Волошина (наследники), 2008

лев — первый купец, удостоившийся чести царского посещения. Царь Александр II «Освободитель» хотел этим перекинуть мост через пропасть между дворянством, обедневшим после отмены крепостного права, и купечеством.

Этот «исторический» момент увековечен на картине, изображающей моего прадеда, преподносящего хлеб-соль государю; сзади стоит тогда еще совсем молоденькая его дочь — моя бабушка — с двумя маленькими детьми: моей теткой Александрой и дядей Василием. Копию этой картины, оригинал которой находился в музее в Грузинах, я видела в доме моей бабушки. Меня интересовал здесь не столько царь, сколько удивительная одежда моей тетушки: короткая широкая юбочка, а под ней очень длинные кружевные панталоны. По моим тогдашним понятиям панталоны были вещью неприличной, особенно при таком торжественном случае.

Так же, как я была убеждена, что наша церковь и вся Большая Никитская принадлежат нам, так я была убеждена, что асфальтированный переулок, где находился бабушкин дом, вместе с соседней церковью, принадлежит ей. Даже не только переулок, но и вся Тверская площадь с домом генерал-губернатора, казармами и большой гостиницей «Дрезден» с роскошным гастрономическим магазином внизу. Гостиница и магазин действительно принадлежали ей. Дом ее стоял посреди обширного двора, усыпанного красным песком. Здесь же находилась конюшня и еще несколько небольших домов, отдававшихся «внаймы». «Именитое купечество», проживавшее за Москвой-рекой, было тогда очень малообразованно. Царили патриархальные нравы старой Руси, почти средневековый семейный деспотизм, всемогущество денег, изображенные в драмах Островского. Бабушка, вышедшая из этой среды, едва умела читать и писать. У ее мужа, сына крестьянина, развозившего по домам уголь и воду, дело обстояло не лучше. Но ее дети — мои тетки и дяди — получили блестящее образование. Все четыре сына учились в Университете, шесть дочерей брали уроки у тех же университетских профессоров и в совершенстве владели тремя-четырьмя иностранными языками. Когда я была совсем маленькой, мои тети и дяди всегда встречали меня самым шумным и бурным весельем. Я была первой внучкой, поэтому меня баловали и захваливали. «Поклонение младенцу»,— говорила моя старшая тетка Александра. Меня удивляло, что все они обращались к своей матери на «Вы», тогда как я говорила ей «ты», и она, так меня баловавшая, со своими детьми обходилась иногда очень сурово.

Так как дом первоначально предназначался для меньшей семьи, а с ее увеличением не раз расширялся и перестраивался, то теперь он представлял собой целый лабиринт комнат и комнаток, переходов и приступок. Три этажа соединялись разнообразными лестницами и лесенками. Две комнатки самой бабушки были совсем крошечные. Перед большим киотом в углу горели лампады, и в этом помещении всегда немного пахло оливковым маслом.

Поля вместе с нами жила у бабушки и ухаживала за нами. Она рассказывала нам сказки. Одна из ее сказок всегда

производила на меня сильное впечатление: братец с сестрицей пошли в лес по ягоды. Братец кладет ягоды в кузовок, а сестрица — в ротик. Когда пришло время вернуться, сестрица убивает братца, хоронит его, а ягоды относит домой и говорит, что братец заблудился. Но на могилке вырастает тростник, идут мимо прохожие, вырезают из тростника дудочку. И дудочка поет: «Дудочка — потихоньку! Дудочка — полегоньку! Злая меня сестрица убила, в лесу схоронила, за ягодки, за красненькие».

Жалость к братцу заливала меня, и я чувствовала на себе вину сестрицы, потому что в ее лице я всегда видела себя, а в лице братца — своего брата Алешу. Как я после от него узнала, он тогда тоже видел во мне «злую сестрицу».

От времени, когда мы жили в бабушкином доме, память сохранила мне несколько странных переживаний. Мне подарили жестяную кукольную плиту, хотя в то время я еще не играла в куклы. Как-то я заглянула внутрь этой плиты, воображая себя совсем маленькой, а внутренность плиты обширным помещением. Стены этого помещения отражали друг друга, и получалась какая-то унылая бесконечность. Я повторяла этот опыт, и каждый раз появлялось одно и то же чувство холода и одиночества. Это же самое ощущение бывало у меня много позднее, когда я силилась представить себе холод и одиночество Сатаны. Однажды, лежа на полу, я увидела все предметы опрокинутыми, люди висели вниз головой; и на какое-то мгновение я уже не знала, как правильно. Все было наоборот, и я нарочно снова и снова вызывала это состояние. Странное чувство испытывала я также, когда нас провозили по Большой Никитской мимо нашего дома, чтобы мама, не посещавшая нас из-за опасности заражения, могла бы хоть посмотреть на нас в окошко. Мы ее не видели сквозь стекла. Окна были заклеены по-зимнему, и только маленькая форточка наверху давала доступ свежему воздуху. Но я знала, что она нас видит. Было так странно видеть наш дом снаружи, как чужой. Он казался мне громадным, а окна мертвыми; существовало ли все, что было внутри, если я сама была снаружи? <…>

Бабушка каждое лето нанимала себе дом в деревне, в каком-либо дворянском имении близ Москвы, куда можно было добраться только на лошадях. В этих великолепных усадьбах, со старинными липовыми парками, со множеством цветов, украшавших террасы, лестницы и цветники, сохранялись старые традиции. Обедневшему дворянству приходилось сдавать свои дворцы в наем буржуазии. Помню, как в имении князя Вяземского мне показывали комнату, где жил Александр Пушкин. Показали также пресс-папье — гроб, в нем труп, который едят черви. Пресс-папье принадлежало масонам,— сказали мне. Комнату Пушкина вместе с пресс-папье я рассматривала с величайшим почтением, хотя и не имела тогда ни малейшего представления ни о Пушкине, ни о масонах.

Бабушка была большой любительницей цветов. Каждый день рано утром, до

завтрака, она шла в своем белом утреннем пеньюаре из китайского шелка в сад и срезала розы, еще мокрые от росы, и складывала в корзинку, которую я носила за ней. Каждый год я часть лета проводила у нее*.

*Т. П. Карсавина***

Театральная улица

Моя бабушка, Мария Семеновна, жившая обычно у маминой сестры, всегда приезжала к нам на рождественские праздники. Ее посещения доставляли мне большую радость. Очень остроумная, с неизменно ровным и прекрасным характером, она обладала редкой способностью радоваться жизни, которую не смогли в ней подавить даже чрезвычайно стесненные материальные обстоятельства. Когда-то она была настоящей красавицей, и до сих пор еще у нее сохранились прекрасные темные глаза и гладкая кожа, как у молодой женщины. Свой нос с горбинкой бабушка называла римским. Греческая кровь (она была урожденная Палеолог) придавала ее красоте оригинальный характер. Бабушка обожала беседовать с нами о своем детстве и обо всей своей жизни. Как только у нее находились слушатели, она вспоминала сотни историй и рассказывала их всегда с одинаковым увлечением, независимо от того, кто окружал ее — дети, при-слуга, родственники или чужие люди. Случалось, что мама пыталась прервать ее веселую болтовню: «Мама, ты забываешь, что говоришь с детьми!» Но мы умоляли бабушку продолжать. Ее истории напоминали сказки из «Тысячи и одной ночи».

С юмором, вдохновенно рассказывала она — а нам было тогда меньше десяти лет — о балах-маскарадах в Благородном собрании в Санкт-Петербурге, где она сумела очаровать императора Николая Павловича, об изменах мужа, который приходил к ней исповедоваться в грехах со словами: «Мари, ангел мой, ты все поймешь и простишь!» Дедушка умер молодым, растратив все состояние и оставив без гроша молодую жену с

* *Волошина М. В.* Зеленая змея. История одной жизни. М., 1993, с. 25—28.

** Карсавина Тамара Платоновна (1885—1978) — русская балерина, выступала в «Русских сезонах» и труппе «Русский балет» С. Дягилева.

© Т. Т. Карсавина (наследники), 2008

тремя маленькими детьми. Долгие годы она жила в крайней бедности, но вспоминала об этом без горечи и даже довольно весело.

Маленькая пенсия была единственным источником существования, и часто весь ее обед состоял из селедки и куска хлеба. Но дети были обеспечены: сын воспитывался в морском корпусе, а две дочери — в сиротском институте.

Наконец наступал сочельник, и вечером, как это было заведено, мы собирались заняться гаданием. Елка была куплена уже накануне. Отец очень любил традиционную рождественскую елку, старался отыскать самую красивую, и всегда брал меня и Леву себе в помощники. Мы привозили елку домой на санках и принимались ее украшать. Отец приносил кухонный стол, ставил на него стул и, забравшись наверх, прикреплял к самой верхушке елки большую звезду. Мы передавали ему украшения и свечи, которые надо было повесить вверху, а сами занимались нижними ветками. Украшать елку доставляло не меньшее удовольствие, чем видеть ее зажженной. Как зачарованная, перебирала я игрушки из фольги, пряники в форме солдатиков или барашков, восковых ангелочков с золотыми крылышками. Они спокойно покачивались в своем вечном полете, а я следила за тем, чтобы они висели подальше от свечей. Мы развешивали множество позолоченных грецких орехов и красных крымских яблочек, величиной с абрикос. Когда все свечи были прикреплены, мы раскидывали по елке хлопья ваты, которая выглядела как настоящий снег, и набрасывали на нее серебряный дождь,— затянутая золотой и серебряной паутиной, она начинала вся сверкать.

Мама была занята на кухне, наблюдая за приготовлением окорока, а бабушка оставалась с нами. Она читала газету и время от времени обращалась к отцу, которого очень любила: «Послушай, Платоша!» Политика ее не интересовала, зато она прочитывала все происшествия. Заметка о каком-либо несчастном случае заставляла ее говорить о внучке Нине и ее пристрастии к конькам. По убеждению бабушки, подобные развлечения до добра не доведут. Мы держались с бабушкой на равной ноге и часто поддразнивали ее нескромными вопросами: «Бабушка, почему у тебя белые волосы, а шиньон черный и зачем ты покрываешь его сеткой?» В конце концов она объяснила нам, что это — шиньон на каждый день, а есть у нее другой, лучше подобранный к волосам, но его она хранит для торжественных случаев.

Бабушка тоже не упускала возможности подразнить внучек. Однажды она убедила нас в необходимости нюхать табак, доказывая, что нет лучшего средства для того, чтобы придать блеск глазам. <…>

В феврале мне исполнилось пятнадцать, и теперь я уже пользовалась всеми привилегиями старших. <…>

Теперь с нами жила бабушка. Ей уже было за семьдесят, и ее умственные способности заметно слабели, но физически она еще оставалась крепкой. Бабушка вставала первой в доме и до поздней ночи копошилась в своей комнате. Звук выдвигаемых и задвигаемых ящиков свидетельствовал о том, что ба-

бушка что-то искала. Большая часть ее времени уходила на поиски, так как все вещи постоянно играли с ней в прятки. Велико было ее расстройство, когда выяснилось, что она не сможет присутствовать в училище на вручении награды Льву: ее любимец получал золотую медаль. Бабушка была вынуждена пропустить это торжественное событие, так как куда-то запрятала свой выходной шиньон. Всегда очень внимательная к своему туалету, она не могла себе позволить появиться в обществе без шиньона. «Я положила его здесь»,— твердила она, беспрестанно возвращаясь на одно и то же место, как будто надеялась, в конце концов, найти там пропавшую вещь. И добавляла: «Чур-чур, дурака не валяй: поиграл и отдай!» Так взывала она к невидимым духам, которых подозревала в злых шутках.

Когда бабушке предложили место в богадельне для вдов при Смольном монастыре, она переехала туда на постоянное жительство. Бабушка осталась в моей памяти как необычайно яркая и цельная личность; о событиях ее жизни можно было бы написать интересную книгу*.

*С. В. Гиацинтова***

С памятью наедине

Бабушка Прасковья Николаевна жила в Москве с нашей семьей и была всеобщей любимицей.

В ранние годы, до поступления в гимназию, мы — мама, папа, бабушка, старшая сестра Люся и я — жили в Зачатьевском переулке, занимая первый этаж белого двухэтажного особняка, казавшегося мне огромным. Из окна мы с интересом наблюдали, как въезжает во двор бочка с водой, вся покрытая льдом и огромными сосульками. Часто там раздавалось нечто среднее между кличем и пением: «Пастила, леденцы, конфеты»,— и появлялся человек в фартуке поверх шубы: на голове он нес подушку, на ней покачивался лоток со сладким товаром. Иногда во двор заходили шарманщики с детьми, которые под музыку кувыркались на коврике.

---

* *Карсавина Т. П.* Театральная улица. Л., 1971, с. 55—56, 97—98.

** Гиацинтова Софья Владимировна (1895—1982) — советская актриса и режиссер, народная артистка СССР.

© С. В. Гиацинтова (наследники), 2008

Квартира наша была большая, с длинным коридором. Бабушкина комната соседствовала с детской, я часто ходила туда «в гости» пить чай. Мебель в ее комнате была начала девятнадцатого века, красивая, стильная: красного дерева секретер, трюмо, кресло, круглый стол с вышитой крестиком скатертью. Мне она, правда, не нравилась.

Настоящей роскошью и красотой казалась мне витрина аптеки Феррейна на Никольской — там были цветные шары и аквариум. Зато под диваном у бабушки стояли инкрустированные ящички с многими отделениями, а в них смоквы — варенья, которые она летом сама делала. Мы с Люсей строго по очереди «накладывали» к чаю — при этом разрешалось пробовать все подряд. У большого киота в углу комнаты горела лампада. Не уверена, что бабушка была так уж религиозна, просто, не задумываясь, исправно совершала все обряды. Одевалась она по «бабушкинской» форме: кружевной чепец, пелерина, широкая блуза, на носу очки. Наши шалости воспринимала всерьез и удивленно глядела выпуклыми голубыми глазами. Мы любили ее изумлять.

Была она необыкновенно добра, нежна и наивна. Все люди казались ей хорошими, родственники — благородными, внучки — красотками, всех хотелось одарить, осчастливить. И добро она делала весело, из какой-то внутренней необходимости. Бабушка жила независимо, на собственный небольшой капитал, который давал ей возможность помогать рассованным по учебным заведениям родственницам, приходившим к ней в воскресные дни. А когда сама собиралась с визитом, вызывала горничную. Но голос у нее был слабый, поэтому она отворяла дверь своей комнаты, очень грозно стучала об пол палкой с резиновым набалдашником и жалобно кричала:«П-о-л-ю!» Ей специально провели в комнату звонок, но бабушка не принимала его во внимание. Взявшись под руки, они с Полей выходили к воротам, где ждал извозчик. К извозчикам бабушка относилась настороженно: она была убеждена, что все они — пьяницы, а главная их задача — погубить ее. Если сани вдруг заезжали вбок, бабушка хватала извозчика за кушак, била кулачком в спину и бессильным шепотом бранилась. Все кончалось благополучно, бабушка щедро расплачивалась, приговаривая: «Смотри, не пей!» Все это очень веселило возницу, который изящно определял ее: «Бабка ваша — чистая муха».

Если бабушка уезжала за покупками «в город», как тогда говорили, мы ждали ее возвращения со смутным предчувствием неблагополучия. Действительно, из передней раздавался расстроенный голос:

— Лилинька, посмотри, какую я себе гадость купила! Непременно поезжай и поменяй! — взывала она к маме.

Покупка оказывалась отрезом красивого дорогого шелка.

— Мама! Прасковья Николаевна! Ведь это хорошо, ведь вы выбирали! —уговаривали бабушку родители.

— Мало ли что выбирала. Они ведь и уговаривать мастера. Нет, нет, менять — видеть не могу! — В голосе бабушки смертельная ненависть, какую в ней и предположить трудно.

Входила я и начинала представление: говорила о том о сем, потом замечала пакет, разворачивала и всплескивала руками.

— Какая прелесть! — фальшиво восклицала я и прикладывала материю к бабушке.— Как тебе идет, ну, к твоим глазам голубым лучше и нельзя!

Бабушка смеялась и иногда смирялась с ненавистной покупкой. Но чаще никакие аргументы не помогали, и мама, понимая, что придется ей ехать в магазин, убегала в спальню, где вместе с нами долго смеялась. <...>

Вечером приходили гости, но в Зачатьевском переулке нас с Люсей к этому времени уже укладывали спать, поэтому их я не помню. Зато, когда приезжали бабушки и дедушка, мы были в центре внимания — заласканные, задаренные, счастливые. Я уже говорила, что у моей бабушки Прасковьи Николаевны были сестры. Таким образом, кроме нее еще три бабушки баловали нас. Все они, состоятельные, гораздо богаче нас, были фрапированы, когда их племянница, моя мама, вышла замуж за неимущего учителя гимназии, но с годами полюбили моего отца, сыновья их дружили с ним, виделись все часто и с удовольствием. Что же до бабушек, то каждая своей историей стоит отдельного внимания.

Самой любимой и красивой маминой теткой была бабушка Лиза — высокая, статная, с правильным «мадоннистым» лицом и длинными, томными карими глазами. Рассказывали, что еще до замужества, прогуливаясь по Кремлю, она повстречала экипаж государя, после чего в Немецкой слободе появился любезный офицер и так подробно расспрашивал о ней, что ее воспитательница сочла за лучшее отправить красавицу в деревню. Замуж она вышла по страстной любви за какого-то родственника, тоже Гарднера, но счастья он ей не принес, был груб, много пил и скоро умер. У бабушки Лизы остались два сына, и, может быть, еще и поэтому она так любила нас, девочек. Это была наша деревенская бабушка, жила она в своем имении и, гостя у нас, страдала от городского шума. Теперь это смешно — ведь я вспоминаю Москву тихую-тихую, особенно зимой, когда, казалось, все спит под снегом, только валенки и сапоги чуть скрипят по белым улицам и тротуарам, освещенным фонарями, которые зажигают фонарщики, подставив лесенку. Но бабушке и безмолвные сани с извозчиком были шумны, и тусклые фонари слепили глаза. В Москву она приезжала только из любви к родным. <...>

С деревенской бабушкой Лизой связаны у меня первые впечатления от природы и какой-то другой, не городской жизни. Совсем маленькой меня иногда сдавали к ней в имение Копнино. Оно находилось довольно далеко от Москвы, в рязанских, безбрежных, как степи, полях. Заросший кустами овраг отделял барский деревянный дом с деревянными же колоннами от деревни.

Дом стоял на горе, сад вокруг него уступами спускался к реке, за которой прямо против дома возвышалась церковь, и, когда звонил колокол, его хорошо было слышно в доме — большом, удобном, теплом, весело потрескивающем дровами в красивых печках. Ста-

ринная мебель, старательно отобранная, не загромождала комнат. Особенно мне нравились кресла в гостиной, настоящие вольтеровские, в которых так удобно сидеть (уж не помню когда и как, но одно из них перекочевало ко мне, и я сейчас часто блаженствую в его глубине). Но лучше всего был, конечно, сад, где постоянно соответственно времени года цвели редкостные цветы, одурманивавшие по вечерам сильным и незнакомым запахом.

По другую сторону дома стояли фруктовые деревья, вокруг которых квадратом была разбита гладкая, утрамбованная аллея протяженностью в две версты. Прогулка по ней так и называлась — «пойдем на две версты». Садом заведовал дядя Володя, младший сын бабушки Лизы, бывший, вероятно, искусным садовником. Он являл собой хрестоматийный тип доброго помещика: большой, рыжий, толстый, в картузе и поддевке, громко хохочущий — в эти минуты кудрявая борода лопатой колыхалась, а лицо наливалось малиновым цветом,— щедрый и смелый. Меня он любил за безрассудную детскую храбрость. Например, сажал на высокий шкаф, кричал: «Прыгай ко мне!» — и я беспечно бросалась вниз. Бабушка Лиза бывала вне себя от испуга и возмущения этой странной гимнастикой.

В Копнино меня отправляли с гувернанткой-немкой, крайне не одобрявшей моего тамошнего воспитания, особенно после одного ужаснувшего ее происшествия. Однажды мы с ней мирно спали, как вдруг отворилась дверь, и в проеме появился дядя Володя с фонарем в руках. Немка заголосила, прикрывая плечи, а он, равнодушный к ее прелестям и целомудрию, стал поднимать меня с кроватки и укутывать в одеяло.

— Куда мы? — спросила я, заранее готовая на все.

— Увидишь,— отвечал он и вынес меня из дома.

Я впервые увидела ночь — огромное звездное небо, черную землю, странную пустоту большого двора, обычно наполненного людьми и телегами. Гулко лаяли собаки, одна из них, моя подруга Белянка, шла нога в ногу с нами. Дядя Володя принес меня на знакомый скотный двор, где пахло навозом, молоком и теплом. Над коровой, тоже мне знакомой, склонились три женщины.

— Вот теперь смотри! — торжественно сказал дядя Володя, поставив меня на какую-то дощечку.— Да не туда, вот же!

И я увидела его — маленького, мокрого, коричневого новорожденного теленка, с таким розовым носом, что ничего розовее и представить нельзя. Он не стоял на ногах, падал, в глазах еще плыла туманность небытия. Я коснулась его нежной, мягкой мордочки и заплакала — мне казалось, что он сломается, что его, беспомощного, задерут волки, что он погибнет. Проведя в этих тревожных мыслях и под шипение немки остаток ночи, я утром пошла к бабушке. Она молилась, но, услышав мои шаги, не глядя обняла меня и прижала к себе.

— Бабушка, стоит ли рождаться? — мысль о бедном маленьком теленке терзала меня.

К моему удивлению, она долго молчала.

— Кажется, не стоит, красотка моя любимая,— наконец сказала она и поцеловала меня.

Много времени спустя, вспоминая эту ее интонацию, я поняла, что бабушка Лиза была несчастлива, но кротка.

В летние светлые вечера бабушки, часто съезжавшиеся в Копнино, читали вслух — запомнились особенно отчетливо «Капитанская дочка» и «Николас Никльби»; меня уверяли, что я этого не пойму, а я все равно слушала и что-то, безусловно, осталось, если не в мозгу, то в душе. <...>

Бабушка Катя отличалась от своих сестер. Такая же высокая и стройная, как Лиза, она поражала какой-то цыганской красотой. Черный огонь полыхал в ее огромных глазах, черные волосы стеклянно блестящей стеной заслоняли ее всю, когда она причесывалась, и она наступала на них, не отклоняя даже головы назад. Она так и не поседела, хотя жила долго. Гордые, правильные черты лица, властный низкий голос — все это не имело ничего общего с ее характером, таким же веселым, добродушным и наивным, как у других бабушек. Муж ее, как говорили, был умным, изящным человеком. Происходил он из древнего шведского рода Пистоле Корса, представители которого уже лет четыреста жили в России, совсем обрусели и давно носили фамилию Пистолькорс. Безоблачно счастливая семейная жизнь Екатерины Николаевны была разрушена сначала самоубийством сына, а потом смертью мужа, после чего она из Петербурга переехала в Москву. <...>

У бабушки Кати, судя по всему, было вполне хорошее состояние. Оно ощущалось в ее большой квартире с верхним этажом, во всех ее вещах, в жемчуге, который по праздникам мерцал на ослепительно красивом белом или светло-сером платье и так шел к ее черным глазам и волосам. После революции бабушка была очень растеряна и ничего не понимала. Как-то она остановила меня в коридоре.

— Я начинаю всех раздражать,— она пыталась говорить шепотом, но ее низкий голос был слышен по всей квартире.— Как это у меня могут отнять мой дом? Ведь я за него деньги заплатила! Да дворянство не позволит! И суд на то есть! — убежденно прогудела она и поплыла в столовую.

В это время папа, мама и я (Люся была уже замужем), лишившись казенной квартиры, жили у нее. Обеды были скромные, но сервировались как обычно, и как обычно во главе стола хозяйничала бабушка Катя. Однажды заговорили о внезапной смерти чьей-то знакомой — встала, упала и сразу скончалась.

— Вот это моя мечта! — воскликнула бабушка.— Если б, Господи, так умереть!

Обед кончился, бабушка Катя встала, за ней остальные. Сделав два шага, она вскрикнула, схватилась за сердце и рухнула. К утру она умерла — как хотела. Все это было потом, потом. А тогда, в детстве, из которого я все время убегаю в своем рассказе, вместе с бабушкой Катей жил брат ее покойного мужа Ипполит Карлович Пистолькорс, хотя и не родной, но единственный и любимый наш дедушка. Эту колоритную фигуру нельзя обойти, он слишком присутствовал в нашей жизни, внося в нее много ума, веселья и удовольствий. <...>

Бабушки привязаны были к нему бесконечно и прощали все.

— Да ведь он одинокий, жизнь-то вся прошла, пролетела, вот он и прибился к нам, нужно ж ему кого-то любить,— говорила бабушка Катя.

Она была права, хотя все обстояло не так просто. Дедушка в молодости сильно и безнадежно любил четвертую их сестру — бабушку Веру. Пришло время и о ней сказать. Я ее знала уже немолодой вдовой, с большими глазами, бровями вразлет, властным басом, усами, и вся она была большая, полная и властная. Мама говорила, что бабушка богато жила в Петербурге с мужем-генералом, слыла красавицей, пользовалась шумным успехом, была избалованна и капризна. Нам она нравилась меньше других бабушек — мешала какая-то резкость, что ли.

Когда мне было лет десять, бабушку Веру разбил паралич. Восемь лет провела она в кресле, не умея говорить и шевеля только одной рукой. Но в несчастье стала похожа на сестер — проявила кротость, мужество и терпение, всем им свойственные. Жила она тоже в доме у бабушки Кати. Ухаживала за ней сиделка Анна Николаевна, молодая некрасивая хохотунья, добрая и сильная,— она легко управлялась с грузным, неподвижным телом своей подопечной. Бабушка глядела на нее благодарно, гладила ее руку и все дарила свои брошки. Сама она сидела в кресле нарядная, в белых и черных кружевах, с красивыми кольцами на пальцах здоровой руки и пахла французскими духами. Издавала она лишь один невнятный звук «а-а-а», но вкладывала в него разный и понятный всем смысл. Иногда она подзывала меня этим звуком и поднятой к небу рукой, как бы объясняла, что хочет умереть. И в глубине ее огромных глаз блестело что-то похожее на слезы — она вообще не плакала. Но вот начиналась игра в винт, бабушкино кресло подвозили к столу, и она, когда-то страстная картежница, оживленно принимала участие в игре, указывая играющим на ошибки, давая советы — глазами, рукой и своим «а-а-а».

— Легкомысленна, как всегда,— сварливо говорил Ипполит Карлович и смотрел на нее длинным и сложным взглядом.

Он очень негодовал по поводу ее болезни и выражал это со свойственной ему категоричностью.

— Чего мы все, спрашивается, живем? — гремел он, чтобы все бабушки слышали.— Дождетесь, что наперегонки в креслах на колесах поедем. Изволите ли видеть, Вера Николаевна уже засела!

Бабушка Вера тихо смеялась, махала здоровой рукой, и ее «а-а-а» в этом случае означало: «Что с него взять, его и слушать-то всерьез не стоит».

— Угомонись, Ипполит! — взывали остальные бабушки.

— Интересно знать — как? — высокомерно спрашивал дедушка.— Как я должен угомониться — сам? Вы слышите,— звал он кого-то в свидетели,— они, кажется, хотят, чтобы я пулю в лоб себе пустил. Ишь ты, угомонись! Это ваши силы небесные меня должны угомонить, а сам я не желаю! — Он возмущенно топал ногой, но через минуту с присущей ему во всем неожиданностью и нелогичностью приходил в доброе расположение, и в доме воцарялась привычная благодушная обстановка.

Разъезжаясь, бабушки аккуратно переписывались. Письма читались за вечерним столом и обсуждались домочадцами.

Возможно, я чересчур увлеклась рассказом о бабушках. Конечно, они были всего только светскими дамами, буржуазными, вполне покорными нравам и обычаям своего века и круга. Но их легкомысленная веселость и доброта окутывали наше детство нежностью и любовью, к тому же, в отличие от мамы и папы, их совсем не интересовали проблемы воспитания, и потому они баловали нас без всяких ограничений. Давно-давно я выписала из какой-то английской или американской книжки: «Предательский, блаженный, милый уклад, при котором не рвутся личные связи и каждый так ловко приходится к своему месту, как пробка к горлышку бутылки». Мысли об этом «предательском, милом укладе» так утешали меня в тяжелые дни жизни, что, окунувшись в него, я всегда так хочу задержаться в теплой волне воспоминаний.*

*В. А. Андреева***

Эхо прошедшего

Папа очень любил класть себе в чай несколько ложек земляники или малины. В саду у нас было вдоволь малины и были грядки с особой «ананасной» клубникой — ее желтовато-розовые ягоды в виде пузатых бутылочек были необыкновенно душисты, но папа предпочитал дикую малину и лесную землянику.

Мы с Тином вставали рано, когда солнце еще косо освещало дом и мокрая от росы трава холодила босые ноги, и, вооружившись кружками, проникали сквозь лазейку в сад Плаксина. Там был лужок, полого спускавшийся к реке. Если идти снизу и осторожно раздвигать траву, то тут и там можно было увидеть красные земляничины, скромно прячущиеся под листьями. Драгоценных ягод

* *Гиацинтова С. В.* С памятью наедине. М., 1989, с. 372—389.

** Андреева Вера Леонидовна (1911—1986) — единственная дочь (остальные сыновья) русского писателя Леонида Андреева. В 1920-е годы после отделения Финляндии от России оказалась в эмиграции. В Россию вернулась в 1960 году. Автор мемуаров о своем отце.

© В. А. Андреева (наследники), 2008

бывало, однако, очень мало, и нам в голову никогда не приходило положить какую-нибудь в рот. Осторожно, чтобы не помять, мы срывали их дрожащими от напряжения пальцами и клали в кружку, причем ягоды помельче и похуже клались вниз, а самые крупные и спелые составляли верхний слой. Мы рыскали в неприступных оврагах, обшаривали самые крутые склоны, обыскивали все известные нам места, где когда-либо посчастливилось найти несколько ягодок. Полные охотничьего азарта, мы забирались далеко от дома и, несчетное число раз примерившись, достаточно ли высоко поднялся уровень ягод в кружках, мы, наконец, решали бежать домой, чтобы не опоздать к чаю. Небольшая задержка у молоденькой липки: ягоды лучше всего выглядят на ее больших круглых листьях, и нужно их нарвать побольше, и мы, усталые, голодные, исцарапанные, но бесконечно счастливые, рысью устремлялись по знакомым тропинкам домой.

Для подбодрения духа и для быстроты срезались хлыстики, непременно из молодых побегов рябины или ивы, причем на конце обязательно оставлялся пучок мягких листочков. Пробираясь рысцой по заросшим подорожником тропинкам, мы легонько стегали себя по ногам этими хлыстиками, приговаривая в такт: «Мендель-рысью, мендель-рысью…» Что это заклинание должно было означать и откуда оно взялось, этого никто не знал, но оно значительно облегчало бег и придавало ему известный ритм и гармонию. Такой «мендель-рысью» мы могли пробежать много километров, а на лицах у нас в это время расплывались блаженные улыбки, вызванные ритмичной слаженностью движений.

Прискакав домой, мы шли в столовую, где огромный стол был уже накрыт к утреннему чаю. Торопливо, пока никто не вошел, мы раскладывали на скатерти наши липовые листья и распределяли землянику по точно установленному правилу: папе самая большая кучка тщательно отобранных спелых ягод, маме кучка поменьше, бабушке еще меньше, другим домочадцам уже просто по нескольку ягод. Ведь, собственно говоря, вся земляника была папина, остальных мы только угощали, так сказать, от его имени. Себе, конечно, мы не оставляли ничего — как можно!— самим собирать, потратить столько трудов и вдруг съесть — даже совсем невкусно!

Когда все порции были как можно декоративнее разложены, мы с Тином отступали на шаг, чтобы еще раз окинуть взором всю картину: как красиво выделялись красные ягоды в зелени листьев на белоснежной скатерти! Смешно сказать, но мы чуть ли не с благоговением смотрели, как папа набирает на ложечку землянику, опускает ее в стакан, раздавливает в чае и пьет. Он улыбается и подмигивает нам. Этот момент сторицей вознаграждает нас за труды. Да какие там труды!

Почти теми же благоговейными глазами на папу смотрела его мать, наша бабушка Анастасия Николаевна. Это была небольшого роста, еще не с седыми, а с темными волосами старушка, всегда очень аккуратная, подтянутая, гладко

причесанная на прямой пробор. Она боготворила папу и предпочитала жить у него, а не у других своих детей, хотя шумная обстановка нашего дома должна была ей казаться малопонятной и чужой. В самом деле, несмотря на свой природный ум, бабушка была проста и полуграмотна, писала со страшными ошибками, верила в чертей и домовых, перевирала фамилии и слова иностранного происхождения и ничего не понимала в произведениях Гойи и Микеланджело. Но папа платил ей самой нежной сыновней любовью, старался реже расставаться с нею, возил с собой в шхеры и в Италию. Безгранично уважая мать, он любил ласково подтрунивать над ее ошибками, почерком, суеверием, потешался над ее страхом перед ворами, злыми собаками и грозой. Он надавал ей массу смешных прозвищ, но сколько любви и нежности сквозило в них! Она была и «китайской курильницей», и «мошенником с Горбатого мосту», и «рыжим дьяволом», и просто «рыжиком», «рыжичком». Каждое прозвище имело свою историю: так, «мошенником с Горбатого мосту» папа прозвал ее за одну успешно проведенную, но сомнительную торговую операцию. У бабушки в шкафу хранились с незапамятных времен высокие сапоги покойного дедушки. Они были совершенно новые, но никто не мог носить их, так как они были сшиты на одну ногу,— почему? Был ли сапожник выпивши, или сам дедушка был не в себе — история семейных преданий об этом умалчивает. Однажды в Москве, доведенная до отчаяния беспросветной нуждой, бабушка завернула сапоги в чистую тряпочку и понесла продавать на толкучку. Она очень ловко показывала покупателям всегда только один сапог, мерить давала тоже только один, и наконец покупатель взял сапоги, получив в придачу и тряпочку, в которую бабушка их тщательно завернула. Всю дорогу домой бабушка бежала без оглядки: как бы не опомнился облапошенный человек!

У бабушки была небольшая темноватая комната. В углу перед иконой всегда теплилась лампадка, пахло сушеным смородиновым листом и валерьяновыми каплями. Мы часто забегали к бабушке, у нее так уютно горела лампа под зеленым абажуром, она сидела у стола и читала. Рядом стояла лакированная табакерка — бабушка раньше курила, отсюда прозвище «китайская курильница», потом курить бросила, но табак нюхала, и мы однажды засунули в табакерку здоровенного майского жука, за что нам здорово влетело от папы. Часто бабушка шила что-то на старенькой швейной машинке с обломанной фарфоровой ручкой, и для меня было большим удовольствием вставлять нитку в машинную иголку или старательно вертеть ручкой под указания бабушки.

На стене висел большой портрет папы — очень серьезный маленький мальчик, чем-то похожий на Наполеона, важно сидел в плетеном креслице. Мне всегда как-то не верилось, что наш папа мог быть когда-то таким вот мальчиком вроде Савки, которого, может быть, тоже шлепали и ставили в угол за шалости. Однако внимательный и печальный взгляд мальчика и суровая складочка

между темными бровями убеждали, что это все ж таки папа.

На другой фотографии была изображена бабушка, окруженная всеми пятью детьми: папа, самый старший, дядя Павел, тетя Римма, дядя Всеволод и, наконец, маленький дядя Андрей. Еще там была тетя Зина, которой я и не знала, она умерла еще до моего рождения. <...>

У мамы был настоящий, мужского склада ум и недюжинные способности, и ничто ей не было так чуждо, как мещанство. Кроме того, мама серьезно занималась музыкой, и сколько раз я застывала под окном ее кабинета, притягиваемая неведомой красотой ее игры. Конечно, я совершенно не разбиралась в произведениях Бетховена или Шопена, но меня неизъяснимо трогала мамина игра, что-то такое сладкое, щемящее поднималось в груди, сдавливало горло, выжимало из глаз непрошеные слезы. Я так твердо была уверена в своей глупости и заурядности, что стыдилась проявления этих чувств и ни за что на свете не поделилась бы ими с кем-нибудь из братьев, не говоря уже о самой маме. «Куда уж мне,— думала я,— ведь я ничего не понимаю!..»

Немудрено, что простая, полуграмотная бабушка тоже чуждалась нашей мамы. Говорили, что она гораздо больше была привязана к Александре Михайловне, папиной первой жене. И с тетей Наташей она была ласковее и вела с ней долгие задушевные разговоры в своей комнатке под лестницей. Бабушку, видимо, пугала шумная жизнь нашего громадного дома, бесконечные, с труднопроизносимыми именами гости, телефонные звонки, телеграммы, множество горничных, лакеев, гувернанток. Ей трудно было включиться в этот чуждый ей мир, и только папа был ей всегда близок: сама малообразованная, она каким-то чутьем понимала сложный мир папиной мятежной души и любила его бесхитростной, глубокой и простой — материнской — любовью.

На наши разбойничьи выходки бабушка смотрела с ужасом. Сколько раз, выйдя из своей комнаты, она застигала нас самозабвенно прыгающими по дивану в столовой. В наше оправдание следует сказать, что диван этот был неотразимо привлекателен своей необыкновенной длиной и доброкачественностью пружин. Он был расположен под углом, на возвышении в одну ступеньку над полом столовой и занимал половину длины этой огромной комнаты. Чтобы представить себе его чудовищные размеры, достаточно сказать, что он простирался под шестью большими зеркальными окнами. К тому же диван обладал великолепной спинкой, тоже обтянутой зеленым сукном и снабженной пружинами. Стоило только слегка подпрыгнуть, как пружины сразу приходили в действие и подкидывали высоко в воздух, а если постараться, то можно было успеть перевернуться, сделать сальто-мортале и прочие головоломные цирковые номера. Бабушка совершенно не ценила наших успехов на этом поприще и сразу начинала кричать: «Разбойники, отец ваш горбом своим заработал, а вы уничтожаете!»

Мы, хихикая, слезали проворно с дивана и удирали, так как боялись не столько бабушки, сколько возможного

появления папы. Хихикали же потому, что было странно, как это папа своим горбом зарабатывает диван,— никакого горба у папы, конечно, не было.

Бабушка страшно перевирала иностранные слова и фамилии знакомых, гостей и политических деятелей. Для папы не было большего удовольствия, как услышать какое-нибудь новое ее словечко, он хохотал до слез, добродушно, весело. Так, раз бабушка, очень взволнованная, вбежала в папин кабинет и провозгласила: «Ленушка, иди скорее, там карета подкатила, а на запятках ливерный лакей стоит!» Другой раз это была «фаршированная телеграмма», а когда папа собрался ехать в Петроград на скачки, то бабушка озабоченно говорила ему, чтобы он не вздумал играть на пульверизаторе.

Бабушка очень боялась воров и перед сном обязательно заглядывала под кровать, под диван и за портьеры. Каков же был ее испуг, когда, войдя как-то вечером к себе в комнату, она увидела под кроватью чьи-то ноги в огромных, заскорузлых сапогах, ясно, что там притаился вор... Отчаянный крик, всеобщее смятение, а тут уже появляется ухмыляющийся папа и, страшно довольный, объясняет, что это он стащил у нашего дворника сапоги и положил под постель, придав им весьма естественное положение ног лежащего человека.

Другой раз папа придумал еще более сложный фокус — привязал к бабушкиному носовому платку нитку и вывел ее за дверь. Когда бабушка протянула руку к платку, невинно лежавшему на столе, он вдруг подпрыгнул и отодвинулся. Решив, что это ей показалось, бабушка снова протянула руку, но платок прыгнул от нее на пол и пополз к двери... Опять крик, суматоха, и опять появляется с наивно удивленным видом папа — это, конечно, он дергал за нитку из-за двери.

Все эти добродушные шутки и проказы отрадно действовали на тяжелую атмосферу нашего дома, где все время чувствовалось биение какой-то трудной, трагической жизни. Они рассеивали мрак тяжелых туч, все более заволакивавших безмятежную синеву нашего детского неба, заставляли забывать о грозе, собиравшейся где-то на горизонте, и рождали смутную надежду: может быть, все-таки гроза пройдет мимо? Но она не уходила, только притаилась далеко, и тихие вспышки далеких молний все время напоминали о ее грозной, жестокой силе.*

---

* *Андреева В. Л.* Эхо прошедшего. М., 1986, с. 37—49.

Содержание

Предисловие 5

Часть I. ЧЕМ ИЗМЕРЯЕТСЯ ЛЮБОВЬ? 7

О. Ю. Семенова. Таточка 9
А. А. Овчинников. «В память неизвестной героини...» 45
Е. С. Юрова. «Полпред» девятнадцатого века 71
А. А. Хвалебнова. Это милое, милое Узкое... 92
Н. Г. Жиркевич-Подлесских. «Солнышко души моей...» 117
А. В. Уханов. «Крепка твоя вера, Анна!» 159
С. Р. Адалян. Моя незаменимая Балик 184
Н. С. Рытова. «Одна надежда мне светила...» 190
Е. Е. Утенкова-Тихонова. Чем измеряется любовь? 224
Е. В. Лаврентьева. Мало учености — много эротики 236

Часть II. «ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО ТАКОЕ БАБУШКИ...»
(по страницам опубликованных мемуаров) 247

Е. П. Янькова. Рассказы бабушки 249
С. Н. Глинка. Записки 253
Ф. В. Булгарин. Воспоминания 255
А. П. Керн. Воспоминания. Дневники. Переписка 259
А. О. Смирнова-Россет. Дневник. Воспоминания 260
В. А. Соллогуб. Воспоминания графа 265
М. Г. Назимова. Бабушка Разумовская 269

Е. А. Сушкова. Записки 278
Е. И. Менгден. Из дневника внучки 281
Е. А. Сабанеева. Воспоминания о былом. Из семейной хроники 284
Я. П. Полонский. Дом-антик 290
А. В. Эвальд. Воспоминания о бабушке 297
Д. В. Григорович. Литературные воспоминания 304
П. И. Мельников (Андрей Печерский). Бабушкины россказни 308
Л. П. Шелгунова. Воспоминания 312
Л. Н. Толстой. Мыльные пузыри 317
С. Ю. Витте. Избранные воспоминания 319
Л. Ф. Достоевская. Моя бабушка Мария-Анна 321
С. М. Волконский. «Тончайший дым воспоминаний» 325
К. А. Коровин. Мыс Доброй Надежды 329
М. В. Волошина. История одной жизни 330
Т. П. Карсавина. Театральная улица 333
С. В. Гиацинтова. С памятью наедине 335
В. Л. Андреева. Эхо прошедшего 341

Мемуары

Бабушка, Grand-mère, Grandmother...

**Воспоминания внуков и внучек о бабушках,
знаменитых и не очень,
с винтажными фотографиями XIX—XX веков.**

Составитель ЛАВРЕНТЬЕВА Елена Владимировна

Редактор *Н. В. Куприянова*
Художественное оформление: *А. Б. Архутик*
Компьютерная верстка: *М. Ю. Железнова*
Технолог *Т. Ю. Симонова*
Корректоры *Г. Н. Барышева, О. В. Круподер*

Подписано в печать 09.11.2011 г.
Формат 70×90/16. Гарнитура «BodoniC».
Печ. л. 22,0. Доп. тираж 2000 экз. Заказ №

ООО «Издательство «Этерна»
115477, г. Москва, Кантемировская ул., д. 59а
Тел./факс 755-81-23

E-mail: info@eterna-izdat.ru
www.eterna-izdat.ru

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ЛАВРЕНТЬЕВА — автор книг и статей, посвященных культуре XIX века. Круг ее интересов широк. Она читает лекции, собирает старинные предметы, вышедшие из обихода, записывает воспоминания старых москвичей. В ее книгах представлены свидетельства как знаменитостей, так и простых очевидцев ушедшей эпохи.

Книги Е. В. Лаврентьевой:

• Культура застолья пушкинской поры;

• Светский этикет пушкинской поры;

• Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры: Этикет;

• Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры: Приметы и суеверия;

• Семейный альбом: Фотографии и письма 100 лет назад;

• Любовный лексикон XIX века;

• «Хорошо было жить на даче...»: Дачная и усадебная жизнь в фотографиях и воспоминаниях.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭТЕРНА»

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Е. В. ЛАВРЕНТЬЕВА

«Хорошо было жить на даче…»

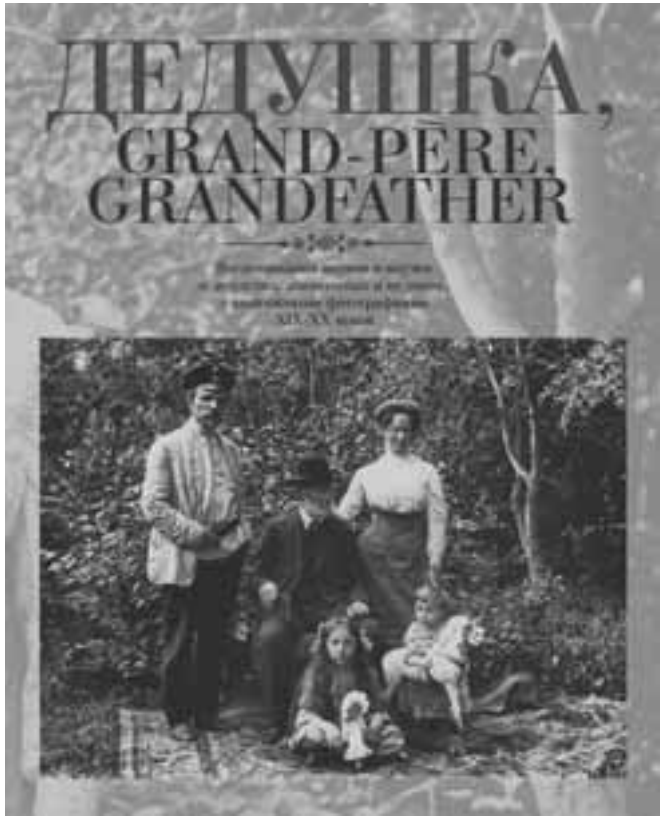
Дачная и усадебная жизнь в фотографиях и воспоминаниях

В этом альбоме собрано около 340 дачных и усадебных снимков конца XIX — начала XX века, сделанных как любителями, так и фотографами-профессионалами. К сожалению, неизвестны судьбы многочисленных персонажей представленных здесь фотографий. Автор смог собрать их вместе: радушных хозяев и беззаботных гостей, модных дачниц и влюбленных дачников, заботливых нянь и их непослушных воспитанников, крестьянских детишек и гимназистов — словом, всех тех, кто спустя сто лет дарит нам мечту о «беспечной, веселой и в то же время достойной жизни».

Завершают книгу уникальные семейные архивы, посвященные дачной и усадебной жизни дореволюционной России.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭТЕРНА»

представляет



Герои этой книги – дедушки.
Собрать интересные воспоминания о дедушках оказалось не так просто, чаще они либо убиты на полях сражений, либо погибли в сталинских застенках. «Пусть у нас, на земле, никто не отнимет «эту божественную радость» – память сердца!»